Вадим Кожинов

ПРАВДА СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ

Русь
Оклеветанная

Вадим Кожинов

ПРАВДА СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ

Москва
Алгоритм
Эксмо
2005

УДК 94(47+57)
ББК 63.3(2)615-4
К 58

Сканирование: vmakhankov
Обработка: Vitautus

Оформление художника *А. Саукова*

Кожинов В. В.
К 58 Правда сталинских репрессий. — М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2005. — 448 с.

ISBN 5-699-13825-0

Эту книгу Вадима Кожинова, как и другие его работы, отличает неординарность суждений и неожиданность выводов. С фактами и цифрами в руках он приступил к исследованию тем, на которые до сих пор наложено демократическое табу: о роли евреев в истории Советского Союза, об истинных пружинах сталинских репрессий. При этом одним из главных достоинств его исследований является историческая объективность.

УДК 94(47+57)
ББК 63.3(2)615-4

© В. В. Кожинов, 2005
© ООО «Алгоритм-Книга», 2005
© ООО «Издательство «Эксмо», 2005

ISBN 5-699-13825-0

ОТ РЕДАКЦИИ

Когда говорят о сталинских репрессиях, то рассуждают обычно о том, кто больше в них пострадал: старая партийная гвардия и дети Арбата либо «бывшие» офицеры, дворянство, священство и простые русские мужики. Спорят и о том, кто виноват в репрессиях, был ли осведомлен о них Сталин, и если да, то насколько.

Но мало кто спросит: за что? За что Бич Божий в лице Сталина опустился на плечи покоренных ему народов?

Скоро минует сто лет с того черного дня, когда рухнула в небытие Российская империя. Но до сих пор одни вполне серьезно считают, что барон Врангель, адмирал Колчак и генерал Деникин готовили «нам царский трон» — реставрацию самодержавия в России с поголовной поркой трудового элемента.

А другие так же серьезно считают, что у красных комиссаров в пыльных шлемах всем заправляли иудеомасоны никак не ниже 31 градуса посвящения, с которыми самоотверженно боролась Белая гвардия.

Вадим Кожинов разочарует и тех и других, но порадует любителей исторической правды. Он убедительно показал, что белые не были монархистами, а красным, мягко выражаясь, был безразличен «трудовой народ». И тех и других вели за собой интересы, далекие от подлинных интересов Российского государства и русского народа.

Такие деятели Белого движения, как генералы Алексеев и Рузский, являлись не только участниками заговора против Монарха, но и высокопоставленными масонами. Их единомышленниками были Деникин, Корнилов, Колчак. Корнилов лично арестовал Императрицу и детей Государя.

Командующий Донской армией генерал Денисов свидетельствует: «На знаменах Белой Идеи было начертано: к Учредительному Собранию, то есть то же самое, что значилось и на знаменах Февральской революции...» А генерал Деникин готов был «благословить» любое жестокое насилие (над русским народом), если оно завершится установлением в России власти парламента.

Если в Белом движении главной составляющей политического руководства были масоны, то на красной стороне такую же роль играли иудеи. Достаточно взглянуть на списочный состав советского правительства в первые годы после революции, чтобы в этом убедиться. Разрушительная роль этих людей для России и русского народа сопоставима разве что с атомной бомбардировкой.

«Таким образом, борьба Красной и Белой армий вовсе не была борьбой между «новой» и «старой» властями, это была борьба двух «новых» властей — Февральской и Октябрьской», — пишет Кожинов. Наглядным подтверждением этого уродливого симбиоза был капитан Зиновий Пешков, главный советник генерала Жанена, французского представителя при адмирале Колчаке, и, по совместительству, масон и младший брат Якова Свердлова, непосредственно замешанного в убийстве Императора Николая II и его семьи.

Но кроме белых и красных в этой трагедии есть еще одно действующее лицо — русский народ в самом широком смысле этого слова.

Да. Виноваты все. Нельзя без жуткого содрогания читать, как из зала заседаний Священного Синода сразу после отречения Императора выносят Его портрет и ставят в коридоре вверх ногами. Ведь кто-то да должен был за это ответить. Ответил весь русский народ, белые и красные, зеленые и нейтральные. Ответил так, что мало никому не показалось. Ответил за отступление от Бога и Царя, за нарушение присяги, за смерть невинных детей в кровавом подвале Ипатьевского дома, за плевки в лицо своей Родине.

То, что платить по счетам предстоит, самые прозорли-

вые поняли сразу. Один из руководителей черносотенного движения, Б.В. Никольский, писал: «Царствовавшая династия кончилась... Та монархия, к которой мы летим, должна быть цезаризмом...» Не прошло и десяти лет, как предсказанный им Бонапарт Русской революции явился грозным мстителем всем разрушителям исторической России.

Можно сколь угодно долго спорить о роли Сталина в истории, но, прочитав книгу В. Кожинова, уже не усомнишься в правде сталинских репрессий. Суд Божий иногда вершится странным путем.

Глава 1

ЧТО ЖЕ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗОШЛО В 1917 ГОДУ?

На этот вопрос за восемьдесят лет были даны самые различные, даже прямо противоположные ответы, и сегодня они более или менее знакомы внимательным читателям. Но остается почти неизвестной либо преподносится в крайне искаженном виде точка зрения черносотенцев, их ответ на этот нелегкий вопрос.

Черносотенцы, не ослепленные иллюзорной идеей прогресса, задолго до 1917 года ясно предвидели действительные плоды победы Революции, далеко превосходя в этом отношении каких-либо иных идеологов (так, член Главного совета Союза русского народа П.Ф. Булацель провидчески — хотя и тщетно — взывал в 1916 году к либералам: «Вы готовите могилу себе и миллионам ни в чем не повинных граждан»). Естественно предположить, что и непосредственно в 1917-м, и в последующих годах «черносотенцы» глубже и яснее, чем кто-либо, понимали происходящее, и потому их суждения имеют первостепенное значение.

Начать уместно с того, что сегодня явно господствует мнение о большевистском перевороте 25 октября (7 ноября) 1917 года как о роковом акте уничтожения Русского государства, который, в свою очередь, привел к многообразным тяжелейшим последствиям, начиная с распада страны. Но это заведомая неправда, хотя о ней вещали и вещают многие влиятельные идеологи. Гибель Русского государства стала необратимым фактом уже 2(15) марта 1917 года, когда был опубликован так называемый «приказ № 1». Он исходил от Центрального исполнительного комитета (ЦИК) Петроградского — по существу Всероссийского — Совета рабочих и солдатских депутатов, где больше-

вики до сентября 1917 года ни в коей мере не играли руководящей роли; непосредственным составителем «приказа» был секретарь ЦИК, знаменитый тогда адвокат Н.Д. Соколов (1870—1928), сделавший еще в 1900-х годах блистательную карьеру на многочисленных политических процессах, где он главным образом защищал всяческих террористов. Соколов выступал как «внефракционный социал-демократ».

«Приказ № 1», обращенный к армии, требовал, в частности, «немедленно выбрать комитеты из выборных представителей (торопливое составление текста привело к назойливому повтору: «выбрать... из выборных». — *В. К.*) от нижних чинов... Всякого рода оружие... должно находиться в распоряжении... комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам... Солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане...»[1] и т.д.

Если вдуматься в эти категорические фразы, станет ясно, что дело шло о полнейшем уничтожении созданной в течение столетий армии — станового хребта государства; одно уже демагогическое положение о том, что «свобода» солдата не может быть ограничена «ни в чем», означало ликвидацию самого института армии. Не следует забывать к тому же, что «приказ» отдавался в условиях *грандиозной мировой войны* и под ружьем в России было около одиннадцати миллионов человек; кстати, последний военный министр Временного правительства А.И. Верховский свидетельствовал, что «приказ № 1» был отпечатан «в девяти миллионах экземпляров»![2]

Для лучшего понимания ситуации следует обрисовать обстоятельства появления «приказа». 2 марта Соколов явился с его текстом, — который уже был опубликован в утреннем выпуске «Известий Петроградского Совета», — перед только что образованным Временным правительством. Один из его членов, В.Н. Львов, рассказал об этом в своем мемуаре, опубликованном вскоре же, в 1918 году:

...быстрыми шагами к нашему столу подходит Н.Д. Соколов и просит нас познакомиться с содержанием принесенной им бумаги... Это был знаменитый приказ номер первый... После его прочтения Гучков (военный министр. —

В. К.) немедленно заявил, что приказ... немыслим, и вышел из комнаты. Милюков (министр иностранных дел. — *В. К.*) стал убеждать Соколова в совершенной невозможности опубликования этого приказа (он не знал, что газету с его текстом уже начали распространять. — *В. К.*)... Наконец и Милюков в изнеможении встал и отошел от стола... я (то есть В.Н. Львов, обер-прокурор Синода. — *В. К.*) вскочил со стула и со свойственной мне горячностью закричал Соколову, что эта бумага, принесенная им, есть преступление перед родиной... Керенский (тогда — министр юстиции, с 5 мая — военный министр, а с 8 июля — глава правительства. — *В. К.*) подбежал ко мне и закричал: «Владимир Николаевич, молчите, молчите!», затем схватил Соколова за руку, увел его быстро в другую комнату и запер за собой дверь...»[3]

А став 5 мая военным министром, Керенский всего через четыре дня издал свой «Приказ по армии и флоту», очень близкий по содержанию к соколовскому; его стали называть «декларацией прав солдата». Впоследствии генерал А.И. Деникин писал, что «эта «декларация прав»... окончательно подорвала все устои армии»[4]. Впрочем, еще 16 июля 1917 года, выступая в присутствии Керенского (тогда уже премьера), Деникин не без дерзости заявил: «Когда повторяют на каждом шагу (это, кстати, характерно и для наших дней. — *В. К.*), что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалили другие...» Не считая, по-видимому, «тактичным» прямо назвать имена виновников, генерал сказал далее: «Развалило армию военное законодательство последних месяцев» (цит. изд., с. 114); присутствующие ясно понимали, что «военными законодателями» были Соколов и сам Керенский (кстати, в литературе есть неправильные сведения, что Деникин будто бы все же назвал тогда имя Керенского).

Но нельзя не сказать, что «прозрение» Деникина фатально запоздало. Ведь согласился же он 5 апреля (то есть через месяц с лишним после опубликования приказа № 1) стать начальником штаба Верховного главнокомандующего, а 31 мая (то есть вслед за появлением «декларации

прав солдата») — главнокомандующим Западным фронтом. Лишь 27 августа генерал порвал с Керенским, но армии к тому времени уже, в сущности, не было...

Необходимо вглядеться в фигуру Соколова. Ныне о нем знают немногие. Характерно, что в изданном в 1993 году биографическом словаре «Политические деятели России. 1917» статьи о Соколове нет, хотя там представлено более 300 лиц, сыгравших ту или иную роль в 1917 году (большинство из них с этой точки зрения значительно уступают Соколову). Впрочем, и в 1917 году его властное воздействие на ход событий казалось не вполне объяснимым. Так, автор созданного по горячим следам и наиболее подробного рассказа о 1917 годе (и сам активнейший деятель того времени) Н.Н. Суханов-Гиммер явно удивлялся, как он писал, «везде бывавшему и все знающему Н.Д. Соколову, одному из главных работников первого периода революции»[5]. Лишь гораздо позднее стало известно, что Соколов, как и Керенский, был одним из руководителей российского масонства тех лет, членом его немногочисленного «Верховного совета» (Суханов, кстати сказать, тоже принадлежал к масонству, но занимал в нем гораздо более низкую ступень). Нельзя не отметить также, что Соколов в свое время положил начало политической карьере Керенского (тот был одиннадцатью годами моложе), устроив ему в 1906 году приглашение на громкий процесс над прибалтийскими террористами, после которого этот тогда безвестный адвокат в одночасье стал знаменитостью.

Выдвигая «приказ № 1», Соколов, разумеется, не предвидел, что его детище менее чем через четыре месяца в буквальном смысле ударит по его собственной голове. В июне Соколов возглавил делегацию ЦИК на фронт. «В ответ на убеждение не нарушать дисциплины солдаты набросились на делегацию и зверски избили ее», — рассказывал тот же Суханов; Соколова отправили в больницу, где он «лежал... не приходя в сознание несколько дней... Долго, долго, месяца три после этого он носил белую повязку — «чалму» — на голове» (там же, т. 2, с. 309).

Между прочим, на это событие откликнулся поэт Александр Блок. 29 мая он встречался с Соколовым и написал о нем: ...остервенелый Н.Д. Соколов, по слухам, автор приказа № 1»[6], а 24 июня — пожалуй, не без иронии — отметил: «В газетах: «темные солдаты» побили Н.Д. Соколова» (там же, т. 7, с. 269). Позже, 23 июля, Блок делает запись о допросе в «Чрезвычайной следственной комиссии» при Временном правительстве виднейшего черносотенца Н.Е. Маркова: «Против Маркова... сидит Соколов с завязанной головой... лает вопросы... Марков очень злится...»[7]

Соколов, как мы видим, был необычайно энергичен, а круг его деятельности — исключительно широк. И таких людей в российском масонстве того времени было достаточно много. Вообще, говоря о Февральском перевороте и дальнейшем ходе событий, никак невозможно обойтись без «масонской темы». Эта тема особенно важна потому, что о масонстве *еще до 1917 года* немало писали и говорили черносотенцы; в этом, как и во многом другом, выразилось их *превосходство* над любыми тогдашними идеологами, которые «не замечали» никаких признаков существования масонства в России или даже решительно оспаривали суждения на этот счет черносотенцев, более того — высмеивали их.

Только значительно позднее, уже в эмиграции, стали появляться материалы о российском масонстве — скупые признания его деятелей и наблюдения близко стоявших к ним лиц; впоследствии, в 1960—1980 годах, на их основе был написан ряд работ эмигрантских и зарубежных историков. В СССР эта тема до 1970-х годов, в сущности, не изучалась (хотя еще в 1930 году были опубликованы весьма многозначительные — пусть и предельно лаконичные — высказывания хорошо информированного В.Д. Бонч-Бруевича).

Рассказать об изучении российского масонства XX века необходимо, между прочим, и потому, что многие сегодня знают о нем, но знания эти обычно крайне расплывчаты или просто ложны, представляя собой смесь вырванных из общей картины фактов и досужих вымыслов.

А между тем за последние два десятилетия это масонство изучалось достаточно успешно и вполне объективно.

Первой работой, в которой был всерьез поставлен вопрос об этом масонстве, явилась книга Н.Н. Яковлева «1 августа 1914», изданная в 1974 году. В ней, в частности, цитировалось признание видного масона, кадетского депутата Думы, а затем комиссара Временного правительства в Одессе Л.А. Велихова: «В 4-й Государственной думе (избрана в 1912 году. — *В. К.*) я вступил в так называемое масонское объединение, куда входили представители от левых прогрессистов (Ефремов), левых кадетов (Некрасов, Волков, Степанов), трудовиков (Керенский), с.-д. меньшевиков (Чхеидзе, Скобелев) и которое ставило своей целью блок всех оппозиционных партий Думы для свержения самодержавия» (указ. изд., с. 234).

И к настоящему времени неопровержимо доказано, что российское масонство XX века, начавшее свою историю еще в 1906 году, явилось решающей силой Февраля прежде всего именно потому, что в нем *слились воедино* влиятельные деятели различных партий и движений, выступавших на политической сцене более или менее *разрозненно*. Скрепленные клятвой перед своим и одновременно высокоразвитым западноевропейским масонством (о чем еще пойдет речь), эти очень разные, подчас, казалось бы, совершенно несовместимые деятели — от октябристов до меньшевиков — стали дисциплинированно и целеустремленно осуществлять единую задачу. В результате был создан своего рода мощный кулак, разрушивший государство и армию.

Наиболее плодотворно исследовал российское масонство XX века историк В.И. Старцев, который вместе с тем является одним из лучших исследователей событий 1917 года в целом. В ряде его работ, первая из которых вышла в свет в 1978 году, аргументированно раскрыта истинная роль масонства. Содержательны и страницы, посвященные российскому масонству XX века в книге Л.П. Замойского (см. библиографию в примечаниях)[8].

Позднее, в 1986 году, в Нью-Йорке была издана книга

эмигрантки Н.Н. Берберовой «Люди и ложи. Русские масоны XX столетия», опиравшаяся, в частности, и на исследования В.И. Старцева (Н.Н. Берберова сама сказала об этом на 265—266 стр. своей книги — не называя, правда, имени В.И. Старцева, чтобы не «компрометировать» его). С другой стороны, в этой книге широко использованы, в сущности, недоступные тогда русским историкам западные архивы и различные материалы эмигрантов. Но надо прямо сказать, что многие положения книги Н.Н. Берберовой основаны на не имеющих действительной достоверности записках и слухах, и вполне надежные сведения перемешаны с по меньшей мере сомнительными (о некоторых из них еще будет сказано).

Работы В.И. Старцева, как и книга Н.Н. Яковлева, с самого момента их появления и вплоть до последнего времени подвергались очень резким нападкам; историков обвиняли главным образом в том, что они воскрешают черносотенный миф о масонах (особенно усердствовал «академик И.И. Минц»). Между тем историки с непреложными фактами в руках доказали (вольно или невольно), что «черносотенцы» были безусловно правы, говоря о существовании деятельнейшего масонства в России и об его огромном влиянии на события, хотя при всем при том В.И. Старцев — и вполне понятно, почему он это делал, — не раз «отмежевывался» от проклятых черносотенцев.

Нельзя, правда, не оговорить, что в черносотенных сочинениях о масонстве очень много неверных и даже фантастических моментов. Однако ведь в те времена масоны были самым тщательным образом законспирированы; российская политическая полиция, которой еще П.А. Столыпин дал указание расследовать деятельность масонства, не смогла добыть о нем никаких существенных сведений. Поэтому странно было бы ожидать от черносотенцев точной и непротиворечивой информации о масонах. По-настоящему значителен уже сам по себе тот факт, что «черносотенцы» осознавали присутствие и мощное влияние масонства в России.

Решающая его роль в Феврале обнаружилась со всей

очевидностью, когда — уже в наше время — было точно выяснено, что из 11 членов Временного правительства первого состава 9 (кроме А.И. Гучкова и П.Н. Милюкова) были масонами. В общей же сложности на постах министров побывало за почти восемь месяцев существования Временного правительства 29 человек, и 23 из них принадлежали к масонству!

Ничуть не менее важен и тот факт, что в тогдашней «второй власти» — ЦИК Петроградского Совета — масонами являлись все три члена президиума: А.Ф. Керенский, М.И. Скобелев и Н.С. Чхеидзе — и два из четверых членов Секретариата: К.А. Гвоздев и уже известный нам Н.Д. Соколов (двое других секретарей Совета — К.С. Гриневич-Шехтер и Г.Г Панков — не играли первостепенной роли). Поэтому так называемое двоевластие после Февраля было весьма относительным, в сущности, даже показным: и в правительстве, и в Совете заправляли люди «одной команды»...

Представляет особенный интерес тот факт, что трое из шести членов Временного правительства, которые не принадлежали к масонству (во всяком случае, нет бесспорных сведений о такой принадлежности), являлись наиболее общепризнанными, «главными» лидерами своих партий: это А.И. Гучков (октябрист), П.Н. Милюков (кадет) и В.М. Чернов (эсер). Не был масоном и «главный» лидер меньшевиков Л. Мартов (Ю.О. Цедербаум). Между тем целый ряд других влиятельнейших — хотя и не самых популярных — лидеров этих партий занимал высокое положение и в масонстве, — например, октябрист С.И. Шидловский, кадет В.А. Маклаков, эсер Н.Д. Авксентьев, меньшевик Н.С. Чхеидзе (и, конечно, многие другие).

Это объясняется, на мой взгляд, тем, что такие находившиеся еще до 1917 года под самым пристальным вниманием общества и правительства лица, как Гучков или Милюков, легко могли быть разоблачены, и их не ввели в масонские «кадры» (правда, некоторые авторы объясняют их непричастность к масонству тем, что тот же Милюков, например, не хотел подчиняться масонской дисциплине). Н.Н. Берберова пыталась доказать, что Гучков все же

принадлежал к масонству, но ее доводы недостаточно убедительны. Однако вместе с тем В.И. Старцев совершенно справедливо говорит, что Гучков «был окружен масонами со всех сторон» и что, в частности, заговор против царя, приготовлявшийся с 1915 года, осуществляла «группа Гучкова, в которую входили виднейшие и влиятельнейшие руководители российского политического масонства Терещенко и Некрасов... и заговор этот был все-таки масонским» («Вопросы истории», 1989, № 6, с. 44).

Подводя итог, скажу об особой роли Керенского и Соколова, как я ее понимаю. И для того, и для другого принадлежность к масонству была гораздо важнее, чем членство в каких-либо партиях. Так, Керенский в 1917 году вдруг перешел из партии «трудовиков» в эсеры. Соколов же, как уже сказано, представлялся «внефракционным» социал-демократом. А во-вторых, для Керенского, сосредоточившего свою деятельность во Временном правительстве, Соколов был, по-видимому, главным сподвижником во «второй» власти — Совете. Многое говорят позднейшие (1927 года) признания Н.Д. Соколова о необходимости масонства в революционной России: «...радикальные элементы из рабочих и буржуазных классов не смогут с собой сговориться о каких-либо общих актах, выгодных обеим сторонам... Поэтому... создание органов, где представители таких радикальных элементов из рабочих и не рабочих классов могли бы встречаться на нейтральной почве... очень и очень полезно...» И он, Соколов, «давно, еще до 1905 г., старался играть роль посредника между социал-демократами и либералами»[9].

* * *

Масонам в Феврале удалось быстро разрушить государство, но затем они оказались совершенно бессильными и менее чем через восемь месяцев потеряли власть, не сумев оказать, по сути дела, ровно никакого сопротивления новому, Октябрьскому, перевороту. Прежде чем гово-

рить о причине бессилия героев Февраля, нельзя не коснуться господствовавшей в советской историографии версии, согласно которой переворот в феврале 1917 года был якобы делом петроградских рабочих и солдат столичного гарнизона, будто бы руководимых к тому же главным образом большевиками.

Начну с последнего пункта. Во время переворота в Петрограде почти не было сколько-нибудь влиятельных большевиков. Поскольку они выступали за *поражение* в войне, они вызвали всеобщее осуждение и к февралю 1917 года пребывали или в эмиграции в Европе и США, или в далекой ссылке, не имея сколько-нибудь прочной связи с Петроградом. Из 29 членов и кандидатов в члены большевистского ЦК, избранного на VI съезде (в августе 1917 года), *ни один* не находился в февральские дни в Петрограде! И сам Ленин, как хорошо известно, не только ничего не знал о готовящемся перевороте, но и ни в коей мере не предполагал, что он вообще возможен.

Что же касается массовых рабочих забастовок и демонстраций, начавшихся 23 февраля, они были вызваны недостатком и невиданной дороговизной продовольствия, в особенности хлеба, в Петрограде. Но дефицит хлеба в столице был, как следует из фактов, искусственно организован. В исследовании Т.М. Китаниной «Война, хлеб, революция (продовольственный вопрос в России. 1914 — октябрь 1917)», изданном в 1985 году в Ленинграде, показано, что «излишек хлеба (за вычетом объема потребления и союзных поставок) в 1916 г. составил 197 млн. пуд.» (с. 219); исследовательница ссылается, в частности, на вывод А.М. Анфимова, согласно которому «Европейская Россия вместе с армией до самого урожая 1917 г. могла бы снабжаться собственным хлебом, не исчерпав всех остатков от урожаев прошлых лет» (с. 338). И в уже упомянутой книге Н.Н. Яковлева «1 августа 1914» основательно говорится о том, что заправилы Февральского переворота «способствовали созданию к началу 1917 года серьезного продовольственного кризиса... Разве не прослеживается синхронность — с начала ноября резкие нападки (на

власть. — *В. К.*) в Думе и тут же крах продовольственного снабжения!» (с. 206).

Иначе говоря, «хлебный бунт» в Петрограде, к которому вскоре присоединились солдаты «запасных полков», находившихся в столице, был специально организован и использован главарями переворота.

Не менее важно и другое. На фронте постоянно испытывали нехватку снарядов. Однако к 1917 году на складах находилось 30 миллионов (!) снарядов — примерно столько же, сколько было *всего* истрачено за 1914—1916-е годы (между прочим, без этого запаса артиллерия в Гражданскую войну 1918—1920 годов, когда заводы почти не работали, вынуждена была бы бездействовать...). Если учесть, что начальник Главного артиллерийского управления в 1915 — феврале 1917 г. А.А. Маниковский был масоном и близким сподвижником Керенского, ситуация становится ясной; факты эти изложены в упомянутой книге Н.Н. Яковлева (см. с. 195—201).

То есть и резкое недовольство в армии, и хлебный бунт в Петрограде, в сущности, были делом рук «переворотчиков». Но этого мало. Фактически руководивший армией начальник штаба Верховного главнокомандующего (то есть Николая II) генерал М.В. Алексеев не только ничего не сделал для отправления 23—27 февраля войск в Петроград с целью установления порядка, но и, со своей стороны, использовал волнения в Петрограде для самого жесткого давления на царя и, кроме того, заставил его поверить, что вся армия — на стороне переворота.

Н.Н. Берберова в своей книге утверждает, что Алексеев сам принадлежал к масонству. Это вряд ли верно (хотя бы потому, что для военнослужащих вступление в тайные организации являлось, по существу, преступным деянием). Но вместе с тем находившийся в Ставке Верховного главнокомандующего военный историк Д.Н. Дубенский свидетельствовал в своем изданном еще в 1922 году дневнике-воспоминаниях: «Генерал Алексеев пользовался... самой широкой популярностью в кругах Государственной Думы, с которой находился в полной связи... Ему глубоко верил Государь... генерал Алексеев мог и должен был принять ряд

необходимых мер, чтобы предотвратить революцию... У него была вся власть (над армией. — *В. К.*)... К величайшему удивлению... с первых же часов революции выявилась его преступная бездеятельность...» (цит. по кн.: Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. — Л., 1927, с. 43).

Далее Д.Н. Дубенский рассказывал, как командующий Северным фронтом генерал Н.В. Рузский (Н.Н. Берберова тоже не вполне обоснованно считает его масоном) «с цинизмом и грубою определенностью» заявил уже 1 марта: «..надо сдаваться на милость победителю». Эта фраза, писал Д.Н. Дубенский, «все уяснила и с несомненностью указывала, что не только Дума, Петроград, но и лица высшего командования на фронте действуют в полном согласии и решили произвести переворот» (с. 61). И историк вспоминал, как уже 2 марта близкий к черносотенцам генерал-адъютант К.Д. Нилов назвал Алексеева «предателем», и сделал такой вывод: «...масонская партия захватила власть» (с. 66). Подобные утверждения в течение долгих лет квалифицировались как черносотенные выдумки, но ныне отнюдь не черносотенные историки доказали правоту этого вывода.

Впрочем, к фигуре генерала Алексеева мы еще вернемся. Прежде необходимо осознать, что российские масоны были до мозга костей западниками. При этом они не только усматривали все свои общественные идеалы в Западной Европе, но и подчинялись тамошнему могучему масонству. Побывавший в масонстве Г.Я. Аронсон писал: «Русские масоны как бы светили заемным светом с Запада» (Николаевский Б.И., цит. изд., с. 151). И Россию они всецело мерили чисто западными мерками.

По свидетельству А.И. Гучкова, герои Февраля полагали, что «после того как дикая стихийная анархия, улица (имелись в виду февральские беспорядки в Петрограде. — *В. К.*), падет, после этого люди государственного опыта, государственного разума, вроде нас, будут призваны к власти. Очевидно, в воспоминание того, что... был 1848 год (то есть революция во Франции. — *В. К.*): рабочие сва-

лили, а потом какие-то разумные люди устроили власть» («Вопросы истории», 1991, № 7, с. 204). Гучков определил этот «план» словом «ошибка». Однако перед нами не столько конкретная «ошибка», сколько результат полного непонимания России. И Гучков к тому же явно неверно характеризовал сам ход событий. Ведь, согласно его словам, «стихийная анархия» — это забастовки и демонстрации, состоявшиеся с 23 по 27 февраля в Петрограде; 27 февраля был образован «Временный комитет членов Государственной Думы», а 2 марта — Временное правительство. Но ведь именно оно и осуществило полное уничтожение прежнего государства. То есть настоящая «стихийная анархия», охватившая в конечном счете всю страну и всю армию (а не всего лишь *несколько десятков тысяч* людей в Петрограде, действия которых были ловко использованы героями Февраля), разразилась уже потом, когда к власти пришли эти самые «разумные люди»...

Словом, российские масоны представляли себе осуществляемый ими переворот как нечто вполне подобное революциям во Франции или Англии, но при этом забывали о поистине уникальной *русской* свободе — «*свободе духа и быта*», о которой постоянно размышлял, в частности, «философ свободы» Н.А. Бердяев. В западноевропейских странах даже самая высокая степень свободы в политической и экономической деятельности не может привести к роковым разрушительным последствиям, ибо большинство населения ни под каким видом не выйдет за установленные «пределы» свободы, будет всегда «играть по правилам». Между тем в России безусловная, ничем не ограниченная свобода сознания и поведения — то есть, говоря точнее, уже, в сущности, не свобода (которая подразумевает определенные границы, рамки «закона»), а собственно российская *воля* вырывалась на простор чуть ли не при каждом существенном ослаблении государственной власти[10] и порождала неведомые Западу безудержные русские «вольницы» — болотниковщину (в пору Смутного времени), разинщину, пугачевщину, махновщину, антоновщину и т.п.

Пушкин, в котором наиболее полно и совершенно воплотился русский национальный гений, начиная по меньшей мере с 1824 года испытывал самый глубокий и острый интерес к этим явлениям, более всего, естественно, к недавней пугачевщине[11], которой он и посвятил свои *главные* творения в сфере художественной прозы («Капитанская дочка», 1836) и историографии («История Пугачева», вышедшая в свет в конце 1834 года под заглавием — по предложению финансировавшего издание Николая I — «История Пугачевского бунта»). При этом Пушкин предпринял весьма трудоемкие архивные изыскания, а в 1833 году в течение месяца путешествовал по «пугачевским местам», расспрашивая, в частности, престарелых очевидцев событий 1773—1775 годов.

Но дело, конечно, не просто в тщательности исследования предмета; Пушкин воссоздал пугачевщину с присущим ему и, без преувеличения, только ему всепониманием. Позднейшие толкования, в сравнении с пушкинским, односторонни и субъективны. Более того: столь же односторонни и субъективны толкования самих творений Пушкина, посвященных пугачевщине (яркий пример — эссе Марины Цветаевой «Пушкин и Пугачев»). Исключение представляет, пожалуй, лишь недавняя работа В.Н. Катасонова («Наш современник», 1994, № 1), где пушкинский образ Пугачева осмыслен в его многомерности. Говоря попросту, пугачевщину после Пушкина либо восхваляли, либо проклинали. Особенно это характерно для эпохи Революции, когда о пугачевщине (а также о разинщине и т.п.) вспоминали едва ли не все тогдашние идеологи и писатели.

Ныне постоянно цитируют пушкинские слова: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный», — причем они обычно толкуются как чисто отрицательная, даже уничтожающая характеристика. Но это не столь уж простые по смыслу слова. Они, между прочим, как-то перекликаются с приведенными Пушкиным удивительными словами самого Пугачева (их сообщил следователь, первым допросивший выданного своими сподвижниками атамана, — капитан-поручик Маврин): «Богу было

угодно наказать Россию через мое окаянство». И в том и в другом высказывании «русский бунт» — то есть *своеволие* — как-то связывается с *волей* Бога, который «привел» увидеть или «наказал», — и в целостном контексте пушкинского воссоздания пугачевщины это так и есть.

Кроме того, поставив определения «бессмысленный и беспощадный» *после* определяемого слова, Пушкин тем самым придал им особенную емкость и весомость; нас как бы побуждают вглядеться, вслушаться в эти определения и осознать их многозначность. «Бессмысленный» — это ведь значит и бесцельный, самоцельный и, значит, бескорыстный. А особенное ударение на завершающем слове «беспощадный» — разумеется, в связи с пушкинским воссозданием пугачевщины в целом — несет в себе смысл ничем не ограниченной беспощадности, естественно обращающейся и на *самих бунтовщиков*, и на их вожака, выданного в конце концов на расправу «своими». Это скорее Божья кара, чем собственно человеческая жестокость.

Пушкин обратил внимание на своего рода тайну. Он рассказал, что в конце июля 1774 года, то есть всего за несколько недель до ареста, Пугачев, «окруженный отовсюду войсками правительства, не доверяя своим сообщникам... уже думал о своем спасении; цель его была: пробраться за Кубань или в Персию». Но, как это ни странно, «никогда мятеж не свирепствовал с такою силою. Возмущение переходило от одной деревни к другой, от провинции к провинции... Составлялись отдельные шайки... и каждая имела у себя своего Пугачева...» Словом, «русский бунт» — это по сути своей не чье-либо конкретное действие, но своего рода *состояние*, вдруг захватившее весь народ, — ничему и никому не подчиняющаяся стихия, подобная лесному пожару...

Безудержный «русский бунт» вызывал и вызывает совершенно разные «оценки». Одни усматривают в нем проявление беспрецедентной свободы, извечно присущей (хотя и не всегда очевидной) России, другие, напротив, — выражение ее «рабской» природы: «бессмысленность» бунта свойственна, мол, заведомым рабам, которые даже

и в восстании не способны добиваться удовлетворения конкретных практических интересов (как это делают, скажем, западноевропейские повстанцы) и бунтуют, в сущности, только ради самого бунта...

Но подобные одноцветные оценки столь грандиозных национально-исторических явлений вообще не заслуживают серьезного внимания, ибо характеризуют лишь настроенность тех, кто эти оценки высказывает, а не сам оцениваемый «предмет». События, которые так или иначе захватывают народ в целом, с необходимостью несут в себе и зло, и добро, и ложь, и истину, и грех, и святость...

Необходимо отдать себе ясный отчет в том, что и безоговорочные проклятья, и такие же восхваления «русского бунта» неразрывно связаны с заведомо примитивным и просто ложным восприятием самого «своеобразия» России и, с другой стороны, Запада: в первом случае Россию воспринимают как нечто безусловно «худшее» в сравнении с Западом, во втором — как столь же безусловно «лучшее». Но и то и другое восприятие не имеет действительно серьезного смысла: спор о том, что «лучше» — Россия или Запад, вполне подобен, скажем, спорам о том, где лучше жить — в лесной или степной местности, и даже кем лучше быть — женщиной или мужчиной... и т.п. Пытаться выставить непротиворечивые «оценки» тысячелетнему бытию и России, и Запада — занятие для идеологов, не доросших до зрелого мышления.

Впрочем, пора обратиться непосредственно к 1917 году. Как уже сказано, пугачевщина и разинщина постоянно вспоминались в то время, что было вполне естественно. Вместе с тем на сей раз последствия были совсем иными, чем при Пугачеве, ибо бунтом была захвачена и до основания разложенная новыми правителями *армия* (которая во время пугачевщины все-таки сохранилась — пусть и было немало случаев перехода солдат и даже офицеров в ряды бунтовщиков). Более того, миллионы солдат, самовольно покидавших — нередко с оружием в руках — армию, стали наиболее действенной закваской всеобщего бунта.

Советская историография пыталась доказывать, что-

де основная масса «бунтовщиков» — в том числе солдаты — боролась в 1917 году против «буржуазного» Временного правительства за победу большевиков, за социализм-коммунизм. Но это явно не соответствует действительности. Генерал Деникин, досконально знавший факты, говоря в своих фундаментальных «Очерках русской смуты» о самом широком распространении большевистской печати в армии, вместе с тем утверждал: «Было бы, однако, неправильно говорить о непосредственном влиянии печати на солдатскую массу. Его не было... Печать оказывала влияние главным образом на полуинтеллигентскую (весьма незначительную количественно. — *В. К.*) часть армейского состава». Что же касается миллионов рядовых солдат, то в их сознании, констатировал генерал, «преобладало прямолинейное отрицание: «Долой!» Долой... вообще все опостылевшее, надоевшее, мешающее так или иначе утробным инстинктам и стесняющее «свободную волю» — все долой!»[12].

Нельзя не отметить прямое противоречие в этом тексте: Деникин определяет бунт солдат и как проявление «утробных инстинктов» — то есть как нечто низменное, телесное, животное, и в то же время как порыв к «свободной воле» (для определения этого феномена оказались как бы недостаточными взятые по отдельности слова «свобода» и «воля», и генерал счел нужным соединить их, явно стремясь тем самым выразить нечто «беспредельное»; ср. народное словосочетание «воля вольная»). Но «утробные инстинкты» (например, животный страх перед гибелью) и стремление к безграничной «воле» — это, конечно же, совершенно различные явления; второе подразумевает, в частности, преодоление смертного страха... Таким образом, Деникин, едва ли сознавая это, дал солдатскому бунту и своего рода «высокое» толкование.

Не исключено возражение, что Деникин, мол, исказил реальную картину, ибо не желал признавать внушительную роль ненавистных ему большевиков. Однако, в сущности, то же самое говорил в своих воспоминаниях генерал от кавалерии (с 1912 года) А.А. Брусилов, перешедший, в отличие от Деникина, на сторону большевиков. Бунтовавшие в

1917 году солдатские массы, свидетельствовал генерал, «совершенно не интересовал Интернационал, коммунизм и тому подобные вопросы, они только усвоили себе начала будущей свободной жизни»[13].

Следует привести еще мнение одного серьезно размышлявшего человека, который, по-видимому, не участвовал в революционных событиях, был только «страдающим» лицом, в конце концов бежавшим на Запад. Речь идет о российском немце М.М. Гаккебуше (1875—1929), издавшем в 1921 году в Берлине книжку с многозначительным заглавием «На реках Вавилонских: заметки беженца»; при этом он издал ее под таким же многозначительным псевдонимом М. Горелов, явно не желая и теперь, в эмиграции, вмешивать себя лично в политические распри.

В книжке немало всякого рода эмоциональных оценок «беженца», но есть и достаточно четкое определение совершившегося. Напоминая, в частности, о том, что Достоевский называл русский народ «богоносцем», Гаккебуш-Горелов писал, что в 1917 году «мужик снял маску... «Богоносец» выявил свои политические идеалы: он не признает никакой власти, не желает платить *податей* и не согласен давать *рекрутов*. Остальное его не касается»[14].

Тут же «беженец» ставил пресловутый вопрос «кто виноват?» в этом мужицком отрицании власти: «Виноваты все мы — сам-то народ меньше всех. Виновата династия, которая наиболее ей, казалось бы, дорогой монархический принцип позволила вывалять в навозе; виновата бюрократия, рабствовавшая и продажная; духовенство, забывшее Христа и обратившееся в рясофорных жандармов; школа, оскоплявшая молодые души; семья, развращавшая детей, интеллигенция, оплевывавшая родину...» (напомню, что В.В. Розанов еще в 1912 году писал: «У француза — «chere France», у англичан — «Старая Англия». У немцев — «наш старый Фриц». Только у прошедшего русскую гимназию и университет — «проклятая Россия». Как же удивляться, что всякий русский с 16-ти лет пристает к партии «ниспровержения» государственного строя...»[15]).

Итак, совместные действия различных сил (Гаккебуш

обвиняет и саму династию...) развенчали Русское государство, и в конце концов оно было разрушено. И тогда «мужик» отказался от подчинения какой-либо власти, избрав ничем не ограниченную «волю». Гаккебуш был убежден, что тем самым «мужик» целиком и полностью разоблачил мнимость представления о нем как о «богоносце». И хотя подобный приговор вынесли вместе с этим малоизвестным автором многие из самых влиятельных тогдашних идеологов, проблема все-таки более сложна. Ведь тот, кто не признает никакой *земной* власти, открыт тем самым для «власти» Бога...

Один из виднейших художников слова того времени, И.А. Бунин, записал в своем дневнике (в 1935 году он издал его под заглавием «Окаянные дни») 11(24) июня 1919 года, что «всякий русский бунт (и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего все старо на Руси и сколь она жаждет прежде всего бесформенности. Спокон веку были «разбойнички»... бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся...»[16] (кстати, Бунин в избранном им для своего дневника заглавии перекликнулся — вероятно, не осознавая этого — с приведенными Пушкиным словами Пугачева: «Богу было угодно наказать Россию через мое окаянство»). В полнейшем непонимании извечного русского «своеобразия» Бунин усматривает роковой просчет политиков: «Ключевский отмечает чрезвычайную «повторяемость» русской истории. К великому несчастию, на эту «повторяемость» никто и ухом не вел. «Освободительное движение» творилось с легкомыслием изумительным, с непременным, обязательным оптимизмом...» (там же, с. 113).

Став и свидетелем, и жертвой безудержного «русского бунта», Бунин яростно проклинал его. Но, как истинный художник, не могущий не видеть всей правды, он ясно высказался — как бы даже против своей воли — о сугубой «неоднозначности» (уж воспользуюсь популярным ныне словечком) этого бунта. Казалось бы, он резко разграничил два человеческих «типа», отделив их даже *этнически*: «Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом — Чудь и Меря» (как бы не желая целиком и полностью проклинать свою до боли любимую Русь, писатель едва ли

хоть сколько-нибудь основательно пытается приписать бунтарскую инициативу «финской крови»...). Однако этот тезис тут же опровергается ходом бунинского размышления: «Но (смотрите — Бунин неожиданно возражает этим «но» себе самому! — *В. К.*) и в том, и в другом (типе. — *В. К.*) есть страшная переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: «из нас, как из дерева, — и дубина, и икона» — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев» (с. 62).

Выходит, тезис о «двух типах» неверен: за преподобным Сергием шли такие же русские люди, что и за отлученным от Церкви Емелькой, и «облик» русских людей зависит от исторических «обстоятельств» (а не от наличия двух «типов»). И в самом деле: заведомо неверно полагать, что в людях, шедших за Пугачевым, не было внутреннего единства с людьми, которые шли за преподобным Сергием... Бунин говорит о «шаткости», о «переменчивости» народных настроений и обличий, но *основа-то* была все-таки та же...

Замечательно, что уже после цитированных дневниковых записей, в 1921 году, Бунин создал одно из чудеснейших своих творений — «Косцы» — поистине непревзойденный гимн «русскому (конкретно — рязанскому, есенинскому) мужику», где все же упомянул и о том, что так его ужасало: «...а вокруг — беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством» («гибельная» здесь совершенно точное слово).

Итак, в той беспредельной «воле», которой возжаждал после распада государства и армии народ, было, если угодно, и нечто «богоносное» (вопреки мнению Гаккебуша-Горелова), — хотя весьма немногие идеологи обладали смелостью разглядеть это в «русском бунте».

И все же сколько бы ни оспаривали финал созданной в январе 1918 года знаменитой поэмы Александра Блока, где впереди двенадцати «разбойников-апостолов» является не кто иной, как Христос, решение поэта по-своему не-

зыблемо: «Я, — писал он 10 марта 1918 года, — только констатировал факт: если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь «Исуса Христа»...»[17]

Достаточно хорошо известно, что образ «русского бунта» в блоковской поэме многие воспринимали (и воспринимают сейчас) как образ большевизма. Это естественно вытекало из широко распространенного, но тем не менее безусловно ложного представления, согласно которому «русский бунт» XX века вообще отождествлялся с большевизмом (такое понимание присутствует, в частности, и в бунинских «Окаянных днях», но смысл книги в целом никак не сводим к этому). На деле же — о чем еще будет подробно сказано — «русский бунт» был самым мощным и самым опасным *врагом* большевиков.

* * *

Разговор о смысле блоковской поэмы отнюдь не уводит нас от главной цели — истинного понимания того, что происходило в России в 1917-м и последующих годах. Необходимо осознать заведомую недостаточность и даже прямую ложность «классового» и вообще чисто *политического* истолкования Революции. Нет сомнения, что классовые интересы играют очень весомую роль в истории (хотя многие нынешние влиятельные лица — главным образом перевертыши типа тов. Яковлева, еще совсем недавно рьяно утверждавшие именно «классовые» представления об истории, — склонны теперь отрицать это). Но все же Революция — слишком грандиозное и многомерное явление бытия, которое никак нельзя втиснуть в классовые и вообще собственно политические рамки, и в этом одна из главных основ моих дальнейших рассуждений.

Александр Блок в 1920 году с полной определенностью сказал: «..те, кто видит в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой» (т. 3, с. 474). Следует напомнить, что целая когорта тогдашних

литераторов, на разные лады призывавших до 1917 года к разрушению Русского государства, а позднее никак не могущих примириться с приходом к власти своих соперников-большевиков, стала обвинять автора «Двенадцати» в восхвалении большевизма.

Между тем большевики воспринимали «Двенадцать» отнюдь не как нечто им близкое. Александр Блок засвидетельствовал, что сестра Л.Д. Троцкого и жена Л.Б. Каменева — О.Д. Каменева (в девичестве Бронштейн), после Октября «руководившая» театрами России, уже 9 марта 1918 года (поэма была опубликована 3 марта) заявила жене поэта, актрисе Л.Д. Блок, которая тогда читала «Двенадцать» с эстрады: «Стихи Александра Александровича («Двенадцать») — очень талантливое, почти гениальное изображение действительности (то есть несет в себе истину. — *В. К.*)... но читать их не надо (вслух), потому что в них восхваляется то, чего мы, старые социалисты, больше всего боимся»[18].

Позднее, в 1922 году, Троцкий, также признавая, — вероятно, под давлением уже сложившегося в литературных кругах мнения, — что Блок создал «самое значительное произведение нашей эпохи. Поэма «Двенадцать» останется навсегда»[19], — вместе с тем заявил: «Блок дает не революцию и уж, конечно, не работу ее руководящего авангарда, а сопутствующие ей явления... по сути, направленные *против* нее» (там же, с. 101). И Троцкий вообще крайне возмущался тем, что «наши революционные поэты почти сплошь возвращаются вспять к Пугачеву и Разину! Василий Каменский поэт Разина, а Есенин — Пугачева... плохо и преступно (! — *В. К.*) то, что иначе они не умеют подойти к нынешней революции, растворяя ее тем самым в слепом мятеже, в стихийном восстании... Но ведь что же такое наша (то есть та, которой руководит Троцкий. — *В. К.*) революция, если не бешеное восстание против стихийного бессмысленного... против то есть мужицкого корня старой русской истории, против бесцельности ее (нетелеологичности), против ее «святой» идиотической каратаевщины во имя сознательного, целесообразного, волевого и динамического начала жизни... Еще десятки лет пройдут, пока ка-

ратаевщина будет выжжена без остатка. Но процесс этот уже начат, и начат хорошо» (там же, с. 91—92).

Примечательно, что Троцкий здесь же цитирует — хотя и неточно — Пушкина: «Пушкин сказал, что наше народное движение — это бунт, бессмысленный и жестокий. Конечно, это барское определение, но в своей барской ограниченности — глубокое и меткое» (с. 91); «бессмысленный» означает, в частности, «бесцельный», о чем и сказал верно Троцкий.

И еще одна цитата из Троцкого: «Для Блока революция есть возмущенная стихия... Для Клюева, для Есенина — пугачевский и разинский бунты... Революция же есть прежде всего борьба рабочего класса за власть, за *утверждение власти...*» (с. 83).

(Даю в скобках краткое отступление, касающееся двух из названных поэтов. Если Александр Блок воспринимал «русский бунт» в той или иной мере «со стороны», то «преступный», по определению Троцкого, Сергей Есенин ощущал — пусть и в известной степени — свою прямую причастность этому бунту, что, по-видимому, выразилось (хотя и не адекватно) в его словах из автобиографии, написанной 14 мая 1922 года: «В РКП я никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее»; и из письма от 7 февраля 1923 года: «Я перестал понимать, к какой революции я принадлежал? Вижу только одно, что ни к февральской, ни к октябрьской... В нас скрывался и скрывается какой-нибудь ноябрь». Следует обратить внимание на тот факт, что Блок — как и Бунин в «Окаянных днях» — все же в определенной мере склонен был отождествлять большевиков и русский бунт; так, его *двенадцать* сами говорят друг другу «над собой держи контроль», хотя на деле это требовали от них другие. Между тем у Есенина — хотя бы в его драматической поэме «Страна негодяев» — ясно разграничены русский бунт и ставящий задачей «укротить» его большевик Чекистов-Лейбман.)

Как мы видели, Троцкий полагал, что «русский бунт» по своей сути направлен против той революции, одним из «самых выдающихся вождей» (по определению Ленина)

которой он был и которую он (см. выше) счел уместным охарактеризовать как «бешеное (!) восстание» против этого самого беспредельного и (по ироническому определению самого Троцкого) «святого» русского бунта, — «восстание», преследующее цель «утверждения власти».

Но вместе с тем нельзя не видеть, что Троцкий и его сподвижники смогли оказаться у власти именно и только *благодаря* этому русскому бунту, который означал ликвидацию власти вообще. Большевики ведь, в сущности, не захватили, не завоевали, но лишь подняли выпавшую из рук их предшественников власть; во время Октябрьского переворота даже почти не было человеческих жертв, хотя вроде бы совершился «решительный бой». Но затем жертвы стали исчисляться миллионами, ибо большевикам пришлось в полном смысле слова «бешено» бороться за удержание и упрочение власти...

При этом дело шло как о вертикали власти (новые правящие «верхи» — и «низы», которых еще нужно было «подчинить»), так и об ее горизонтали — то есть об овладении всем гигантским пространством России, ибо распад государственности после Февраля закономерно привел к распаду самой страны.

Александр Блок записал 12 июля 1917 года: «Отделение» Финляндии и Украины сегодня вдруг испугало меня. Я начинаю бояться за «Великую Россию»...» (т. 7, с. 279). Речь шла о событиях, описанных в «Очерках русской смуты» А.И. Деникина так: «Весь май и июнь (1917 года. — *В. К.*) протекали в борьбе за власть между правительством (Временным, в Петрограде. — *В. К.*) и самочинно возникшей на Украине Центральной Радой, причем собравшийся без разрешения 8 июня Всеукраинский военный съезд потребовал от правительства (Петроградского. — *В. К.*), чтобы оно немедленно признало все требования, предъявляемые Центральной Радой... 12 июня объявлен универсал об автономии Украины и образован секретариат (совет министров)... Центральная Рада и секретариат, захватывая постепенно в свои руки управление... дискредитировали

общерусскую власть, вызывали междоусобную рознь...» («Вопросы истории», 1990, № 5, с. 146—147).

В сентябре вслед за Украиной начал отделяться Северный Кавказ, где (в Екатеринодаре) возникло «Объединенное правительство Юго-восточного союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей», в ноябре — Закавказье (основание «Закавказского комиссариата» в Тифлисе), в декабре — Молдавия (Бессарабия) и Литва и т.д. Провозглашали свою «независимость» и отдельные регионы, губернии и даже уезды! Следует обратить внимание на тот выразительный факт, что позднее против различных «независимых» властей в России боролись в равной мере и Красная, и Белая армии (например, против правительств Петлюры и Жордании).

Возникновение «независимых государств» с неизбежностью порождало кровавые межнациональные конфликты, в частности в Закавказье. Страдали и жившие здесь русские: «В то время как закавказские народы в огне и крови разрешали вопросы своего бытия, — рассказывал 75 лет назад А.И. Деникин, — в стороне от борьбы, но жестоко страдая от ее последствий, стояло полумиллионное русское население края (Закавказья. — *В. К.*), а также те, кто, не принадлежа к русской национальности, признавали себя все же российскими подданными. Попав в положение «иностранцев», лишенные участия в государственной жизни... под угрозой суровых законов... о «подданстве»... русские люди теряли окончательно почву под ногами... Я не говорю уже о моральном самочувствии людей, которым закавказская пресса и стенограммы национальных советов подносили беззастенчивую хулу на Россию и повествование о «рабстве, насилиях, притеснениях, о море крови, пролитом свергнутой властью»... Их крови, которая ведь перестала напрасно литься только со времени водворения... «русского владычества»...» (там же, 1992, № 4—5, с. 97).

Важно осознать, что катастрофический распад страны был следствием именно Февральского переворота, хотя распад этот продолжался, конечно, и после Октября.

«Бунт», разумеется, развертывался с сокрушительной силой и в собственно русских регионах.

В советской историографии господствовала точка зрения, согласно которой народное бунтарство между Февралем и Октябрем было-де борьбой за социализм-коммунизм против буржуазной (или хотя бы примиренческой по отношению к буржуазному, капиталистическому пути) власти, а мятежи после Октября являлись, мол, уже делом «кулаков» и других «буржуазных элементов». Как бы в противовес этому в последнее время была выдвинута концепция всенародной борьбы против социализма-коммунизма в послеоктябрьское время — концепция, наиболее широко разработанная эмигрантским историком и демографом М.С. Бернштамом.

И та и другая точки зрения (и сугубо советская, и столь же сугубо «антисоветская») едва ли верны. О том, что «русский бунт» после Февраля вовсе не был по своей сути социалистически-коммунистическим, уже не раз говорилось выше. Но стоит процитировать еще суждения очень влиятельного и осведомленного послефевральского деятеля В.Б. Станкевича (1884—1969). Юрист и журналист, затем офицер (во время войны), он был ближайшим соратником Керенского и по масонской, и по правительственной линии, являлся членом ЦИК Петроградского Совета и одновременно одним из главных военных комиссаров Временного правительства, но довольно рано понял обреченность героев Февраля. В своих весьма умных мемуарах, изданных в 1920 году в Берлине, он писал, что после Февраля «масса... вообще никем не руководится... она живет своими законами и ощущениями, которые не укладываются ни в одну идеологию, ни в одну организацию, которые вообще против всякой идеологии и организации...

Станкевич размышлял о солдатах, взбунтовавшихся в феврале: «С каким лозунгом вышли солдаты? Они шли, повинуясь какому-то тайному голосу, и с видимым равнодушием и холодностью позволили потом навешивать на себя всевозможные лозунги... Не политическая мысль, не революционный лозунг, не заговор и не бунт (Станкевич явно счел даже это слово слишком «узким» для обозначения

того, что происходило. — *В. К.*), а стихийное движение, сразу испепелившее всю старую власть без остатка: и в городах, и в провинции, и полицейскую, и военную, и власть самоуправлений. Неизвестное, таинственное и иррациональное, коренящееся в скованном виде в народных глубинах, вдруг засверкало штыками, загремело выстрелами, загудело, заволновалось серыми толпами на улицах»[20].

Советская историография пыталась доказывать, что это «стихийное движение» было по своей сути «классовым» и вскоре пошло-де за большевиками. А нынешний «антисоветский» историк М.С. Бернштам, напротив, настаивает на том, что после Октября народное движение было всецело направлено против социализма-коммунизма (ту же точку зрения — независимо от этого эмигранта — выдвигал в ряде недавних своих сочинений и В.А. Солоухин).

Бунин, который прямо и непосредственно наблюдал «русский бунт», словно предвидя появление в будущем сочинений, подобных бернштамовскому, записал в дневнике 5 мая 1919 года: «... мужики... на десятки верст разрушают железную дорогу (будто бы для того, чтобы «не пропустить» коммунизм. — *В. К.*). Плохо верю в их «идейность». Вероятно, впоследствии это будет рассматриваться как «борьба народа с большевиками»... дело заключается... в охоте к разбойничьей, вольной жизни, которой снова охвачены теперь сотни тысяч...» (указ. соч., с. 112).

Нельзя не заметить, что М.С. Бернштам — по сути дела, подобно ортодоксальным советским историкам — предлагает «классовое» или, во всяком случае, политическое толкование «русского бунта» (как антикоммунистического), хотя и «оценивает» антикоммунизм совсем по-иному, чем советская историография. В высшей степени характерно, что он опирается в своей работе почти исключительно на большевистские тезисы и исследования. «В.И. Ленин... — с удовлетворением констатирует, например, М.С. Бернштам, — указывал, что эта сила крестьянского и общенародного повстанчества, или, в его терминах, мелкобуржуазной стихии, оказалась для коммунисти-

ческого режима опаснее всех белых армий, вместе взятых»[21]. Действительно, В.И. Ленин — кстати сказать, в полном согласии с приведенными выше суждениями Л.Д. Троцкого — не раз утверждал, что «мелкобуржуазная анархическая стихия» представляет собой «опасность, во много раз (даже так! — *В. К.*) превышающую всех Деникиных, Колчаков и Юденичей, сложенных вместе» (т. 43, с. 18), что она — «самый опасный враг пролетарской диктатуры» (там же, с. 32).

Ссылается М.С. Бернштам и на множество работ советских историков, в том числе самых что ни есть «догматических». Так, он пишет: «Источники насчитывают сотни восстаний по месяцам сквозь всю войну 1917—1922 годов. Советский историк Л.М. Спирин обобщает: «С уверенностью можно сказать, что не было не только ни одной губернии, но и ни одного уезда, где бы не происходили выступления и восстания населения против коммунистического режима». Правда, М.С. Бернштаму, очевидно, не понравились классовые оценки Л.М. Спирина, и он при «цитировании» попросту заменил их своими: у советского историка вместо неопределенного «населения» сказано: «кулаков, богатых крестьян и части середняков». Между тем, добавив опять-таки от себя в цитату из Л.М. Спирина слова «против коммунистического режима»[22], М.С. Бернштам сам таким образом встал именно на «классовую», чисто «политическую» точку зрения — «население» восставало, мол, против определенного строя, а не против *любой*, всякой власти.

Но вглядимся в также опирающееся на бесспорные факты «обобщение» другого советского историка, Е.В. Иллерицкой: «К ноябрю 1917 г. (то есть к 25 октября /7 ноября. — *В. К.*) 91,2% уездов оказались охваченными аграрным движением, в котором все более преобладали активные формы борьбы, превращавшие это движение в крестьянское восстание. Важно отметить, что карательная политика Временного правительства осенью 1917 г. ...перестала достигать своих целей. Солдаты все чаще отказывались наказывать крестьян...»[23]

Итак, хотя Временное правительство не насаждало

коммунизм, бунт и при нем имел всеобщий характер (91,2% всех уездов!). Но, пожалуй, еще выразительнее тот факт, что и после Октября «русский бунт» обращался вовсе не только против красных, но и против белых властей! Об этом, кстати сказать, упоминает — правда, бегло — и сам М.С. Бернштам. Не желая, надо думать, совсем закрыть глаза на реальное положение дела, он пишет, что народное повстанчество 1918—1920 годов являло собой «сражение и против красных, и против белых» (с. 18), и в глазах народа «белые такие же насильники, как и красные» (с. 74). Но тем самым, в сущности, всецело подрывается его общая концепция, согласно которой бунт был направлен именно против «коммунизма»; он был направлен против всякой власти вообще и, в частности, против любых видов «податей» и «рекрутства» (пользуясь вышеприведенными определениями Гаккебуша-Горелова), без которых и немыслимо существование государственности.

После разрушения веками существовавшего Государства народ явно не хотел признавать никаких форм государственности. Об этом горестно писал в феврале 1918 года видный меньшевистский деятель, а впоследствии один из ведущих советских дипломатов И.М. Майский (Ляховецкий, 1884—1975): «...когда великий переворот 1917 г. (имеется в виду Февраль. — *В. К.*) смел с лица земли старый режим, когда раздались оковы и народ почувствовал, что он свободен, что нет больше внешних преград, мешающих выявлению его воли и желаний, — он, это большое дитя, наивно решил, что настал великий момент осуществления тысячелетнего царства блаженства, которое должно ему принести не только частичное, но и полное освобождение»[24].

Оставим в стороне выражения вроде «большое дитя» (поистине детскую наивность проявили как раз вожаки Февраля, совершенно не понимавшие, чем обернется для них самих разрушение Государства); существенна мысль о «блаженной» беспредельной воле, мечта о которой всегда жила в народных глубинах и со всей очевидностью воплотилась в русском фольклоре — и во множестве лирических

песен, и в заветных сказках о не подвластных никому и ничему Иванушке и тезке Пугачева — Емеле...

Но совершенно ясно (об этом уже шла речь выше), что при таком безгранично вольном, пользуясь модным термином, «менталитете» народа само бытие России попросту невозможно, немыслимо без мощной и твердой государственной власти; власть западноевропейского типа, о коей грезили герои Февраля, для России заведомо и полностью непригодна...

И, взяв в Октябре власть, большевики в течение длительного времени боролись вовсе не за социализм-коммунизм, а за удержание и упрочение власти, — хотя мало кто из них сознавал это с действительной ясностью. То, что было названо периодом «военного коммунизма» (1918 — начало 1921 года), на деле являло собой «бешеную», по слову Троцкого, борьбу за утверждение власти, а не создание определенной социально-экономической системы; в высшей степени характерно, что, так или иначе утвердив к 1921 году границы и устои государства, большевики провозгласили «новую экономическую политику» (нэп), которая в действительности была вовсе не «новой», ибо, по сути дела, возвращала страну к прежним хозяйственным и бытовым основам. Реальное «строительство» социализма-коммунизма началось лишь к концу 1920-х годов.

Сами большевики определяли нэп как свое «отступление» в экономической сфере, но это, в сущности, миф, ибо «отступать» можно от чего-то уже достигнутого. Между тем к 1921 году подавляющее большинство — примерно 90 процентов — промышленных предприятий просто не работало (ни по-капиталистически, ни по-коммунистически), а крестьяне работали и жили, в общем, так же, как и до 1917 года (хотя имели до 1921 года очень мало возможностей для торговли своей продукцией). Слово «отступление» призвано было, в сущности, «успокоить» тех, кто считал Россию уже в каком-то смысле социалистически-коммунистической страной: Россия, мол, только на некоторое время вернется от коммунизма к старым экономическим порядкам.

Подлинно глубокий историк и мыслитель Л.П. Карсавин, высланный за границу в ноябре 1922 года, писал в своем трактате, изданном в следующем же, 1923 году в Берлине: «Тысячи наивных коммунистов... искренне верили в то, что, закрывая рынки и «уничтожая капитал», они вводят социализм... Но разве нет непрерывной связи этой политики с экономическими мерами последних царских министров, с программою того же Риттиха (министр земледелия в 1916-м — начале 1917 г. — *В. К.*)? Возможно ли было в стране с бегущей по всем дорогам армией, с разрушающимся транспортом... спасти города от абсолютного голода иначе, как реквизируя и распределяя, грабя банки, магазины, рынки, прекращая свободную торговлю? Даже этими героическими средствами достигалось спасение от голодной смерти только части городского населения и вместе с ним правительственного аппарата: другая часть вымирала. И можно ли было заставить работать необходимый для всей этой политики аппарат — матросов, красноармейцев, юнцов-революционеров иначе, как с помощью понятных и давно знакомых им по социалистической пропаганде лозунгов?.. коммунистическая идеология (так называемый «военный коммунизм». — *В. К.*) оказалась полезною этикеткою для жестокой необходимости... И немудрено, что, плывя по течению, большевики воображали, будто вводят коммунизм»[25].

В свете всего этого становится ясно, что народ в первые годы после Октября (как и после Февраля) оказывал сопротивление новой власти (причем любой власти — и красных, и белых), а не еще не существовавшему тогда социализму-коммунизму. И главная, поглощающая все основные усилия задача большевиков состояла тогда — хотя они мало или даже совсем не осознавали это — в утверждении и укреплении власти как таковой.

Михаил Пришвин — единственный из крупнейших писателей, проживший все эти годы в деревне, — записал 11 сентября 1922 года: «... крестьянин потому идет против коммуны, что он идет против власти».

* * *

В связи с этим в высшей степени уместно обратиться к высказываниям одного из наиболее выдающихся руководителей и идеологов черносотенства — Б.В. Никольского. Через два месяца после Октябрьского переворота этот ученик и продолжатель Константина Леонтьева писал (29 декабря 1917/11 января 1918 года): «Патриотизм и монархизм одни могут обеспечить России свободу, законность, благоденствие, порядок и действительно демократическое устройство...» — и выдвигал предположение, что «теперь самый исступленный большевик начинает признавать не только правизну, но и правоту моих убеждений»[26]. Это, конечно, было слишком, так сказать, лестное для большевиков предположение; за редчайшими исключениями, они не имели ни силы, ни смелости мышления, чтобы осознать это. И позднее, в октябре следующего, 1918 года, Б.В. Никольский так писал о большевиках:

«В активной политике они с нескудеющею энергиею занимаются самоубийственным для них разрушением России, одновременно с тем выполняя всю закладку объединительной политики по нашей, русской патриотической программе, созидая вопреки своей воле и мысли новый фундамент для того, что сами разрушают...» Вместе с тем, продолжал Никольский, «разрушение исторически неизбежно, необходимо: не оживет, аще не умрет... Ни лицемерия, ни коварства в этом смысле в них (большевиках. — *В. К.*) нет: они поистине орудия исторической неизбежности... лучшие в их среде сами это чувствуют как кошмар, как мурашки по спине, боясь в этом сознаться себе самим; с другой стороны, в этом их Немезида; несите тяготы власти, захватив власть! Знайте шапку Мономаха!..» И далее: ...они все поджигают и опрокидывают; но среди смердящих и дымящихся пожарищ будет необходимо строить с таким нечеловеческим напряжением, которого не выдержать было бы никому из прежних деятелей, — а у них (большевиков. — *В. К.*) никого, кроме обезумевшей толпы» (там же, с. 271—272).

Комментируя эти суждения Б.В. Никольского, их публикатор С.В. Шумихин утверждает, что они-де «дают основание пересмотреть традиционную для отечественной историографии... схему, согласно которой монархисты всех оттенков — от умеренных консерваторов до черносотенцев — автоматически оказывались на противоположном от большевиков полюсе и a priori зачислялись в разряд их непримиримых врагов». Между тем, возражает С.В. Шумихин, «осмысление событий привело его (Б.В. Никольского. — *В. К.*) к позиции сочувственного нейтралитета по отношению к советской власти. Быть может, в его сознании вырисовывались контуры возможного черносотенно-большевистского симбиоза. Однако этим чаяниям не суждено было сбыться» (с. 341, 347).

Тезис о подобном «симбиозе» отнюдь не какая-либо новинка (хотя неосведомленным людям он может показаться таковой). Многие либералы после Октября пытались уверять, что-де Ленин, Свердлов, Троцкий, Зиновьев и др. действуют совместно с черносотенцами, хотя ни одного имени реальных сподвижников большевизма из числа вожаков Союза русского народа и т.п. при этом, понятно, никогда не было названо. Дело заключалось в том, что черносотенцы к 1917 году были «очернены» до немыслимых пределов, и присовокупление их к большевикам имело целью окончательно, так сказать, дискредитировать последних. И сегодня этот прием снова пущен в оборот.

И С.В. Шумихин явно не хочет обращать внимания на тот факт, что Б.В. Никольский с полной определенностью говорит здесь же о невозможности какого-либо своего сближения с большевиками: «Делать то, что они делают, я по совести не могу и не стану; сотрудником их я не был и не буду», — подчеркивает он и, заявляя тут же, что «я не иду и не пойду против них», объясняет свой «нейтралитет» тем, что большевики — «неудержимые и верные исполнители исторической неизбежности... и правят Россией... Божиим гневом и попущением... Они власть, которая нами заслужена и которая исполняет волю Промысла, хотя сама того не хочет и не думает» (с. 372) — и отмечает еще:

«Враги у нас (с большевиками. — *В. К.*) общие — эсеры, кадеты и до октябристов включительно» (с. 371). Ранее он писал: «Чем большевики хуже кадетов, эсеров, октябристов?.. Россиею правят сейчас карающий Бог и беспощадная история, какие бы черви ни заводились в ее зияющих ранах» (с. 360).

Необходимо уяснить кардинальное, коренное отличие взглядов черносотенца от позиций либералов и противостоявших большевикам революционеров (прежде всего эсеров).

Если не считать отдельных и запоздалых «исключений», герои Февраля, в сущности, не признавали своей вины в разрушении Русского государства. Они пытались уверять, что содеянное ими было в своей основе — не считая тех или иных «ошибок» — вполне правильным и всецело позитивным. Беда, по их мнению, состояла в том, что русский народ оказался недостоин их прекрасных замыслов и пошел за большевиками, каковые все испортили... И «выход» либералы и революционеры усматривали в непримиримой борьбе с большевиками за власть — то есть в гражданской войне...

Б.В. Никольский, напротив, принимал вину даже и на самого себя: большевики, по его словам, «власть, которая *нами* заслужена», и добавлял, что «глубока чаша испытаний и далеко еще до дна. Доживу ли я до конца — кто знает (Борис Владимирович был без суда расстрелян в конце июля или в начале августа 1919 года. — *В. К.*). Да, великие требования предъявляет к нам история, и только претерпевый до конца, той спасется...

Страданий полон путь безвестный,
Темнее ночь,
И мы должны под ношей крестной
Не изнемочь ...» (с. 373).

Поэтические строки Б.В. Никольского невольно побуждают вспомнить о стихотворении другого черносотенного деятеля, С.С. Бехтеева (1879—1954), — стихотворении, которое, как известно, перед своей гибелью потрясенно читала и переписывала семья Николая II:

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей...

И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и униженья,
Христос, Спаситель, помоги!..

И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов![27]

Итак, Б.В. Никольский, утверждая, что власть большевиков — это беспощадная кара, заслуженная Россией (в том числе и им лично), что они «правят Россией Божиим гневом», вместе с тем признает, что большевики все-таки, в отличие от тех, кто оказался у власти в Феврале, — «правят», все-таки «строят» государство, — притом строят «с таким нечеловеческим напряжением, которого не выдержать было бы никаким прежним деятелям»; ведь после Февраля в стране нет «никого, кроме обезумевшей толпы». И он определяет большевиков вроде бы лестно — «верные исполнители исторической неизбежности», но ни в коей мере не «сочувственно», вопреки утверждению С.В. Шумихина. Верно предвидя грядущее (что вообще было присуще черносотенцам, не увлекавшимся всякого рода прожектами), Б.В. Никольский уже в апреле 1918 года писал о неизбежном будущем подавлении Революции ею же порожденным «цезаризмом», но отнюдь не собирался «присоединяться» и к этому цезаризму.

«Царствовавшая династия кончена... — утверждал он. — Та монархия, к которой мы летим, должна быть цезаризмом, т.е. таким же отрицанием монархической идеи, как революция (мысль исключительно важная. — *В. К.*). До настоящей же монархии, неизбежной, благодатной и воскресной... далеко, и путь наш тернист, ужасен и мучителен, а наша ночь так темна, что утро мне даже не снится» (с. 360). (Из последних слов вполне ясно, что Никольский,

вопреки утверждениям Шумихина, никаких своих надежд на большевиков не возлагал.)

Известно, что о закономерном приходе «цезаря», или «бонапарта», писали многие — например, В.В. Шульгин и так называемые сменовеховцы. Но, во-первых, это было позднее, уже после окончания Гражданской войны и провозглашения нэпа (а не в начале 1918 года!), а во-вторых, люди, подобные В.В. Шульгину и сменовеховцам, выражали свою готовность присоединиться к этому «цезаризму», усматривая в нем нечто якобы вполне соответствующее русскому духу. Б.В. Никольский же видел в будущем «цезаре» такое же «отрицание» подлинной патриотической идеи, как и в самой Революции.

Очевидно, что Б.В. Никольскому даже и «не снился» какой-либо «черносотенно-большевистский симбиоз» — хотя публикатор его писем и пытается внушить их читателям обратное. Б.В. Никольский ведет речь лишь о том, что большевики самим ходом вещей вынуждены — «вопреки своей воле и мысли» — строить государство (и по горизонтали, то есть собирая распавшиеся части России, и по вертикали, создавая властные структуры в условиях безудержного «русского бунта») и полной мерой «нести тяготы власти». А Б.В. Никольский со всей ясностью сознавал, что без мощной и прочной государственности попросту немыслимо само существование России. И потому как истинный патриот, для которого Россия — «превыше всего», Б.В. Никольский заявил: «я не иду и не пойду против них» (большевиков).

И в то время, и сегодня, конечно же, могло и может прозвучать решительное и негодующее возражение, что-де Белая армия боролась именно за Россию и каждый патриот должен был именно в ее рядах сражаться против большевиков, за Россию.

* * *

Вопрос о Белой армии необходимо уяснить со всей определенностью. Во-первых, никак нельзя оспорить того факта, что все главные создатели и вожди Белой армии

были по самой своей сути «детьми Февраля». Ее основоположник генерал М.В. Алексеев (с августа 1915-го до февраля 1917-го — начальник штаба Верховного главнокомандующего, то есть Николая II; после переворота сел на его место) был еще с 1915 года причастен к заговору, ставившему целью свержение Николая II, а в 1917-м фактически осуществил это свержение, путем жесткого нажима убедив царя, что петроградский бунт непреодолим и что армия-де целиком и полностью поддерживает замыслы масонских заговорщиков.

Главный соратник Алексеева в этом деле, командующий Северным фронтом генерал Н.В. Рузский (который прямо и непосредственно «давил» на царя в февральские дни), позднее признал, что Алексеев, держа в руках армию, вполне мог прекратить февральские «беспорядки» в Петрограде, но «предпочел оказать давление на Государя и увлек других главнокомандующих»[28]. А после отречения Государя именно Алексеев первым объявил ему (8 марта): ...«Ваше Величество должны себя считать как бы арестованным»... Государь ничего не ответил, побледнел и отвернулся от Алексеева» (там же, с. 78, 79); впрочем, еще в ночь на 3 марта Николай II записал в дневнике, явно имея в виду и генералов Алексеева и Рузского: «Кругом измена, и трусость, и обман!»[29]

Как уже говорилось, Н.Н. Берберова утверждала, что и М.В. Алексеев, и Н.В. Рузский были масонами[30] и потому, естественно, стремились уничтожить историческую государственность России. Виднейший современный историк российского масонства В.И. Старцев, в отличие от Н.Н. Берберовой, полагает, что «факт» принадлежности этих генералов к масонству «пока еще не доказан», хотя и не исключает сего факта[31], признавая, в частности, достоверность сообщений, согласно которым Н.В. Рузский участвовал в масонских собраниях в доме своего двоюродного брата, профессора Д.П. Рузского — одного из лидеров масонства, секретаря его Петроградского совета (там же, с. 144, 153).

П.Н. Милюков свидетельствовал, что еще осенью 1916 года генерал Алексеев разрабатывал «план ареста царицы

(ее считали главной «вдохновительницей» Николая II. — *В. К.*) в ставке и заточения»[32]. А особенно осведомленный Н.Д. Соколов сообщил, что 9 (22) февраля 1917 года Н.В. Рузский вместе с заправилами будущего переворота обсуждал проект, предусматривавший, что Николая II по дороге из ставки в Царское Село «задержат и заставят отречься» (там же, с. 96) — как это в точности и произошло 2—3 марта...

Один из самых выдающихся представителей царской семьи в период Революции, сын младшего сына Николая I великий князь Александр Михайлович (1866—1933), которого, между прочим, вполне заслуженно называли «отцом русской военной авиации», писал в своих изданных (в год его кончины) в Париже мемуарах: «Генерал Алексеев связал себя заговорами с врагами существовавшего строя»[33].

Итак, нельзя с полной уверенностью утверждать (поскольку нет неопровержимых сведений), что создатель Белой армии М.В. Алексеев был членом масонской организации, но, как свидетельствовал А.И. Гучков — и скрупулезный историк В.И. Старцев не оспаривает это свидетельство, — генерал «был настолько осведомлен, что делался косвенным участником»[34] (то есть участником заговора масонов-«февралистов»).

Что же касается других главных вождей Белой армии, генералов А.И. Деникина и Л.Г Корнилова и адмирала А.В. Колчака, — они так или иначе были единомышленниками Алексеева. Все они сделали блистательную карьеру именно *после Февраля*. Военный министр в первом составе Временного правительства, Гучков вспоминал, как ему трудно было назначать на высшие посты Корнилова и Деникина. О Корнилове Гучков говорил: «Его служебная карьера была такова: он в боях командовал только дивизией; командование корпусом (с конца 1916 года. — *В. К.*), откуда я взял его в Петербург, происходило в условиях отсутствия вооруженных столкновений. Поэтому такой скачок... до командования фронтом считался недопустимым» (там же, с. 12). Тем не менее в самый момент переворота Корнилов стал командующим важнейшим Петроградским военным округом, 7 июля — командующим Юго-Западным

фронтом, а 19 июля Керенский назначил его уже Главковерхом!

То же относится и к Деникину, который вскоре после Февраля стал начальником штаба Главковерха (то есть занял пост, который до Февраля занимал Алексеев); Гучков отметил, что «иерархически это был большой скачок... только что командовал (Деникин. — *В. К.*) дивизией или корпусом» (там же, с. 10); говоря точнее, генерал до сентября 1916 года был командиром (начальником) дивизии, а затем — до переворота — командовал корпусом на второстепенном Румынском фронте. Дабы стало ясно, какую головокружительную карьеру сделали в Феврале Корнилов и Деникин, приведу выразительные цифры, установленные А.Г Кавтарадзе: в Русской армии к 1917 году было ни много ни мало 68 командиров (начальников) корпусов и 240 — дивизий[35]. При этом очень значительная часть этих военачальников после Февральского переворота была — в противоположность беспрецедентному взлету Корнилова и Деникина — изгнана из армии. Сам Деникин писал об этом так: «Военные реформы начались с увольнения огромного числа командующих генералов... В течение нескольких недель были уволены... до *полутораста* старших начальников» («Вопросы истории», 1990, № 7, с. 107, 108), то есть около половины...

А.В. Колчак занимал до Февраля более высокий пост, чем Деникин и Корнилов: с июня 1916 года он был командующим Черноморским флотом. Но, как утверждает В.И. Старцев, «командующие флотами... Непенин[36] и Колчак были назначены на свои должности благодаря ряду интриг, причем исходной точкой послужила их репутация — либералов и оппозиционеров»[37].

Последний военный министр Временного правительства генерал А.И. Верховский (человек, конечно, весьма «посвященный», хотя и, насколько известно, не принадлежавший к масонству) писал в своих мемуарах: «Колчак еще со времени японской войны был в постоянном столкновении с царским правительством и, наоборот, в тесном общении с представителями буржуазии в Государственной думе». И когда в июне 1916 года Колчак стал командую-

щим Черноморским флотом, «это назначение молодого адмирала потрясло всех: он был выдвинут в нарушение всяких прав старшинства, в обход целого ряда лично известных царю адмиралов и несмотря на то, что его близость с думскими кругами была известна императору... Выдвижение Колчака было первой крупной победой этих (думских. — *В. К.*) кругов». А в Феврале и «партия эсеров мобилизовала сотни своих членов — матросов, частично старых подпольщиков, на поддержку адмирала Колчака... Живые и энергичные агитаторы сновали по кораблям, превознося и военные таланты адмирала, и его преданность революции»[38]. Вскоре Временное правительство производит Колчака в «полные» адмиралы.

Далее, все будущие вожди Белой армии имели впечатляющие «революционные заслуги». Корнилов 7 марта лично арестовал в Царском Селе императрицу и детей Николая II[39].

Нельзя не упомянуть и об еще одной «революционной» акции Лавра Георгиевича. Реальным *началом* Февральской революции явился бунт располагавшейся в Петрограде учебной команды лейб-гвардии (!) Волынского полка. Ранним утром 27 февраля 1917 года начальник этой команды штабс-капитан Лашкевич, придя в казарму, попытался повести солдат в город для пресечения вызванных продовольственными трудностями «беспорядков». Фельдфебель Кирпичников, который заранее распропагандировал солдат, потребовал от офицера покинуть казарму, а затем или он сам, или, может быть, кто-то из солдат (мнения расходятся, так как бунтовщики, по-видимому, договорились о круговой поруке) убил штабс-капитана выстрелом в спину. После этого «повязанные кровью» солдаты взбунтовались и сумели присоединить к себе расположенные по соседству лейб-гвардии Преображенский и Литовский полки, что окончательно решило победу революции.

Как бы ни оценивать Февральскую революцию, убийство офицера выстрелом в спину едва ли являло собой геройское деяние. Тем не менее назначенный 2 марта командующим Петроградским военным округом генерал-

лейтенант Корнилов лично наградил Кирпичникова Георгиевским крестом...

Правда, «герой» оказался слишком простодушным человеком. Летом следующего, 1918 года, когда ситуация была уже совсем иной, он отправился на Дон, в Добровольческую армию, возглавляемую наградившим его Корниловым, но ближайший тогда сподвижник Корнилова, А.П. Кутепов, в штаб дивизии которого заявился Кирпичников, приказал без каких-либо разбирательств расстрелять этого героя Февраля. Наградивший же его Корнилов никакого наказания за это не получил, что едва ли справедливо... (см., напр.: *Иоффе Г.З.* «Белое дело». Генерал Корнилов. М., 1989, с. 38).

Но вернемся к 7 марта, когда Корнилов лично арестовал императорскую семью. На следующий день, 8 марта, словно вступая в соревнование с подчиненным ему Корниловым, генерал от инфантерии Алексеев в Могилеве объявил об аресте самому императору и сдал его думскому конвою. Затем в Крыму заместитель Колчака (которого как раз в этот момент вызвало в Петроград Временное правительство) контр-адмирал В.К. Лукин руководил арестом находившихся там великих князей, в том числе только что упоминавшегося Александра Михайловича (см.: *Верховский А.И.*, цит. соч., с. 239—240).

Все это достаточно ясно характеризует политическое лицо будущих вождей Белой армии. Могут, конечно, возразить, что позднее эти люди изменили свои убеждения: ведь уже в августе 1917 года Керенский объявил их «контрреволюционерами» и даже приказал арестовать Деникина и Корнилова (как ни парадоксально, арест его осуществил Алексеев, который был тогда начальником штаба Главковерха — Керенского, а всего через три с половиной месяца Алексеев и Корнилов возглавили Добровольческую, то есть Белую, армию).

Но это было, по сути дела, противостояние в одном «февральском» стане; конфликт объяснялся главным образом тем, что Керенский, сознавая свое бессилие в условиях нараставшего с каждым месяцем «русского бунта», усматривал выход в «компромиссах» и с ним, и с исполь-

зующими в своих целях этот бунт большевиками. Особенное возмущение в военной среде вызвал тот факт, что, отдав приказ об аресте Корнилова, Керенский одновременно приказал освободить Троцкого (который был арестован в связи с июльским выступлением большевиков и провел в заключении сорок дней).

Здесь уместно сослаться на тезисы о «Белой идее» из подготовленного ветеранами-эмигрантами издания, посвященного двадцатилетнему юбилею Белой армии (оно вышло в свет в Нью-Йорке в 1937 году). Ближайший сподвижник самого, пожалуй, «консервативного» из белых вождей, П.Н. Краснова, командующий Донской армией генерал С.В. Денисов все же недвусмысленно утверждал на страницах этой книги:

«Генерал Корнилов имел полное основание не доверять Временному правительству, которое, постепенно изменяясь в составе, в конечном итоге утеряло признаки власти, созданной революцией (Февральской. — *В. К.*). Временное правительство... пошло по скользкому пути непристойных уступок черни и отбросам Русского народа... Все без исключения Вожди, и Старшие и Младшие (Белой армии. — *В. К.*)... приказывали подчиненным... содействовать Новому укладу жизни и отнюдь, и никогда не призывали к защите Старого строя и не шли против общего течения... На знаменах Белой Идеи было начертано: к Учредительному Собранию, т.е. то же самое, что значилось и на знаменах Февральской революции... Вожди и военачальники не шли против Февральской революции и никогда и никому из своих подчиненных не приказывали идти таковым путем»[40].

Можно признать, что те или иные лица и даже группы людей в составе Белой армии исповедовали и в какой-то мере открыто выражали другие настроения и устремления, — в том числе и подразумевающие прямую и полную реставрацию вековых устоев России. Но это никак не определяло основную и официальную линию, в которой, как сказано в той же книге, «нет и тени каких бы то ни было реставрационных вожделений» (с. 14).

* * *

Интереснейший и в высшей степени основательный исследователь М.В. Назаров, который, кстати сказать, в ряде существенных аспектов понимает проблему Белой армии по-другому, чем я, четко сформулировал (в своей работе «Политический спектр первой эмиграции»): «При всем уважении к героизму белых воинов следует признать, что политика их правительств (не только «правительств» в прямом смысле слова: ведь здесь же М.В. Назаров отмечает, что и «ген. Деникин был «левее», чем его армия». — *В. К.*) была в основном лишь реакцией Февраля на Октябрь — что и привело их к поражению так же, как незадолго до того уже потерпел поражение сам Февраль»[41].

Иначе говоря, борьба Красной и Белой армий вовсе не была борьбой между «новой» и «старой» властями; это была борьба двух «*новых*» властей — Февральской и Октябрьской. Нельзя, правда, не оговорить, что М.В. Назаров, противореча своему процитированному обобщающему тезису, не раз стремится преуменьшить и ограничить «февралистскую» направленность Белой армии. Он говорит, например, о «февральских элементах (только! — *В. К.*) в Белом движении» и о том, что «большинство его вождей» шло «на вынужденную зависимость от недружественных России иностранных сил» (там же, с. 184). Но выше уже было показано, что не какие-то там «элементы», а главные руководители — Алексеев, Корнилов, Деникин и Колчак — были несомненными «героями Февраля», и их теснейшая связь (а не «зависимость») с силами Запада была совершенно естественной, вовсе не «вынужденной».

М.В. Назаров немало — и абсолютно верно — говорит о предательском поведении Запада в отношении Белой армии. Но этот вопрос явно имеет двойственный характер. Политика Запада исходила, во-первых, из чисто прагматических соображений, которые для него всегда играли определяющую роль: стоит ли вкладывать средства и усилия в Белую армию, «окупится» ли это? И когда к концу 1918 года Деникину удалось объединить антибольшевистские

(в частности, белоказачьи) силы на юге России, Запад стал достаточно щедрым. Рассказав в своих «Очерках русской смуты» о предшествующей катастрофической нехватке вооружения, Деникин удовлетворенно констатировал, что «с февраля (1919 года. — *В. К.*) начался подвоз английского снабжения. Недостаток в боевом снабжении с тех пор мы испытывали редко»[42]. Не приходится сомневаться, что без этого «снабжения» был бы немыслим триумфальный поначалу поход Деникина на Москву, достигший в октябре 1919 года Орла.

Во-вторых, Запад издавна и даже извечно был категорически против самого существования великой — мощной и ни от кого не зависящей — России и никак не мог допустить, чтобы в результате победы Белой армии такая Россия восстановилась. Запад, в частности в 1918—1922 годах, делал все возможное для расчленения России, всемерно поддерживая любые сепаратистские устремления. Деникин подробно рассказал об этом в своем труде — рассказал подчас с достаточно резким возмущением (между прочим, сообщая о весомейшей английской помощи с февраля 1919 года — «пароходы с вооружением, снаряжением, одеждой и другим имуществом, по расчету на 250 тысяч человек», — он тут же с горечью замечает: «Но вскоре мы узнали, что есть... «две Англии» и «две английские политики»...») («Вопросы истории», 1993, № 7, с. 100).

Вместе с тем совершенно очевидно, что и самое крайнее возмущение не могло побудить генерала и его соратников не только порвать с Западом, но и хотя бы выступить с протестом против его политики в России. И дело здесь не только в том, что Белая армия была бы бессильной без западной помощи и поддержки.

Биограф А.И. Деникина Д. Лехович вполне верно определил политическую платформу Деникина как «либерализм», основанный на вере в то, что «кадетская партия... сможет привести Россию... к конституционной монархии британского типа»[43]; соответственно, «идея верности союзникам (Великобритания, Франция, США. — *В. К.*) приобрела характер символа веры» (там же, с. 158). Без всякого преувеличения следует сказать, что Антон Иванович Дени-

кин находился в безусловном подчинении у Запада. Это особенно ясно из его покорного признания «верховенства» А.В. Колчака.

Дело в том, что еще с ноября 1917 года Деникин был одним из вожаков формирующейся Белой — Добровольческой — армии, а с сентября 1918-го, после кончины М.В. Алексеева, стал ее главнокомандующим. Между тем Колчак лишь через два месяца после этого, в ноябре 1918 года, *начал* боевые действия против большевиков в Сибири и тем не менее был тут же объявлен Верховным правителем России. И все же Деникин безропотно признал верховенство новоявленного вождя. В пространнейших деникинских «Очерках русской смуты» об этом весьма значительном событии сказано со странной лаконичностью и неопределенностью: ...подчинение мое адм. Колчаку в конце мая 1919 года, укреплявшее позицию всероссийского масштаба, занятую Верховным правителем, встречено было правыми кругами несочувственно» («Вопросы истории», 1994, № 3, с. 104).

Александр Васильевич Колчак был, вне всякого сомнения, прямым ставленником Запада и именно поэтому оказался Верховным правителем. В отрезке жизни Колчака с июня 1917-го, когда он уехал за границу, и до его прибытия в Омск в ноябре 1918 года много невыясненного, но и документально подтверждаемые факты достаточно выразительны. «17(30) июня, — сообщал адмирал самому близкому ему человеку А.В. Тимиревой, — я имел совершенно секретный и важный разговор с послом США Рутом и адмиралом Гленноном... я ухожу в ближайшем будущем в Нью-Йорк. Итак, я оказался в положении, близком к кондотьеру»[44], — то есть наемному военачальнику... В начале августа только что произведенный Временным правительством в адмиралы («полные») Колчак тайно прибыл в Лондон, где встречался с морским министром Великобритании и обсуждал с ним вопрос о «спасении» России. Затем он опять-таки тайно отправился в США, где совещался не только с военным и морским министрами (что было естественно для адмирала), но и с министром иностранных

дел, а также — что наводит на размышления — с самим тогдашним президентом США Вудро Вильсоном.

В октябре 1917 года Колчака нашла в США телеграмма из Петрограда с предложением выставить свою кандидатуру на выборы в Учредительное собрание от партии кадетов; он тут же сообщил о своем согласии. Но всего через несколько дней совершился Октябрьский переворот. Адмирал решил пока не возвращаться в Россию и поступил... «на службу его величества короля Великобритании»... В марте 1918-го он получил телеграмму начальника британской военной разведки, предписывавшую ему «секретное присутствие в Маньчжурии» — то есть на китайско-российской границе. Направляясь (по дороге в Харбин) в Пекин, Колчак в апреле 1918 года записал в дневнике, что должен там «получить инструкции и информацию от союзных послов. Моя миссия является секретной, и хотя догадываюсь о ее задачах и целях, но пока не буду говорить о ней» (цит. изд., с. 29). В конце концов в ноябре 1918 года Колчак для исполнения этой «миссии» был провозглашен в Омске Верховным правителем России. Запад снабжал его много щедрее, чем Деникина; ему были доставлены около миллиона винтовок, несколько тысяч пулеметов, сотни орудий и автомобилей, десятки самолетов, около полумиллиона комплектов обмундирования и т.п. (разумеется, «прагматический» Запад доставил все это под залог в виде *трети золотого запаса* России...)[45].

При Колчаке постоянно находились британский генерал Нокс и французский генерал Жанен со своим главным советником — капитаном Зиновием Пешковым (младшим братом Я.М. Свердлова), принадлежавшим, между прочим, к французскому масонству. Эти представители Запада со всем вниманием опекали адмирала и его армию. Генерал А.П. Будберг — начальник снабжения, затем военный министр у Колчака — записал в своем дневнике 11 мая 1919 года, что генерал Нокс «упрямо стоит на том, чтобы самому распределять приходящие к нему запасы английского снабжения, и делает при этом много ошибок, дает не тому, кому это в данное время надо»[46] и т.п.

Все подобные факты (а их перечень можно значительно умножить) ясно говорят о том, что Колчак — хотя он, несомненно, стремился стать «спасителем России» — на самом деле был, по его же собственному слову, «кондотьером» Запада, и в силу этого остальные предводители Белой армии, начиная с Деникина, должны были ему подчиняться...

Что же касается Запада, его планы в отношении России были вполне определенными. О них четко сказал в 1920 году человек, которого едва ли можно заподозрить в клевете на западную демократию. Речь идет о корифее российского либерализма П.Н. Милюкове. Летом 1918 года из-за своего прямого сотрудничества с германской контрразведкой он вынужден был уйти с поста председателя кадетской партии, и, хотя в октябре того же года принес за это «покаяние», ему уже не пришлось играть ведущую роль в политике. Однако именно эта определенная «отстраненность» дала ему возможность — и смелость — взглянуть правде в глаза. Милюков, который долгие годы беззаветно превозносил Запад и его благородную помощь демократизирующейся России, 4 января 1920 года написал из Лондона своей сподвижнице, знаменитой графине С.В. Паниной, находившейся тогда в Белой армии на Дону:

«Теперь выдвигается (на Западе. — *В. К.*) в более грубой и откровенной форме идея эксплуатации России как *колонии* (выделено самим П.Н. Милюковым. — *В. К.*) ради ее богатств и необходимости для Европы сырых материалов»[47]. И уж если убежденный «западник» Милюков (кстати, находившийся в Великобритании еще с начала 1919 года) сообщает такое, не приходится сомневаться в истинности «диагноза».

Разумеется, Белая армия постоянно провозглашала, что она воюет за Россию и ее коренные интересы. Однако есть все основания утверждать, что в действительности борьба Белой армии определялась — пусть даже, как говорится, в известной мере и степени — интересами Запада. Между прочим, М.В. Назаров, хотя он видит многое иначе, чем я, все же недвусмысленно утверждает, что «ориентация Белого движения на Антанту заставила многих опа-

саться, что при победе белых стоявшие за ними иностранные силы подчинят Россию своим интересам» (цит. соч., с. 218).

И эти «опасения» были совершенно верными не только из-за мощного давления «иностранных сил»; сама политическая программа Белой армии в очень многом соответствовала чаяниям Запада. Вот поистине обнажающее всю суть дела рассуждение Деникина: ...та «расплавленная стихия» (то есть «русский бунт». — *В. К.*), которая с необычайной легкостью сдунула Керенского, попала в железные тиски Ленина—Бронштейна и вот уже более трех лет (Деникин писал это в начале 1921 года. — *В. К.*) не может вырваться из большевистского плена. Если бы такая жестокая сила... взяла власть и, подавив *своеволие*, в которое обратилась свобода, донесла бы эту власть до Учредительного собрания, то русский народ не осудил бы ее, а благословил» («Вопросы истории», 1990, № 12, с. 127).

Итак, Деникин (хотя он — едва ли сколько-нибудь основательно — приписывает свое мнение «русскому народу») готов «благословить» *любое* (именно этот смысл в слове «такая» — такая, как у большевиков) жестокое насилие, если оно завершится утверждением в России власти парламента. Это означает, во-первых, что целью для Деникина была все же не Россия, а — как и у большевиков — определенный социально-политический *строй* и, во-вторых, что речь шла о строе, угодном Западу: буквально во всех документах, обращенных западными «партнерами» к Белой армии, парламент указывается как совершенно обязательная, неукоснительная цель борьбы.

И трудно спорить с тем, что жестокое насилие ради парламентского государства западного типа было ничуть не более приемлемо для «своевольного» русского народа, чем такое же насилие ради коммунизма... Между прочим, уже упомянутый колчаковский генерал А.П. Будберг 17 октября 1918 года писал в своем дневнике о председателе белого правительства в Сибири кадете П.А. Вологодском, который «заявил, что крестьяне готовы к добровольной самомобилизации (в Белую армию. — *В. К.*). Последнее заявление в устах главы правительства показывает его лег-

ковесность, малоосведомленность и опасное незнание народного настроения; крестьяне, быть может, и готовы к самомобилизации, но именно «само», для защиты своих собственных интересов и для обеспечения себя от прочих «ций» — реквизиций, экзекуций, национализаций и т.п. Характерной иллюстрацией к заявлению главы правительства является телеграмма из Славгорода (город в четырехстах километрах юго-восточнее Омска. — *В. К.*), сообщающая, что по объявлении призыва (в Белую армию. — *В. К.*) там поднялось восстание, толпы крестьян напали на город и перебили всю городскую администрацию и стоявшую там офицерскую команду» (цит. изд., с. 229).

Уже после полугодового правления Колчака, 18 мая 1919 года, генерал Будберг записал: «Восстания и местная анархия расползаются по всей Сибири... главными районами восстания являются поселения *столыпинских аграрников*... посылаемые спорадически карательные отряды... жгут деревни, вешают и, где можно, безобразничают. Такими мерами этих восстаний не успокоить... в шифрованных донесениях с фронта все чаще попадаются зловещие для настоящего и грозные для будущего слова «перебив своих офицеров, такая-то часть передалась красным». И не потому, — совершенно верно писал генерал, — что склонна к идеалам большевизма, а только потому, что не хотела служить... и в перемене положения... думала избавиться от всего неприятного» (с. 261).

* * *

Здесь уместно и важно сделать отступление от нашей непосредственной темы, но отступление, которое позволит глубже понять ход Революции в целом. Упомянув о том, что «главными районами восстания являются поселения столыпинских аграрников», А.П. Будберг позже, 26 августа 1919 года, пишет в своем дневнике еще более определенно: «...*главными* заправилами *всех* восстаний

являются преимущественно столыпинские аграрники» (с. 308. Выделено мною. — *В. К.*).

Для многих людей это сообщение явится, несомненно, неожиданностью, ибо ведь столь уважаемый ныне (и вполне заслуженно уважаемый) П.А. Столыпин полагал, что щедро наделяемые землей в ходе столь тесно связанной с его именем реформы *переселенцы* явятся как раз надежным противовесом всяческому бунтарству.

Петр Аркадьевич — конечно же, выдающийся, даже подлинно великий государственный деятель России. Его политический разум и воля имели огромное значение для преодоления всеобщей смуты, в которую была ввергнута страна в 1905 году. Неоценима та его историческая роль, о которой вскоре после его гибели писал В.В. Розанов: «После долгого времени... явился на вершине власти человек, который гордился тем именно, что он русский, и хотел соработать с русскими. Это не политическая роль, а, скорее, культурная» («Новое время» от 7 октября 1911 года; цит. по перепечатке в «Литературной России» от 30 августа 1991 г.). Вообще во главе государственной власти встал в лице П.А. Столыпина человек высокой культуры, достойный *брат* (хоть и троюродный) самого Лермонтова*

Однако прочно связанная с именем Столыпина «аграрная реформа» явно не могла оправдать возлагавшихся на нее надежд. Об этом сразу же после принятия решения о реформе основательно писал один из виднейших тогдашних экономистов, член-корреспондент Российской академии наук А.И. Чупров (1842—1908).

О его предостережениях недавно напомнил в своей статье «Чупров против Столыпина» кандидат экономиче-

---

* Это может показаться странным, ибо Лермонтов родился в 1814 году, а Столыпин — через почти полвека, в 1862-м; дело в том, что дед Петра Аркадьевича, Д.А. Столыпин, был намного моложе своей родной сестры Е.А. Столыпиной (в замужестве — Арсеньевой) — бабушки великого поэта. Стоит упомянуть и о том, что матерью Петра Аркадьевича была троюродная племянница крупнейшего дипломата России, друга Тютчева — А.М. Горчакова.

ских наук Юрий Егоров. В начатой в 1906 году «революции экономической он (Чупров. — *В. К.*) видел неизбежный пролог революции социальной — ближайшее будущее подтвердило его правоту. И когда Столыпин для своей реформы просил 15—20 лет спокойствия, Чупров и его ученики возражали, что как раз такая реформа лет через десять приведет к социальному взрыву. И в самом деле, о каком успехе могла идти речь, если сами новоявленные собственники в 1917 году с таким энтузиазмом уничтожали частные земельные владения, которые вроде бы должны были защищать» (это явствует и из сообщений А.П. Будберга. — *В. К.*). Вообще, как утверждал А.И. Чупров, «мысль о... распространении отрубной (или, иначе, хуторской. — *В. К.*) собственности на пространстве обширной страны представляет собою чистейшую утопию, включение которой в практическую программу неотложных реформ может быть объяснено только *малым знанием дела*» (см.: Былое. Ежемесячное приложение к журналу «Родина», 1996, № 5, с. 3. — Выделено мною. — *В. К.*).

К сожалению, «приговор» верен. Жизнь П.А. Столыпина началась и почти целиком прошла (кроме нескольких лет студенчества и службы в Петербурге) в западной части Ковенской губернии (ныне — Литва). С русской деревней он соприкоснулся лишь на пятом десятке, в 1903 году, когда был назначен саратовским губернатором (к тому же вскоре в губернии начались беспорядки, которые не способствовали объективному изучению деревенского бытия). В Ковенской губернии и в соседней Восточной Пруссии, где часто бывал Петр Аркадьевич, господствовали хуторские хозяйства, сложившиеся в давние времена. И ему в какой-то мере представлялось, что эта — по сути дела, западноевропейская — «модель» может привиться в русском крестьянстве. Однако, будучи перенесенной — к тому же очень поспешно — в совсем иной мир, модель эта дала и совершенно иные результаты, чем на Западе. Русские «хуторяне» оказались даже более склонными к бунту, чем «общинные» крестьяне...

Казалось бы, все это принижает личность П.А. Столы-

пина. Но дело обстояло сложнее, что показал в наше время внимательный историк П.Н. Зырянов. «Столыпинская аграрная реформа, — читаем в его книге о Петре Аркадьевиче, — о которой в наши дни много говорят и пишут, в действительности — понятие условное. В том смысле условное, что она, во-первых, не составляла цельного замысла и при ближайшем рассмотрении распадается на ряд мероприятий, между собой не всегда хорошо состыкованных. Во-вторых, не совсем правильно и название реформы, ибо Столыпин не был ни автором основных ее концепций, ни разработчиком. Он воспринял проект в готовом виде и стал как бы его приемным отцом... но это не значит, что между отцом и приемным чадом не было противоречий. И, наконец, в-третьих, у Столыпина, конечно же, были и свои собственные замыслы, которые он пытался реализовать. Но случилось так, что они не получили значительного развития, ходом вещей были отодвинуты на задний план, зачахли, а приемный ребенок... наоборот, начал расти и набирать силу. Пожалуй, можно сказать, что Столыпин «высидел кукушкина птенчика» (*Зырянов П.Н.* Петр Столыпин. Политический портрет. М., 1992, с. 44).

Сам П.А. Столыпин, доказывает П.Н. Зырянов, «предлагал организовать широкое содействие созданию крепких индивидуальных крестьянских хозяйств на *государственных* землях». Однако, «когда Столыпин пришел в МВД (Министерство внутренних дел. — *В. К.*), оказалось, что там на это дело смотрят несколько иначе... В течение ряда лет группа чиновников во главе с В.И. Гурко* разрабатывала проект... основные идеи и направления проекта уже сформировались... В отличие от столыпинского замысла, проект Гурко имел в виду создание хуторов и отрубов на надельных (крестьянских) землях (а не на государственных)... ради другой цели — укрепления надельной земли в личную собственность... С агротехнической точки зрения такое новшество не могло принести много пользы... но оно

---

* Ко времени назначения Столыпина — товарищ (то есть заместитель) председателя Совета Министров.

было способно сильно нарушить единство крестьянского мира, внести раскол в общину» (с. 45). Между тем Столыпин «изначально вовсе не хотел насильственного разрушения общины» (с. 53).

И П.Н. Зырянов не без оснований констатирует: «Психология государственных деятелей, говорящих одно и делающих другое, — явление поистине загадочное. По-видимому, редко кто из них в такие моменты сознательно лжет и лицемерит. Благие намерения провозглашаются чаще всего вполне искренне... Другое дело, что не они, выступающие с высоких трибун, составляют множество тех бумаг, в которые и выливается реальная политика...» (с. 53).

В цитируемом исследовании П.Н. Зырянова убедительно раскрыта противоречивость знаменитой реформы и, в частности, показано, что чиновники (они охарактеризованы историком конкретно, поименно), непосредственно осуществлявшие реформу (Петр Аркадьевич, возглавлявший всю деятельность верховной власти, не мог постоянно держать в руках многогранную практику аграрной реформы), делали не совсем то или даже совсем не то, что имел в виду председатель Совета Министров. Он ведь так или иначе предполагал самую весомую роль *государства* в развитии сельского хозяйства (начиная с предоставления крестьянам государственной земли, а не ориентации на частную земельную собственность) и *сохранение* (а не целенаправленное разрушение) основ крестьянской общины.

Реальность реформы оказалась недостаточно определенной, даже запутанной, но нельзя не учитывать, что историческая ситуация была слишком сложной и напряженной, а к тому же Петру Аркадьевичу было отпущено для осуществления его замыслов всего лишь пять лет...

А.П. Будберг называет главных бунтовщиков в Сибири «*столыпинскими* аграрниками», но — о чем и сказал П.Н. Зырянов, — имя великого государственного деятеля употреблено здесь (как и во многих случаях) «условно», в сущности — «неправильно». То, к чему стремился П.А. Столыпин, было, без сомнения, искажено уже при его жизни и особенно после его убийства.

* * *

Вернемся к сибирскому бунту 1919 года. Большевики, разумеется, использовали этот бунт, и в начале 1920 года колчаковская армия потерпела полное поражение. Однако не прошло и года, и бунт — уже против большевистской власти — разгорелся в Сибири с новой силой — главным образом в округе Тобольска. Мощное народное восстание против власти Колчака достаточно хорошо изучено, но новая сибирская «пугачевщина» конца 1920 — начала 1921 года до последнего времени оставалась почти «закрытой» темой. В цитированной выше работе М.С. Бернштама, стремившегося выявить все факты «народного сопротивления коммунизму» (что, как уже говорилось, весьма неточно), лишь в одной фразе упоминается, что одновременно с гораздо более широко известным восстанием в Тамбовской губернии «происходило большое восстание в Западной Сибири, поднявшее крестьянство на огромной территории» (цит. соч., с. 21).

В течение тридцати лет изучал это действительно грандиозное — хотя и почти полностью забытое — восстание тюменский писатель К.Я. Лагунов. Наконец ему удалось издать крохотным тиражом документальный рассказ об этом безудержном и крайне беспощадном бунте (*Лагунов К.* ...И сильно падает снег. Тюмень, 1992). Он во многом сумел преодолеть любую пристрастность и показал, что равно беспощадны были и повстанцы, и подавлявшая их власть. Помимо прочего, книга К.Я. Лагунова убеждает, что Сибирское восстание по своему размаху, в сущности, превзошло более «знаменитое» Тамбовское (пользуясь случаем, приношу свою благодарность Константину Яковлевичу, приславшему мне свою предельно малотиражную книгу, которая иначе едва ли бы оказалась в моих руках).

Нельзя не отметить, что характеристика Тобольского восстания нуждается в некоторых уточнениях. К.Я. Лагунов говорит в конце своего труда: «Я хочу, чтобы эта книга стала первой свечой, зажженной в память о безвинно убиенных в зиму 1920/1921 года. В память о «белых» и «красных»; о тех, кто восстал, и о тех, кто подавил восстание»

(с. 234). Слово «белых» здесь явно совершенно неуместно, ибо речь идет о народе, восставшем против «красных» точно так же, как ранее против «белых». Между прочим, и сам К.Я. Лагунов на предыдущей странице говорит о сибиряках, которые поднялись «на бессмысленный бунт» (с. 233; о Пушкине не упоминается, ибо его слова давно стали как бы ничьими, словами самой Истины). Но ведь к белым в истинном значении слова это определение («бунт») никак не применимо, — не говоря уже о том, что до победы красных те же самые сибиряки бунтовали против белых...

Тот факт, что в книге К.Я. Лагунова, как говорится, не вполне сведены концы с концами, ясно выражается и в другом «противоречии»: с одной стороны, писатель гневно клянет красных за жесточайшие меры против бунта, с другой же — сообщает, что весна 1921 года «властно поманила крестьянина к земле... Чтоб воротиться к привычному делу, труженик не только спешил покинуть повстанческие полки, но и помогал Красной Армии поскорее заглушить пламя восстания»... (с. 225). Естественно вспоминаешь о сподвижниках Пугачева, доставивших его капитан-поручику Маврину.

Таким образом, выявляется реальная историческая ситуация, о которой в книге К.Я. Лагунова не сказано с должной четкостью: красные и белые воюют между собой за власть, но одновременно и тем и другим приходится отчаянно бороться с «русским бунтом», который, по признанию Ленина и Троцкого, представлял наибольшую опасность («во много раз, — по словам Ленина, — превышающую» угрозу со стороны всех белых, «сложенных вместе») для красных и, без сомнения, точно так же для белых... И Деникин в приведенном выше рассуждении начала 1921 года сказал именно об этом, выражая свою мечту (да, только мечту...) о такой же, как у красных, «жестокой силе», которая бы «взяла власть и, подавив своеволие (то есть «русский бунт». — *В. К.*)... донесла бы эту власть до Учредительного собрания». Когда он это писал, красные все еще продолжали «подавлять своеволие».

* * *

В своей совокупности и взаимосвязи изложенные факты и мнения (сами по себе, по отдельности, подчас вроде бы не столь уж фундаментальные) дают основания для действительно фундаментальных выводов. Война между Белой и Красной армиями как таковая имела в конечном счете гораздо менее существенное значение, чем воздействие и на белых, и на красных всеобъемлющего «русского бунта».

Так, например, если бы весной 1919-го не вспыхнуло восстание донского казачества (то самое, которое запечатлено в «Тихом Доне»), армия Деникина вряд ли смогла бы совершить свой поход на Москву, достигший Орла. Точно так же Красная армия не сумела бы в конце 1919-го — начале 1920 года менее чем за два месяца выбить армию Колчака из Сибири, если бы не мощное народное восстание против власти белых, основную массу участников которого большевики явно неадекватно называли «красными партизанами»: ведь многие из этих самых «партизан» менее чем через год взбунтовались уже против большевистской власти... А.П. Будберг писал 1 сентября 1919 года: ...теперь для нас, белых, немыслима партизанская война, ибо население не за нас, а против нас» (с. 310). Но через год это могли бы уже сказать, напротив, красные.

Чтобы со всей очевидностью понять относительную «незначительность» войны между Белой и Красной армиями в общей картине того времени, достаточно обратиться к цифрам человеческих потерь в этой войне. Благодаря недавнему рассекречиванию архивных материалов выяснено, что в 1918—1922 годах так или иначе погибли 939 755 красноармейцев и командиров[48]. Что касается Белой армии, о ее потерях есть только ориентировочные суждения; согласно одним из них, количество погибших было примерно то же, что и в Красной, согласно другим — значительно меньшее.

Допустим, что в общей сложности обе армии потеряли все же около 2 миллионов человек. Но в целом человеческие жертвы — даже не считая умерших в условиях всеоб-

щей разрухи малых детей[49] — составили за 1918—1922 годы примерно около 20 миллионов человек, — то есть на целый порядок больше! Ведь из тех 147,6 миллиона человек, которые жили на территории будущего СССР (в границах до 1939 года) в 1917 году, за следующие десять лет исчезли — согласно вполне достоверным данным переписи 1926 года — 37,5 миллиона человек, то есть каждый четвертый (точно — 25,5%)! Для осознания всей громадности людских потерь тех лет следует вдуматься в следующее сопоставление. В 1926 году, как и в 1917-м, в стране жили именно 147 млн. человек (это совпадение дает особенную наглядность), и за следующие десять лет (то есть в 1927—1936 годах), несмотря на тяжелейшие потери в период коллективизации, из этих 147 млн. умерли 21,7 млн. человек — то есть почти на 16 миллионов (!) меньше, чем за предыдущие десять лет, в 1917—1926 годах (все это рассматривается мною в специальной статье)[50].

Понятно, что из 37,5 миллиона людей, умерших за первое десятилетие после 1917 года (не считая детей до 10 лет), многие ушли из жизни в силу «естественной» смертности; но около 20 миллионов были жертвами Революции (во всем объеме этого явления). Даже по официальной статистике, к концу 1922 года в стране было 7 миллионов (!) беспризорных — то есть лишившихся обоих родителей — детей...[51]

Как уже говорилось, потери Красной и Белой армий, вместе взятых, не превышают двух миллионов военнослужащих; остальные около 18 миллионов — это так называемое мирное население, гибель которого тогда, по существу, не «учитывалась». И это с беспощадной очевидностью показывает, что «главное» было не в самом по себе столкновении Белой и Красной армий.

Но прежде чем говорить о наиболее трагической сущности Революции, надо завершить разговор о проблеме двух армий. М.В. Назаров (который — подчеркну еще раз — по-иному понимает некоторые стороны проблемы), говоря о несомненной «ориентации Белой армии на Антанту», на Великобританию, Францию и США, — ориентации, которая

в случае победы белых привела бы к подчинению России иностранным силам, делает следующий вывод: «В немалой степени это обстоятельство... толкнуло к большевикам и ту часть офицеров, которые не стали... служить в Красной армии (как ген. Брусилов; всего добровольно или вынужденно по этому пути пошло не менее 20 процентов офицеров Генштаба)» (цит. соч., с. 218).

Нельзя не отметить, что «20 процентов» — это весьма значительное и даже, если разобраться, очень значительное преуменьшение доли офицеров Генштаба, оказавшихся в Красной армии. Умевший собирать информацию В.В. Шульгин писал — и, как теперь выяснено, справедливо — еще в 1929 году: «Одних офицеров Генерального штаба чуть ли не половина осталась у большевиков. А сколько там было рядового офицерства, никто не знает, но много»[52]. М.В. Назаров ссылается на статью эмигранта генерала А.К. Баиова (кстати сказать, его родной брат генерал-лейтенант К.К. Баиов служил в Красной армии!), опубликованную в 1932 году в парижской газете «Часовой», и трактат превосходного военного историка А.Г Кавтарадзе, изданный в 1988 году в Москве. Но М.В. Назаров принимает на веру именно цифру А.К. Баиова, который не имел возможности подсчитать количество офицеров в Красной армии. Между тем А.Г Кавтарадзе по документам установил количество генералов и офицеров Генерального штаба, служивших в Красной армии (преобладающее большинство из них предстает в его книге даже поименно), и выяснилось, что отнюдь не 20, а 33 процента их общего количества оказались в Красной армии[53].

Если же говорить об офицерском корпусе вообще, в целом, то в Красной армии служили, по подсчетам А.Г Кавтарадзе, 70 000—75 000 человек, то есть примерно 30 процентов общего его состава (меньшая доля, чем из числа генштабистов, — что имело свою многозначительную причину). Однако и эта цифра — 30 процентов — в сущности, дезориентирует.

Ибо, как доказывает А.Г Кавтарадзе, еще 30 процентов офицерства в 1917 году оказались вне какой-либо ар-

мейской службы вообще (указ. соч., с. 117). А это означает, что в Красной армии служили не 30, а около 43 процентов наличного к 1918 году офицерского состава, в Белой же — 57 процентов (примерно 100 000 человек).

Но особенно выразителен тот факт, что из «самой ценной и подготовленной части офицерского корпуса русской армии — корпуса офицеров Генерального штаба» (с. 181) в Красной армии оказались 639 (в том числе 252 генерала) человек, что составляло 46 процентов — то есть в самом деле около половины — *продолжавших* служить после Октября 1917 года офицеров Генштаба; в Белой армии их было примерно 750 человек (цит. соч., с. 196—197). Итак, почти половина лучшей части, элиты российского офицерского корпуса служила в Красной армии!

До последнего времени приведенные цифры никому не были известны: этот исторический факт не хотели признавать ни белые, ни красные (поскольку тем самым выявлялась одна из истинных, но не делающих им чести причин их победы над белыми); однако это все же непреложный факт. Между прочим, его достаточно весомо воссоздавала художественная литература; вспомним хотя бы образ полковника Генштаба Рощина в «Хождении по мукам» А.Н. Толстого. Но этот всецело характерный для эпохи образ воспринимался большинством читателей как некое исключение, как отклонение от «нормы». Конечно, можно попытаться утверждать, что генералы и офицеры шли в Красную армию по принуждению, или с голодухи, или для последующего перехода к белым (впрочем, из Белой армии в Красную перешло *гораздо больше* офицеров, чем наоборот). Но когда речь идет о выборе, который сделали десятки тысяч человек, подобные объяснения не представляются достоверными. Дело обстоит, без сомнения, значительно сложнее.

Между прочим, недавно был опубликован подсчет, согласно которому (цитирую) «общее количество кадровых офицеров, участвовавших в гражданской войне в рядах регулярной Красной Армии, более чем в 2 раза превышало число кадровых офицеров, принимавших участие в воен-

ных действиях на стороне белых» («Вопросы истории», 1993, № 6, с. 189). Но это, очевидно, преувеличение. «Достаточно» и того, что количество офицеров в Белой армии не намного превышало их количество в Красной. Размышляя об этом — могущем показаться парадоксом — историческом факте, следует прежде всего осознать, что, служа — нередко на самых высоких и ответственных постах (например, из 100 командиров армий у красных в 1918—1922 годах 82 были «царскими» генералами и офицерами) — в Красной армии, эти офицеры и генералы сами не становились «красными». А.Г Кавтарадзе подчеркивает, например, говоря о кадровых офицерах, что «среди них членов партии большевиков насчитывались буквально единицы. Реввоенсовет Республики отмечал в 1919 году, что, «чем выше была командная категория, тем меньшее число коммунистов мы могли для нее найти...» (с. 211).

Все говорит о том, что русские офицеры и генералы, «избиравшие» для себя Красную армию (или по крайней мере большинство из них), делали тем самым выбор из двух зол в пользу зла, представлявшегося им меньшим. Это были люди, которые, надо думать, хорошо знали своих коллег по воинской службе и отчетливо видели, что во главе Белой армии стоят исключительно «дети Февраля», его не раскаявшиеся до самого конца выдвиженцы.

Явно не хотели иметь дела с Белой армией те офицеры, которые с самого начала восприняли Февраль как разрушение государства (и прежде всего — армии) или же вовремя «прозрели». Между тем главные деятели Белой армии если и прозревали, то уже в эмиграции (как, например, генерал-лейтенант Я.А. Слащов-Крымский). Сейчас даже как-то странно читать, например, недавно впервые опубликованный дневник одного из наиболее видных деятелей Белой армии — дворянина из донских казаков, генерал-лейтенанта А.П. Богаевского. Он был ближайшим сподвижником А.И. Деникина (а позднее — П.Н. Врангеля) и в феврале 1919 года стал войсковым атаманом Войска Донского (сменив на этом посту более «консервативного» П.Н. Краснова); некоторое время он был даже председате-

лем «Правительства Юга России». В советской историографии Африкан Богаевский нередко изображался как «ярый реакционер», «монархист» и т.п. Но вот его задушевная запись в дневнике, сделанная в Екатеринодаре 1 марта 1920 года: «...сформировано Южнорусское правительство... вместе дружно работают — *социалист* П.М. Агеев (министр земледелия) и *кадет* В.Ф. Зеелер (министр внутренних дел, видный масон; кроме него в последнее деникинское правительство вошли масоны М.В. Бернацкий, Н.В. Чайковский и др. — *В. К.*). Я очень рад, что мой совет А.И. Деникину и Мельникову (новый глава правительства. — *В. К.*) назначить Агеева министром сделал свое дело... Итак, Глава есть. Правительство — тоже. Дело стало за Парламентом, как полагается во всех благовоспитанных демократических государствах»[54].

И это пишется всего за 12 дней до того момента, когда Богаевский на одном из последних пароходов отчалил из Новороссийского порта «под огнем красных...» (там же, с. 33)!

Не менее примечательна запись, сделанная Богаевским через месяц, 30 марта 1920 года, в последнем пристанище Белой армии — Севастополе. Вспоминая об обороне Севастополя в 1854—1855 годах, Богаевский начинает свою запись так: «Суровый царь был — Император Николай Первый... тяжкой памятью в истории России останутся годы бесчеловечного рабства... жесток был гнет полицейско-жандармского режима и управления «40 тысяч чиновников»...»[55] (последнее выражение, по-видимому, видоизмененная цитата из монолога Хлестакова, хотя Богаевский этого не осознает...)

Словом, перед нами человек, насквозь пропитанный либеральным прекраснодушием и пустословием, человек, от которого нельзя было ожидать реальной созидательной деятельности в армии и государстве...

И вполне естественно, что исполненных государственно-патриотическим сознанием офицеров и генералов не привлекала Белая армия. Было точно подсчитано, что 14 390 офицеров перешли из Белой армии в Красную (то

есть каждый седьмой)[56]. Чтобы еще яснее понять, почему почти половина офицеров и генералов Генерального штаба оказалась в Красной армии, стоит вдуматься в слова из «Книги воспоминаний» деятельнейшего русского адмирала — великого князя Александра Михайловича, о котором уже шла речь выше. Еще раз скажу, что это был выдающийся представитель семейства Романовых, человек подлинно высокой и многогранной культуры, профессионально владевший морским и авиационным делом и в то же время вовсе не чуждый искусству и философии (чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с его суждениями о творчестве Н.С. Лескова и В.В. Розанова). В отличие от нелепо либеральничавших великих князей Николая Николаевича, Кирилла Владимировича, Павла Александровича, Николая, Сергея и Георгия Михайловичей (последние трое были его родными братьями) он ясно понимал суть Февраля.

Прежде чем процитировать его слова, следует напомнить, что более двадцати его родственников были зверски убиты большевиками вместе с его двоюродным племянником и родным братом его жены Ксении Александровны Николаем II; в числе убитых и трое его родных братьев («либеральных»). Тем не менее вот какое заявление сделал он в эпилоге «Книги воспоминаний» накануне своей кончины (он умер в 1933 году в Париже) как своего рода завещание:

...«По-видимому, «союзники» собираются превратить Россию в британскую колонию», — писал Троцкий в одной из своих прокламаций в Красной армии. И разве на этот раз он не был прав? Инспирируемое сэром Генрихом Детердингом (британский «нефтяной король». — *В. К.*), или же следуя просто старой программе Дизраэли-Биконсфилда (влиятельнейший государственный деятель Великобритании в 1840—1870-х годах. — *В. К.*), британское министерство иностранных дел обнаруживало дерзкое намерение нанести России смертельный удар... Вершители европейских судеб, по-видимому, восхищались своею собственною изобретательностью: они надеялись одним ударом убить и большевиков, и возможность возрождения сильной России. Положение вождей Белого движения ста-

ло невозможным. С одной стороны, делая вид, что они не замечают интриг союзников, они призывали... к священной борьбе против Советов, с другой стороны — на страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи...»[57]

Нынешнее модное поклонение (в частности, по закону контраста) Белой армии привело к тому, что в царских офицерах и генералах, служивших в Красной армии, хотят видеть корыстных приспособленцев. Однако у умиравшего в Париже великого князя Александра Михайловича не было, да и не могло быть никаких «практических» мотивов для подлаживания к большевикам. Он думал только о судьбе России, во главе которой триста лет находились его предки, включая его родного деда Николая I (как мы видели, «разоблачаемого» даже и в 1920 году белым генералом Африканом Богаевским). И к его приведенным только что словам, без сомнения, с чистой совестью присоединились бы многие из десятков тысяч служивших в Красной армии генералов и офицеров.

Необходимо со всей определенностью сказать, что дело было не только в очевидном настоятельном стремлении большевиков сохранить — по мере возможности — государственное пространство России. Не менее существенно было и целенаправленное созидание прочной государственной структуры, начиная с самой армии. И здесь следует вспомнить приведенные выше суждения черносотенца Б.В. Никольского (октябрь 1918 года) о том, что большевики созидают «вопреки своей воле и мысли новый фундамент для того, что сами разрушают», выступая как «орудие исторической неизбежности», притом осуществляют эту неизбежность «с таким нечеловеческим напряжением, которого не выдержать было бы никому из прежних деятелей» (в первую очередь, конечно, из деятелей Февраля, в том числе и стоявших тогда, осенью 1918 года, во главе Белой армии).

Вполне понятно, что Б.В. Никольский был абсолютно

не согласен с большевистскими планами строительства социализма-коммунизма и с программой «мировой революции». Речь шла только о том, что можно определить как восстановление «костяка», «скелета» России (что на нем будет наращиваться — это уже следующий, второй вопрос). Но деятели Февраля были явно не способны восстановить хотя бы этот самый костяк... И потому-то отношение к укрепляющейся большевистской власти, которое выразилось в размышлениях Б.В. Никольского и великого князя Александра Михайловича, а также в жизненном выборе почти половины генералов и офицеров Генерального штаба и т.д. и т.п., было проявлением истинного патриотизма, мучительно озабоченного вопросом о самом бытии России, а не вопросом, скажем, о том, будет ли в России парламент...

Мне могут с недоумением — и возмущением — напомнить о том, что очень значительная часть генералов и офицеров, служивших в Красной армии, позднее была безжалостно репрессирована. Их участь может показаться неопровержимым аргументом в пользу мнения о том, что «выбор», сделанный этими людьми, был их заведомой и страшной ошибкой. Однако еще более значительная часть собственно большевистских командиров Красной армии также подверглась жестоким репрессиям. Во всех революциях неумолимо действует своего рода закон: подобно мифологическому титану Кроносу, они пожирают своих собственных детей.

Ныне весьма популярно представление, согласно которому в «красной» России власть захватили «иудомасоны» или, быть может, правильнее выражаясь, «иудеомасоны» (огрубленный вариант — «жидомасоны»). Но это словечко, если основываться на действительном, реальном положении вещей, приходится разделить надвое. В составе «красной» власти в самом деле было исключительно много иудеев или, точнее, евреев. Но что касается масонов, они-то находились как раз в составе «белой», а вовсе не «красной»[58] власти (влиятельных же евреев среди белых, напротив, было очень мало — М.М. Винавер, А.И. Каминка, М.С. Маргулиес, Д.С. Пасманик, М.Л. Слоним и

еще немногие люди, которых можно было бы занести в рубрику «иудеомасоны»).

Правда, почти все наиболее знаменитые деятели-масоны, из которых состояло Временное правительство, а также президиум и секретариат Совета рабочих и солдатских депутатов не могли действовать непосредственно в Белой армии; они были слишком скомпрометированы. Но множество менее «одиозных» лиц играло решающую политическую роль в Белом движении, о чем говорится, в частности, в книге Лоллия Замойского «За фасадом масонского храма» (с. 265—267).

М.В. Назаров справедливо утверждает, что именно масоны «взяли на себя (при поддержке западных эмиссаров) организационно-политические дела в тылу Белых армий, обещая поддержку Антанты... Особенно заметно участие масонов в антибольшевистских правительствах: Н.Д. Авксентьев (он, кстати сказать, побывал и в министрах Временного правительства. — *В. К.*) во главе Уфимской директории, Н.В. Чайковский во главе Северного правительства в Архангельске, не говоря уже о многих их министрах и сотрудниках. Северо-Западное правительство при ген. Юдениче возглавил С.Г Лианозов. («Думаю, все это правительство составлялось «союзниками» из масонов», — писал Р. Гуль.) Были влиятельные масоны в правительствах Колчака и Деникина. У Врангеля их, кажется, было меньше, поскольку он свел гражданскую администрацию к минимуму». И заключает М.В. Назаров так: «...о масонской принадлежности своих правителей-тыловиков, конечно, вряд ли могли знать белые бойцы да и сами их генералы» (цит. изд., с. 115).

Все это в целом совершенно верно, но необходимы и некоторые уточнения. Начну с конца. Да, «бойцы» и даже генералы Белой армии едва ли знали, что делавшие политику в их стане люди принадлежат к масонству. Но направленность этой политики все же осознавалась. Так, один из наиболее выдающихся военачальников Белой армии генерал-лейтенант Я.А. Слащов-Крымский (он — единственный среди белых — получил такого рода «именование», призванное поставить его в один ряд с Потемкиным, Суворо-

вым, Кутузовым) 5 апреля 1920 года писал в своем «рапорте» П.Н. Врангелю (с пометой «Секретно в собственные руки»): «Сейчас в Вашем штабе остались лица Керенского направления... к этому присоединяются карьеризм и переменчивость взглядов некоторых старших начальников». Генерал назвал даже и вполне конкретное имя, утверждая, что начальники-карьеристы «портят все дело... проведением на государственные должности «лиц», подобных Оболенскому»[59]. Князь В.А. Оболенский (1869—1950) был одним из влиятельнейших деятелей масонства, членом его немногочисленного «Верховного совета». И, надо думать, именно понимание политической сути Белого движения не в последнюю очередь определило уход Я.А. Слащова в отставку 2 августа 1920 года (то есть менее через четыре месяца после процитированного «рапорта») и его позднейшую — в ноябре 1921 года — просьбу о принятии его в Красную армию... Характерно заглавие статьи Я.А. Слащова о смысле борьбы Белой армии — заглавие, в которое стоит вдуматься: «Лозунги русского патриотизма на службе Франции».

Но вернемся к рассуждению М.В. Назарова. Сказав о том, что главные политические руководители Белого движения в Уфе, Архангельске и Ревеле (Таллине) являлись масонами, он пишет: «Были влиятельные масоны в правительствах Колчака и Деникина». Эту фразу вполне можно понять в том смысле, что в *основных* центрах Белой армии роль масонов была не очень уж значительной. А между тем дело обстояло по-иному. Так, скажем, в июле 1919 года — в период наибольшего подъема Деникина — его правительство («Особое совещание») состояло из 24 человек. Шестеро из них — это генералы (а военные, как уже сказано, почти не вступали в масонство), но из остальных 18 человек 8 «начальников управлений» (то есть министерств), притом важнейших, были масонами: начальник управления внутренних дел Н.Н. Чебышев, юстиции В.Н. Челищев, земледелия В.Н. Колокольцев, финансов М.В. Бернацкий, вероисповеданий Г.Н.Трубецкой, государственного контроля В.А. Степанов и наиболее важные «министры без

портфеля» Н.И. Астров и М.М. Федоров[60]. Словом, Деникин, как и Гучков в феврале, «был, — пользуясь определением В.И. Старцева, — окружен масонами со всех сторон», и его политика «была все-таки масонской»...

И дело здесь, разумеется, не в самом этом ярлыке «масонство», но в стоящей за ним программе, которая отнюдь не определялась подлинными интересами России — как ее государства, так и ее народа. Мне возразят, что и «красная» политика не определялась этими интересами, — хотя бы уже в силу неслыханных жертв и разрушений, к которым она привела страну. Но эту исключительно сложную и острую тему мы еще будем исследовать.

P.S. Когда эта глава моего сочинения уже была сдана в набор, на прилавках появилась книга У. Лакера «Черная сотня. Происхождение русского фашизма», изданная в Москве «при поддержке» пресловутого «Фонда Сороса». Благодаря этой «поддержке» книга вышла немалым в нынешних условиях тиражом и продается по весьма низкой цене. Поэтому было бы неправильным умолчать о ней в этом сочинении.

Нечто подобное фашизму, без сомнения, имело место в России XX века. Так, например, 17 сентября 1918 года в одной из влиятельнейших тогда газет, «Северная коммуна», было опубликовано следующее беспрецедентное требование члена ЦК РКП(б) и председателя Петросовета Г.Е. Зиновьева (с 1919-го — глава Коминтерна): «Мы должны увлечь за собой девяносто миллионов из ста, населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить — их надо уничтожать»[61]. И, как было показано выше, за последующие четыре года жертвами стало даже в два раза больше людей — примерно 20 (а не 10) миллионов...

Но Лакер об этом даже не упоминает и пытается углядеть фашизм в совсем иных явлениях; к тому же он определяет его уже в самом заглавии книги как «русский». Основы этого фашизма заложил, как утверждает Лакер, Союз русского народа, который, оказывается, исповедовал «ра-

сизм»[62], как и впоследствии германские фашисты. Написав об этом, Лакер, по всей вероятности, испугался, что лживость его утверждения будет слишком очевидна, и счел нужным сделать оговорку: «Чистокровный, примитивный расизм нельзя было внедрять в стране, где половина населения была нерусского происхождения... Можно было еще взять курс на изгнание или уничтожение всех нерусских, однако такое решение было бы чересчур радикальным для партии, которая хотя и шла к фашизму, но была еще далека от этих неясных целей» (с. 64—65).

Итак, Союз русского народа вообще-то жаждал изгнать или уничтожить «всех нерусских», однако еще не дозрел до этого; к тому же было, так сказать, и объективное препятствие: половину населения Империи составляли-де «нерусские».

Что сказать по этому поводу? Провозглашение половины населения Империи «нерусским» — это фальсификация, грубая даже и для уровня Лакера. Ведь любой чуть-чуть знакомый с проблемой человек знает, что для Союза русского народа «русскими» являлись в равной мере все три восточнославянских племени, более того, самыми многочисленными сторонниками Союз располагал среди малороссов-украинцев. И потому русские (великороссы, малороссы и белорусы) составляли не 50, а около 70 процентов населения страны.

Но, может быть, Лакер прав по отношению к остальным 30 процентам, и Союз русского народа если и не уничтожал их, то, во всяком случае, относился к ним как к враждебным чужакам? Забавно, что сам Лакер тут же себя опровергает. Ему хочется дискредитировать черносотенцев во всех возможных аспектах, и, стремясь показать их национальную «несостоятельность», он сообщает, что немало видных черносотенных деятелей «было нерусского происхождения: Пуришкевич, Грингмут, Бутми де Кацман, Крушеван, генерал Каульбарс, Левендаль, Энгельгардт, Плеве, Пеликан, генерал Ранд, Рихтер-Шванебах и другие» (с. 69). Перечень таких нерусских лидеров черносотенства можно продолжать и продолжать. Но как это со-

вместить с «расизмом» — или хотя бы с национализмом — Союза русского народа? Что это за националисты, которые избирают в качестве вожаков многочисленных людей иного национального происхождения?

Впрочем, к насквозь лживой книге Лакера мы еще вернемся; здесь же нельзя не сказать об его рассуждении о российском масонстве XX века, поскольку я подробно рассматривал эту тему.

Лакер не отрицает (да это и невозможно) существование масонов в революционной России, но без всяких аргументов утверждает, что они не играли хоть сколько-нибудь существенной роли. Их «миссия» в Феврале — это-де выдумка нескольких эмигрантов и современных русских историков. Трудно поверить, что Лакер ничего не знает о целом ряде работ западных историков (Л. Хаймсон, Б. Нортон, Н. Смит, Б. Элкин и др.)[63], пришедших, в сущности, к тем же выводам, что и их русские коллеги. Словом, перед нами опять заведомая ложь.

Впрочем, это обычный «прием» Лакера. Так, например, он упоминает коллективный труд «Погромы: противоеврейское насилие в новейшей русской истории», изданный в 1992 году Кембриджским университетом (я писал о нем; см. «Наш современник», 1994, № 8, с. 138—140), и даже дает ему высокую оценку: «Глубокое исследование причин и обстоятельств погромов» (с. 56). В этом труде показано, в частности, что черносотенцы отнюдь не устраивали погромов. Однако Лакер всего через две страницы беспардонно пишет, что-де Н.Е. Марков планировал, как «в грядущих погромах погибнут все евреи, до последнего» (с. 59).

Но на каких же основаниях Лакер отвергает все многочисленные исследования о роли масонства в Февральской революции? А крайне просто: он ссылается на написанную еще в 1981 году книгу воинствующего советского историка А.Я. Авреха «Масонство и революция», которая якобы содержит истину в последней инстанции (с. 20). Из книги Авреха можно узнать, что историки, говорящие о роли масонства, «практически отвергают марксистско-ленинскую концепцию развития революционного процесса в Рос-

сии»[64]. Это в самом деле так, и Аврех — вслед за «академиком И.И. Минцем», на статью которого он почтительно ссылается в своей книге, — ринулся отстаивать сию концепцию.

Так что Лакер — хочет он того или не хочет — оказывается единомышленником Авреха и Минца. Могут возразить, что в книге Лакера есть нападки на тех или иных коммунистов. Это действительно так, но с одним в высшей степени многозначительным уточнением: Лакеру не нравятся те коммунисты, которые хоть в какой-либо мере склонны к патриотизму. Истинный враг для Лакера — вовсе не коммунизм (в любом смысле этого слова), но Россия. И это необходимо осознать каждому, кто возьмет в руки его книгу, — как, кстати сказать, и многие другие западные сочинения о России....

Глава 2

ВОЖДИ И ИСТОРИЯ

В подавляющем большинстве нынешних сочинений о первых послереволюционных десятилетиях предпринят кардинальнейший «пересмотр» тех представлений об этом периоде истории, которые господствовали ранее. Произошла своего рода замена знака плюс на минус: то, что рассматривалось как исторические победы и достижения, стали толковать в качестве поражений и бед. Притом нередко этим самым «пересмотром» занимаются авторы, которые еще десять, максимум пятнадцать лет назад писали нечто прямо противоположное...

Естественно, что многих людей возмущает или по меньшей мере смущает такое положение вещей, но проблема все же не столь проста, как может показаться с первого взгляда. Выше уже шла речь об относительности и, в конечном счете, мнимости понятия «прогресс», которое, строго говоря, являет собой мобилизующий и обнадеживающий людей *миф*, ибо в силу всеобщих законов бытия любое приобретение неизбежно оборачивается не менее существенными потерями. Так, например, ныне все более широкие круги людей осознают, что гигантские победы в сфере научно-технического прогресса, завоеванные в нашем столетии, ставят под вопрос самое бытие человечества (и даже жизнь на Земле вообще).

Поэтому переосмысление каких-либо явлений и событий истории, в результате которого то, что толковалось как победа, предстает как поражение, не является чем-то абсурдным, хотя, конечно, такое переосмысление должно быть подлинно основательным и тщательно аргументированным (ныне же многие пересмотры явно легковесны и бездоказательны).

Но есть и другая сторона проблемы «пересмотра». В течение долгого времени все исторические победы и достижения преподносились как плоды разумения и деяния «вождей» — Ленина и Сталина. Хотя к XX веку было выработано — в том числе, кстати сказать, и в *марксистских* сочинениях — достаточно объективное понимание *роли личности в истории*, внедряемая в массы *идеология* с ним, в сущности, не считалась, заставляя подчиняться себе и профессиональных историков. И ход событий с 1917 по 1953 год оказывался в основном попросту выражением деятельности вождей...

Но вот в чем странный и даже нелепый парадокс: авторы, которые со второй половины 1980-х годов начали взапуски проклинать Сталина, а затем Ленина, всецело сохранили в себе внушенное господствовавшей до 1956 года идеологией убеждение, что все происходившее после 1917 года в стране — результат мысли и воли вождей! Правда, теперь они толковали эти результаты как тяжкие беды и поражения, но самая основа, фундамент их понимания истории остался прежним![1] Перед нами, по сути дела, пресловутый «культ личности» — пусть и «наизнанку» (ниже будут приведены конкретные образчики этого сегодняшнего культа — например, в сочинениях о 1937 годе и о Великой Отечественной войне).

Разумеется, объективный ход истории так или иначе выражался, проявлялся и в действиях вождей, но совершенно несостоятельно представление, согласно которому историческое бытие громадной страны, так или иначе связанное с бытием мира в целом, являлось выражением мысли и воли вождей. Между тем именно такое представление в той или иной мере присутствует в множестве нынешних сочинений.

И надо прямо сказать, что их авторы находятся в зависимости — конечно, бессознательной — от той идеологии, которая была внедрена в массовое сознание много лет назад, — идеологии, внушавшей, что все совершавшееся в стране — плод личных, собственных, в конце концов своевольных «решений» Ленина и Сталина.

И для начала обратимся к ряду конкретных «решений»

Сталина, дабы убедиться, что они были продиктованы ходом самой *истории*, а не его личными «замыслами».

* * *

Вот хотя бы первое по времени (конец 1924—1925 гг.) кардинальное сталинское решение о строительстве социализма «в *одной* стране», которое ранее восхвалялось, а теперь чаще всего проклинается как установка на «национал-большевизм» (о котором мы еще будем говорить). Между тем давно доказано, что Н.И. Бухарин выдвинул эту проблему ранее Сталина[2] и, главное, обосновал ее реализацию в двух обстоятельных статьях (которые *тогда* имели значительно большее влияние, чем сталинские статьи): «Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз» (1925) и «О характере нашей революции и о возможности победоносного социалистического строительства в СССР» (1926).

Но суть дела даже не в этом. Совершившийся в 1925—1926 году отказ от незыблемой ранее установки на *мировую* (или хотя бы западноевропейскую) революцию, без которой, мол, ни о каком социализме в России не может быть и речи, являлся не волевым, а *вынужденным* актом. Это убедительно показано, между прочим, в книге, принадлежащей современному историку самого молодого поколения, С.В. Цакунову, — «В лабиринте доктрины. Из опыта разработки экономического курса страны в 1920-е годы» (М., 1994). То, что перед нами именно молодой историк, весьма важно: С.В. Цакунов не испытал давления различных идеологических тенденций, характерных для предшествующих десятилетий, и смог подойти к изучению предмета более или менее беспристрастно.

Он доказывает, что в основных политических решениях 1920-х годов выражался «тот путь, по которому *стихийно* (курсив здесь и далее мой. — *В. К.*) развивалась практика руководства экономической жизнью... Как потом показал опыт, это был *единственно возможный* вариант практического руководства экономической жизнью... В дальнейшем

Сталин и его окружение... использовали этот метод, не называя его непосредственно. Суть его состояла в том, что делались лишь те уступки, без которых дальше режим удержаться у власти уже бы не смог...» (с. 107—108)

В своих «решениях» и Ленин, и Бухарин (который с конца 1925-го до середины 1928 года играл в определении партийной линии безусловно первую роль), и, далее, Сталин так или иначе реагировали на изменения в экономическом и политическом бытии страны. При этом, подчеркивает С.В. Цакунов, «Сталин осознал для себя не только стратегическое значение идеи «социализма в одной стране», как это он делал вслед за Бухариным, но и ее конкретно-практическую функцию, позволявшую смелее смотреть в лицо новым опасностям...» (с. 147), и потому «к процессу формирования «гарантий», совершавшемуся под прикрытием идеи «социализма в одной стране», Сталин подходил шире, чем Бухарин, и гораздо прагматичнее» (с. 146).

Этот вывод молодого историка резко расходится с настойчиво пропагандируемым в последние годы представлением, согласно которому как раз Бухарин — широко мыслящий «прагматик» (Ленин, знавший его лучше, чем нынешние его апологеты, квалифицировал его, наоборот, как «схоластика») в отличие от «догматика» Сталина. Но решение о немедленной коллективизации, которое в 1928 году выдвинул — уже самостоятельно (и в противовес Бухарину) — Сталин, было продиктовано не политической догмой, а реальным положением в экономике страны.

Вопрос о необходимости коллективизации вообще-то был решен (теоретически — как перспективный план) при Ленине, однако даже еще в ноябре 1927 года Сталин говорил о коллективизации: «К этому дело идет, но к этому дело еще не пришло и *нескоро* придет»[3]. Тем не менее всего лишь через полгода, в мае 1928-го, он выступил с докладом «На хлебном фронте», из которого со всей ясностью следовало, что коллективизация — *неотложная*, насущнейшая задача. И уже в 1929 году началось ее глобальное практическое осуществление.

Ныне все знают, что коллективизация привела к тягчайшим и просто чудовищным последствиям. Позволю себе в связи с этим чисто личное отступление. Многое из того, что произошло в 1929—1933 годах, мне стало известно (прежде всего из бесед с М.М. Бахтиным) еще в начале 1960-х годов, и должен признаться: я пришел тогда к полнейшему «отрицанию» послереволюционного пути страны. В 1966 году, когда коллективизация, несмотря на признание ее так называемых *перегибов* (о чем официально говорилось еще и во время ее проведения), являлась в общем сознании в качестве великого позитивного свершения, мой ближайший друг поэт Анатолий Передреев (1934—1987), уроженец саратовской деревни Новый Сокур, сказал в стихотворении «Воспоминание о селе»:

Забыв о том, как сеяли и жали,
Давным-давно мои отец и мать
Из деревеньки этой убежали,
Едва-едва успели убежать...
А по всему голодному Поволжью
Смерть от села ходила до села...

Эти строки, понятно, заменялись при публикациях стихотворения точками и были восстановлены лишь в пору «гласности».

Но об этом речь пойдет ниже. Здесь же обратимся к, так сказать, исходному вопросу: *почему* было принято само это приведшее к тяжелейшим жертвам практическое решение о немедленной коллективизации?

В декабре 1927 года выявились непредвиденные трудности с «хлебозаготовками» — то есть закупкой у крестьян зерна (а не «продразверсткой»). Дело шло о создании необходимых запасов хлеба (для населения городов, для армии и т.д.). Но получить эти необходимые государственные запасы удалось лишь путем применения «чрезвычайных мер».

13 февраля 1928 года Сталин направил обращение «ко всем организациям ВКП(б)» под названием «Первые итоги заготовительной кампании и дальнейшие задачи партии»

(между прочим, это обращение было впервые опубликовано лишь в 1949 году). А через два месяца, 13 апреля, Бухарин прочитал и тут же опубликовал пространный доклад: «Уроки хлебозаготовок, Шахтинского дела (о тогдашних «вредителях» в Донбассе. — *В. К.*) и задачи партии».

Эти тексты предельно близки по смыслу (а подчас даже совпадают дословно). И там, и здесь тяжкие трудности в деле хлебозаготовок объясняются «*ошибками*» властей — и центральной, и местных[4].

Главные ошибки оба вождя согласно усматривали в том, что крестьянам не было обеспечено потребное количество промышленных товаров, и они не были заинтересованы в продаже своего зерна (деньги оказывались ненужными), и, с другой стороны, не велась решительная борьба с «кулаками», активно, мол, срывавшими хлебозаготовки.

Здесь важно учитывать, что позднее, в процессе партийной борьбы, Бухарин был объявлен пособником «кулаков», и, как ни дико, эта явная *клевета* и ныне многими принята на веру (хотя теперь принято не бранить, а восхвалять за это Бухарина).

Между тем в своем докладе 13 апреля 1928 года Бухарин даже *резче*, чем Сталин, говорил о борьбе с кулаками, обличая, в частности, тех коммунистов, которые «не видят необходимости форсированного наступления на кулака... Хлебозаготовки выявили такую прослойку нашего аппарата, которая потеряла классовое чутье, не хочет ссориться с кулаком»[5].

Наиболее же важен тот факт, что в своем упомянутом обращении от 13 февраля 1928 года Сталин еще отнюдь не ставил вопрос о прямом переходе к коллективизации — то есть, в сущности, к отмене провозглашенной в 1921 году «новой экономической политики» (нэп). Он недвусмысленно заявлял: «Разговоры о том, что мы будто бы отменяем нэп, вводим продразверстку, раскулачивание и т.д., являются контрреволюционной болтовней, против которой необходима решительная борьба»[6].

Однако всего лишь через *два-три месяца* представления Сталина коренным образом изменились, и в своем

докладе «На хлебном фронте», прочитанном 28 мая 1928 года и опубликованном в «Правде» 2 июня, он выступил против основных положений апрельского бухаринского доклада (хотя и не называл пока имени Бухарина), а также, в сущности, и против главных тезисов *своего собственного* февральского обращения к партии.

Сталин теперь отвергал убеждение (разделявшееся ранее и им самим), согласно которому хлебозаготовительные трудности — результат «ошибок». Он утверждал, что эти трудности объясняются «прежде всего и главным образом изменением *строения* нашего сельского хозяйства в результате Октябрьской революции, переходом от крупного помещичьего и крупного кулацкого хозяйства, дававшего наибольшее количество товарного (то есть предназначаемого для продажи. — *В. К.*) хлеба, к мелкому и среднему крестьянскому хозяйству, дающему наименьшее количество товарного хлеба»[7]. Этот вывод вовсе не был «открытием» самого Сталина; он, как бы проявляя честность, тут же сообщил, что почерпнул его из «записки члена коллегии ЦСУ (Центрального статистического управления. — *В. К.*) т. Немчинова».

В.С. Немчинов (1894—1964) — выдающийся представитель сложившейся в конце XIX — начале XX века русской экономической школы, в которой сформировался, в частности, и один из крупнейших экономистов мира Василий Леонтьев, эмигрировавший на Запад (точнее, ставший «невозвращенцем») в 1930 году. Впоследствии, в 1960-м, Леонтьев писал, что его «интеллектуальные корни» произросли «на плодородной почве Советской России» (имелась в виду Россия 1920-х годов); уважительно упомянул он здесь же и о знакомом ему с юных лет В.С. Немчинове[8].

Нельзя не сообщить, что выводы «записки» В.С. Немчинова произвели столь громадное впечатление на Сталина, что он вновь привел их через одиннадцать (!) лет в своем докладе на XVIII съезде партии, назвав здесь ученого «известным статистиком т. Немчиновым»[9].

В «записке» или, вернее, исследовании В.С. Немчинова, определившем переворот в представлениях Сталина,

было показано, что до 1917 года более 70 процентов *товарного* хлеба давали крупные хозяйства[10], использующие массу наемных работников (в 1913 году — 4,5 млн. человек). После революции обширные земли этих хозяйств были поделены; количество крестьян-«единоличников» выросло на 8—9 млн. К 1928 году крестьяне (в целом) производили поэтому почти на 40 процентов *больше* хлеба, чем дореволюционное *крестьянство*, но, как и до 1917 года, почти целиком потребляли его сами: на продажу шло всего только (как показал В.С. Немчинов) 11,2 процента крестьянского хлеба!

Как уже отмечалось, и Бухарин, и Сталин (до ознакомления с исследованием В.С. Немчинова) полагали, что одной из главных причин «нежелания» крестьян продавать хлеб являлся дефицит нужных им промышленных товаров. Однако из вычислений Немчинова явствовало, что и до 1917 года *крестьяне* (речь идет именно о них, а не о крупных землевладельцах) продавали всего лишь 14,7 процента своего хлеба, и, следовательно, если дефицит «промтоваров» и влиял в 1927—1928 годах на крестьянский «зажим» хлеба, то в весьма небольшой степени: «товарная» часть крестьянского хлеба уменьшилась в сравнении с дореволюционным временем всего только на 3,5 процента.

Итак, ситуация к 1928 году сложилась поистине тупиковая. В урожайном 1926 году крестьяне, как показал В.С. Немчинов, произвели более 4 млрд. пудов, то есть 65,5 млн. тонн хлеба — почти на 25 млн. тонн больше, чем дореволюционное *крестьянство*, — но продали всего лишь 466 млн. пудов — то есть 7,4 млн. тонн. Между тем городское население росло тогда стремительно. И к концу 1928 года пришлось ввести в городах распределение хлеба по карточкам...

Мыслимые выходы из создавшегося положения были следующими: а) восстановление крупных «капиталистических» хозяйств, то есть, по существу, полная отмена Октябрьской революции; этого, впрочем, *никто* тогда не предлагал; б) отказ от промышленного роста и, соответственно, увеличения городского населения; такова была, например, программа видного «народнического» экономиста

Н.Д. Кондратьева, которую Бухарин заклеймил в своем упомянутом выше докладе от 13 апреля 1928 года как «совершенно откровенную кулацкую программу»[11] (Кондратьев к тому моменту был уже изгнан отовсюду и ждал ареста); в) коллективизация, которая в сущности представляла собой восстановление крупных хозяйств с многочисленными работниками...

Изложив результаты исследования В.С. Немчинова, Сталин поставил вопрос о том, «где же выход из положения?» и ответил: «1) Выход состоит прежде всего... в переходе от индивидуального хозяйства к коллективному... 2) Выход состоит, во-вторых, в том, чтобы расширить и укрепить старые совхозы, организовать и развить новые крупные совхозы». Правда, Сталин добавил еще: «3) Выход состоит, наконец, в том, чтобы систематически поднимать урожайность... индивидуальных крестьянских хозяйств»[12], — но это явно было уступкой прежним представлениям.

Как уже отмечено, о тяжелейших последствиях коллективизации речь пойдет ниже; здесь же ставится задача показать, что коллективизация была порождением хода истории (раскрытым в исследовании В.С. Немчинова), а не личным деянием Сталина, как бы его ни оценивать. Уничтожение крупных хозяйств, которого, между прочим, прямо-таки жаждали миллионы крестьян (начавших это уничтожение еще в 1905 году и без особого «руководства» большевиков довершивших его в 1917—1918 годах), с абсолютной неизбежностью привело к тому, что количество товарного хлеба в 1927 году было в *два раза* (!) меньше, чем в 1913-м, хотя *валовой сбор* зерна был примерно таким же. Поэтому и пришлось в 1928 году ввести в городах карточную систему (ведь городское население страны превысило дореволюционное и росло на 1,5—2 млн. человек за год).

Повторю еще раз, что я пока никак не «оцениваю» коллективизацию; я стремлюсь показать, что решение безотлагательно осуществить ее было вызвано не своеволием, а ходом истории. Может, впрочем, возникнуть вопрос о том, почему роковая нехватка товарного хлеба «обнаружилась» лишь к 1928 году. Но причина вполне ясна: после

1917-го очень резко *сократилось* городское население — и в силу гибели множества горожан, и в силу их массового «бегства» в деревню. Так, к 1920 году население Москвы уменьшилось по сравнению с дореволюционным в два раза, а Петрограда — даже почти в три раза. Но с 1923 года количество горожан начало неуклонно расти.

И в конечном счете именно эта исторически сложившаяся экономическая реальность продиктовала решение о неотложной коллективизации, хотя в целях идеологической мобилизации пропагандировался тогда прежде всего и главным образом тезис о необходимости превращения сельского хозяйства — как и промышленности — в *социалистическое* (то есть в колхозное и совхозное).

В последние годы очень много наговорено о порожденном спорами о коллективизации противостоянии Сталина и Бухарина. При этом необходимо иметь в виду, что решение о немедленной и всеохватывающей, «сплошной» коллективизации было, в сущности, *первым* самостоятельным и действительно реализованным решением Сталина (если иметь в виду, конечно, решения, определяющие политический курс в целом). Правда, Сталин и ранее пытался осуществить свое решение. Осенью 1922 года он выступал против создания Союза Советских Социалистических Республик, настаивая, чтобы Украина, Белоруссия, Азербайджан, Грузия, Армения вошли на правах «автономных республик» в состав существовавшей с 1917 года *РСФСР* (хотя против этого категорически возражал, например, ЦК КП Грузии, заявивший тогда: «Объединение хозяйственных усилий и общей политики считаем необходимым, но с сохранением всех атрибутов независимости»)[13].

Но решение Сталина было квалифицировано Лениным и большинством ЦК РКП(б) как проявление «великодержавного шовинизма», и 30 декабря 1922 года начал свою историю СССР. И в течение следующих пяти с лишним лет Сталин, в сущности, не выдвигал собственных кардинальных решений; он только поддерживал инициативы Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева (в 1923—1924 годах), а затем Н.И. Бухарина (в 1925-м — начале 1928 года).

Как было показано выше, убеждение в насущной необходимости коллективизации сложилось у Сталина в апреле—мае 1928 года, и тогда же началось его — пока еще, правда, неявное — противостояние Бухарину (конфликт обнажился лишь в начале 1929 года). Во многих нынешних сочинениях утверждается, что Сталин выдвинул лозунг коллективизации чуть ли не главным образом ради отстранения Бухарина от власти. Вообще-то доля истины здесь есть, однако ничуть не меньше оснований для утверждения, что и Бухарин был крайне недоволен неожиданной инициативой Сталина, который ранее (пусть даже неохотно) *уступал* Бухарину (по ленинской характеристике декабря 1922 года, «ценнейшему и крупнейшему теоретику партии») право определять основы политического курса. А тут вдруг Сталин выступает с требованием коренного изменения этого курса, безоговорочного отказа от провозглашенного семь лет назад нэпа, который Бухарин и вслед за ним и сам Сталин отстаивали в ожесточенной борьбе с Троцким, Зиновьевым, Каменевым...

Тот факт, что противостояние Бухарина новой программе Сталина было, по крайней мере, не вполне принципиальным, выявился в предпринятой им вскоре после первых сталинских выступлений о необходимости неотложной коллективизации, в июле 1928-го, попытке заручиться поддержкой Зиновьева и Каменева. Ведь эти недавние верховные вожди были в 1926—1927 годах выведены из Политбюро и затем из ЦК дружными совместными усилиями Бухарина и Сталина, — выведены, в частности, именно за их приверженность к непримиримой борьбе с «кулаками» и к неотложной коллективизации! Поэтому в бухаринских переговорах с Каменевым волей-неволей воплотилось стремление обрести союзников не для противостояния конкретной сталинской программе, а для противостояния Сталину как политической силе.

Еще более показательно другое: открыто выступив против сталинской программы коллективизации в январе 1929-го, Бухарин уже в ноябре *того же года* безоговорочно признал свою «ошибку», а затем выразил полнейшее со-

гласие с этой самой программой. 19 февраля 1930 года он публикует на страницах «Правды» обширную статью «Великая реконструкция», в которой предстает, по сути дела, в качестве большего «сталиниста», нежели сам Сталин...

Последний опубликовал ранее в той же «Правде» свои решительнейшие статьи «Год великого перелома» (7 ноября 1929 года) и «К вопросу о политике ликвидации кулачества как класса» (21 января 1930 года), однако бухаринская «Великая реконструкция» явно превзошла эти свои образцы.

Приветствуя завершение начавшегося в 1921 году периода НЭП, Бухарин заявил, что «мы переживаем другой *крутой перелом* (выделено самим Бухариным. — *В. К.*) с чрезвычайным обострением классовой борьбы... Обострение классовой борьбы идет по широкому фронту и в городе, и в деревне: экономика, политика, наука, искусство, религия, философия, быт, школа — повсюду набухли противоречия социальных сил... повсюду началось усиленное продвижение пролетарских отрядов. Но наиболее отчаянная борьба идет именно в деревне. Здесь быстро и победоносно развивается *антикулацкая революция*» (выделено Бухариным). И так как кулак «оказывает бешеное сопротивление», с ним «нужно разговаривать языком свинца».

Главное здесь даже не в том, что Бухарин предлагает расстреливать «кулаков», ибо он никогда не был ни «защитником кулаков», каким его — для окончательной дискредитации — объявляли Троцкий, Зиновьев и Каменев, а позднее Сталин (прием, типичный для любой политической борьбы), ни даже «защитником крестьянства», какового в нем простодушно хотели видеть, например, некоторые крестьянские писатели есенинского круга, готовые даже забыть уничтожающую бухаринскую статейку о Есенине, появившуюся совсем недавно — в начале 1927 года...

Главным в полемике Бухарина со Сталиным, продолжавшейся с января до ноября 1929 года, был тезис о том, что «чрезвычайные меры в отношении крестьянства ведут к катастрофе, к *гибели* Советской власти». При этом Бухарин постоянно ссылался на Ленина, который в своих по-

следних статьях (конец 1922 — начало 1923 года) не раз повторял, что раскол с крестьянством «был бы губителен для Советской республики» (см., например, известный бухаринский доклад в январе 1929 года «Политическое завещание Ленина»). Но это было чисто догматическим переносом ленинского положения семилетней давности в совершенно иную ситуацию. С лета 1917-го до весны 1921 года страна пережила эпоху всеобщего крестьянского бунта, являвшего самую грозную опасность для власти[14], однако к 1929 году положение в деревне было совершенно другим, и проведение коллективизации вызвало слабое и локальное (в сравнении с периодом 1917—1921 годов) сопротивление, — в частности, потому, что так называемые «бедняки», которых власть в предшествующие годы всячески поддерживала, без каких-либо понуканий осуществляли и «раскулачивание», и создание колхозов (поскольку в период нэпа каждый крестьянин мог получить достаточный земельный надел, «бедняками» к концу 1920-х годов оказались в значительной мере те, кто не был склонен к упорному труду и питал ненависть к «крепким» хозяевам).

Бухарина, повторяю, волновала вовсе не судьба крестьянства, а его возможный сокрушительный бунт против большевистской власти, и, поскольку к февралю 1930 года стало ясно, что такого бунта не предвидится, вчерашний оппонент Сталина оптимистически воспел «крутой перелом» в своей только что цитированной статье «Великая реконструкция». Бухарину было, разумеется, неудобно просто повторить данную ранее сталинскую формулу «Великий перелом», но он использовал в своей статье и слово «перелом» (с другим эпитетом), и определение «великая» (с другим определяемым).

Ныне пытаются доказывать, что подобные суждения Бухарина были вынужденными (то есть он в тактических целях лгал), что на самом деле он оставался последовательным противником коллективизации. Так, американский биограф Бухарина Стивен Коэн, даря мне в 1989 году свою книгу о нем, недоуменно спрашивал, почему я не являюсь поклонником этого деятеля — «защитника русского

крестьянства». Но допустим даже, что цитированная статья «Великая реконструкция» была тактическим ходом. Однако в 1934 году в своем докладе о поэзии на 1-м съезде советских писателей Бухарин сказал о Есенине как поэте «с мужицко-кулацким естеством»: «Его настоящее поэтическое нутро было наполнено ядом отчаяния перед новыми фазисами великого переворота»[15], то есть прежде всего перед коллективизацией. Говорить об этом в докладе о поэзии было, без сомнения, необязательно, и Бухарин здесь выразил, конечно же, свои действительные представления о «великом перевороте» (или «переломе»), сложившиеся несколько позже, чем сталинские, но все-таки уже к концу 1929 года. Очевидно, и Бухарин убедился в необходимости и «плодотворности» этого переворота, — что и выразилось в его статье «Великая реконструкция» (февраль 1930-го).

* * *

Обратимся к еще одному из известных «сталинских решений», теперь уже в сфере внешней политики, — «пакту» с Гитлером, заключенному 23 августа 1939 года. Этот «пакт» оценивался и как «мудрое» сталинское решение, предопределившее в конечном счете возникновение «второго фронта», и, напротив, как крайне недальновидное (приведшее к тяжелейшим поражениям в 1941-м) и «позорное» (союз с фашистами). Но и в данном случае к разговору об оценке я обращусь позже, в соответствующей главе этого сочинения. Сейчас меня интересует другое. Обе оценки — и позитивная, и негативная — обычно исходят из того, что «пакт» был выражением неожиданной *личной* инициативы Сталина, который ранее — это очевидно — выступал как непримиримый противник германского фашизма.

И на этот раз — как в переходе к коллективизации — может поразить быстрота кардинальной *смены* политики. На всем протяжении тридцатых годов Сталин самым резким образом выступал против германского фашизма (точ-

нее, национал-социализма). И еще 10 марта 1939 года, менее чем за пять месяцев до пресловутого «пакта», он издевательски говорил в докладе на XVIII съезде партии о, по его выражению, «фашистских заправилах» Германии, которые «раньше чем ринуться в войну, решили известным образом обработать общественное мнение, т.е. ввести его в заблуждение, обмануть его. Военный блок Германии и Италии против интересов Англии и Франции в Европе? Помилуйте, какой же это блок. «У нас» всего-навсего безобидная «ось Берлин — Рим», т.е. некоторая геометрическая фигура насчет оси»[16] и т.п.

Далее Сталин сказал, что «войну ведут государства-агрессоры, всячески ущемляя интересы неагрессивных государств, прежде всего Англии, Франции, США, а последние пятятся назад и отступают, давая агрессорам уступку за уступкой» (с. 609).

Через пять дней, 15 марта 1939 года, германская армия, словно подкрепляя положения сталинского доклада, захватила Прагу, хотя известное Мюнхенское соглашение от 29 сентября 1938 года между Англией и Францией и, с другой стороны, Германией и Италией вроде бы гарантировало чешский суверенитет...

Реальную подоплеку тогдашнего хода событий выявил, например, видный английский историк Лиддел Гарт, книга которого «История мировой войны» (1970) признана одним из лучших исследований предмета. Он сообщает о том, что стало известно значительно позже; как выяснилось, еще в ноябре 1937 года премьер-министр Великобритании Чемберлен направил в Берлин лорда Галифакса: «Галифакс был тогда лордом-председателем совета, вторым лицом в правительстве после премьер-министра. Сохранилась стенограмма беседы Галифакса с Гитлером. Галифакс дал Гитлеру понять, что Англия *не будет мешать* ему в Восточной Европе... В феврале 1938 года министр иностранных дел Иден после неоднократных споров с Чемберленом был вынужден уйти в отставку... Министром иностранных дел был назначен (20 февраля. — *В. К.*) Галифакс. Несколькими днями позже английский посол в Бер-

лине Гендерсон посетил Гитлера для конфиденциальной беседы. Фактически она явилась продолжением ноябрьских переговоров фюрера с Галифаксом... Еще больше ободрила Гитлера та сговорчивость, с какой правительства Англии и Франции восприняли его вторжение в Австрию (13 марта 1938 года. — *В. К.*)

И, наконец, еще большее удовлетворение Гитлер получил, узнав, что Чемберлен и Галифакс отклонили предложения русских о созыве конференции относительно коллективного плана гарантий против агрессии Германии»[17]

Это предложение СССР было направлено Англии и Франции всего через пять дней после нацистского захвата Австрии, 18 марта 1938 года. О дальнейшем ходе событий подробно рассказал их непосредственный участник и одновременно незаурядный историк Уинстон Черчилль:

«Я в то время настаивал (Черчилль был тогда влиятельным депутатом парламента. — *В. К.*) на том, что только заключение франко-англо-русского союза даст надежду сдержать натиск нацистов»[18]. Но правительство Чемберлена отвергало все подобные предложения. 2 сентября 1938 года, продолжает Черчилль, его попросил о встрече посол СССР в Великобритании И.М. Майский. Сразу после этой встречи Черчилль направил министру иностранных дел Галифаксу письмо, в котором, в частности, призывал принять предложение СССР о выработке «совместной декларации при участии трех заинтересованных великих держав — Франции, России и Великобритании» с целью «предотвращения войны» (с. 135). Но Галифакс и Чемберлен отклонили и эту очередную инициативу СССР. «Советские предложения, — заключает Черчилль, — фактически игнорировали. Эти предложения не были использованы (даже! — *В. К.*) для влияния на Гитлера, к ним отнеслись с равнодушием, чтобы не сказать с *презрением*, которое запомнилось Сталину. События шли своим чередом так, как будто Советской России не существовало. Впоследствии мы дорого поплатились за это» (с. 141).

Нельзя не учитывать, что Черчилль, со своей стороны, подтвердил сведения, сообщаемые в книге Лиддела Гарта. Он рассказал, как именно в 1937 году (см. выше) тогдаш-

ний германский посол в Лондоне Риббентроп (в феврале 1938-го он стал министром иностранных дел) пригласил его для беседы, главный смысл которой заключался в предложении, «чтобы Англия предоставила Германии свободу рук на востоке Европы. Германии нужен лебенсраум, или жизненное пространство... Поэтому она вынуждена поглотить Польшу... Что касается Белоруссии и Украины, то эти территории абсолютно необходимы для обеспечения будущего существования германского рейха...».

«Выслушав все это, — продолжает Черчилль, — я сразу же выразил уверенность в том, что английское правительство не согласится предоставить Германии свободу рук в Восточной Европе... Мы стояли перед картой, когда я сказал это. Риббентроп резко отвернулся от карты и потом сказал: «В таком случае война неизбежна. Иного выхода нет. Фюрер на это решился. Ничто его не остановит...» (с. 102).

Черчилль тогда (до мая 1940-го) не состоял в правительстве, и выраженная им «уверенность» в «несогласии» этого правительства с движением Германии на Восток была всецело безосновательной (что Черчилль, разумеется, понимал): до сентября 1939 года («пакт» СССР с Германией был заключен 23 августа) Англия фактически *соглашалась* со всеми действиями Гитлера в восточном направлении, и потому какой-либо ее союз с СССР был невозможен.

15 марта 1939 года Гитлер захватил Прагу. И, констатирует Черчилль, «18 марта русское правительство... несмотря на то, что перед ним захлопнули дверь... предложило созвать совещание шести держав» (с. 153) — имелись в виду, помимо трех «великих», Польша, Румыния и Турция, которым так или иначе угрожал Гитлер. Но и это предложение было отклонено.

Вместе с тем захват Праги вызвал даже и у Чемберлена острую тревогу; на очереди явно была Польша, с которой Великобританию связывал договор о взаимопомощи. И, продолжает Черчилль, «через две недели (31 марта) премьер-министр заявил в парламенте: «Я должен теперь сообщить палате, что... в случае любых действий, которые будут явно угрожать независимости Польши... правитель-

ство его величества будет считать себя обязанным сразу же оказать польскому правительству всю возможную поддержку» (с. 155—156).

Но это была, строго говоря, совершенно утопическая программа, ибо Великобритания не имела границ с Польшей. И 16 апреля 1939 года британский посол в Москве, по сути дела, *впервые* обратился к СССР с предложением о совместном противостоянии Германии в вопросе о Польше. В ответ Советское правительство, писал Черчилль, на следующий же день, 17 апреля, вновь «выдвинуло официальное предложение, текст которого не был опубликован, о создании единого фронта взаимопомощи между Великобританией, Францией и СССР. Эти три державы, если возможно, то с участием Польши, должны были также гарантировать неприкосновенность тех государств Центральной и Восточной Европы, которым угрожала германская агрессия. Не может быть сомнений в том, — резюмировал Черчилль, — что Англии и Франции следовало принять предложение России, провозгласить тройственный союз... Союз между Англией, Францией и Россией вызвал бы серьезную тревогу у Германии в 1939 году, и никто не может доказать, что... война не была бы предотвращена... Если бы по получении русского предложения Чемберлен ответил: «Хорошо. Давайте втроем объединимся и сломаем Гитлеру шею», или что-нибудь в этом роде, парламент бы его одобрил, Сталин бы понял, и история могла бы пойти по иному пути... Вместо этого длилось молчание, пока готовились полумеры и благоразумные компромиссы... Для безопасности России требовалась совершенно иная внешняя политика... Россия должна была позаботиться о себе» (с. 162, 163, 165).

О самом «пакте» СССР с Германией, заключенном после долгих бесплодных попыток объединиться против Гитлера с Англией и Францией, Черчилль основательно писал: «Невозможно сказать, кому он внушал большее отвращение — Гитлеру или Сталину. Оба сознавали, что это могло быть только временной мерой, продиктованной обстоятельствами. Антагонизм между двумя империями и системами был смертельным. Сталин, без сомнения, ду-

мал, что Гитлер будет менее опасным врагом для России после года войны против западных держав» (с. 179—180).

Итак, Черчилль, который досконально знал весь ход дела, видел в «пакте» Сталина с Гитлером меру, «*продиктованную обстоятельствами*», и подчеркивал: «Если их (русских. — *В. К.*) политика и была холодно расчетливой, то она была также в тот момент в высокой степени реалистичной» (с. 180), то есть соответствующей реальному положению вещей. Из этого, в сущности, следует, что сам Черчилль, будь он на месте Сталина, поступил бы так же.

Словом, неожиданный «переворот» в политике не являл собой выражение индивидуальной воли Сталина, а был совершен под властным давлением реальной исторической ситуации (напомню, что я пока никак не *оцениваю* происшедшее, а только стремлюсь ответить на вопрос, *почему был заключен* пресловутый пакт).

Важно сознавать, что ни Черчилль, ни историк Лиддел Гарт ни в коей мере не стремились снять с СССР (и Сталина) «вину» за пакт с Гитлером. Но присущая вообще английскому менталитету склонность к объективности дала им возможность показать, что пакт был «продиктован обстоятельствами», что эти обстоятельства, по сути дела, «загнали» СССР в «пакт». Отклонение Англией всех предложений СССР о союзе привело к попытке хоть в какой-то мере отсрочить войну с Германией. Сталин, по определению Черчилля, «думал, что Гитлер будет менее опасным врагом для России после года войны против западных держав». Об этом же писал и Лиддел Гарт, оговаривая, правда, что «Сталин переоценил способность западных стран к сопротивлению» (с. 28), ибо с сентября 1939 года на Западе началась так называемая *странная война* — одна видимость войны, которая не мешала Германии наращивать боевую мощь...

Сошлюсь еще на вывод известного английского журналиста Александра Верта, автора обстоятельной книги «Россия в войне 1941—1945». Рассуждая о «пакте», он безоговорочно признал, что «у русских не было другого выбора»[19]. Понятно, что не было выбора и у Сталина...

* * *

И еще об одном «решении» Сталина. В 1947 году он выдвинул задачу борьбы с «низкопоклонством» перед Западом, притом поначалу речь шла не столько об идеологии в прямом, собственном смысле слова, сколько о положении в естественных и технических науках.

Одним из выражений этого нового курса была сталинская речь перед руководителями Союза писателей 13 мая 1947 года, которую зафиксировал (по памяти на следующий день, то есть, по-видимому, весьма точно) Константин Симонов: «А вот есть такая тема, которая очень важна, — сказал Сталин, — которой нужно, чтобы заинтересовались писатели... Если взять нашу среднюю (это существенное уточнение; см. ниже. — *В. К.*) интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров... у них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Все чувствуют себя еще несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли считать себя на положении вечных учеников... Почему мы хуже? В чем дело? Бывает так: человек делает великое дело и сам этого не понимает... Надо бороться с духом самоуничижения...»[20]

Это было, поскольку речь шла не об идеологии, а о *науке*, принципиально новой постановкой вопроса; до войны, в 1930-х годах, Сталин не раз безоговорочно утверждал как раз необходимость «ученичества» у Запада, прежде всего у США: «Мы бы хотели, чтобы люди науки и техники в Америке были нашими учителями... а мы их учениками»[21].

Новое «указание» Сталина воспринималось при его жизни как еще одно свидетельство его личной «мудрости», а позднее — как одно из проявлений его — опять-таки личной — тупой зловредности, нанесшей тяжелейший ущерб развитию науки.

Однако есть все основания утверждать, что это сталинское «указание» не было результатом его собственных размышлений: оно было вызвано письмом, которое в предыдущем, 1946 году направил Сталину один из виднейших

ученых того времени П.Л. Капица. Посылая ему рукопись книги сложившегося еще до революции писателя и историка науки и техники Л.И. Гумилевского (1890—1976) «Русские инженеры», П.Л. Капица сообщал, что эта книга была создана по его предложению: «...я ему (Л.И. Гумилевскому. — *В. К.*) сказал, что надо бы писать... о наших талантах в технике, которых немало, но мы их мало знаем. Он это сделал, и получилась... картина развития нашей передовой техники за многие столетия. Мы, по-видимому, мало представляем себе, какой большой кладезь творческого таланта всегда был в нашей инженерной мысли... обычно мы недооценивали свое и переоценивали иностранное».

И «один из главных отечественных недостатков», согласно мысли Капицы, — «недооценка своих и переоценка заграничных сил. Ведь излишняя скромность — это еще больший недостаток, чем излишняя самоуверенность. Для того чтобы закрепить победу (в Отечественной войне. — *В. К.*) и поднять наше культурное влияние за рубежом, необходимо осознать наши творческие силы и возможности. Ясно чувствуется, что сейчас нам надо усиленным образом подымать *нашу собственную оригинальную технику*... Успешно мы можем это делать, только когда будем верить в талант нашего инженера и ученого... когда мы наконец поймем, что творческий потенциал нашего народа не меньше, а даже больше других... Что это так, по-видимому, доказывается и тем, что за все эти столетия нас никто не сумел проглотить»[22].

Письмо П.Л. Капицы произвело очень сильное впечатление на Сталина, что явствует из следующего. Капица вообще считал своим долгом делиться различными соображениями со Сталиным (а также другими высшими руководителями страны). Начиная с 1936 года он постоянно отправлял свои послания Сталину; в одном только 1945 году Сталин получил от него по меньшей мере пять писем (если иметь в виду лишь известные, к настоящему времени опубликованные). Однако П.Л. Капица *ни разу* не получил ответа, и только после цитированного письма Сталин написал ему (в очередном послании вождю Петр Леонидо-

вич благодарил: «Спасибо за Ваше хорошее письмо, я был ему очень рад»): «Тов. Капица! Все Ваши письма получил. В письмах много поучительного... Что касается книги Л. Гумилевского «Русские инженеры», то она очень интересна и будет издана в скором времени»[23] (книга вышла в свет уже в начале 1947 года).

При сопоставлении процитированного письма Капицы с записанными Симоновым словами Сталина, обращенными к деятелям литературы, видно, что они близки даже текстуально. И едва ли можно оспорить, что очередное «решение» Сталина, имевшее многообразные последствия, исходило из этого письма. Как уже отмечено, Сталин, говоря о «неоправданном преклонении» перед Западом, усматривал эти настроения в «*средней*» научной интеллигенции, в «профессорах» (но не, скажем, академиках), и в таком уточнении естественно видеть проявление того факта, что «*высшая*» научная интеллигенция в лице академика (с 1939 года) П. Л. Капицы как раз и открыла ему, Сталину, глаза на «один из главных» недостатков в сфере науки.

А виднейший ученый, с давних пор уделявший огромное и страстное внимание общему состоянию отечественной науки, выразил в своем письме Сталину опять-таки не некое личное пожелание, но осознание настоятельной потребности в жизни науки в целом. И при всех возможных оговорках взятый в 1947-м курс привел к тому, что в 1954-м в СССР начала работать *первая в мире* атомная электростанция, а в 1957-м стартовал *первый в мире* искусственный спутник Земли.

Кто-либо может возразить, что великие научно-технические достижения России стали возможными не благодаря вышеупомянутому «решению», а вопреки ему. Однако в письме Капицы Сталину дан точный анализ ситуации, основанный на истории русской инженерной мысли, обрисованной в книге Л.И. Гумилевского: «Из книги, — делал выводы П. Л. Капица, — ясно: 1) Большое число крупнейших инженерных начинаний зарождалось у нас. 2) Мы сами почти никогда не умели их развивать (кроме как в области строительства). 3) Часто причина неиспользования нова-

торства в том, что обычно мы недооценивали свое и переоценивали иностранное» (с. 247). Так, например, А.Ф. Можайский еще в 1881 году сконструировал прообраз самолета, а Б.Л. Розинг в 1911-м осуществил первую лабораторную телепередачу, но практическая реализация этих открытий произошла позже в США... И русское первенство в создании — в 1954 году — АЭС в Обнинске и полете — в 1957-м — спутника (что ввело это русское слово во все языки) было, в сущности, совершенно *новым* для России явлением, жажда которого и породила письмо П.Л. Капицы Сталину.

Следовательно, в «решении», которое выдвинул Капица и, если воспользоваться модным сегодня словечком, озвучил Сталин, выражалась, если угодно, воля истории, а не своеволие вождя.

Любопытно, что Константин Симонов, рассказывая через тридцать с лишним лет, в 1979 году, и к тому же не надеясь на опубликование своего рассказа (оно состоялось через еще десяток лет) о сталинской речи, счел нужным заявить, что «в самой идее о необходимости борьбы с самоуничижением, самоощущением нестопроцентности, с неоправданным преклонением перед чужим в сочетании с забвением собственного здравое зерно тогда, весной сорок седьмого года, разумеется, было. Элементы всего этого *реально* существовали и проявлялись в обществе, возникшая духовная *опасность* не была выдумкой»[24]. Симонов, по всей вероятности, высказался бы еще определеннее, если бы ему было известно, что Сталин говорил, в сущности, со слов П.Л. Капицы.

Но нельзя умолчать о другой стороне дела. Симонов заявил тут же, что «здравое», продиктованное «необходимостью» устремление затем «уродливо развернулось в кампанию, отмеченную в некоторых своих проявлениях печатью варварства» (там же). Это, как будет ясно из дальнейшего, чрезвычайно существенная проблема: необходимые для бытия страны «решения» в 1920-х — начале 1950-х годов реализовывались более или менее «*варварски*», и давно уже идут споры о том, не слишком ли велика была «цена» тех или иных «побед»...

Впрочем, скажу еще раз, что задача моя пока состояла лишь в выяснении исторических «причин» тех или иных «решений», в опровержении явно господствующего представления, согласно которому все существенные повороты политики в конце 1920-х — начале 1950-х годов были выражениями *личной* воли Сталина, а не воли самой *истории*, заставлявшей вождя принимать то или иное «решение».

* * *

Итак, необходимо преодолеть своего рода сталинский синдром, побуждающий во всех «поворотах» конца 1920-х — начала 1950-х усматривать «своеволие» вождя. То, что это своеволие оценивают в прямо противоположном духе, — уже не столь существенно, ибо и поклонники, и ненавистники Сталина оказываются равно несостоятельными толкователями истории.

К сожалению, либеральные идеологи чаще всего клеймят любые стремления глубже *понять* ход истории в сталинские времена как попытки «реабилитации» вождя. Только немногие умные люди этого круга (либерализм вообще крайне редко сочетается с сильным умом) способны подняться над заведомо примитивным, исходящим из попросту вывернутого наизнанку «сталинизма» представлением. Так, один из очень немногих умных либералов, Давид Самойлов, написал о «повороте», который, как правило, толкуется в качестве чисто личного злодейства вождя: «Надо быть полным антидетерминистом (то есть полностью отрицать объективный ход истории. — *В. К.*), чтобы поверить, что укрепление власти Сталина было единственной исторической целью 37-го года, что он один мощью своего честолюбия, тщеславия, жестокости мог поворачивать русскую историю, куда хотел, и единолично сотворить чудовищный феномен 37-го года.

Если весь 37-й год произошел ради Сталина, то нет бога (даю самойловское написание. — *В. К.*), нет идеального начала истории. Или, вернее, бог — это Сталин, ибо

кто еще достигал возможности самолично управлять историей!

Какие же предначертания высшей воли диким образом выполнил Сталин в 1937 году?»[25]

К этому сакраментальному вопросу мы еще вернемся, а пока обратим внимание: Давид Самойлов полагает, что суть происшедшего в 1937 году предначертала «*высшая воля*», хотя Сталин выполнил ее предначертание «*диким* образом»; ранее цитировалось такое же разграничение Константина Симонова: послевоенная борьба с «низкопоклонством» была, по его словам, «необходимой» и «здравой», но проводилась она, как это ни прискорбно, «варварски». Подобное разграничение цели и методов ее реализации отнюдь не оригинально: Сталина достаточно часто проклинают не столько за его «решения» как таковые, сколько за то, что он осуществлял их дикими, варварскими, чудовищными «методами».

Но этим он едва ли принципиально отличается от своих предшественников, игравших ведущие роли в 1917—1928 гг. Нередко это варварство выводят — что уж совсем смехотворно — из чисто личных психических особенностей Сталина... Между тем любая революция в подлинном значении этого слова *не может не быть* воплощением «варварства» и «дикости», то есть, выражаясь не столь эмоционально, отрицанием, отменой всех выработанных веками правовых и нравственных устоев и норм человеческого бытия. Именно таков едва ли не главный вывод фундаментального сочинения о Великой французской революции, созданного еще в 1837 году крупнейшим английским мыслителем Томасом Карлейлем, который в свои юные годы непосредственно наблюдал последний период этой революции.

Карлейль стремился осмыслить бесчисленные чудовищные злодеяния французских революционеров. Затоплялись барки, чьи трюмы были набиты не принявшими новых порядков священниками; «но зачем жертвовать баркой? — продолжал Карлейль. — Не проще ли сталкивать в воду со связанными руками и осыпать свинцовым градом все пространство реки, пока последний из барахтающихся

не пойдет на дно?.. И маленькие дети были брошены туда, несмотря на мольбы матерей. «Это волчата, — отвечала рота Марата, — из них вырастут волки». Потом... женщин и мужчин связывают вместе за руки и за ноги и бросают. Это называют «республиканской свадьбой»... «Вооруженными палачами «расстреливались маленькие дети и женщины с грудными младенцами... расстреливали по 500 человек зараз...» И вот вывод Карлейля: «Жестока пантера лесов... но есть в человеке ненависть более жестокая, чем эта».

И образчик «предельной» (или, вернее, беспредельной) чудовищности: «В Медоне... существовала кожевенная мастерская для выделки человеческих кож; из кожи тех гильотинированных, которых находили достойными обдирания, выделывалась изумительно хорошая кожа наподобие замши... История, оглядываясь назад... едва ли найдет в целом мире более отвратительный каннибализм... Цивилизация все еще только внешняя оболочка, сквозь которую проглядывает дикая, дьявольская природа человека»[26] — так завершает Карлейль.

За четверть века (до начала Реставрации в 1814 году) Французская революция пожрала, по разным оценкам, от 3,5 до 4,5 млн. человеческих жизней. Это может показаться не столь уж громадной цифрой, если забыть, что население Франции было тогда в 6—7 раз меньше населения России эпохи ее Революции (и, следовательно, гибель 4 млн. французов соответствовала гибели 25—30 млн. жителей России) и что в конце XVIII века не имелось тех средств уничтожения, которые «прогресс» создал к XX веку...

Известнейший специалист в области исторической демографии Б.Ц. Урланис писал о жертвах Французской революции: «...этот урон был настолько значителен, что французская нация так и не смогла от него оправиться и... он явился причиной уменьшения роста населения во Франции на протяжении всех последующих десятилетий»[27]. И в самом деле: ко времени Революции население Франции составляло 25 млн. человек, Великобритании — 11 млн., Германии — 24 млн., а к концу XIX века соответственно:

38 млн., 37 млн. и 56 млн.; то есть население Германии выросло в два с лишним раза, Великобритании — даже в три с лишним, а Франции — всего лишь на 50 процентов...

«Варварство» революций, выражающееся и в самом характере, в «качестве» деяний революционеров, и в грандиозном *количестве* жертв, имеет свое достаточно четкое объяснение. Ведь революция — это уничтожение — *убийство*! — существующего к моменту ее начала общественного организма; и потому не только те, кто пытается защищать уничтожаемый прежний строй, но даже и те, кто не борется против него, предстают как ее *враги*. Один из вождей Французской революции, Сен-Жюст, обращаясь к соратникам, дал формулу, ставшую своего рода законом: «Вы должны карать не только предателей, но и равнодушных; вы должны карать всякого, кто пассивен в республике»[28].

* * *

Я обратился к Французской революции, в частности, потому, что варварство Российской революции постоянно пытаются «объяснить» некой специфически «русской» жестокостью. Между тем сопоставление реальной картины обеих революций неоспоримо свидетельствует, что все происходившее с 1917 года в России если даже и не уступает, то и не превосходит дикость и гибельность происходившего после 1789 года во Франции. И необходимо сознавать, что двухсотлетняя даль времени и, кроме того, ежегодные пышные торжества в Париже 14 июля под звуки «Марсельезы» заслоняют чудовищные зрелища, разыгрывавшиеся перед тысячными толпами (гильотинировались и мальчики 13—14 лет, «которым, вследствие малорослости, нож гильотины приходился не на горло, а должен был размозжить череп»), и заглушают вопли людей, запертых в идущих на дно барках.

Нельзя не напомнить, что самый варварский террор приходится на первые пять революционных лет (до 1795

года), когда существовавший до 1789 года общественный организм еще так или иначе сопротивлялся, боролся за жизнь. И, возвращаясь к Российской революции, мы сможем убедиться, что дело здесь обстояло так же: самые дикие «методы» и самые громадные жертвы присущи *первому* пятилетию — до 1923 года.

В 1994 году были впервые опубликованы два поистине чудовищных приказа, отданных в июне 1921 года (когда, между прочим, Сталин еще не был «генсеком»). Речь шла о бунте тамбовского крестьянства («антоновщина»), начавшемся в августе 1920 года и к июню 1921-го уже почти полностью подавленном. Тем не менее 12 июня командующий войсками Тамбовской губернии (приказ подписал также начальник штаба этих войск) объявил:

«*Остатки* разбитых банд и *отдельные* бандиты... собираются в лесах... Для немедленной очистки лесов ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая все, что в нем пряталось.

2. Инспектору артиллерии немедленно подать на места потребное количество баллонов с ядовитыми газами и нужных специалистов...»

В соответствии с этим инспектор артиллерии распорядился: «Стрельба должна вестись настойчиво и большим количеством снарядов... Общая скорость стрельбы не менее трех выстрелов в минуту на орудие...

Это отношение к русским крестьянам, бунтовавшим против продразверстки (использование которой, кстати сказать, власти неоправданно затянули, что к тому моменту уже было официально признано), как к неким вредным существам, словно бы не имеющим человеческого статуса, о многом говорит. Но еще более чудовищен был второй приказ, отданный через одиннадцать дней, 23 июня 1921 года:

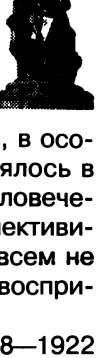
«Опыт первого боевого участка показывает большую пригодность для быстрого очищения от бандитизма из-

вестных районов по следующему способу... По прибытии на место волость оцепляется, берутся 60—100 наиболее видных лиц в качестве заложников... жителям дается *два часа* на выдачу бандитов и оружия, а также бандитских *семей*... Если население бандитов и оружия не указало по истечении двухчасового срока... взятые заложники *на глазах у населения* расстреливаются, после чего берутся новые заложники и вторично предлагается выдать бандитов и оружие... В случае упорства проводятся *новые* расстрелы и т.д. (это «и т.д.» бесподобно! — *В. К.*) ...Настоящее Полномочная комиссия ВЦИК приказывает принять к неуклонному исполнению»[29].

Как ни прискорбно, цитируемые приказы отдали (и проследили за их исполнением) бывшие русские офицеры, которые до революции, без сомнения, не могли даже вообразить себе подобные акции по отношению к русским крестьянам: это командующий войсками Тамбовской губернии М.Н. Тухачевский, начальник штаба Н.Е. Какурин и главный заправила — председатель Полномочной комиссии ВЦИК В.А. Антонов-Овсеенко (до революции он также был некоторое время офицером русской армии).

Все трое в 1930-х годах погибли, и их участь рассматривается как одно из проявлений варварского сталинского террора. Но согласитесь: их гибель — чем бы она ни была вызвана — меркнет перед их злодеяниями 1921 года по отношению к множеству людей...

Нельзя не сказать, что и тамбовские повстанцы отнюдь не были ангелами (о чем еще пойдет речь), однако такое поистине дьявольское поведение *власти* выявляет варварскую суть революции на первой ее стадии. В 1930-х годах едва ли можно обнаружить образчики подобной «методологии» в обращении с населением страны. Мне скажут, что это объясняется не «гуманизацией» власти, а отсутствием такого мощного сопротивления ей, какое имело место в 1918—1921 годах. Но если даже причина именно в этом, факт остается фактом: варварство *первых* лет революции ни в коей мере не было «превзойдено» в последующий период. И это ясно не только из «качества» террора, но еще более из *количественных* масштабов гибели людей.



В массовом сознании по сей день господствует совершенно ложное представление, согласно которому наибольшие человеческие потери приходятся на вторую половину 1930-х годов, в особенности на 1937 год. Это представление внедрялось в течение долгого времени идеологами, которых человеческие потери первых лет революции и периода коллективизации волновали не столь уж сильно или даже совсем не волновали... А погибших в «1937-м» эти идеологи воспринимали как близких им, «своих» людей.

В действительности человеческие потери 1918—1922 годов и даже 1929—1933 годов были прямо-таки несоизмеримо более значительными, нежели потери второй половины 1930-х годов. Чтобы доказать это, придется оперировать многочисленными цифрами, и я заранее прошу извинения у читателей, которые не привыкли или просто не желают иметь дело с какими-либо подсчетами. Но для понимания хода истории цифры в тех или иных случаях необходимы.

Начать следует с количества населения к ноябрю 1917 года на той территории, которая стала (до 1939 года) территорией СССР. Подчас и сегодня утверждается, что это население составляло 143,5 млн. человек, хотя давно уже была опубликована работа историков-демографов Ю.А. Полякова и И.Н. Киселева (см. «Вопросы истории», 1980, № 6), в которой убедительно доказывалось, что перед нами заниженная на 4 с лишним миллиона цифра, и в действительности население страны составляло к 7 ноября 1917 года 147,6 млн., а к началу 1918 года — примерно 148 млн. человек.

В тщательном новейшем исследовании, осуществленном сотрудниками Института социально-экономических исследований Госкомстата России Е.М. Андреевым, Л.Е. Дарским и Т.Л. Харьковой, показаны изменения количества населения страны в продолжение сорока лет — с 1920 по 1959 год (см. в кн.: Население Советского Союза. 1922—1991. М., 1993). Эти подсчеты не претендуют на *абсолютную* точность, но возможные «погрешности» не могут быть сколько-нибудь существенными, ибо в ином

случае в столь многочисленных цифрах обнаружились бы резкие несовпадения с результатами переписей 1926, 1937, 1939 и 1959 годов, а также какая-либо «внутренняя» противоречивость, но этого не наблюдается.

Словом, результаты произведенного исследования позволяют надежно установить, каковы были человеческие потери в тот или иной период послереволюционной истории страны (правда, исключая младенческую и раннюю — до 5 лет — смертность).

К началу 1923 года население страны составляло 137,4 млн. человек, но 18,9 млн. из них родились после 1917 года, и, следовательно, от населения начала 1918 года (148 млн.) уцелело 118,5 млн. человек, а 29,5 млн. (148–118,5=29,5) — то есть 19,9%, каждый пятый! — в 1918—1922 годах «исчезли»...* Чтобы ясно увидеть, как велика была «сверхсмертность», обратимся к следующему — более или менее «мирному» — пятилетию 1923—1927 годов. К началу 1928-го в стране имелось 151,6 млн. человек; 24,8 млн. из них родились после 1922 года и, значит, за пять лет ушли из жизни 10,7 млн. человек (151,6–24,8=126,8; 137,5–126,8=10,7), всего 7,7% — то есть в два с половиной раза меньшая доля населения, чем в 1918—1922 годах!

Доля умерших вновь возрастает в 1929—1933 годах. К началу 1929-го население составляло 154,7 млн. человек, к началу 1934-го — 156,8 млн., из которых 20,5 млн. родились после 1928 года. Таким образом, «исчезли» 18,4 млн. человек (156,8–20,5=136,3; 154,7–136,3=18,4) — 11,9% на-

---

* Часть из них эмигрировала, но она была не столь уж значительной, как нередко утверждают. Это вообще непростая проблема, так как многие из тех, кого причисляют к уехавшим из страны после 1917 года, в действительности эмигрировали раньше. Кроме того, значительная часть бежавших из страны во время Гражданской войны вернулась после ее окончания. И можно считать вполне достоверной цифру всего 0,6—0,7 млн. послереволюционных эмигрантов, приведенную в новейшем исследовании: *Раев М.* Россия за рубежом. М., 1994, с. 261—262.

селения начала 1929 года (в полтора раза больше, чем в 1923—1927 годах).

И, наконец, пятилетие 1934—1938 годов. К началу 1939-го в стране 168,5 млн. человек, в том числе 21,3 млн. родившихся после 1933-го. Следовательно, ушли из жизни 9,6 млн. человек (168,5–21,3=147,2; 156,8–147,2=9,6) — 6,1% населения начала 1934 года.

Подведем итог. Доля «исчезнувших» в 1918—1922 годах — 19,9%, в 1923—1927 годах — 7,7%, в 1929—1933 годах — 11,9%, в 1934—1938 годах — всего лишь 6,1% — меньше, чем в «мирных» 1923—1927 годах!

Нетрудно предвидеть, что многие усомнятся в достоверности этих подсчетов. Но подобное сомнение — результат долгой обработки умов чисто «идеологическими» доводами, не имеющими никаких реальных обоснований.

Чтобы убедиться в этом, обратимся к работе известного этнографа С.И. Брука «Население России (демографический обзор)», вошедшей в энциклопедию «Народы России» (М., 1994). Он утверждает, что после 1917 года имел место «массовый террор, достигший *апогея* (выделено мною. — *В. К.*) в 1937—38...» (с. 18), однако всего через страницу С.И. Брук приводит годовые сведения о доле умерших, и выясняется, что в 1933 году умерли 7,1% тогдашнего населения, а в 1937-м — всего 2,1% и в 1938-м — 2% (с. 20). Впрочем, еще существеннее тот факт, что, согласно сведениям самого С.И. Брука, в «мирном» 1927-м умерли 2,6% населения — то есть на 0,5 процента больше, чем в «апогейном» 1937-м!

С.И. Брук, соответствующим образом «настроенный», даже не заметил, что приводимая им статистика опровергает его же собственное утверждение об «апогее» 1937 года. Правда, снижение смертности к 1937 году в сравнении с 1927-м обусловлено, в частности, развитием здравоохранения — особенно в сельской местности: с 1927 по 1937 год количество коек в сельских больницах увеличилось в три, а число сельских врачей — в два с половиной раза. Но тем не менее демографические показатели ясно свидетельствуют о том, что в 1937 году — в отличие от

первого послереволюционного пятилетия и годов коллективизации — действительно *массовой* гибели населения страны *не было*.

Чиновный политкомиссар Волкогонов в своем — к сожалению, многими принятом на веру — претенциозном опусе «Триумф и трагедия» объявил 1937 год «**страшной трагедией народа**» (выделив эти слова жирным шрифтом).

Между тем мы располагаем не столь давно рассекреченными цифрами, точно зафиксировавшими количество смертных приговоров, вынесенных в 1937—1938 годах: их было 681 692 (известно к тому же, что не все приговоры приводились в исполнение). Конечно же, это страшная цифра, и мы еще будем подробно обсуждать «загадку 1937 года», но все же едва ли уместно говорить в связи с этой цифрой о «*народе*», ибо дело идет о гибели всего 0,4% тогдашнего населения страны; такое количество не могло сколько-нибудь значительно повлиять на статистику умерших во второй половине 1930-х годов и вообще быть «замеченной» в этой статистике. Другое дело — соотношение процентной доли умерших в 1933 году (7,1% населения) и в 1937-м — (всего 2,1%): здесь очевидны миллионы погибших (в 1933-м)... Тем более разительно сопоставление с долями умерших в течение «мирных» 1923—1927 годов (7,7%) и в 1918—1922 годах (19,9%). Поскольку в 1923—1927 годах развитие здравоохранения было не очень значительным, уместно считать, что из 19,9% 12,1% (19,9—7,7) населения начала 1918 года — то есть 17,9 млн.(!) человек явились жертвами Революции... Словом, жертвы 1918—1922 годов (примерно 12% населения) и 1937—1938 годов (0,4% населения, то есть в 30 раз меньше!) поистине несопоставимы.

Мне могут возразить, что множество смертей в первое послереволюционное пятилетие объясняется жестокой засухой 1921 года, вызвавшей массовый голод. То есть миллионы людей погибли из-за стихийного природного бедствия, а не из-за Революции. Однако тридцатью годами ранее, в 1891 году, засуха была еще более широкомасштабной: неурожай охватил тогда территорию России с населе-

нием в 30 млн. (в 1921-м — 25 млн.) человек. И тем не менее благодаря мерам, предпринятым и государством, и обществом, *голодных смертей* в прямом, точном смысле этого слова в 1891—1892 годах, в сущности, не было; от недостаточного питания умирали лишь больные и слабые. Между тем в 1921—1922 годах миллионы стали жертвами тотального голода.

Факты ясно свидетельствуют, что революционная власть не только не предприняла необходимых мер для спасения людей, но и подавила общественные инициативы в этом направлении. Более того: власть воистину варварски использовала страшный голод в своих интересах, проводя изъятие церковных ценностей якобы ради закупки продовольствия для голодающих. В опубликованном в наше время «строго секретном» предписании Ленина недвусмысленно сказано:

«Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей... необходимо провести изъятие церковных ценностей... чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей... Без этого фонда никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности, и никакое отстаивание своей позиции в Генуе (где проходила тогда международная конференция. — *В. К.*) в особенности совершенно немыслимы»[30]. Из этого очевидно, что церковные ценности (их денежную стоимость Ленин, надо сказать, сильно преувеличивал) отнюдь не собирались превращать в хлеб для голодающих...

И другой факт из той же истории голода. Как только выявилась надвигающаяся катастрофа, представители старой интеллигенции, не забывшие о борьбе общественности с голодом 1891 года, когда в спасении людей активно участвовали, среди других, Толстой и Чехов, создали (29 июня 1921 года) «Всероссийский комитет помощи голодающим», который, в частности, мог получить весомую поддержку за рубежом. Большую роль в создании и работе Комитета играл А.М. Горький.

Ленин был явно недоволен участием Горького в работе Комитета и 8 августа 1921 года, в ответ на просьбу писате-

ля о поддержке комитетских инициатив, писал, что-де «ничегошеньки» не может сделать для выполнения его просьбы и, ссылаясь на болезнь Горького, настоятельно предлагал ему уехать из России: «В Европе в хорошем санатории будете и лечиться и втрое больше дела делать... А у нас ни лечения, ни дела — одна *суетня*. Зряшная *суетня*. Уезжайте, вылечитесь. Не упрямьтесь, прошу Вас»[31].

Вскоре А.И. Рыков сообщил Ленину, что, по рассказу одного его знакомого, избранный председателем Комитета видный экономист, «внефракционный» социал-демократ С. Н. Прокопович «держал противоправительственные речи» (что, кстати сказать, было характерно и для боровшихся с голодом интеллигентов 1890-х годов, только бранили они тогда не революционное, а царское правительство). Этого оказалось достаточным, чтобы Ленин 26 августа распорядился немедля распустить Комитет, арестовать Прокоповича и сослать в уездные города всех его сподвижников. В специальном письме «И.В. Сталину и всем членам Политбюро ЦК РКП(б)» Ленин объяснил свое решение тем, что Комитет готовится-де к захвату власти. ВЧК уже 27 августа исполнила ленинские указания относительно Комитета, а Горький 16 октября 1921 года отправился за рубеж — по сути дела, эмигрировал (он возвратится лишь в 1928 году).

Уже хотя бы из этого ясно, что *революционная* власть (в отличие от власти 1891 года) не считала своим неукоснительным долгом принятие всех возможных — в том числе и рискованных для самой себя — мер ради спасения голодающих; ее гораздо более заботило сохранение так называемых завоеваний Революции...

По всей вероятности, найдутся оппоненты, которые возразят мне, что к жертвам Революции следует причислять не вообще всех погибших тогда людей, а только тех, кто был в прямом смысле слова убит в боях или при подавлении бунтов. Но это едва ли сколько-нибудь оправданное ограничение. В таком случае и количество жертв войны 1941—1945 годов следует самым кардинальным образом ограничить, ибо погибшие непосредственно в *боях* со-

ставляют приблизительно *треть* человеческих потерь этих лет — о чем пойдет речь в дальнейшем, в главе, посвященной великой войне. Те, кто погиб в 1918—1922 годах от голода и разрухи и, шире, от самого «состояния мира» в эти тяжкие годы, с объективной точки зрения представляют собой жертвы Революции...

* * *

К сожалению, в литературе о Революции большое место занимают чисто «*субъективистские*» толкования. Со времени известного XX съезда партии все сводили к злодейской личной воле Сталина, а в последнее время достаточно широко распространилось аналогичное истолкование гибели людей в первые годы Революции, когда роль чудовищного злодея исполнял Ленин.

Характерный образец такого истолкования — книга Владимира Солоухина «При свете дня», изданная в 1992 году в Москве, но, как сообщается на последней ее странице, «при участии фирмы «Belka Trading Corporation» (США)». У нашего известнейшего писателя есть свои очень весомые заслуги, но все же не могу умолчать, что данная его книга отнюдь не несет в себе того «света», который обещает ее заглавие. «Методология», сконструированная в многочисленных сочинениях о Сталине, предстает здесь даже в утрированном виде. Так, «причина» коллективизации «освещена» здесь следующим образом: «Сталину, постоянно бегавшему и скрывавшемуся от полиции (до 1917 года. — *В. К.*), в каждом бородатом мужике чудился враг, смертельный враг, готовый всякую минуту мгновенно кинуться ему под ноги... свалить на землю, скрутить и сдать потом в полицию... И... дорвавшись до власти, Сталин именно на мужике начал вымещать, пусть с опозданием, всю свою злобу и обиды...»[32] Вот, оказывается, где корни трагедии 1929—1933 годов! Но в таком случае будет логичным сделать вывод, что виноваты сами «бородатые мужики»: не сдавали бы в свое время смутьянов в полицию, и Сталин не устроил бы им коллективизацию...

Не менее «замечательно» предложенное в книге «При свете дня» объяснение гигантских жертв и бедствий первых послереволюционных лет: причина-де в том, что Россией правил «человек с больным, пораженным мозгом, а значит... и с больной психикой... с агрессивными наклонностями... По личным распоряжениям, по указаниям, приказам Ленина уничтожено несколько десятков миллионов россиян» (с. 187, 189, 190).

Началось это уничтожение, утверждает В. Солоухин, уже в *первые минуты* власти Ленина — в ночь с 25 на 26 октября (7—8 ноября) 1917 года, когда по приказу вождя в Зимнем дворце арестовали министров Временного правительства и, «не мешкая ни часу, ни дня, посадили их в баржу, а баржу потопили в Неве» (с. 161—162). Дело не только в том, что перед нами непонятно откуда взявшаяся выдумка; не менее прискорбно искажение картины реального бытия русских людей в революционную эпоху: потопили баржу — и дело с концом, между тем как и движение истории в целом, и судьбы отдельных людей являли собой исполненную прямо-таки невероятных поворотов и противоречий драму.

Ведь в действительности все пятнадцать арестованных в Зимнем дворце в 01.50 — 02.10 час. 26 октября (8 ноября) 1917 года министров Временного правительства (последнего его состава) были вскоре же освобождены, и большинство из них прожили долгую и по-своему содержательную жизнь. Так, министр исповеданий А.В. Карташев эмигрировал, был одним из наиболее выдающихся историков Православия и умер в 1960 году в Париже в возрасте 85 лет. А его коллега министр путей сообщения А.В. Ливеровский никуда не уехал, играл немалую роль в транспортных делах страны, в том числе в героическом строительстве «Дороги жизни» во время немецкой блокады Ленинграда, — города, где он и скончался уважаемым человеком в 1951 году в возрасте 84 лет.

Вообще же из пятнадцати арестованных 26 октября министров семь остались в России, а восемь эмигрировали. Живший во Франции военно-морской министр адмирал Д.Н. Вердеревский в 1945 году явился в посольство

СССР, пил там за здоровье Сталина и даже успел стать гражданином СССР, хотя в 1946-м его постигла смерть (ему было 73 года). А исполнявший (в последние дни существования Временного правительства) обязанности военного министра генерал А.А. Маниковский не пожелал эмигрировать и стал — ни много ни мало — начальником снабжения Красной армии, правда, не надолго: в 1920 году он погиб в железнодорожной аварии.

Конечно, часть оставшихся в России министров не избежала репрессий, но умер насильственной смертью, насколько известно, только один из них — министр земледелия С.Л. Маслов. До 1929 года он был видным деятелем российской кооперации («Центросоюза»), а также преподавал в Московском университете и других высших учебных заведениях. В 1930-м его отправили в ссылку, в 1934-м он вернулся в Москву, но 20 июня 1938 года был расстрелян НКВД.

Словно ради некой трагической симметрии казнь постигла также и одного из эмигрировавших — министра-председателя Экономического совета С.Н. Третьякова — внука одного из создателей Галереи, С.М. Третьякова: в декабре 1943 года он был расстрелян (согласно другим сведениям, ему отсекли голову) немецкими нацистами как виднейший тогда агент советской (!) контрразведки в Париже (он стал им еще в 1929 году — как раз в тот момент, когда в Москве его коллегу Маслова отстранили от руководящей работы в кооперации).

Владимир Солоухин зачем-то решил мгновенно отправить на невское дно всех этих людей с их удивительными судьбами (я сказал о шести из пятнадцати министров, но и истории остальных достаточно яркие). Забегая вперед, отмечу, что судьбы *народных комиссаров*, сменивших в ночь на 26 октября министров Временного правительства, были гораздо более прискорбны: казнь постигла *десять* человек из пятнадцати (наркомов было столько же, сколько арестованных министров), к тому же из пяти умерших своей смертью трое «успели» скончаться раньше, чем над новыми властителями стал падать дамоклов меч Революции.

Но об этом — впереди. Здесь же нельзя не опровергнуть еще одно совершенно ложное утверждение В. Солоухина. Он пишет, что-де «в первом составе Совета Народных Комиссаров соотношение евреев к неевреям 20:2» (с. 212). Между тем абсолютно точно известно[33], что в этом «первом составе» (утвержденном 26 октября) из 15 наркомов евреем был только один — Л.Д. Бронштейн (Троцкий), если не считать «еврейских корней» Ленина (евреем был его дед по материнской линии Бланк). Сравнительно небольшой оставалась доля евреев и в последующих составах Совнаркома — вплоть до середины 1930-х годов, когда около половины наркомов (но все же не девять десятых, как уверяет В. Солоухин) были евреями, в том числе наиболее важные наркомы внутренних и иностранных дел, путей сообщения, внешней торговли, оборонной промышленности и т.д.

Это вообще непростая и по-своему чрезвычайно интересная тема, к которой мы еще специально обратимся. Что же касается «информации», предлагаемой в книге «При свете дня», остается только руками развести — откуда такое берется?!

Как ни прискорбно, подобные вещи встречаются на многих страницах книги Владимира Солоухина, хотя несправедливо было бы умолчать, что то же самое характерно едва ли не для большинства нынешних сочинений о 1920—1930 годах. Владимир Солоухин утверждает, что в 1918 году Ленин «бросил крылатую фразу: пусть 90% русского народа погибнет, лишь бы 10% дожили до мировой революции. Тогда-то заместитель Дзержинского Лацис (на деле — пред. ЧК 5-й армии. — *В. К.*)... опубликовал в газете «Красный террор» 1 ноября 1918 года своеобразную инструкцию всем своим подчиненным: «...Мы истребляем буржуазию как класс... Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти»...» (с. 145—146).

Но, во-первых, сия «крылатая фраза» принадлежит не Ленину, а Г.Е. Зиновьеву, который к тому же говорил все-таки о гибели 10, а не 90% (об этом еще пойдет речь), а, во-вторых, ознакомившись с тем самым журналом (а не

газетой) «Красный террор», Ленин тут же не без резкости заявил: «...вовсе не обязательно договариваться до таких *нелепостей*, которую написал в своем казанском журнале «Красный террор» товарищ Лацис... на стр. 2 в № 1: «не ищите (!!?) в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против Совета оружием или словом...» (*Ленин В.И.* Полн. собр. соч., т. 37, с. 310).

Вообще нетрудно доказать, что Ленин как человек, стоявший во главе всего, вел себя «умереннее» многих деятелей того времени и не раз стремился занять «центристскую» позицию, хотя Владимир Солоухин голословно утверждает обратное. Доказательства ленинской «умеренности» еще будут приведены, а пока скажу о самом существенном.

В книге «При свете дня» многократно повторяется, что, мол, «болезнь мозга... в зрелом возрасте Владимира Ильича развила в нем чудовищную, бешеную, не знающую никаких преград агрессивность. Если бы больной сидел дома под присмотром родных — это одна картина. Но он волею судеб сделался диктатором над сотнями миллионов людей. И полились реки крови...» (с. 50). Притом диктатор «сидел в Кремле, защищенный... высокими зубчатыми стенами» (с. 78) и потому, мол, злодействовал без всякого риска.

Вот такое «толкование» истории... При этом как бы полностью исчезает бушевавшая в России в 1917—1922-е годы *Революция*, о которой Сергей Есенин сказал в 1924 году:

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело...

Тот ураган был небезопасен и для самого Ленина. Широко известно только одно покушение на его жизнь — 30 августа 1918 года. Но еще 1(14) января этого года автомобиль, в котором Ленин ехал по центру Петрограда, был обстрелян залпом из нескольких винтовок, и лишь находчивость сидевшего рядом соратника спасла вождя: рука, которой спаситель мгновенно пригнул голову Ленина, была задета пулей... Через четыре дня, 5(18) января, Ленин отправился разгонять Учредительное собрание, и ему, ввиду

опасности, вручили револьвер, который был тут же у него украден и возвращен лишь на следующий день после настойчивых розысков. Далее, 10 марта в обстановке строжайшей секретности Ленин переезжает — в сущности, бежит — из опасного Петрограда в Москву, и ему преграждает путь эшелон, переполненный анархически настроенными матросами; положение спасает сопровождающий беглецов вышколенный батальон латышских стрелков, без которых Ленин вообще едва ли уцелел бы в 1918—1919 годах.

9 июля 1918 года автомобиль Ленина был обстрелян из револьверов у Николаевского (позднее Октябрьского) вокзала в Москве. 30 августа его — что общеизвестно — тяжело ранили. А 19 января 1919 года его автомобиль около Сокольников остановил знаменитый тогда, пользуясь нынешним словечком, «авторитет» Кошельков: предсовнаркома Ленин был вышвырнут (буквально) из своей машины, у него отняли бумажник и револьвер, а машину угнали и т.д.

Все это показывает, в какой стране, в каком мире правил диктатор... И я обратился к вышеизложенным фактам отнюдь не для того, чтобы вызвать «сочувствие» к Ленину и тем более как-то «оправдывать» его действия; цель моя только в воссоздании истинного положения в послереволюционной России. Ураган, бушевавший в стране, был настолько всепроникающим, что и всевластный, казалось бы, диктатор не мог избежать его смертоносного натиска.

Атмосфера революции создавала достаточно напряженное положение и *внутри* самой власти. Хорошо известно, что любое существенное «решение» Ленина в 1917—1921 годах резко оспаривалось многими его соратниками, и ему приходилось вести нелегкую борьбу. Когда же в 1922 году его ослабила тяжелая болезнь, он не раз «проигрывал».

Владимир Солоухин возмущенно говорит в своей книге, что в составе высшей революционной власти, которая объявила себя властью «рабочих и крестьян», «один только был экс-рабочий — М.И. Калинин, да и то его держали для вывески» (с. 81). Это действительно так, но В. Солоухин

умалчивает (или же не знает), что в 1922-м — начале 1923 года именно Ленин пытался кардинально изменить положение дел. В его последних сочинениях, известных под названием «Завещание», *главная*, стержневая мысль — мысль о необходимости безотлагательно передать верховную власть «рабочим и крестьянам, поставив их во главе нашей партии» (т. 45, с. 345); притом Ленин подчеркивал, что это должны быть рабочие и крестьяне, «стоящие ниже того слоя, который выдвинулся у нас за пять лет» (с. 348).

Когда говорят о «завещании» Ленина, как правило, сосредоточивают все внимание на содержащейся в нем «сенсационной» критике главных «вождей», особенно Сталина. Однако Ленин *начал свое* «завещание» заявлением о необходимости «предпринять... ряд перемен в нашем *политическом строе* (а не перемен в личном составе руководства. — *В. К.*) ...В первую голову я ставлю увеличение числа членов ЦК до нескольких десятков или даже до сотни» (с. 343); в ЦК тогда числилось 27 человек, и Ленин далее объявил, что в новый орган высшей власти следует «выбрать 75—100... новых членов... из рабочих и крестьян» (с. 384), которые, следовательно, должны были занять три четверти (!) мест в этом всевластном органе.

И вот что поистине примечательно: «опасный» и потому засекреченный элемент ленинского «завещания» обычно усматривают в критике «вождей», а ведь в основе своей эта критика стала общеизвестной из ряда публикаций уже в 1927 году. Между тем важнейшие суждения Ленина о необходимости «передачи» власти из рук профессиональных революционеров в руки рабочих и крестьян были опубликованы только в 1956 году! Правда, в 1923 году появилась в печати ленинская статья «Как нам реорганизовать Рабкрин», но, во-первых, ее публикация поначалу вызвала решительное сопротивление всей партийной верхушки (собирались даже напечатать *единственный* спецэкземпляр «Правды» с этой статьей для успокоения Ленина), во-вторых, в этой статье главная мысль Ленина не выступала с такой ясностью, как в других его тогдашних текстах, и, наконец, сразу же после опубликования статьи в парторгани-

зации было разослано письмо Политбюро и Оргбюро ЦК, в котором ленинская статья, по сути дела, дискредитировалась как полубред тяжелобольного человека (обо всем этом я подробно писал в другой книге)[34].

Но важнее всего, конечно, тот факт, что настоятельное предложение Ленина ни в коей мере не было реализовано, хотя он видел в нем «шаг государственной важности» (с. 483). Вообще, как уже сказано, с самого начала тяжелой болезни Ленина его власть стали все более урезывать. Сохранились, к примеру, тексты записок, которыми 27 сентября 1922 года обменялись члены Политбюро Каменев и Сталин в связи с обсуждением одного из ленинских решений: «*Каменев.* Ильич собрался на войну... Отказывается даже от вчерашних поправок... *Сталин.* Нужна, по-моему, твердость против Ильича»[35]. Дошли до нас и слова, сказанные позднее Н.К. Крупской: «Если б Володя был жив, он сидел бы сейчас в тюрьме»[36]. И это, по всей вероятности, было не совсем безосновательным предположением...

Подчеркну еще раз, что, излагая факты, я не оцениваю (по крайней мере, *пока* не оцениваю) их, не ставлю вопроса о «правоте» или «неправоте» какого-либо деятеля; речь идет только о характеристике реального положения в революционной России — положения, которое определяло судьбу и рядовых граждан, и самого Ленина.

И когда речь заходит о гибели «десятков миллионов» (на деле — 17 млн.), необходимо иметь в виду всеохватывающий и всесокрушающий «ураган» Революции, а не «агрессивную психику» Ленина или кого-либо еще. Но об этом — в следующей главе.

* * *

В заключение целесообразно еще раз сказать о существеннейшей «поправке» к подавляющему большинству нынешних рассуждений о варварстве и жестокости революционной политики. Как правило, эти крайне прискорбные явления пытаются объяснить исходя из характера того или иного деятеля — характера, так сказать, политического

и идеологического (хотя подчас выдвигается уж совсем поверхностная точка зрения, сводящая все к чисто индивидуальной психике, как в цитированной книге В. Солоухина). Отсюда и проистекает возложение всей «вины» на Сталина, а в последнее время — и на Ленина.

Между тем варварство и жестокость были порождены самим существом революционной эпохи. В связи с этим стоит еще раз вспомнить о Бухарине, которого постоянно сопоставляют со Сталиным. Нет сомнения, что Бухарин был если и не «мягким» (как заявляют его апологеты), то, во всяком случае, не столь уж «решительным» человеком, склонным к колебаниям и сомнениям (так, в 1918-м он являлся «самым левым» коммунистом, а в 1928-м — «самым правым»). Однако и его политическое поведение определялось общей атмосферой эпохи и было в конечном счете не менее «жестоким», чем у других руководящих лиц. К сожалению, внедренный в умы «либеральный» бухаринский «имидж» заставляет многих попросту закрывать глаза на реальные факты.

Так, например, недавний министр юстиции В.А. Ковалев издал книгу, повествующую прежде всего о грубейших нарушениях правовых норм в 1920—1930-х годах. Он размышлял, в частности, об известном Шахтинском деле 1928 года — о «вредителях» в Донбассе:

«Задолго до суда и даже до окончания предварительного следствия с изложением своей оценки Шахтинского дела выступил Сталин. В докладе на активе Московской партийной организации 13 апреля 1928 года этому делу он посвятил целый раздел: «Факты говорят, что Шахтинское дело есть экономическая контрреволюция, затеянная частью буржуазных спецов, владевших ранее угольной промышленностью. Факты говорят далее, что эти спецы, будучи организованы в тайную группу, получали деньги на вредительство от бывших хозяев, сидящих теперь в эмиграции, и от контрреволюционных антисоветских организаций на Западе».

Так задолго до судебного разбирательства и вынесения приговора, — возмущался В.А. Ковалев, — факты были установлены, акценты расставлены, выводы сделаны...

Вся последующая судебная процедура заведомо превращалась в фикцию. Для того чтобы правильно понять мотивы... прямого и открытого вмешательства в деятельность уголовной юстиции по конкретному делу, следует иметь в виду политическую ситуацию, сложившуюся в то время в стране. Все большее распространение приобретали идеи так называемых «правых» уклонистов во главе с Бухариным, Рыковым, Томским»...[37]

Итак, с одной стороны, злодей Сталин, организующий Шахтинское дело, к тому же, как оказывается, для противостояния «правым», а с другой — «невинные» Бухарин и его сподвижники Рыков и Томский. Но на самом деле, во-первых, именно ближайший единомышленник Бухарина М.П. Томский возглавлял комиссию ЦК, расследовавшую «вредительство» в Донбассе, а во-вторых, *в один день* со Сталиным, 13 апреля 1928 года, Бухарин сделал доклад «Уроки хлебозаготовок, Шахтинского дела и задачи партии», где «расставил акценты» намного хлеще, чем Сталин!..

В Донбассе, заявил Бухарин, «при помощи рядовых рабочих раскрыли вредительскую организацию, которая через ряд посредствующих звеньев была связана с иностранным капиталом, с крупными иностранными капиталистическими организациями, с эмигрантскими кругами, наконец, с военными штабами некоторых иностранных держав. Она состояла в значительной мере из бывших собственников соответственных шахт и рудников, причем некоторые из них имели очень гнусный контрреволюционный стаж... Она состояла из белогвардейских инженеров и техников, из которых многие оказались бывшими деникинцами, некоторые — бывшими *контрразведчиками* Деникина... Они имели связь через некоторых иностранных инженеров с заграницей, причем некоторые из этих инженеров оказались членами *фашистских* организаций... Идеологией этой организации являлось *свержение* Советской власти, восстановление капиталистического режима... Ближайшей их задачей была решительная спекуляция на войне и на новой *интервенции*... не исключена возможность существования организаций, подобной этой, в других областях; нет гарантии, что такая гнусность не завелась в во-

енной промышленности или в химической; хотя прямых данных для этого предположения нет...»[38].

Таким образом, Бухарин далеко «превзошел» Сталина и, между прочим, как бы разработал сценарий того «разоблачения», которое было применено через десять лет к нему самому... Естественно, и конкретное «решение» Бухарина по Шахтинскому делу было более жестоким, чем Сталина. Очень симпатизировавший Бухарину историк М.Я. Гефтер все же, в силу своей объективности, привел бухаринский рассказ о заседании Политбюро, на котором утверждался приговор по Шахтинскому делу. «Он, — сказал Бухарин о Сталине, — предлагал ни одного расстрела по Шахтинскому делу (мы голоснули против)»[39]. Мы — это Бухарин, Рыков и Томский, к которым присоединилось большинство Политбюро. ...«Правые», стало быть, за расстрел. И чем побуждаясь? — вопрошал в своей статье М.Я. Гефтер. — В пику Сталину? Блюдя в чистоте заповедь классовой борьбы?...» (там же).

Принято считать, что Сталин отказывался от жестоких решений только ради «игры». Допустим даже, что это так. Допустим и то, что тройка «правых» также проголосовала за расстрел ради «игры» — «в пику Сталину». Но это-то и обнаруживает с особенной наглядностью суть сознания и поведения руководителей революционной эпохи: они, не дрогнув, готовы расстрелять кого угодно и ради чего угодно... Когда 25 августа 1936 года были казнены Зиновьев и Каменев, Бухарин написал об этих людях, с которыми была теснейшим образом связана вся его жизнь: «Что расстреляли собак — страшно рад»[40].

Могут сказать, что эти слова вызваны стремлением «отмежеваться» от «врагов народа». Но в чрезмерной резкости проступает привычная для Бухарина готовность без каких-либо треволнений «голоснуть» (по его словечку!) за убийство людей.

И это не «личная» черта, а типовой признак всех вождей Революции, то есть черта *историческая*, которую бессмысленно специально выискивать в Сталине или Ленине и пытаться «не замечать» в том же Бухарине...

Глава 3

ВЛАСТЬ И НАРОД ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ

Эта глава во многом основывается на выводах *первого* тома моего сочинения. Так, там доказывалось, что государство в России в течение веков имело *идеократический* характер, то есть власть основывалась не на системе законов, как на Западе, а на определенной системе идей. Ко времени Революции властвующая идея так или иначе выражалась в известной формуле «православие, самодержавие, народность», которая еще сохраняла свое значение для людей, отправлявшихся в 1914 году на фронт. Но Февральский переворот «отделил» Церковь от государства, уничтожил самодержавие и выдвинул в качестве образца западноевропейские (а не российские) формы общественного бытия, где властвует не идея, а закон.

И (о чем также шла речь ранее) победа Октября над Временным правительством и над возглавляемой «людьми Февраля» Белой армией была неизбежна, в частности, потому, что большевики создавали именно идеократическую государственность, и это в конечном счете соответствовало тысячелетнему историческому пути России. Ясно, что большевики вначале и не помышляли о подобном «соответствии» и что их «властвующая идея» не имела ничего общего с предшествующей. И для сторонников прежнего порядка была, разумеется, абсолютно неприемлема «замена» Православия верой в Коммунизм, самодержавия — диктатурой ЦК и ВЧК, народности, которая (как осознавали наиболее глубокие идеологи) включала в себя дух «*всечеловечности*», — интернационализмом, то есть чем-то пребывающим *между* (интер) нациями. Однако «идеократизм» большевиков все же являл собой, так сказать, менее *утопическую* программу, чем проект героев

Февраля, предполагавший переделку России — то есть и самого русского *народа* — по западноевропейскому образцу.

Этому, казалось бы, решительно противоречит тот факт, что большевистская власть столкнулась (о чем ныне становится все более широко известно) с мощным и долгим сопротивлением вовсе не только со стороны Белой армии, но и с сопротивлением самого народа, притом не только пассивным, так или иначе «саботирующим» мероприятия власти, но и с разгоравшимися то и дело бунтами и даже с охватывающими огромные пространства восстаниями. И большевики не раз открыто признавали, что это сопротивление гораздо более опасно для их власти, нежели действия Белой армии.

Однако объективное изучение хода событий 1918—1921 годов убеждает, что народ сопротивлялся тогда не столько конкретной «программе» большевиков, сколько *власти* как таковой, *любой* власти. После крушения в феврале 1917 года многовековой государственности все и всякие требования новых властей (будь то власть красных, белых или даже так называемых *зеленых*) воспринимались как ничем не оправданное и нестерпимое насилие. В народе после Февраля возобладало всегда жившее в глубинах его сознания (и широко и ярко воплотившееся в русском фольклоре) стремление к ничем не ограниченной *воле*. Так, обе основные — и неизбежные — государственные «повинности» — подати и воинская служба, которые ранее представали как, конечно, тягостная, но неотменимая, «естественная» реальность бытия (сопротивление вызывало только то, что воспринималось в качестве несправедливого, не соответствующего установленному порядку), — теперь нередко отвергались начисто и порождали ожесточенные бунты.

До недавнего времени историки и публицисты сосредоточивали свое внимание на бунтах против белых, восстания же против красных либо замалчивались, либо изображались как результаты «подрывной» деятельности белых, сумевших «обмануть» народ. А ныне, наоборот, стремятся свести все к «народному» сопротивлению красным.

Однако обе точки зрения — то есть, используя привычные определения, «советская» и «антисоветская» — в равной мере тенденциозны и основаны на искусственном подборе исторических фактов.

При изучении истории первых послереволюционных лет во всей ее многосторонности становится очевидным, что народ — или, вернее, его наиболее энергичная и «вольнолюбивая» часть — боролся именно против власти *вообще*. Те же самые люди, которые стремились свергнуть власть красных, не менее яростно выступали и против власти белых, если тем удавалось взять верх. Это совершенно наглядно предстает, например, в поведении народной «вольницы» в Новороссии, возглавленной Нестором Махно: она с равным воодушевлением сражалась на оба фронта.

И, кстати сказать, есть достаточные основания прийти к выводу, что и победы, и поражения Красной и Белой армий в конечном счете зависели от «поведения» народа. Так, деникинские войска долго не могли продвинуться с южной окраины России к ее центру и только после мощного восстания против красных на Дону, начавшегося в марте 1919 года, осуществили свой победный поначалу поход на Москву, достигший 13 октября города Орла. Однако именно тогда Деникина атаковали с юго-запада, круша его тылы, махновцы. И, как даже через шесть десятков лет вспоминал В.М. Молотов (ситуация 1919 года явно оставила в нем неизгладимое впечатление), «в гражданскую войну был момент, когда Деникин подходил к Москве, и неожиданно выручил Советскую республику Махно, ударил с фланга по Деникину»[1]. Без этого удара Деникин, возможно, захватил бы Москву, где — согласно слышанному мною еще в 1960-х годах рассказу вернувшегося из ГУЛАГа видного большевика И.М. Гронского — под парами стоял тогда на Брестском (ныне Белорусском) вокзале состав, который должен был спасти от расправы большевистские верхи, уже снабженные заграничными паспортами...

Столь же показательна и история борьбы Красной армии против Колчака, исход которой был решен начавшимся летом 1919 года народным восстанием в Сибири, позволившим красным за предельно короткий срок пройти от

Урала до Байкала. Притом наиболее «вольнолюбивыми» в Сибири оказались (об этом уже шла речь) *столыпинские переселенцы*, на которых великий государственный деятель возлагал столь большие надежды, — но надежды эти могли сбыться только при сохранности прежнего государства...

Один из руководителей Белой армии в Сибири генерал А.П. Будберг записал в своем известном «Дневнике»: ...телеграмма из Славгорода (один из главных центров столыпинского переселенчества. — *В. К.*), сообщающая, что по объявлении призыва (в Белую армию. — *В. К.*) там поднялось восстание, толпы крестьян напали на город и перебили всю городскую администрацию и стоявшую там офицерскую команду». Позже Будберг сделал точный вывод: «Восстания и местная анархия расползаются по всей Сибири; *главными* районами восстаний являются поселения столыпинских аграрников». И еще: ...главными заправилами всех восстаний являются преимущественно столыпинские аграрники», которым присущи, мол, «большевистские аппетиты»[2]. Заключительное соображение едва ли сколько-нибудь справедливо; белому генералу просто очень хотелось видеть во всем враждебном влияние большевиков, — точно так же, как последние, в свою очередь, выискивали в любом мятеже против их власти руку белых.

На деле же те самые люди, которые в 1919 году обеспечили своим охватившим всю Сибирь восстанием победу Красной армии, менее чем через год начали восстание против установившейся на сибирских просторах власти коммунистов. При этом они совершенно недвусмысленно заявляли в своей выпущенной в марте 1921 года листовке: «Народ уничтожил Деникина и Врангеля, уничтожил Колчака, уничтожит и коммуну. С нами Бог и победа, ибо мы за правое дело»[3]. То есть народ не приемлет ни белой, ни красной власти в равной мере. И те, кто сегодня пытается представить Белую армию в качестве силы, выражавшей волю народа, попросту закрывают глаза на реальное положение дел.

Но естественно встает вопрос о результатах самих народных восстаний, так или иначе выделявших из себя оп-

ределенные зачатки *власти*, которая вроде бы воплощала волю и интересы именно народа, а не какого-либо отдельного слоя населения России. И махновщина, и антоновщина в Тамбовской губернии, и Сибирское восстание 1921 года действительно породили свои властные органы, пусть и недостаточно четко оформленные. Правда, сколько-нибудь объективное изучение характера и деятельности этих «народных правительств» только начинается.

Недавно вышла в свет книга тюменского писателя К.Я. Лагунова о Сибирском (конкретнее — Тобольском) народном восстании начала 1921 года, — книга, над которой Константин Яковлевич работал много лет. Он сумел в целом ряде отношений *беспристрастно* показать реальный ход событий, хотя — в соответствии с нынешними устремлениями — сосредоточил главное внимание на насилиях большевистской власти и ее вреднейших (вреднейших и для нее самой) «ошибках». Это отнюдь не упрек в адрес автора: действия большевиков так долго и всячески «лакировались», что стремление как можно более «разоблачительно» сказать сегодня об их власти и вполне понятно, и всецело оправданно.

Но в книге собрано и немало сведений о действиях порожденной народным восстанием власти. Проклиная свергнутую на время большевистскую власть, она объявила своей единственной целью благо народа. Однако, несмотря на то что фактически эта власть просуществовала всего лишь 38 дней, она успела (и иначе не могло быть!) издать целый ряд приказов и постановлений, которые, как выясняется, мало чем отличались от большевистских: о «продуктовых карточках на все продукты, включая клюкву», о «сборе» денег, одежды и продуктов для Народной армии, о «свободе передвижения» только между 8 часами утра и 6 часами вечера, о беспрекословной «сдаче оружия», о мобилизации всех мужчин в возрасте от 18 до 35 лет и т.д. и т.п. И за невыполнение этих требований предусматривались наказания «по законам военного времени»[4].

Нет сомнения, что без подобных «мероприятий» власть была тогда немыслима вообще. Но книга К.Я. Лагунова

убеждает, что народ не желал самого *существования* власти: он лелеял мечту именно о безвластном бытии и, стряхивая с себя большевистскую власть, считал задачу выполненной: «Отвоевав свое село, мужики разбредались по дворам...» (с. 141).

Выделившаяся из повстанцев власть создала и свои карательные органы, в частности «следственные комиссии». Председателем одной из этих комиссий был назначен сельский священник Булатников (вероятно, как грамотный человек).

«По его предложению, — сообщает К.Я. Лагунов, — приговаривались к расстрелу коммунисты и беспартийные советские служащие. Когда во время одного из боев повстанцам удалось захватить в плен 27 красноармейцев и среди крестьян разгорелся спор об их судьбе, Булатников, узнав об этом, немедленно явился на место судилища и сразу вынес приговор:

— Всех тюкнуть.

— Не твое дело, батюшка. Уходи, — вступился за пленных один крестьянин. Но батюшка все же настоял на своем, красноармейцев расстреляли... Приговоренных Булатниковым учителей, избачей, коммунистов убивали специальным молотком с напаянными зубьями и вилами с зазубренными концами» (с. 158).

К.Я. Лагунов на всем протяжении своей книги говорит о жестоких насилиях большевистской власти в Сибири, но — и это делает ему честь — не замалчивает и карательную практику противоположной стороны:

«Дикая ярость, невиданные зверства и жестокость — вот что отличало крестьянское восстание 1921 года... Коммунистов не расстреливают, а распиливают пилами или обливают холодной водой и замораживают. А еще разбивали дубинами черепа; заживо сжигали; вспарывали животы, набивая в брюшную полость зерно и мякину; волочили за скачущей лошадью; протыкали кольями, вилами, раскаленными пиками; разбивали молотками половые органы; топили в прорубях и колодцах. Трудно представить и описать все те нечеловеческие муки и пытки, через которые по пути к смерти прошли коммунисты и все те, кто хоть

как-то проявлял благожелательное отношение к Советской власти...» (с. 104). И это не было особенностью именно сибирской повстанческой власти.

В последнее время во всем мире признаны важность и ценность так называемой «устной истории» («oral history»), которая подчас надежнее письменных источников. И я считаю целесообразным сослаться на рассказы знакомой мне более сорока лет женщины, находившейся в свое время в самом эпицентре знаменитого Тамбовского восстания (1920—1921 годов).

А.П. Блохина родилась и до начала 1930-х годов жила в деревне Васильево Моршанского уезда (ныне — Пичаевский район) Тамбовской губернии, затем ее семья была «раскулачена», и ей пришлось покинуть родные места, о жизни в которых она до конца своих дней вспоминала как об утраченной благодати. Анна Петровна сохранила изначальную нерушимую веру в Бога и до самых преклонных лет постоянно посещала храм. Слово «коммунисты» в ее устах всегда имело бранный смысл, ибо они, по ее представлениям, напрасно свергли царя (хотя на деле его свергли другие), порушили вековой уклад жизни и пытались уничтожить Церковь. «Ленин весь свет перевернул», — часто повторяла она.

В 1965 году поэт Анатолий Передреев, хорошо знавший Анну Петровну, написал о ней восхищенное стихотворение, в котором так обращался к ней:

Ты...
всею сущностью осталась
В деревне брошенной своей.
Осталась в ней
улыбкой детской,
Обличья каждою чертой,
И всею статью деревенской,
И деревенской добротой...

А.П. Блохина не забывала о тяжких и, кроме того, по ее убеждению, совершенно бессмысленных насилиях «коммунистов» над крестьянами, но она не раз вспоминала (впервые я услышал ее рассказы еще в конце 1950-х го-

дов) и о предводителе тамбовских повстанцев А.С. Антонове, которого она видела в своем родном Васильеве. По его приказу совсем еще юным васильевским комсомольцам, ранее участвовавшим под давлением «продотрядовцев» в изъятии хлеба у зажиточных крестьян, вспарывали и набивали зерном животы... И земляк Анны Петровны — Антонов, родившийся в деревне Инжавино соседнего с Моршанским Кирсановского уезда, остался в ее памяти как безмерно *страшный* человек; столкнувшись однажды в моем присутствии с провинциальным писателем[5], который показался ей очень похожим на Антонова, она с ужасом отшатнулась от него...

К.Я. Лагунов сообщает в своей книге, хотя и лаконично, о том, что сибиряки очень быстро «разочаровались» в созданной в ходе восстания власти, и народ «не только спешил покинуть повстанческие полки, но и помогал Красной армии поскорее затушить пламя восстания... Народ запалил восстание, народ его и гасил» (с. 160).

И естественно полагать, что за краткий срок сибирякам стало ясно: *власть*, какой бы она ни была, остается властью с ее неизбежными «повинностями», и, помимо того, в пору Революции *любая* власть не может не быть жестокой, даже предельно жестокой. И стремление пойти на смерть ради защиты одной жестокой власти от другой в какой-то момент становится сомнительным делом, что столь ярко воплощено, например, в метаниях Григория Мелехова...

Нельзя не сказать еще и о том, что сегодня едва ли не господствует стремление преподносить подавление народных восстаний большевистской властью как расправу всесильных палачей над беспомощными и ни в чем не повинными жертвами. Плохо не только то, что подобная картина не соответствует действительности; еще хуже и даже гораздо хуже другое: при подобном истолковании, в сущности, принижается и обессмысливается вся история России эпохи Революции. Ибо коллизия «палачи и жертвы», конечно, крайне прискорбная коллизия, но отнюдь не *трагическая*, если иметь в виду истинный, высокий смысл этого слова.

Подлинная трагедия (как в истории, так и в искусстве) есть смертельное противоборство таких сил, каждая из которых по-своему *виновна* (в данном случае речь идет о глубоком понятии «трагическая вина») и по-своему *права*.

Нетрудно предвидеть, что это утверждение вызовет сегодня у многих людей патриотического умонастроения решительный и даже негодующий протест, ибо очень широко распространилось мнение, согласно которому даже и сама идея социализма-коммунизма, исповедуемая большевиками, была «пересажена» с Запада и полностью чужда России, — и, значит, ни о какой «правоте» большевистской власти не может быть и речи.

В действительности все обстоит сложнее. Во-первых, идея социализма-коммунизма и определенные опыты практического ее осуществления характерны для всей истории человечества, начиная с древнейших цивилизаций Европы, Азии, Африки и Америки (до ее «открытия» европейцами). Это убедительно, с опорой на многочисленные и многообразные исторические факты, было показано в труде И.Р. Шафаревича «Социализм как явление мировой истории»[6]. К сожалению, Игорь Ростиславович уделил очень мало внимания истории этой идеи в России, ограничившись ее «торжеством» здесь в XX веке. Это не упрек (ибо вообще не очень уж корректно судить об исследовании не на основе того, что в нем есть, а исходя из того, чего в нем нет), но именно сожаление.

Термины «коммунизм» и «социализм» в их современном значении сложились сравнительно недавно (как считается, термин «социализм» ввел французский мыслитель Пьер Леру в 1834 году, а «коммунизм» — француз же Этьен Кабе в 1840-м), и почти сразу оба эти термина были освоены русской мыслью; притом — что весьма многозначительно — о них стали рассуждать не только так называемые западники (хотя эта ошибочная точка зрения широко распространена), но в равной мере и *славянофилы*. Правда, А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин отнеслись к западным толкованиям социализма-коммунизма сугубо критически, как они относились к современной им идеоло-

гии Запада вообще; тем не менее они видели в самой этой проблеме глубокий смысл.

Хомяков писал, например, в 1846 году, что социализм (имелось в виду западное понимание социализма) «есть не что иное, как вывод... из общего воспитания человеческого духа», хотя, как он тут же оговаривал, «вывод односторонний» и «по сущности мысли своей мы... выше социализма»[7] (разумеется, западного). Еще более определенно высказался в 1848 году Юрий Самарин:

...коммунизм (опять-таки западный. — *В. К.*) есть только карикатура мысли прекрасной и плодотворной. Коммунизм относится к учению об ассоциации, об организации промышленности и земледелия, о приобщении рабочего класса к выгодам производительности, как тирания к монархии»[8].

Итак, в основе социализма и коммунизма — «мысль прекрасная и плодотворная», «вывод из общего воспитания человеческого духа», но искаженные западными толкователями так же, как тиран искажает истинную суть монархического правления...

Корень проблемы в том, что для славянофилов — при всех возможных оговорках — была неприемлема *частная собственность*, и прежде всего частная собственность на *землю* (с их точки зрения, земля в конечном счете должна быть государственной собственностью и всенародным *владением*). И, утверждая, что содержание славянофильской мысли «выше» западного социализма, Хомяков исходил прежде всего из *реального* существования в тогдашней России крестьянской общины, могущей стать, по его убеждению, основой плодотворного бытия страны в целом.

«Община промышленная, — писал в 1848 году Хомяков, — есть или будет развитием общины земледельческой. Учреждение артелей в России... имеет круг действий шире всех подобных учреждений в других землях. Отчего? Оттого, что в артель собираются люди, которые с малых лет уже жили по своим деревням жизнию общинною... Конечно, я не знаю ни одного примера совершенно промышленной общины в России, так сказать, фалянстера

(имеются в виду опыты — впрочем, тщетные — устройства в 1830—1840-х годах «островков» социализма на Западе. — *В. К.*), но много есть похожего... Все это не развито; да у нас вся промышленность не развита. Народ не познакомился с машинами... Когда... устроится наш общий быт, все начала разовьются и... промышленная община образуется сама собой». Хомяков противопоставлял положение в России ситуации на Западе, где, как он писал, «стремление *всеобщее и разумное* встречает везде неудачу», поскольку господствующие там во всех слоях населения «нравы... на допускают ничего *истинно общего*, ибо не хотят уступить ничего из прав личного произвола»[9] (курсив в цитатах здесь и далее мой. — *В. К.*).

Итак, с точки зрения славянофилов, Россия, в отличие от Запада, способна осуществить ту «прекрасную и плодотворную» мысль, которая лежит в основе социалистических и коммунистических учений (Хомяков говорит в связи с этим и о «всеобщем и разумном стремлении», которое тем не менее на Западе неосуществимо). И это убеждение славянофилов, как показано в ряде новейших исследований историков, позднее во многом определило — несмотря на все разногласия — социалистические программы Герцена и даже Чернышевского[10].

Герцен, ставя вопрос о взаимоотношениях своего «лагеря» со славянофильством, недвусмысленно писал в 1850 году: «...социализм, который так решительно, так глубоко разделяет Европу на два враждебных лагеря, — разве не признан он славянофилами так же, как нами? Это мост, на котором мы можем подать друг другу руку». «Мост», о котором говорил Герцен, был вообще-то шатким. Но Герцен прав в том, что в России — в отличие от Запада — не было сильной и высокоразвитой собственно *буржуазной* (то есть, в частности, *индивидуалистической*) идеологии.

Необходимо сказать и еще об одном. Из вышеизложенного вовсе не следует вывод (хотя его нередко делают), что славянофилы заимствовали «мысль» социалистически-коммунистического характера у Запада; речь может идти лишь об использовании ими западной *терминологии*. Ибо

славянофилы черпали свои основные идеи из изучения и осмысления истории самой России — прежде всего «нравов» русских крестьян, а также устремлений и образа жизни русских духовных подвижников. Позднее продолжатель славянофильской традиции о. Павел Флоренский так писал об этом:

«Идея общежития как совместного жития в полной любви, единомыслии и экономическом единстве — назовется ли она по-гречески *киновией* или по латыни *коммунизмом*, — всегда столь близкая русской душе и сияющая в ней как вожделеннейшая заповедь жизни, была водружена и воплощена в Троице-Сергиевой лавре преподобным Сергием и распространялась отсюда, от Дома Троицы...»[11]

Ясно, что тот социализм-коммунизм, который стал реальностью после 1917 года, не совместим ни с учением славянофилов, ни тем более с заветами Сергия Радонежского. Но в то же время едва ли есть основания утверждать, что «мысль», лежащая в основе социализма-коммунизма вообще, была чужда России. Многие виднейшие русские идеологи начиная с середины XIX века так или иначе предрекали, что Россия пойдет именно по «социалистическому» пути, хотя подчас вовсе не считали его благодатным...

Так, основоположник новой русской философии Чаадаев, которого, кстати сказать, совершенно необоснованно зачислили в западники — о чем я не раз писал[12], — уже незадолго до кончины, в 1852 году, ставил вопрос: «Что можно противопоставить грозному шествию идеи века, каким бы именем мы ее ни назвали: социализм, демагогия?» И отвечал: «Что до меня касается, я ничего не могу придумать». Говоря об уничтожении *феодальных* привилегий в ходе Французской революции, Чаадаев выражал своего рода недоумение: «Странное дело! В конце концов признали справедливым возмущение против привилегий рождения; между тем происхождение — в конце концов — закон природы... между тем все еще находят несправедливым возмущение против наглых притязаний капитала, в тысячу раз более стеснительных и грубых, нежели когда-либо были притязания происхождения». И многозначительное чаадаевское предвидение: «Социализм победит не по-

тому, что он прав, а потому, что не правы его противники»[13].

Русская мысль не только предвидела, что впереди — социализм, но и сумела с поражающей верностью предвидеть его реальную суть и характер. Лучше всего это осуществил один из очень немногих наиболее глубоких мыслителей XIX века Константин Леонтьев:

«Я того мнения, что социализм в XX и XXI веках начнет на почве государственно-экономической играть ту роль, которую играло христианство на почве религиозно-государственной... Теперь социализм еще находится в периоде мучеников и первых общин, там и сям разбросанных... то, что теперь — крайняя революция, станет тогда *охранением*, орудием строгого *принуждения*, *дисциплиной*, отчасти даже и *рабством*... Социализм есть феодализм будущего», который будет идти «попеременным путем — и крови, и мирных реформ...»[14].

Вглядываясь в грядущее, Леонтьев утверждал в 1880 году, что «тот слишком *подвижный* (выделено самим Леонтьевым. — *В. К.*) строй», к которому привел «эгалитарный и эмансипационный (то есть «уравнивающий» и «освобождающий». — *В. К.*) прогресс XIX века... должен привести или ко всеобщей катастрофе», или же к обществу, основанному «на совершенно новых и вовсе уже не либеральных, а, напротив того, крайне *стеснительных* и *принудительных* началах. Быть может, явится рабство своего рода, рабство в новой форме, вероятно, в виде жесточайшего подчинения лиц мелким и крупным общинам, а общин — государству».

(Стоит отметить, что один из крупнейших представителей западноевропейской историософии XX века, Арнольд Тойнби, в 1971 году — то есть через 90 лет после Леонтьева — пришел к такому же выводу: «Я предполагаю, что человечество согласится на жесткую диктатуру ленинского типа как на зло меньшее, чем самоуничтожение или постоянная анархия, которая может закончиться только самоуничтожением»[15].)

В той же статье Леонтьев высказал истинное понимание так называемого *прогресса*: «В *прогресс* верить надо,

но не как в *улучшение* непременное, а только как в новое перерождение тягостей жизни, в новые виды страданий и стеснений... *Правильная вера в прогресс* должна быть *пессимистическая*, а не благодушная, все ожидающая какой-то *весны*... (мне представляется, что речь должна идти все же не о «пессимизме», а о беспристрастной объективности. — *В. К.*). В этом смысле я считаю себя, например, гораздо большим *настоящим* прогрессистом, чем наших либералов. И вот почему. Они видят только завтрашний день, то есть какую-нибудь конституционную мелочь и т. п. Они заботятся только о том, как бы сделать еще несколько шагов на пути того равенства и той свободы, которые должны... довести их, шаг за шагом, до такой *точки насыщения*, за которой эмансипировать будет уже некого и нечего (что и получилось после Февральской революции 1917 года. — *В. К.*), и начнется опять постепенное подвинчивание и сколачивание в формах еще невиданных воочию...» (выделено Леонтьевым).

И Леонтьев напоминает о «благодушной» вере славянофилов в *общинное* будущее России; это будущее, предрекает он, «примет вовсе не тот вид, в котором оно представлялось *московскому* (выделено Леонтьевым. — *В. К.*) воображению Хомяковых и Аксаковых... новая культура будет очень тяжела для многих, и замесят ее люди столь близкого уже XX века никак не на сахаре и розовой воде равномерной свободы и гуманности, а на чем-то ином, даже страшном для непривычных...»[16]

В другой статье Леонтьев, утверждая, что «социализм (т.е. глубокий и отчасти насильственный экономический и бытовой переворот) теперь, видимо, неотвратим» («*отчасти* насильственный» — конечно, смягченная характеристика; но Леонтьев писал это еще в 1880 году, когда «эмансипация», которую должен будет «подвинчивать» социализм, не зашла столь далеко, как в 1917-м), находил своего рода «прообраз» грядущего бытия людей в сложившемся в Древней Руси монастырском образе жизни:

...жизнь этих новых людей должна быть гораздо тяжелее, болезненнее жизни хороших, добросовестных мона-

хов в строгих монастырях... А эта жизнь для знакомого с ней очень тяжела... постоянный тонкий страх (определение «тонкий» означает здесь, по-видимому, — пробуждаемый любым, самым незначительным поводом. — *В. К.*), постоянное неумолимое давление совести, устава и воли начальствующих... Правда, оговаривал Леонтьев, у монаха (в отличие от «новых» — то есть «социалистических» — людей) есть «одна твердая и ясная утешительная мысль... загробное блаженство...»[17]

Подводя итог, можно, я полагаю, даже на основе вышеизложенного (а исчерпывающее изложение этой темы потребовало бы объемистого трактата) с полным правом утверждать, что социализм-коммунизм был вовсе не чужд России, хотя, конечно, разные люди и различные идеологические течения видели будущее общество в существенно, даже кардинально ином свете. И выступавшие в России в конце XIX — начале XX века политические партии, боровшиеся за уничтожение частной собственности на землю и основные общественные богатства (социал-демократы, социалисты-революционеры, народные социалисты и т.п.), имели достаточно глубокие корни в русской истории.

В 1917 году эти партии получили полную возможность участвовать во всеобщих и свободных выборах в Учредительное собрание, и результат был совершенно недвусмысленным: за них проголосовали 83,6 (!) процента избирателей — 37,1 млн. из 44,4 млн. человек, принявших участие в выборах[18].

Другое дело, что эти десятки миллионов людей отнюдь не имели того ясного представления об ожидающем их будущем, которым задолго до 1917 года обладал Константин Леонтьев, еще в 1880-м предрекавший, что в грядущем веке «передовое человечество» (это явно ироническая формулировка), «испытавши... горечь социалистического устройства... должно будет неизбежно впасть в глубочайшее разочарование»[19]. При всем том не следует забывать, что Леонтьев был убежден в «*неотвратимости*» победы этого «устройства» в XX веке. И, кстати сказать, победа Французской революции 1789 года также привела к столь горькому «разочарованию», что в 1814 году была восстановле-

на монархия, на престол был возведен *родной брат* казненного в 1793 году и воспринимавшегося теперь в качестве неповинного мученика короля Людовика XVI, а из 402 избранных в 1815 году во французский парламент депутатов 351 (87 процентов) являлись ультрароялистами (то есть крайними — «правее» самого короля — монархистами)![20] Стоит отметить, что «разочарование» в социализме, присущее *нашему*, нынешнему времени, не привело к таким глобальным *реставрационным* последствиям; но об этом речь впереди...

Вполне вероятно следующее возражение: к власти-то в России пришли в конечном счете социалисты *марксистского* толка, которые основывались на чужеродном «варианте» социализма-коммунизма. Но, как нам еще не раз придется отмечать, для революционных и вообще «смутных» эпох — когда неизбежно имеет место резкий *раскол* внутри наций — типично или даже неизбежно выдвижение на первый план именно *чужеродных* сил и идей.

Так, например, идеология, которая стала вдохновляющей основой Французской революции 1789 года («просветительская»), во многом сложилась под «иностранным» воздействием; в частности, мировоззрение родоначальника французских «просветителей» Вольтера сформировалось непосредственно во время его трехлетней (1726—1729 гг.) «эмиграции» в Англию, и его «революционное» сочинение, подвергнутое «реакционными» властями Франции сожжению, называлось «Письма об английской нации» и первоначально было издано в Лондоне.

Тем более это относится ко второму основоположнику революционной идеологии, Руссо, который, хотя его отец и мать были французами, фактически являлся иностранцем: он родился и вырос в *протестантской* Швейцарии (во Франции протестанты — *гугеноты* — вплоть до революции подвергались жестоким гонениям) и только в почти тридцатилетнем возрасте переселился во Францию.

Поскольку дело идет о двух основополагающих идеологах Французской революции, иностранные «корни» их мышления никак нельзя сбросить со счетов. Но, по существу, ведь то же самое просматривается в судьбе основопо-

ложника российского марксизма Г.В. Плеханова, сформировавшегося в западноевропейской эмиграции (куда он отправился в начале 1880 года в двадцатитрехлетнем возрасте).

* * *

Прежде чем идти дальше, целесообразно вернуться еще раз к историософии Константина Леонтьева.

Этот воистину гениальный человек мыслил о судьбах России в предельно широких масштабах — в масштабах человеческого бытия, взятого в целом, — от туманного древнейшего начала до еще более неясного, но неизбежного предвидимого мыслителем *конца*. Он, в частности, был убежден (и свое убеждение достаточно глубоко обосновывал), что для цивилизации и культуры губительна, как он определял, чрезмерная, ничем не ограниченная «*подвижность*», которая последовательно превращает человеческий мир в нечто *однородное*, *однообразное*. Гораздо позднее, уже в наше время, *естественно-научная* мысль пришла к выводу, что *однообразие* в конечном счете есть *смерть*, ибо *бытие* вообще подразумевает многообразие, сосуществование и взаимодействие особенных, своеобразных феноменов. У Леонтьева осознание этого «закона» явилось одной из фундаментальных основ историософии.

Он утверждал, например: «*Эгалитарное* смешение... *и сильное стремление к сплошной и вольной однородности*... — вот *первый шаг к разложению*. Будем же и мы продолжать служить *этому смешению* и *этой однородности*, *если хотим погубить скорее и Россию, и все славянство*» (*Леонтьев К.* Восток, Россия и славянство... М., 1996, с. 543. — Курсив здесь и далее К. Леонтьева).

Одним из наиболее мощных (если не самым мощным) факторов «смешения и однородности» является, согласно Леонтьеву, — *экономическая* «подвижность», ничем не ограниченное движение капиталов. Чтобы поставить преграды ведущему к гибели прогрессу, необходимо ограничить «*как чрезмерную свободу разрастания* подвижных капита-

лов, так и другую, тоже чрезмерную *свободу обращения* с главной недвижимой собственностью — с *землею*, т.е. свободу, данную теперь всякому или почти всякому продавать и покупать поземельную собственность» (цит. изд., с. 423).

Вполне понятно, речь идет об обществе, складывавшемся после Великой французской революции: ...вся история XIX века... — продолжал Леонтьев, — состояла именно в том, что по мере *возрастания равенства гражданского, юридического и политического увеличивалось все больше и больше неравенство экономическое*, и чем больше приучается бедный нашего времени сознавать свои гражданские права, тем громче протестует он противу чисто фактического властительства *капитала*, никакими преданиями, никаким мистическим началом не оправданного», — в отличие от докапиталистических обществ (там же).

Этот протест «бедных» и выливался в социалистическо-коммунистические идеи. Но Константин Леонтьев прозревал в «уже вовсе недалеком будущем» (по его словам) России совсем иную реальность, чем почти все остальные российские идеологи. Его понимание глубокой исторической сути и роли социализма определялось тем, что он мыслил не в рамках современной ему политико-экономической ситуации, а, как уже сказано, в масштабах исторического бытия человечества в целом; он смотрел на социализм-коммунизм как бы из «последних времен» (которые еще и теперь находятся *впереди* — и, будем надеяться, даже далеко впереди — нашего сегодняшнего времени).

Леонтьев говорил, в частности, что «*архи-либеральные* коммунисты нашего (то есть 1880-х годов. — *В. К.*) времени ведут, сами того не зная, к *уменьшению подвижности* в общественном строе; а уменьшение *подвижности* — значит *уменьшение личной свободы*, гораздо большее против нынешнего ограничение *личных прав*... можно себе сказать вообще, что *социализм, понятый как следует, есть не что иное, как новый феодализм* уже вовсе недалекого будущего... в смысле *нового закрепощения* лиц *другими лицами и учреждениями, подчинение одних общин другим общинам*...

Теперь коммунисты... являются в виде самых крайних, до бунта и преступлений в *принципе* неограниченных, либералов, но... они, доводя либерально-эгалитарный принцип в лице своем до его крайности... служат бессознательную службу *реакционной организации будущего*. И в этом, пожалуй, их косвенная польза, — даже и *великая*. Я говорю *только польза*, а никак, конечно, не *заслуга*... Пожар может иногда принести ту пользу, что новое здание будет лучше и красивее прежнего; но нельзя же ставить это в заслугу ни неосторожному жильцу, ни злонамеренному поджигателю». И Леонтьев со всей убежденностью говорит о «неизбежности нового социалистического *феодализма*» (с. 423, 424), который остановит или хотя бы замедлит в России мощную устремленность к «смешению» и «однородности», то есть к гибели:

«Без строгих и стройных ограничений... русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам* помчится *быстрее всякого другого* (курсив мой. — *В. К.*) по смертному пути *всесмешения*» (с. 684).

Благодаря усилиям либеральных врагов Константина Леонтьева широчайшую известность приобрели его слова (многие только их и знают из всего наследия мыслителя!): «...надо *подморозить* хоть немного Россию, чтобы она не «гнила»...» (с. 246), — слова, которые понимают как призыв к всемерному ужесточению власти царя и Церкви.

Слова эти написаны в 1880 году, и, возможно, Леонтьев вкладывал в них тогда именно такой смысл. Но определенное *упрочение* самодержавной власти при Александре III, после убийства 1 марта 1881 года его отца, в конечном счете «разочаровало» мыслителя. В 1887 году (ровно за тридцать лет до 1917-го) он писал — явно не без глубокого сомнения: «Будем *надеяться*, что *теперешнее* движение русской мысли, *реакционное*, скажем прямо, движение —

---

* В этом отношении оно, конечно, во многом превосходит общества стран Запада.

не эфемерно...» (с. 440). А в 1891 году, незадолго до кончины, Константин Николаевич «кается»:

«Сознаюсь — мои *надежды* на культурное будущее России за последнее время стали все более и более колебаться... теперь, когда... в реакции этой *живешь* — и видишь все-таки, до чего она неглубока и нерешительна, поневоле усомнишься и скажешь себе: «только-то?»...» (с. 675).

Но надежды на то, что грядущий *социализм* (а не «традиционная» российская власть) «подморозит» Россию, которая в противном случае будет «гнить», не оставляла Леонтьева до конца.

Если же этого не произойдет, остается еще «выход», о коем за полгода до своей кончины Леонтьев написал В.В. Розанову: «Вообще же полагаю, что китайцы назначены завоевать Россию, когда *смешение* наше (с европейцами и т.п.) дойдет до высшей своей точки...» (*Константин Леонтьев.* Письма к Василию Розанову. London, 1981, с. 83).

Это может показаться ироническим парадоксом мыслителя, однако не следует недооценивать его прозорливость. Леонтьев предвидел еще в 1880 году, что «если бы русский народ доведен был преступными замыслами, дальнейшим подражанием Западу или мягкосердечным потворством (все это имело место к 1917 году. — *В. К.*) до состояния временного безначалия (читай — Временного правительства. — *В. К.*), то именно те крайности и те ужасы, до которых он дошел бы со свойственным ему молодечеством, духом разрушения и страстью к безумному пьянству, разрешились бы опять по его же собственной воле такими суровыми порядками, каких мы еще и не видывали, может быть!» (там же, с. 281).

Поначалу «собственную волю» нелегко было устремить к наведению «суровых порядков», и очень существенную роль сыграли в ходе Гражданской войны так называемые «интернациональные отряды», в которые, в частности, входили десятки тысяч приехавших ранее в Россию на заработки *китайцев*; они, например, в составе 10-й Красной армии подавляли восстание донских казаков, что нашло отражение в «Тихом Доне»...

Вадим Кожинов

Ныне достаточно широко распространено убеждение, что социализм-коммунизм окончательно погубил Россию... Правда, наиболее серьезные приверженцы этого убеждения делают подчас очень многозначительные «оговорки». Так, истинный и последовательный антикоммунист Михаил Назаров, с презрением воспринимающий завывания «перевернувшихся» вчерашних членов КПСС, говорил еще в 1990 году о семидесятилетнем социалистическо-коммунистическом периоде истории России:

«Необходимо увидеть в национал-большевизме — патриотизм, в покорности угнетению — терпеливость и жертвенность, в ханжестве — целомудрие и нравственный консерватизм, в коллективизме — соборность и даже в просоциалистических симпатиях — стремление к справедливости и антибуржуазность как отказ от преобладания материалистических целей в жизни» (*Назаров Михаил.* Историософия Смутного времени. М., 1993, с. 123).

Есть достаточные основания полагать, что если бы за Февралем 1917-го не последовал Октябрь (хотя, вообще-то, он явно был *неизбежен*), сегодня нельзя было бы утверждать что-либо подобное; Назаров, в сущности, говорит post factum, в 1990 году, о том же, о чем Леонтьев говорил ante factum — в 1890-м...

В связи с этой «темой» не могу не упомянуть о по-своему удивительном признании, сделанном в 1990-х годах известным писателем Олегом Васильевичем Волковым (1900—1996). Этот красивый и обладавший редкостной духовной силой человек, выросший в высококультурной и благополучной дворянской семье, в феврале 1928 года был арестован ГПУ и обрел свободу лишь в апреле 1955-го! В своем повествовании о пережитом «Погружение во тьму» (издано в 1987 году в Париже и в 1989-м в Москве) он предстал как непримиримейший антикоммунист. Впрочем, я знал о его категорическом неприятии всего, что совершалось в стране после 1917 года, с первой же встречи с ним в 1964-м. При любом нашем разговоре он не скрывал свою поистине жгучую ненависть ко всему связанному с Революцией и созданному ею строю. Дабы показать всю

силу этой ненависти, достаточно, думаю, сообщить, что Олег Васильевич однажды резко «отчитал» меня за высокую оценку поэзии Некрасова, поскольку она причастна Революции...

Однако не так давно писатель Г.П. Калюжный, который в последний период жизни О.В. Волкова был его постоянным собеседником и помощником, прямо-таки поразил меня своим сообщением. Оказывается, перед своей кончиной Олег Васильевич, говоря о том, что по-прежнему ненавидит «коммунистическую власть», вместе с тем признал необходимость «скрепы» или «колпака», которыми эта власть «удерживала» слишком уязвимую, слишком хрупкую Россию...

Разумеется, вокруг очерченной выше проблемы возможны долгие и острые споры, но одно, надо думать, ясно: проблема социализма в России, как любят сейчас выражаться, «неоднозначна», — и притом в высшей степени неоднозначна...

* * *

И надо прямо сказать, что в 1917 году Россия в точном смысле слова *выбрала* (всецело *свободно* выбрала) *социализм*: почти 85 процентов голосов на выборах в Учредительное собрание получили партии, выступавшие *против* частной собственности на основные «средства производства», прежде всего на *землю* — то есть *социалистические* партии.

Мне, конечно, возразят сегодня, что у власти-то оказались не социалистические партии вообще, а совершившие насильственный переворот узурпаторы-большевики, между тем как народ был за эсеров (социалистов-революционеров), получивших преобладающее большинство голосов на выборах в Учредительное собрание, которое поэтому было разогнано большевиками после первого же его заседания 5(18) января 1918 года.

В течение долгих лет насаждалось представление, что именно и только большевики выражали волю народа, а за эсерами шли, мол, «кулаки» и какая-то часть обманутых

ими крестьян; ныне же очень быстро распространилось прямо противоположное мнение, согласно которому большевики — это не имевшие ровно никакой поддержки у народа заговорщики, путем голого насилия установившие свою диктатуру.

Однако реальная картина гораздо сложнее, чем предлагают обе эти противоположные точки зрения.

Поистине необходимо проанализировать ход событий в октябре 1917-го — январе 1918 года, ибо без этого нельзя понять не только суть совершившегося тогда переворота, но и *современное* состояние России и даже ее вероятное *будущее*. Поэтому не следует воспринимать дальнейшее изложение, в котором речь пойдет подчас о не очень уж, казалось бы, существенных подробностях давних событий, как нечто представляющее интерес лишь для специалистов-историков. Истинное представление о том, что тогда происходило, имеет первостепенную важность для каждого человека, думающего о нынешней и завтрашней судьбе России.

Либеральные (и отчасти левые, революционные) деятели, уничтожившие в Феврале прежнюю российскую государственность и взявшие в свои руки власть путем образования Временного правительства, сразу же объявили о грядущем созыве всенародного Учредительного собрания, которое создаст подлинную, *легитимную* (то есть законную) власть в России (ведь Временное правительство возникло в результате *переворота,* как и впоследствии Советское).

9(22) августа 1917 года была назначена дата выборов Учредительного собрания — 12(25) ноября, а в октябре стали публиковаться списки кандидатов. Большевики, которые нередко весьма критически отзывались о самой идее этого Собрания, тем не менее выставили своих кандидатов вместе с остальными тогдашними партиями, и, захватив власть 25 октября (7 ноября) 1917 года, они не отменили выборы, которые и начались в назначенный срок — через семнадцать дней после большевистского переворота.

За столь короткое время большевики не могли подчи-

нить себе избирательный «механизм», и ноябрьские выборы были, в общем и целом, вполне «свободными». Известный английский историк Советской России Эдвард Карр, внимательно изучив ход дела, заключил, что «выборы... были проведены без какого-либо вмешательства»[21].

Итоги выборов вроде бы означали безусловную победу эсеров: они получили 40,4 процента голосов (17,9 млн. избирателей из общего количества 44,4 млн.), а большевики — только 24 процента (10,6 млн. избирателей); остальные партии можно было после выборов вообще не принимать во внимание: кадеты — 4,7 процента (2,0 млн. голосов), меньшевики — 2,6 процента и т.п. При этом победа эсеров (почти в 1,7 раза больше голосов, чем за большевиков) всецело определялась голосами *крестьян*; так, в 68 крупных — губернских — городах России дело обстояло совершенно иначе: большевики получили там 36,5 процента голосов, а эсеры всего только 10,5 процента — то есть в 3,5 раза (!) меньше...

(Следует сообщить, что эти и все приводимые ниже сведения о результатах выборов основаны на подсчетах видного эсера Н.В. Святицкого, которого никак нельзя заподозрить в подтасовке данных в пользу большевиков.)

Крестьяне отдавали свои голоса эсерам, вне всякого сомнения, потому, что эта партия с самого начала своего существования (1901 год) выдвинула программу превращения земли во «*всенародное достояние*» — программу, которую разделяли абсолютное большинство крестьян (из чего, между прочим, ясна социалистическая направленность российского крестьянства). Между тем большевики вплоть до 26 октября (8 ноября) 1917 года так или иначе выдвигали проект передачи земли в распоряжение *местных* властей. Взяв власть, большевики тут же попросту «заменили» свою аграрную программу эсеровской, но было уже поздно, до выборов оставалось всего 17 дней, и при тогдашних «средствах информации» эта «замена» едва ли стала известной основной массе крестьян.

В программе эсеров имелась, кстати сказать, своя чрезвычайно уязвимая сторона: вопрос о *войне*. После

Февральского переворота рухнула прежняя идея войны «за Веру, Царя и Отечество», и крестьянство (а армия состояла почти целиком из крестьянских сыновей) все более проникалось убеждением в необходимости незамедлительного окончания войны. Между тем эсеры были «оборонцами».

Но очень существенное значение имел тот факт, что в составе эсеровской партии сразу после Февраля образовалась фракция, которая самым решительным образом выступала за прекращение войны (во главе ее были весьма влиятельные эсеры М.А. Спиридонова, Б.Д. Камков, М.А. Натансон и др.). На 3-м съезде партии эсеров в конце мая — начале июня 1917 года эта фракция уже открыто заявила о несогласии с линией своего ЦК, а к сентябрю фактически выделилась в самостоятельную партию «левых эсеров».

Правда, официальное утверждение новой партии затянулось, только 19—28 ноября (2—11 декабря) 1917 года (то есть уже после Октябрьского переворота и даже после начала выборов в Учредительное собрание) состоялся 1-й съезд «Партии левых социалистов-революционеров-интернационалистов», окончательно утвердивший эту политическую силу, и лишь затем 4-й съезд эсеровской партии (26 ноября — 5 декабря) полностью исключил «левых» из своих рядов («выделение» левых эсеров из прежде единой партии было, кстати сказать, подобно «выделению» большевиков в 1903 году из единой ранее социал-демократической партии).

Благодаря этому на выборах в Учредительное собрание, начавшихся 12(25) ноября, фактически уже расколовшаяся эсеровская партия представала как нечто будто бы единое, и, скажем, категорическое требование прекратить войну, выражаемое *левыми* эсерами, могло казаться программой партии в целом. Многие современники и, позднее, историки именно этим объясняли значительную часть успеха эсеров на выборах.

Об основательности этого мнения ярко свидетельствует следующее. В шести избирательных округах левые эсеры все-таки успели поставить дело так, что они предстали

на выборах как отдельная, самостоятельная партия и в пяти из этих округов одержали полную победу: за них проголосовало здесь в среднем в три (!) раза больше избирателей, чем за остальных — «правых» — эсеров. По всей вероятности, левые смогли бы победить и во многих других округах, если бы выступали в них отдельно. Так что победа эсеров на выборах в той или иной степени являлась победой левых «раскольников».

А теперь мы переходим к чрезвычайно важной проблеме. В общем сознании господствует представление, что Октябрьский переворот и разгон Учредительного собрания 6 января 1918 года — это дело рук одних большевиков, которые, в отличие от других тогдашних партий, ратовавших-де за подлинно демократический путь России, совершили беспримерное насилие над историей. В действительности большевики с начала октября 1917-го и до середины марта 1918-го действовали *в теснейшем союзе* с партией левых эсеров, которые, следовательно, целиком и полностью разделяют с ними ответственность за совершившееся.

Этот факт либо замалчивался, либо задвигался на задний план как нечто несущественное и советской, и антисоветской историографией: первая не хотела «умалять» роль большевиков, а вторая не желала снимать с них часть «вины».

Здесь невозможно подробно рассказывать о полугодовом сотрудничестве большевиков и левых эсеров, в результате которого и сложилось то, что называется Советской властью. Но вот хотя бы несколько выразительнейших исторических фактов.

В.И. Ленин уже 27 сентября (10 октября) 1917 года дал директиву (цитирую) «сразу осуществлять тот блок с левыми эсерами, который *один* может нам дать *прочную власть* в России»[22]. Через несколько дней он утверждает, что «за большевиками, при поддержке их левыми эсерами, поддержке, давно уже осуществляемой на деле, несомненное большинство» (там же, с. 344).

12(25) октября в Петрограде создается Военно-революционный комитет (ВРК), призванный практически осу-

ществить *захват власти*, и в него входят более двадцати левых эсеров; 21 октября ВРК окончательно оформляется, и его *председателем* избирается *левый эсер* П.Е. Лазимир (1891—1920); впоследствии его имя было оттеснено именами секретаря ВРК В.А. Антонова-Овсеенко и члена бюро ВРК Н.И. Подвойского (оба — большевики). После захвата власти левый эсер М.А. Муравьев назначается *главнокомандующим* Петроградским военным округом и начальником обороны города от «контрреволюционного» наступления войск Краснова — Керенского. 6(19) ноября Всероссийский Центральный исполнительный комитет Советов (ВЦИК) избирает свой Президиум (то есть — хотя бы формально — высшую власть в стране), и в него входят *шесть* большевиков во главе с Я.М. Свердловым и *четыре* левых эсера во главе с М.А. Спиридоновой.

Мне могут возразить, что левые эсеры все же отказались войти в первое Советское правительство, так как считали необходимым введение в него представителей других социалистических партий. Однако в тогдашней обстановке всякого рода колебания были неизбежны: видные большевики А.И. Рыков, В. П. Ногин и В.П. Милютин, согласившись 26 октября войти в правительство, уже 4(17) ноября вышли из него, мотивируя свой поступок точно так же, как и отказавшиеся участвовать в правительстве левые эсеры.

Но прошло не столь уж много времени, и 24 ноября (7 декабря) левый эсер А.Л. Колегаев стал наркомом земледелия (именно этот пост покинул за двадцать дней до того большевик Милютин). А к концу 1917 года левые эсеры заняли уже семь постов (из имевшихся тогда восемнадцати) в Советском правительстве и оставались на своих постах до 18 марта 1918 года, когда они категорически выступили против Брестского мира (как, кстати сказать, и многие большевики).

Вообще «пропорция» левых эсеров во всех властных органах того времени составляла не менее 35—40 процентов, что, конечно, весьма внушительно. А в особо важном органе, ВЧК, два (из трех) заместителя председателя, то

есть большевика Ф.Э. Дзержинского, — В.А. Александрович и Г.Д. Закс — были левыми эсерами и сохраняли свои посты даже до июля 1918 года.

В июле, как известно, совершился полный разрыв большевиков и левых эсеров, поднявших восстание против вчерашних союзников. Но это уже иная проблема, к которой мы обратимся ниже. Позднейший разрыв не может перечеркнуть того факта, что до марта 1918 года левые эсеры правили страной *совместно* с большевиками. 11(24) января 1918 года, через пять дней после «разгона» Учредительного собрания, Ленин заявил: «Тот союз, который мы заключили с левыми социалистами-революционерами, создан на прочной базе и крепнет не по дням, а по часам» (т. 35, с. 264). Итак, если уж говорить о насильственных действиях большевиков в октябре 1917-го — марте 1918 года, необходимо добавлять, что тем же занималась и значительная часть эсеров, выделившихся в партию левых эсеров.

Впрочем, остается нелестное для них и большевиков сравнение с правыми эсерами, которые, мол, сохранили принципиальный демократизм и именно потому их депутаты, составлявшие большинство в Учредительном собрании, были разогнаны насильниками. Между тем факты свидетельствуют, что эсеры (правые) едва ли могут рассматриваться как последовательные демократы. Так, еще в июле 1917 года один из главных эсеровских лидеров, Н.Д. Авксентьев, недвусмысленно заявил: «Мы не можем медлить с самыми решительными мерами и должны продиктовать свою волю... Настало время действий... Мы должны провести в жизнь диктатуру революционной демократии»[23].

Позднее, в сентябре 1917-го, другой эсеровский вождь, В.М. Чернов, резко обвинил своих соратников во «властебоязни», «в уступках кадетам», в привычке «топтаться вокруг власти» и на возражения, что взятие власти до Учредительного собрания (как и сделали вскоре большевики. — *В. К.*) является ее узурпацией, отвечал: «...что же касается вопроса об «узурпаторстве», то кто же может

оспаривать очевидный факт, что сейчас массы тянутся именно к *социалистическим* лозунгам и партиям, а следовательно, пришел их исторический черед...» И Чернов сетовал, что власть не была захвачена эсерами ранее. «Надо было, — упрекал он свою партию, — не упускать, когда все шло прямо к нам в руки, а «не удержался за гриву — за хвост и подавно не удержишься»...»[24]

Могут возразить, что, несмотря на подобные речи, эсеры все же не предприняли тогда (в отличие от большевиков) *реальной* попытки захватить власть; слова так и остались словами. Дело в том, однако, что призывы Чернова были совершенно беспочвенными. Ведь «взять власть» над Россией возможно было не в сельской «глубинке», где эсеры действительно пользовались тогда огромным влиянием, но в «*столицах*». А выборы в Учредительное собрание с беспощадной ясностью показали, что эсеры не имели в столицах ровно никакой опоры.

Так, в Петрограде за них проголосовали... 0,5 процента избирателей, между тем как за большевиков — 45,3 процента плюс за союзных им левых эсеров — 16,2 процента (в целом — 61,5); нельзя не сказать и о том, что петроградский *военный гарнизон* отдал большевикам 79,2 (!) процента голосов, левым эсерам — 11,2 процента, а эсерам всего лишь 0,3 процента... В Москве эсеры получили больше голосов — 8,5 процента, но это, вероятнее всего, объяснялось тем, что здесь (в отличие от Петрограда) *левые* эсеры еще не «отделились», а кроме того, большевики получили в Москве 50,1 процента голосов, то есть больше половины, и 70,5 процента — в московском гарнизоне.

И едва ли стоит сомневаться в том, что, если бы эсеры имели в Петрограде такое же влияние, как и большевики, они без всяких колебаний осуществили бы процитированные выше призывы своих вождей Авксентьева и Чернова.

Кстати сказать, Авксентьев и его сподвижники А.А. Аргунов, В.М. Зензинов и др. поступили именно так позднее, в сентябре 1918 года, в Сибири, где эсеры ранее, во время ноябрьских выборов 1917 года, получили (в различных округах) от 54,4 до 87 процентов голосов. Воспользовав-

шись мятежом находившегося в Сибири *Чехословацкого корпуса* (сформированного в 1917 году из военнопленных и эмигрантов), разогнавшего местные большевистские власти, эти эсеры образовали 23 сентября 1918 года в Уфе «Всероссийское правительство», которое 9 октября переместилось в Омск. Правда, как это ни неожиданно, *уже в октябре* начались крестьянские бунты против вроде бы столь желанного крестьянству эсеровского правительства, о чем рассказано, например, в приведенных выше фрагментах из дневника находившегося тогда в Сибири генерала Будберга. И это «Всероссийское правительство» просуществовало всего лишь 56 дней...

Подводя итог, приходится сказать, что мнение, согласно которому эсеры выражали «волю народа», а большевики были только кучкой заговорщиков, насильственно лишившей эсеров власти (которая являлась бы подлинно народной), едва ли имеет под собой реальное основание. Ибо, как уже подробно говорилось ранее, после крушения многовековой государственности народ не принимал *никакой* власти вообще — что так очевидно выразилось в его отношении к эсеровской власти в Сибири, где, казалось бы, она была столь любезной (имея в виду тамошние результаты выборов в ноябре 1917 года). Народ мог тогда лояльно относиться к власти лишь до тех пор, пока она не начинала осуществлять свои необходимые мероприятия; как только власть эсеров в Сибири начала создавать (в октябре 1918 года) свою армию, «толпы крестьян (это уже цитировалось. — *В. К.*) напали на город и перебили всю городскую администрацию (эсеровскую. — *В. К.*) и стоявшую там офицерскую команду».

И совершенно ясно, что, если бы большевики и левые эсеры не решились или не смогли бы разогнать Учредительное собрание и преобладавшие в нем эсеры (правые) обрели власть над Россией, они неизбежно столкнулись бы с тем же самым «своеволием» народа и вынуждены были бы отказаться от декларируемого ими «демократизма».

Впрочем, это только чисто абстрактное предположение; эсеры не имели тогда никаких шансов получить власть

над Россией, ибо, как уже отмечено, власть можно было взять только в столицах, а эсеры не располагали в них никакой опорой (0,5 процента голосов петроградских избирателей на выборах 12 ноября). Россия с давних пор являла собой сугубо *централизованную* страну, и власть, установившаяся в столице, затем как бы сама собой распространялась в другие города и села. Так было в Феврале, так повторилось и в Октябре.

Видный эсер-депутат Б.Ф. Соколов в 1924 году опубликовал в Берлине свои воспоминания «Защита Всероссийского Учредительного Собрания», где, проклиная насильников-большевиков и левых эсеров, вместе с тем признал, что после разгона «нигде не было видно оппозиции... Никто не защищал Учредительного Собрания»[25].

Обо всем этом важно сказать, поскольку ныне популярно представление о том, что разгон Учредительного собрания представлял собой жестокое насилие не только над эсеровскими депутатами, но и над «свободой народа». Стоит прислушаться к словам из воспоминаний одного из самых знаменитых эсеровских депутатов — А.Ф. Керенского: «Открытие Учредительного Собрания обернулось трагическим *фарсом*. Ничто из того, что там происходило, не дает возможности назвать его последним памятным бастионом защиты свободы»[26].

Но истинная суть проблемы даже не в этом — не в *характере* того или иного вероятного правительства, а в том, способно ли было оно в тогдашних условиях *удержать* власть. То, что именно это было главным, со всей ясностью выразилось в судьбе русского *офицерства* после Октября.

В первой части этого сочинения уже приводились сведения, которые долго замалчивались и могут прямо-таки поразить: 43 процента офицеров (включая генералов) предпочли служить в Красной армии, притом — что особенно многозначительно — каждый пятый из них сначала находился в Белой армии, а затем перешел в Красную! И еще более показателен тот факт, что из военной элиты — офицеров Генерального штаба, которые были наиболее культурными и мыслящими, — в Красной армии служи-

ли даже 46 процентов, то есть большая доля, чем из офицеров вообще.

И дело было вовсе не в том, что они проникались большевистской идеологией; так, в партию из них вступили считаные единицы. Дело было в способности большевиков удержать власть в громадной стране, объятой безграничным «своеволием». Генерал А.А. Балтийский, одним из первых вступивший в Красную армию, говорил, что и он, «и многие другие офицеры, шедшие по тому же пути, служили царю, потому что считали его первым среди слуг отечества, но он не сумел разрешить стоявших перед Россией задач и отрекся. Нашлась группа лиц, вышедших из Государственной Думы, которая взяла на себя задачу продолжать работу управления Россией. Что же! Мы пошли с ними... Но они тоже не справились с задачей, привели Россию в состояние полной разрухи и были отброшены. На их место встали большевики. Мы приняли их как правительство... и пришли к полному убеждению, что они правы, что они действительно строят государство»[27].

К этому признанию, несомненно, присоединились бы десятки тысяч русских офицеров, пошедших на службу в Красную армию.

Утверждение о том, что большевики восстанавливали государственность России, несомненно, вызовет у многих недоумение или даже прямой отпор, ибо достаточно хорошо известна нацеленность большевизма — по крайней мере, в первые годы после 1917-го — на мировую революцию; Россия при этом представала как «средство», как своего рода горючий материал для «мирового пожара».

Нет спора: идея мировой революции играла огромную роль и в сознании, и в действиях большевиков, но постепенно ее все более оттесняла иная направленность, которая явно возобладала уже к середине 1920-х годов, когда главный тогдашний идеолог Бухарин и *вслед за ним* Сталин утвердили основополагающий тезис о строительстве социализма «в одной стране», вызвавший резкое сопротивление «вождей», быстро отходивших на второй план, — Троцкого, Зиновьева, Каменева. И не столь уж трудно до-

казать, что этот поворот был естественным итогом всего предшествующего развития, хотя оно и было двойственным.

Еще 12 марта 1918 года — всего через четыре месяца после Октября — Ленин опубликовал программную статью (изданную затем в виде брошюры) «Главная задача наших дней», где, не раз упоминая о «международной социалистической революции» как о высшей цели, вместе с тем — по сути дела, вступая в противоречие с этой постановкой вопроса — так определял «*главную* задачу»: «...добиться во что бы то ни стало того, чтобы Русь... стала в полном смысле слова могучей и обильной... У нас есть материал и в природных богатствах, и в запасе человеческих сил (вот уже и основа тезиса об «одной стране». — *В. К.*)... чтобы создать действительно могучую и обильную Русь». Рассуждая далее о тогдашней германской угрозе, Ленин употребил слова, которые, вне всякого сомнения, удивили многих его соратников: «Россия идет теперь... к национальному подъему, к великой *отечественной* войне... Мы оборонцы с 25 октября 1917 г. Мы за «защиту отечества»...» Правда, словно убоявшись собственных высказываний, столь противоречивших предшествующей большевистской фразеологии, Ленин тут же оговорил: «..та отечественная война, к которой мы идем, является войной... за Советскую республику как *отряд* всемирной армии социализма» (т. 36, с. 79, 80, 82. — Выделено Лениным. — *В. К.*). Противоречие между «национальным подъемом», «отечеством», «Русью» и, с другой стороны, неким безличным «отрядом всемирной армии» достаточно острое, и оно во многом определило грядущую борьбу *внутри* большевистской власти.

Позднейшее — уже в 1930-х годах — явное выдвижение на первый план идеи «отечества» осуществилось при очень мощном сопротивлении, но, очевидно, было неизбежным, определялось объективным ходом истории, что, в частности, подтверждается процитированной ленинской статьей, в которой уже в начале 1918 (!) года ставилась — при всех оговорках — цель сделать могучей именно *Русь* (образ некрасовской поэзии, из которого исходил Ленин, конечно

же, не имел никакого отношения к идее «мировой революции»).

Но в связи с этим как бы сам собой возникает возбуждающий сегодня острейшие споры вопрос о том, что во главе большевистской власти над Россией находилось слишком много людей, которые не были русскими, притом чаще всего эту тему целиком превращают в «*еврейскую*». Нет сомнения, что громадная роль евреев в большевистской власти заслуживает самого пристального внимания, и в дальнейшем я специально и подробно остановлюсь на этом. Но полное сосредоточение на «еврейском вопросе» способно *помешать* пониманию истинной сути дела, ибо, в конце концов, евреи являлись все же только частью «инородного» и даже «иностранного» состава верховной власти тех лет.

Правда, прежде чем анализировать этот состав, целесообразно предвосхитить вероятные возражения. Дело вовсе не в том, утверждают нередко, каково было национальное, этническое происхождение тех или иных правящих лиц, а в том, что они были последовательнейшими *интернационалистами*, по существу отвергавшими все национальное как своего рода «пережиток», долженствующий в не столь уж отдаленном будущем полностью отмереть. Многие современные авторы, решительно протестующие против обсуждения «еврейского вопроса» в связи с исследованием высшего состава большевистской власти, говорят, что Троцкого, Зиновьева, Каменева, Свердлова и др. вообще нельзя рассматривать как евреев. И это как бы подтверждают, например, характерные высказывания самого Троцкого, вроде следующего: «...национальный момент, столь важный в жизни России, не играл в моей личной жизни почти никакой роли», обстоятельства этой жизни «помогли моему интернационализму всосаться в плоть и кровь»[28].

Итак, согласно утверждению Троцкого, он — не еврей, а интернационалист, для которого национальное происхождение не имеет «почти никакого» значения. В дальнейшем мы еще увидим, что дело обстояло не совсем так. Но нетрудно заметить определенное противоречие уже и в

самом этом высказывании Троцкого. Ведь он отрицает сколько-нибудь существенную роль «национального момента» в его «*личной* жизни», но признает, что этот «момент» имел очень весомое («столь важный», — определяет он) значение в «жизни *России*». И тут он был всецело прав.

Впрочем, обратимся непосредственно к составу верховной власти, сосредоточенной в ЦК большевистской партии. При этом ради более объективного представления о положении вещей мы рассмотрим не какой-либо один из составов ЦК, но возьмем в целом *пять* его составов, правивших страной с октября 1917-го до апреля 1922 года.

Всего членами ЦК побывали за эти четыре с половиной года 48 человек. 27 из них являлись русскими или украинцами (либо, по крайней мере, всеми считались таковыми), 10 — евреями и 11 человек принадлежали к другим национальностям. Обилие «русской» части членов ЦК (более половины при всего лишь одной пятой части евреев) может смутить тех, кто на основе всяческих слухов и домыслов (а не фактов) проникся убеждением, что ЦК был в те годы чуть ли не целиком «еврейским». Однако стоит сразу же заметить, что многие русские члены ЦК имели весьма малый вес. Это, в сущности, видно невооруженным глазом: такие, например, имена русских членов ЦК в 1917—1922 годах, как М.Ф. Владимирский, Г.Е. Евдокимов, Н.П. Комаров, И.И. Кутузов, В.П. Милютин, В.М. Михайлов, М.К. Муранов (не путать с Мураловым), Е.А. Преображенский, И.Н. Смирнов, явно несопоставимы по своей значительности с именами нерусских «цекистов»: Дзержинский, Зиновьев, Каменев, Радек, Рудзутак, Свердлов, Сталин, Троцкий, Урицкий, Фрунзе и т.д. Среди русских членов ЦК было, пожалуй, только *трое* могущих «соперничать» с этими нерусскими — Бухарин, Рыков, Томский.

Могут напомнить, правда, что в 1920—1921 годах членами ЦК стали такие гораздо более известные русские, как Андреев, Ворошилов и Молотов. Однако они приобретают первостепенное значение лишь впоследствии, во второй половине 1920-х годов.

И есть основания полагать, что те или иные из пере-

численных выше русских членов ЦК были введены в этот верховный орган в те годы прежде всего для соблюдения определенных «национальных пропорций» (в дальнейшем я еще коснусь этой темы), а их реальная роль во власти не была первостепенной. Наконец, некоторые известные члены ЦК, считавшиеся русскими (или украинцами), исполняли — по крайней мере, в период 1917—1922 годов — главным образом «технически-секретарские» обязанности — например, Е.Д. Стасова и Н.Н. Крестинский, которого Ленин называл «управделами», осуществлявшим «техническую работу»[29]. Власть в собственном смысле слова была сосредоточена в других руках.

Как уже говорилось, многие сейчас уверены в том, что власть была «еврейской». Но, не отрицая исключительно большую роль евреев в тогдашнем «руководстве», считаю необходимым сосредоточить внимание прежде всего на иной стороне дела, которая, как я постараюсь доказать, имеет наиболее *существенное* значение для понимания судьбы России в послереволюционный период.

Итак, в состав ЦК в 1917—1922 годах входили 27 русских, из которых, правда, большинство играли тогда второстепенную роль, 10 евреев и 11 людей других национальностей. При этом необходимо сознавать, что вхождение людей различных национальностей в состав верховной власти не было и не могло быть неким малосущественным фактом, ибо при всех возможных «случайностях» эти люди, прежде чем оказаться в правящей страной верхушке, проходили достаточно длительный и многоступенчатый «отбор». Приведу хотя бы один показатель: со времени создания РСДРП в ее высшем руководящем органе побывали в общей сложности 65 человек, но только 13 из них (то есть 1 из 5) входили в состав ЦК после прихода большевиков к власти.

И присутствие в ЦК в 1917—1922 годах одиннадцати человек — около четверти общего состава, притом очень влиятельных, — принадлежавших к различным национальностям, как бы выявляет чрезвычайно важную особенность тогдашней власти в России. Казалось бы, «многонацио-

нальный» состав ЦК был совершенно закономерен, даже естествен в стране, населенной многими народами, и впоследствии — скажем, в 1950—1980 годах, когда в ЦК постоянно входили своего рода «представители» народов Закавказья, Средней Азии, Прибалтики и т.п., — это было не могущим вызвать никаких вопросов положением вещей.

Однако в 1917—1922 годах в состав ЦК входили и играли в нем первостепенную роль «представители» таких народов или, точнее, *стран*, которые либо и фактически, и юридически *отделились* после революции от России, превратившись в самостоятельные государства, либо вообще никогда не принадлежали к ней, — «представители» Польши, Латвии, Литвы, Бессарабии (ставшей с 1918-го и до 1940 года частью Румынии), Болгарии, Австрии: Ян Берзин, Феликс Дзержинский, Карл Радек (австрийский еврей), Христиан Раковски, Ян Рудзутак, Ивар Смилга, Петерис Стучка и т.п. Нельзя не сказать еще (об этом обычно забывают), что *до 1922 года* самостоятельными государствами (и даже нередко весьма враждебными!) являлись по отношению к России и Грузия с Арменией, и потому члены ЦК Сталин (Джугашвили), Орджоникидзе и Шаумян — так же как и перечисленные выше лица — были тогда, по существу, *эмигрантами*, вершившими власть не в своей стране! (Стоит отметить, что многие из тех властителей, о которых уже сказано и будет сказано ниже, до 1917 года не жили непосредственно в России, плохо знали русский язык или по крайней мере говорили на нем с сильным акцентом; словом, это в самом деле были «чужаки».)

Но пойдем далее. Дело не только в составе ЦК. Не менее или даже еще более «многозначителен» тот факт, что во главе — то есть именно на самых высоких постах — собственно «силовой» и карательной власти — ВЧК-ГПУ-ОГПУ — находились поляки Дзержинский и Менжинский, а также латыши Мартин Лацис (это псевдоним; настоящее имя — Ян Судрабс) и Якоб Петерс.

И, наконец, третье: многие фактические «эмигранты» играли важнейшую роль и в Красной армии. Военное командование как таковое во всем главном и основном под-

чинялось созданному 8 апреля 1918 года Всероссийскому бюро военных комиссаров, преобразованному позднее в Политуправление Реввоенсовета Республики. И при каждом командующем фронтом или армией находился член Реввоенсовета (а при начальниках корпусов, дивизий и т.д. — военный комиссар); эти названия должностей звучат вроде бы не очень уж внушительно, но на деле занимавшие такие посты лица имели поистине чрезвычайные, *диктаторские* полномочия. И очень многие из членов Реввоенсовета при основных фронтах Гражданской войны были, в сущности, «иностранцами»: Бела Кун, Карл Данишевски, Оскар Стигга, Юзеф Уншлихт, Рейнгольд Берзиньш (Берзин), а также уже упоминавшиеся выше Христиан Раковски, Ивар Смилга и т.д.

Подобных иностранных «диктаторов» менее крупных составных частей красных войск (армий, корпусов, дивизий и т.д.) здесь невозможно перечислять, но следует добавить, что в их полном распоряжении были особые подразделения так называемых «интернационалистов», подобранных в основном из проникшихся большевистскими идеями военнопленных (попавших в плен во время войны 1914—1917 годов), а также различных эмигрантов и беженцев; ведь всего к октябрю 1917 года в России находилось около 5 миллионов (!) иностранных граждан* (разумеется, «интернационалистами» стала лишь небольшая, но все же значительная часть этих людей).

Проблема эта изучена до сего дня совершенно недостаточно. Сошлюсь для примера на уже упоминавшуюся книгу Владимира Солоухина, хотя не могу не подчеркнуть, что его явно очень слабое знание фактов присуще и подавляющему большинству других авторов, пишущих о революционной эпохе. Он утверждает: «Дисциплина в Красной армии держалась на расстрелах, осуществляемых ЧОНовцами, то есть... латышскими стрелками... Впервые, наверное, в истории человечества были придуманы и прак-

---

* См.: Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М., 1983, с. 234.

тиковались заградотряды. То есть сзади красноармейцев, идущих в бой, сидели «чоновцы» с пулеметами. В знаменитой Чапаевской дивизии, как стало теперь известно, тоже были заградотряды»[30].

Здесь все перепутано прямо-таки удивительно. Во-первых, ЧОН («Части особого назначения») не имели ровно никакого отношения к «латышским стрелкам». Эти «части» были созданы в 1919 году во всех губерниях, уездах, городах и на заводах из *местных* большевиков, членов профсоюзов, комсомольцев и «сочувствующих» (и, между прочим, «чоновцы» стали реальной силой уже *после* смерти Чапаева, который погиб 5 сентября 1919 года); кроме того, в ряды «чоновцев» были вовлечены в общей сложности (на этот счет сохранилась исчерпывающая документация) 363 045 человек, между тем как «латышских стрелков» в России имелось всего-навсего около 18 000 человек, то есть в двадцать раз (!) меньше, и солоухинское «отождествление» тех и других звучит, в сущности, абсурдно.

Во-вторых, «заградотрядами», созданными в 1918 году, называлась «разновидность» *продотрядов*; они препятствовали не разрешенной властью перевозке хлеба и другого продовольствия из одних местностей в другие. И Владимир Солоухин прав лишь в том отношении, что в Чапаевской дивизии действительно имелись вооруженные именно пулеметами «спецподразделения», которые, впрочем, как видно из изучения фактов, имели цель не столько помешать возможному отступлению чапаевцев (ведь недаром же в фольклорной песне утверждалось:

Вперед же, товарищи, не смейте отступать,
Чапаевцы смело привыкли умирать, —

кстати, то, что они «*привыкли* (!) умирать» — поистине бесподобно), сколько принять меры в том случае, если своевольный Чапай вдруг повернул бы куда-то не туда...

Но в то же время Солоухин совершенно напрасно привлек к делу «чоновцев» (которые к тому же якобы являлись «латышскими стрелками»), да еще и многозначительно заметил, что-де о вооруженных пулеметами спецотрядах в Чапаевской дивизии «стало известно» только *теперь*. Увы,

Пушкин был глубоко прав в своей национальной самокритике, сказав, что «мы ленивы и нелюбопытны». Не теперь, а еще в 1960-х, три десятка лет назад, ветераны знаменитой дивизии издали массовым тиражом солидную книгу «Легендарная Чапаевская», к которой, в частности, приложены сведения о служивших в этой дивизии «интернационалистах». Вот начало их перечня: «Августин Ян — поляк, род. в 1887 г. в г. Гдовицы, волости Поремба. Красноармеец. Адамов Ранко — серб, род. в 1888 г. в Банах (Сербия). Красноармеец и ружейный мастер. Балаш Этваш — венгр, род. в 1890 г. Командир отделения и помощник завед. оружием полка. Блауштейн Роберт — немец. Красноармеец. Бухстад Антон — австриец, род. в 1889 г. Красноармеец. Варга Павел — венгр, род. в 1892 г. Пулеметчик» и т.д.

Всего в этом списке «интернационалистов» одной только дивизии — кстати, неполном — 204 подобных имени и, между прочим, о каждом шестом из них сообщено, что он — «пулеметчик» или даже «командир пулеметного отделения» либо «взвода» или «заведующий оружием полка», что, конечно, весьма показательно[31].

Итак, из вышеизложенного, полагаю, ясно, сколь значительна была роль «иностранцев» в России 1917—1922 годов. Существовал своего рода единый «инородный» стержень, пронизывающий власть (в самом широком смысле этого слова) сверху донизу — от членов ЦК до командиров пулеметных отделений. И решусь утверждать, что без этого «компонента» большевики и не смогли бы победить, не сумели бы прочно утвердить свою власть.

Такая постановка вопроса, конечно же, вызовет у многих и недоумение, и гнев: что ж, выходит, судьба России не могла быть решена без «иностранного» участия? Неужели русские сами, без «чужаков», не могли преодолеть охватившие страну всеобщую смуту и междоусобие?

Но обращение к мировой истории убеждает, что в подобных ситуациях роль «чужаков» закономерна или даже необходима. Так, в 1640-х годах в Великобритании разразилась революция, которая надолго ввергла страну в хаос и тяжкие кровавые конфликты. И порядок восстановился

лишь после того, как *голландский* принц Вильгельм был приглашен основными политическими силами страны в качестве короля и, придя со своим — иностранным (!) — войском, правил Великобританией почти полтора десятилетия до своей кончины.

И другой — гораздо более широко известный, но в то же время крайне редко *осмысляемый* — исторический факт. Великая французская революция погрузила страну в состояние войны всех против всех; даже ближайшие единомышленники предались настоящему самопожиранию. И Бонапарт, который в той или иной степени установил прочную власть, был, в сущности, настоящим *иностранцем*. Среди миллионов французских мужчин такого не нашлось, и во Франции, вообще-то, не любят упоминаний о национальности наиболее чтимого героя страны. А ведь он был итальянцем, вернее, корсиканцем (то есть представителем определенной «ветви» итальянского народа, говорящей на особенном диалекте). Правда, за год до его появления на свет его родная Корсика была присоединена к Франции, и позднее его отец, честолюбивый корсиканский дворянин, отправил десятилетнего сына учиться во Францию в военное учебное заведение, где мальчик для начала должен был овладеть французским языком.

Тем не менее будущий император Франции, как неопровержимо свидетельствуют его сохранившиеся юношеские дневники и сочинения, долго оставался горячим патриотом своей Корсики (он, в частности, в двадцатилетнем возрасте составил «Историю Корсики»). Когда во Франции началась революция, Наполеон стал ее сторонником, — очевидно, потому, что она должна была дать свободу его родине.

Военная карьера Наполеона началась вовсе не во Франции, а на Корсике, где в 1791—1792 годах была провозглашена независимость и главой государства стал начальник национальной гвардии генерал Паоли. Молодой Наполеон добился — с немалыми усилиями — поста начальника батальона корсиканской гвардии. Однако в силу сложившихся обстоятельств (о которых не расскажешь коротко) в 1793 году Наполеон вступил в острый конфликт с

Паоли и вынужден был вместе с семьей бежать во Францию, притом по приказу Паоли был даже сожжен его родной дом. Таким образом, Наполеон, по существу, оказался *эмигрантом* и решил делать карьеру на чужой земле.

Очень характерно, что он (подобно многим «инородным» деятелям Российской революции) заменил свое настоящее имя (и в произношении, и на письме) «офранцуженным» псевдонимом «Наполеон Бонапарт» — вместо истинного «Наполионе Буонапарте» (его противники, стремясь обличить в нем «чужака», обычно употребляли его корсиканское имя). Безостановочная стремительная карьера Наполеона во Франции началась после того, как 5 октября 1795 года в самом центре Парижа он обрушил артиллерийские залпы в толпу людей, которая, как предполагалось, имела намерение свергнуть революционную власть. Напомню, что Достоевский вложил в уста своего рассуждавшего о «вседозволенности» Раскольникова следующую фразу об этом событии: «Прав, прав «пророк», когда ставит где-нибудь поперек улицы хор-р-рошую батарею и дует в правого и виноватого, не удостаивая даже и объясниться» (сразу после этого последовало назначение Наполеона командующим парижским гарнизоном). И естественно высказать предположение, что, если бы Наполионе Буонапарте был *французом*, он, быть может, все же сделал бы сначала попытку «объясниться», выявить в парижской толпе «правого и виноватого»...

Об особенной роли «чужаков» в *переломные* периоды истории той или иной страны мира можно сказать очень много; уместнее будет обратиться к истории самой России. Летопись сообщает под 862 годом (для ясности даю перевод на современный язык): «...и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом... И пошли за море, к варягам... «Приходите княжить»...»

Перенесемся теперь в то время, которое непосредственно и вошло в историю под именем «Смутного». В разгар всеобщей «усобицы», безвластия и хаоса, 16 августа 1610 года, московский народ избрал на царство *польского* королевича Владислава... В считающемся самым досто-

верным рассказе очевидца об этом событии оно воссоздано так: «...все собрались... чтобы всеми сословиями держать совет, кого из знатных вельмож избрать новым Царем», но пришли к выводу: «..нет никого, кто мог бы похвалиться и сказать, что он выше и знатнее, чем кто-либо другой. Если мы сейчас выберем одного из них Царем земли нашей, другие тотчас же начнут его ненавидеть и тайно преследовать, ибо никому неохота кланяться и подчиняться себе равному, в чем мы сами наглядно убедились на примере Бориса Федоровича Годунова. Если бы его не считали недостойным... то нынешние несчастья и бедствия не постигли бы нашу землю. Поэтому мы полагаем, что разумнее будет избрать *совсем чужого* вельможу... Ему должны будут по справедливости покоряться и повиноваться...»[32]

Правда, после этого поляки повели себя в России, мягко говоря, неразумно, множа насилия и оскорбления присягнувших их королевичу русских, началось мощное народное сопротивление, и в конце концов 21 февраля 1613 года царем был избран Михаил Романов* Но сам *смысл* призвания к власти «чужака» предстает в событии 1610 года достаточно очевидно.

Далее, размышляя о времени Петра Великого, мы обычно сосредоточиваемся на свершениях последних двух десятилетий его правления; между тем он вступал на престол в ситуации, которую также с полным правом можно назвать «Смутным временем» — временем крайней междоусобицы, стрелецких, казачьих, раскольничьих, боярских мятежей и т.п. И есть все основания полагать, что предпринятое им поистине массовое «приглашение» иностранцев было вызвано, в конечном счете, именно этим.

Наконец, даже не столь уж грандиозный декабристский бунт, посеявший «смуту» в верхних слоях русского

---

* Он, кстати сказать, являлся — о чем редко вспоминают — племянником (хотя и двоюродным) последнего царя-Рюриковича — Федора Иоанновича (дед Михаила, Никита Романович, был родным братом матери Федора, царицы Анастасии Романовны — супруги грозного царя).

общества, привел к тому, что среди имен ближайших соратников Николая I господствовали такие имена, как Бенкендорф, Канкрин, Клейнмихель, Дубельт, Корф, Ливен, Нессельроде, Моллер, Адлерберг, Толь и др. Николай Павлович, кстати, сам давал именно такое объяснение засилью «немцев» в его правительстве.

Разумеется, все перечисленные выше исторические ситуации имели глубокое своеобразие и существенно различные последствия. Но определенная единая «закономерность» все же просматривается. Острое и как бы неразрешимое столкновение тех или иных сил *внутри* страны, внутри нации, — сил, каждая из которых отрицает право остальных на власть, — приводит к приглашению каких-либо «варягов» (если воспользоваться этим древним русским словом, вокруг которого идут нескончаемые споры). И в свете предложенного — конечно, предельно краткого — экскурса в историю громадная роль «чужаков» в эпоху смуты, начавшейся в 1917 году, предстает, полагаю, не как нечто противоестественное.

В заключение имеет смысл сказать, что обилие евреев в тогдашней власти в определенном отношении следует рассматривать с этой самой точки зрения. В западных областях России, где евреи жили издавна и даже составляли очень значительную или вообще преобладающую часть городского населения, их едва ли воспринимали как «иностранцев». Очень характерно, например, что в Новороссии евреи, разделявшие анархистскую программу, принимали самое активное участие в, казалось бы, чисто крестьянском движении махновцев (известно около десятка евреев, игравших в стане Махно руководящие роли)*; между тем в близкой по своему духу к махновщине тамбовской антоновщине присутствие евреев едва ли можно обнаружить. И на большей части огромного российского пространства они представали в той или иной степени как «чужаки».

---

* В том числе, между прочим, В.М. Эйхенбаум (Волин) — родной брат видного литературоведа.

В этом, между прочим, своего рода нерв содержания романа, который в последние годы как бы забыт — романа (может быть, правильнее было бы определить его словом «повесть») Александра Фадеева «Разгром». В свое время это произведение чрезмерно превозносили, потом — столь же чрезмерно развенчивали. Я не собираюсь давать ему общую характеристику, но, как мне представляется, взаимоотношения главного героя «Разгрома» — Левинсона — и его отряда воссозданы писателем с замечательной точностью.

В самом начале, на первой же странице, есть емкий эпитет: «*нездешние* глаза Левинсона». Эти глаза «надоели» ординарцу командира — шахтеру Морозке: «Жулик, — подумал ординарец, обидчиво хлопая веками, и тут же привычно обобщил: — Все жиды жулики».

Итак, с одной стороны — «романтически» окрашенные «нездешние глаза», а с другой — «жулик-жид». Автор «Разгрома» ни в коей мере не был склонен к неприязни к евреям, и в словах «*привычно* обобщил» ясно выражено, что дело идет, по убеждению писателя, о «предрассудке» непросвещенного сознания. Однако вскоре, в сцене встречи с местными крестьянами, Левинсон предстает в изображении писателя, в сущности, как «жулик»; он потребовал «принять резолюцию», согласно которой бойцы отряда должны будут «помогать» крестьянам в хозяйстве: «Левинсон сказал это так убедительно, будто сам верил, что хоть кто-нибудь станет помогать хозяевам.

— Да мы того не требуем! — крикнул кто-то из мужиков. Левинсон подумал: «Клюнуло»...»

Так же обстоит дело и в отношениях с самим левинсоновским отрядом: «Всем своим видом Левинсон как бы показывал людям, что он прекрасно понимает, отчего все происходит и куда ведет... и он, Левинсон, давно уже имеет точный, безошибочный план спасения. На самом деле он не только не имел никакого плана, но вообще чувствовал себя растерянно, как ученик, которого заставили сразу решить задачу со множеством неизвестных».

И в другом месте о том же Морозке сказано: «...он старался убедить себя, что Левинсон — величайший жулик...

Тем не менее он тоже был уверен, что командир «все видит насквозь»...» (между прочим, «противоречие» между этими двумя убеждениями Морозки, в сущности, весьма относительное).

Но все это, в конечном счете, основывалось на первой же «характеристике» Левинсона — на его «*нездешних* глазах», и сам Левинсон, как выясняется далее, «знал, что о нем думают именно как о человеке «особой породы»...»

В «Разгроме» достаточно много персонажей, но совершенно очевидно, что ни один из них не мог бы стать таким общепризнанным (несмотря даже на «критическое» отношение, на «обвинения» типа «жулик» и т.п.) командиром, как Левинсон: «Левинсон был выбран командиром... каждому казалось, что самой отличительной его чертой является именно то, что он командует»; его «все знали именно как *Левинсона* (выделено Фадеевым. — *В. К.*), как человека, всегда идущего во главе».

Я пока никак не *оцениваю* это воссозданное писателем — кстати, самым активным образом участвовавшим в Революции, — положение вещей. Речь идет лишь о том, что главенство «нездешнего» человека, которое на первый взгляд может быть воспринято как некое «неправильное», несообразное явление, в действительности предстает — разумеется, в тогдашних условиях всеобщей смуты и безвластия — как вполне (или даже единственно) возможное... О последствиях же этой ситуации речь пойдет в дальнейшем.

Глава 4

КАКОВА БЫЛА РОЛЬ ЕВРЕЕВ В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ?

Итак, вопрос, с давних пор возбуждающий острейшие споры и порождающий самые разные, нередко прямо противоположные ответы. Я ставлю перед собой задачу осветить его как можно более объективно, беспристрастно и всесторонне. При этом необходимо предупредить читателей, что ответом на сей сложнейший вопрос явится только вся эта глава в ее целостности: сосредоточение внимания на каких-либо *отдельных* ее частях и сторонах неизбежно приведет к искажению самой сути дела.

...Полярность ответов на поставленный вопрос особенно очевидна в наше время: одни утверждают, что в октябре 1917 года в России устанавливается чисто «еврейская власть», что большевики того времени — это либо евреи, либо послушные исполнители их воли, а другие, напротив, что большевистская власть была враждебна евреям, что к власти в Октябре пришли люди, которых уместно даже назвать «черносотенцами»...

Так, имеющий влияние на Западе автор, Дмитрий Сегал (в 1970-х годах эмигрировал из России в Израиль), опубликовал в 1987 году в парижском альманахе «Минувшее» (выпуски которого массовым тиражом переиздавались в Москве) пространную статью, призванную, так сказать, открыть глаза на факты, которые доказывают-де, что Октябрьский переворот (в отличие от Февральского) сразу же привел к жестоким гонениям на евреев. В начале статьи ее задача четко сформулирована: «...обратить внимание исследователей... на дополнительные факты, которые лишь теперь начинают собираться в осмысленную картину...»[1]

Собранные в статье «факты» в самом деле способны произвести сильное впечатление на неподготовленного

читателя. Так, оказывается, уже 28 ноября (11 декабря) 1917 года — то есть через месяц после большевистского переворота — один из виднейших меньшевиков А.Н. Потресов заявил на страницах газеты «Грядущий день», что «идет просачивание в большевизм черносотенства»[2]. Чуть позднее, 3(16) декабря, некто В. Вьюгов публикует в популярной эсеровской газете «Воля народа» статью, где речь идет уже не о «просачивании», а *о тождестве* большевизма и черносотенства; статья так и названа: «Черносотенцы-большевики и большевики-черносотенцы», и автор «разгадывает» в ней «черносотенную политику Смольного», обитатели которого, по его словам, «орудуют вовсю... восстанавливая старый (то есть дофевральский! — *В. К.*) строй»[3].

«Той же общей теме разгула черносотенной, охотнорядской стихии в революции, — продолжает Дмитрий Сегал, — посвящают свои статьи в газете партии народной свободы (то есть кадетской. — *В. К.*) «Наш век» в номере от 3 декабря 1917 года А.С. Изгоев («Путь реставрации») и Д. Философов («Русский дух»)» (с. 141).

Далее, 17 января 1918 года широко известный тогда (в частности, своей необычайной переменчивостью) литератор А.В. Амфитеатров ставит задачу «конкретизировать» образ большевика-черносотенца, и Дмитрий Сегал так излагает содержание его статьи, опубликованной в газете «Петроградский голос» под названием «Троцкий-великоросс»: «Амфитеатров выступает с опровержением традиционно принятого тогда в некоторых кругах мнения о чуждости Троцкого России, о том, что он — «инородец». Напротив, говорит автор... беда как раз в том, что Троцкий слишком хорошо усвоил типичные черты великоросса, причем великоросса-шовиниста» (с. 174).

Наконец, Дмитрий Сегал как бы демонстрирует позднейшие «плоды» деятельности Троцкого и других обитателей Смольного, цитируя опубликованный 14 июня 1918 года (то есть через восемь месяцев после Октября) в либеральной газете «Молва» очерк С. Аратовского из цикла «Белые ночи и черные дни». Очеркист рассказывает, как «собираются пестрыми толпами голодные люди на Знаменской площади:

— Помитинговать, штоль, немножко?..

Против всех протестуют, но на «жидах» все соглашаются как один. И не только свободные граждане, но и красногвардейцы охотно поддакивают им.

— Конечно, жиды много портят. Они социализму вредят, потому ведь в банках — жиды, в газетах — жиды... А при настоящей коммуне — перво-наперво, конечно, всех жидов потопить...» (с. 188).

В последнем тексте есть, правда, деталь, явно противоречащая «концепции», которую пытается обосновать Дмитрий Сегал: очеркист отмечает, что «красногвардейцы» только «*поддакивают*». А ведь, казалось бы, именно красногвардейцы, вдохновляемые «черносотенной политикой Смольного», должны были выступать как инициаторы борьбы с вредящими социализму «жидами»...

Неизбежно возникает и еще одно недоумение по поводу этих цитат из антибольшевистских газет конца 1917-го — начала 1918 года: ведь в том самом Смольном (откуда исходила-де «черносотенная политика») заседал тогда всевластный ЦК РКП(б), около трети членов которого составляли евреи Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Я.М. Свердлов, Г.Я. Сокольников, Л.Д. Троцкий, М.С. Урицкий. Еще более «еврейским» был верховный, с формальной точки зрения, орган власти — Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов (ВЦИК), избранный 26 октября 1917 года: из шести его большевистских членов *четверо* были евреи — В. Володарский, Каменев, Свердлов и Ю.М. Стеклов, чья настоящая фамилия — Нахамкис (кроме них в Президиум были избраны еще два большевика — *поляк* Дзержинский и *латыш* Стучка; русских там не имелось вообще).

Но Дмитрий Сегал на последней странице своей статьи стремится, так сказать, рассеять это недоумение. Он цитирует газету «Вечерний час» от 27 ноября (10 декабря) 1917 года, опубликовавшую изложение речи видного еврейского деятеля М.С. Шварцмана на состоявшемся накануне в Петрограде «митинге сионистов»:

«...Мы хотим, чтобы за тех *отщепенцев* еврейства, которые сейчас играют отвратительную роль насильников,

отвечал не весь еврейский народ, а чтобы такие насильники были ответственны за свои *преступления* перед всем народом» (имеется в виду еврейский народ. — *В. К.*)... Оратор не называл имен (комментирует газета. — *В. К.*), но чуткая аудитория узнала в этой реплике гг. Нахамкисов, Бронштейнов и пр.» (с. 194. Бронштейн — настоящая фамилия Троцкого).

Многие наверняка воспримут сегодня это заявление сиониста М.С. Шварцмана как «хорошую мину при дурной игре», ибо широко распространено представление, согласно которому сионисты — это и есть, так сказать, наиболее «опасная» для России часть евреев, и Троцкого и других большевистских вождей еврейского происхождения сплошь и рядом зачисляют именно в «сионисты», нередко даже противопоставляя их иным, не проникнутым сионистской идеологией евреям, которые, мол, не наносили столь большого вреда России.

Но такое представление обусловлено, увы, элементарным незнанием исторических фактов. Здесь невозможно обсуждать вопрос о сионизме вообще и в особенности о его современном, сегодняшнем значении и роли в мире. Если же говорить о месте сионизма в революционной России, о деятельности российских сионистов в 1900—1920-х годах, нет никаких оснований усомниться в искренности приведенных только что высказываний М.С. Шварцмана.

Я не раз обращался к суждениям виднейшего российского сиониста Владимира (Зеева) Жаботинского, который категорически выступал против участия евреев в Российской революции, заклиная своих одноплеменников заняться собственными национальными проблемами, а не «играть на чужой свадьбе».

Глубокое и точное понимание существа дела воплощено в работе выдающегося мыслителя Л.П. Карсавина «Россия и евреи» (1927), где он разграничивает 1) «религиозно-национальное еврейство», 2) «евреев, совершенно ассимилированных тою или иною национальною культурою» (в России, естественно, прежде всего русской культурой) и 3) «евреев-интернационалистов», которые «уже не евреи, но еще и не «нееврей»; именно их деятельность

неизбежно приобретает характер «нигилистической разрушительности». «Этот тип, — заключает Л.П. Карсавин, — является врагом всякой национальной органической культуры (в том числе и еврейской)», и он — «наш вечный враг»[4].

Сионист М.С. Шварцман определил оказавшихся у власти в октябре 1917 года евреев как играющих «отвратительную» роль «отщепенцев» и «преступников». Могут возразить, что гонения на сионистов со стороны большевистской власти и позже были явно и гораздо менее последовательными и жестокими, нежели гонения на национально мыслящих русских людей. Это действительно так, и имелись, очевидно, две причины более «мягкого» отношения власти к еврейским «националистам». Во-первых, противостояние власти и сравнительно немногочисленных (в соотношении с русскими) национально ориентированных евреев не представляло грозной опасности для большевиков, а во-вторых, сказывалось, конечно, единство происхождения, племенная солидарность. Вот характерный факт. В 1920 году группа деятелей еврейской культуры во главе с крупнейшим поэтом Х. Н. Бяликом решила эмигрировать из Советской России. И ходатайствовать о разрешении на отъезд берется еврей-меньшевик И.Л. Соколовский — родной брат первой жены Троцкого, в молодости друживший со своим впоследствии столь знаменитым зятем. Однако, советуясь с людьми, которые были осведомлены о послереволюционной деятельности Троцкого, Соколовский «узнал множество фактов о жестокости Троцкого», о том, что он «нес ответственность за террор и казни ЧК», и отказался от своего намерения встретиться с бывшим зятем. Но далее делу все же помог другой еврей — большевик, который ранее был национально мыслящим и, даже став впоследствии большевиком, продолжал в высшей степени ценить поэзию сиониста Бялика. В конце концов поэт благополучно эмигрировал вместе со всей своей группой[5].

В этой истории просматривается многозначность проблемы. Если же говорить о ходе событий в самом общем плане, нельзя не признать, что российские сионисты по-

сле революции либо эмигрировали, либо, оставаясь под властью большевиков, рисковали подвергнуться репрессиям, что и постигло многих из них в 1920—1930-х годах.

Как уже сказано, речь идет здесь не о сионизме вообще и не о его деятельности на всем протяжении нашего века, а только о судьбе сионистов в России в первые послереволюционные годы. Несмотря на то что еврейская племенная солидарность облегчала эту судьбу, совершенно ошибочно все же «объединять» сионистов и евреев-большевиков (и тем более отождествлять их!), хотя подобная тенденция, увы, очень широко распространена сегодня.

Так что Дмитрий Сегал в той или иной мере справедливо разграничивает *национальное* еврейство и большевистских вождей-евреев — «отщепенцев», боровшихся против «национального» вообще. Но в то же время едва ли хоть сколько-нибудь основательна его попытка усмотреть в большевистской власти нечто «черносотенное». Он, кстати сказать, приводит в своей статье отнюдь не реальные *факты* (как он обещал вначале), подтверждающие его точку зрения, а чисто субъективные *мнения* представителей различных политических партий, находившихся тогда в остром конфликте с захватившими власть большевиками. В цитируемых им антибольшевистских статьях использован весьма нехитрый, в сущности, прием идеологической борьбы: поскольку к 1917 году в общественное сознание было внедрено крайне негативное представление о черносотенцах, сближение или прямое отождествление с ними большевиков призвано было полностью дискредитировать последних.

Черносотенцев совершенно облыжно преподносили как неких чудовищных насильников, «заливших Россию морем крови», хотя в действительности этим занимались их непримиримые враги — «красносотенцы», в том числе и большевики (вспомним хотя бы кровавого «экспроприатора» Петросяна-Камо). Увлекшись своей «концепцией», Д. Сегал приводит уж совсем смехотворное «обвинение» эсера В. Вьюгова, утверждавшего в декабре 1917 года, что боль-

шевики-де «восстанавливают старый строй» — то есть российскую монархию...

Повторю еще раз, что большевики (в том числе и еврейского происхождения) в самом деле были чужды или даже враждебны сионизму и вообще собственно национальным устремлениям евреев, но объявление Троцкого «великороссом-шовинистом» в полном смысле слова нелепо, и Дмитрий Сегал, всерьез ссылаясь на подобное «откровение», по сути дела, ставит себя в смешное положение (ниже еще будет подробно сказано о сущности «позиции» Троцкого).

Однако не следует полагать, что цитированная статья Д. Сегала — некий редкостный курьез. Весьма активный московский публицист Владлен Сироткин утверждает примерно то же самое. Говоря о борьбе против антисемитизма в начале XX века, когда, в частности, во главе защитников евреев во Франции был Эмиль Золя, а в России — Владимир Короленко, он так подводит итог:

«По счастью, сторонников Э. Золя во Франции оказалось больше, чем в России сторонников В. Короленко, и антисемиты там потерпели сокрушительное поражение... В России, увы, *все обстояло по-другому*». Ибо-де борцы с антисемитизмом в России «составляли меньшинство», хотя и «в Совдепии (так вчерашний ортодоксальный коммунист Сироткин именует ныне Советскую Россию. — *В. К.*), и в эмиграции они продолжали бороться против антисемитизма». Далее Владлен Сироткин ссылается в качестве «доказательства» на речь, прозвучавшую на VIII съезде большевистской партии (в марте 1919 года): «Зиновьев. На Украине, в одном городе, «на другой день после того, как... Советы взяли власть от петлюровцев, в Совете в течение четырех с половиною часов... обсуждался вопрос: бить или не бить «жидов». И большинством голосов решили, что лучше пока (!) не бить. Подробно обсуждали вопрос о том, допускать или не допускать евреев на ответственные посты в Советы, и большинством решили, что бывают и из евреев приличные люди». Кстати, — добавляет к этой цитате Сироткин, — интересны мотивы, по которым один из самых тогда «приличных людей»... Лев Троцкий

предпочел отказаться от поста первого заместителя председателя Совнаркома, который ему в 1922 году предложил сам Владимир Ильич. Вот как Троцкий... вспоминал этот любопытный и весьма знаменательный эпизод: «Я возражал и в числе других доводов выдвинул национальный момент: стоит ли, мол, давать в руки врагов такое дополнительное оружие, как мое еврейство?»[6]

Итак, согласно сочинению Владлена Сироткина, к 1917 году «антисемиты» в России якобы господствовали и неким их не располагавшим большой силой, но отважным противникам в «Совдепии» пришлось «продолжать бороться» с ними. Чтобы обосновать это свое утверждение, «профессор» приводит явно «хохмаческие» фразы из речи Зиновьева, поведавшего, что где-то в украинском захолустье имеется, если воспользоваться позднейшим издевательским определением Ильи Ильфа, «край непуганых идиотов» (Ильф продолжил: «Самое время пугнуть»), которые заняты обсуждением вопроса о том, стоит ли допускать евреев в местный Совет, даже не подозревая, что в верховном органе Советов, Президиуме ВЦИК, после Октября из шести большевиков четверо были евреи! Не говоря уже о том, что эти украинские антисемиты все же решили вопрос в пользу евреев, — хотя только «приличных», то есть, согласно приведенному мнению Сироткина, таких, как Троцкий...

* * *

Фигура Троцкого имеет, в сущности, центральное значение для понимания обсуждаемого вопроса — и по той исключительно важной роли, которую он играл в первые послереволюционные годы (его тогдашнее место в большевистской иерархии — сразу вслед за Лениным и Свердловым, к тому же последний умер уже в начале 1919 года), и в силу того, что он был, несомненно, «умнее» многих других большевистских «вождей».

Однако, прежде чем сосредоточиться на этой фигуре, следует вернуться к цитированному выше изложению речи

сиониста М.С. Шварцмана, назвавшего большевиков-евреев «отщепенцами» и заявившего, что еврейский народ не несет за них ответственности, — напротив, они сами несут ответственность перед этим народом за свои «преступления».

Как уже сказано, Троцкий и другие «вожди» действительно были «отщепенцами» еврейства, — хотя ныне многие стремятся увидеть в них чуть ли не сионистов. В 1923 году группа видных еврейских деятелей, эмигрировавших из большевистской России, издала в Берлине сборник статей «Россия и евреи», который достаточно убедительно продемонстрировал их неприятие большевизма и принадлежащих к нему евреев (см. об этом сборнике содержательную статью Александра Казинцева в ноябрьском номере «Нашего современника» за 1990 год).

Но в то же время без особо сложного раздумья можно понять, что сионист М.С. Шварцман — пусть сам он даже и не осознавал это с полной ясностью — все же считал Троцкого и других евреями (хотя и «отщепенцами»): ведь, отрицая ответственность за них еврейского народа, он вместе с тем возлагал на них ответственность именно перед этим народом!

И сам Троцкий (как и другие деятели его типа) испытывал вполне очевидное чувство ответственности перед своими одноплеменниками, хотя он и утверждал (эти его слова уже цитировались), что «национальный момент» не играл в его жизни «почти никакой роли» и интернационализм «всосался» в самую его «плоть и кровь». Что дело обстояло иначе, ясно хотя бы из недавней статьи страстного современного апологета Троцкого В.З. Роговина, который приводит целый ряд высказываний своего кумира, недвусмысленно свидетельствующих о весьма неравнодушном отношении к судьбе одноплеменников. Так, Троцкий возмущался даже тогда, когда «при судебных процессах взяточников и других негодяев» выдвигались «еврейские имена на первый план»[7]. Нет никакого сомнения, что Троцкому даже не могло бы прийти в голову гневаться в тех случаях, когда «на первом плане» оказывались «негодяи» с какими-либо иными национальными именами...

Описанное В.З. Роговиным возмущение Троцкого имело место в 1925 году. Ранее, во время Гражданской войны, когда Троцкий был всевластным «предреввоенсовета», он не просто «возмущался». Известно, что в казачестве к началу XX века так или иначе сохранилась давняя «традиция» (разумеется, глубоко прискорбная, варварская) грабежа попавшихся на его боевом пути селений. В 1920 году во время боев с «белополяками» находившиеся в составе красных конных армий казаки подчас грабили еврейские местечки. И участник похода на Польшу Исаак Бабель свидетельствовал, что в результате «300 казаков, наиболее активных участников погромов, были по распоряжению Троцкого расстреляны»[8]. В своей «Конармии» сам Бабель не раз упоминал, что казацкая «вольница» в тех или иных случаях вела себя варварски в отношении *любого* населения; но нет никаких сведений, что Троцкий принимал столь беспощадные, «чрезвычайные» меры ради возмездия за обиду каких-нибудь других людей, кроме евреев...

Здесь уместно затронуть проблему, которая более развернуто будет освещена в дальнейшем. Тот факт, что Троцкий (и, конечно, другие большевики еврейского происхождения) по-разному относился к своим одноплеменникам и, с другой стороны, к остальному населению России, вызывает сегодня у многих русских людей крайнее негодование. Но такая — чисто эмоциональная — реакция едва ли сколько-нибудь основательна и справедлива. Ведь те, кто безоговорочно осуждает еврейскую солидарность в условиях жестокой революционной эпохи, вместе с тем готовы восхищаться проявлениями *русской* солидарности, которые — пусть и в гораздо более редких случаях (ибо русские никогда не обладали той сплоченностью, которая присуща рассеявшимся по миру евреям) — все же имели место в то время (они описаны, например, в целом ряде эмигрантских мемуаров). И негоже, согласитесь, совершенно различно оценивать еврейскую и русскую солидарность...

Однако главное даже и не в этом. Не требуется долгих

раздумий, дабы прийти к выводу, что гораздо более обоснованное и гораздо более справедливое негодование должны вызывать беспощадно расправлявшиеся с русским населением большевистские деятели *русского* (а не еврейского) происхождения!

Выше говорилось о беспримерной жестокости бывших русских офицеров Тухачевского, Какурина и Антонова-Овсеенко на Тамбовщине. Стоит вспомнить и о возглавлявшем в 1918—1920 годах Донское бюро РКП(б) С.И. Сырцове, который непосредственно руководил политикой, преследовавшей цель полного уничтожения казачества (позднее, во время коллективизации, он за свои «заслуги» стал — хоть и ненадолго — кандидатом в члены Политбюро ЦК и председателем Совнаркома РСФСР). И, как ни прискорбно, подобных фактов можно привести великое множество...

Могут возразить, что над Сырцовым стоял секретарь ЦК Свердлов, а Тухачевский и другие подчинялись председателю Реввоенсовета Троцкому. Однако это вовсе не снимает с них *ответственности* за содеянное — особенно если учитывать, что ведь были и тогда занимавшие высокое положение в Красной армии люди, которые самоотверженно, невзирая на смертельную опасность, выступали против массового террора по отношению к русскому народу — хотя бы широко известный ныне военачальник Ф.К. Миронов.

К этому и другим русским людям такой же судьбы мы еще вернемся. Пока же я призываю читателей спокойно и трезво поразмыслить над поставленной проблемой. Конечно, гневное возмущение тем, что какие-либо «чужаки» беспощадно ведут себя на русской земле, естественно возникает в душах людей. И все же преодолеем в себе эту (повторяю, вполне естественную) эмоциональную реакцию, поскольку эмоции вообще едва ли способствуют истинному пониманию реальности истории. И если чрезвычайно трудно или даже невозможно отрешиться от эмоций, говоря о современных, *сегодняшних* явлениях, то при осмыслении событий восьмидесятилетней давности этому все же можно научиться.

Поскольку большевики-евреи были «чужаками» в русской жизни, их ответственность и их вина должны быть признаны, безусловно, *менее тяжкими*, нежели ответственность и вина тех русских людей, которые действовали рука об руку с ними. А в связи с этим следует со всей определенностью сказать, что среди евреев-большевиков было очень мало таких, которые к 1917 году более или менее глубоко приобщились к русской культуре и быту. Те евреи, которые становились большевиками, начинали свою жизнь, как правило, в собственно еврейской среде, где все русское воспринималось как чуждое или даже прямо враждебное, а также как нечто заведомо «второсортное» либо вообще «примитивное» (примеры еще будут приведены).

Между тем евреи, так или иначе приобщенные с ранних лет к русской культуре, как правило, не превращались в большевиков, — в чем нетрудно убедиться, обратившись к судьбам выступивших в конце XIX — начале XX века писателей, философов, ученых еврейского происхождения. После 1917 года они либо эмигрировали (как известный писатель Марк Алданов-Ландау), либо были высланы (философ С.Л. Франк), либо оказались в нарастающем конфликте с властью (поэт О.Э. Мандельштам), либо, наконец, держались в стороне от власти (критик и искусствовед А.Л. Волынский-Флексер); перечень этот можно, конечно, значительно расширить.

Для понимания судеб российских евреев в революционную эпоху в высшей степени целесообразно ознакомиться с одним поистине уникальным человеческим документом — изобилующей выразительнейшими деталями «Автобиографией» видного филолога М. С. Альтмана (1896—1986), написанной в конце 1970-х годов. Уникальность этого документа в том, что его автор с предельной искренностью рассказал о своих поступках, мыслях и чувствах; другого подобного образца искренности я просто не знаю.

Прежде чем цитировать рассказ М.С. Альтмана, необходимо пояснить, что, начав свой жизненный путь как чуждый и даже враждебный всему русскому человек, закономерно присоединившийся к большевикам, Моисей Семенович с конца 1921 года пережил глубокий переворот,

причем решающую роль сыграло его тесное общение с двумя очень разными, но — каждый по-своему — замечательными представителями русской культуры — Вячеславом Ивановым и Велимиром Хлебниковым. М.С. Альтману было к тому времени двадцать четыре года, он прожил затем редкостно долгую жизнь, в которой были и успехи, и тяжкие невзгоды (так, в 1942—1944 годах он по ложному обвинению находился в ГУЛАГе). Незаурядный филолог, он опубликовал в 1920—1970-х годах около сотни работ, главное место среди которых занимают исследования *жизни слова* в творчестве Гомера и — таков был его диапазон — Достоевского (эти работы М.С. Альтмана ценил М.М. Бахтин)[9]. Своего рода «итог» его пути получил выразительное воплощение в следующем эпизоде.

В 1970 году М.С. Альтман побывал в США, в частности для того чтобы повидать своего двоюродного брата Давида Аронсона, с которым он дружил в отроческие годы; затем брат — еще до 1917 года — эмигрировал в США и сделал там блистательную духовную карьеру: к 1970 году он возглавлял еврейскую религиозную общину Лос-Анджелеса, насчитывающую 500 тысяч (!) человек, и одна из улиц этого знаменитого города была названа его именем уже тогда, при его жизни (это характерно для еврейских обычаев, внедренных после 1917 года и в России). Однако дружба с двоюродным братом не смогла возобновиться, так как тот потребовал от Моисея Семеновича пользоваться не русским языком (хотя свободно владел им с детства), а либо еврейским, либо английским. Как отметил М.С. Альтман, на том его отношения с братом и «кончились».

Но обратимся к его рассказу о начале жизненного пути. Он родился в городке Улла Витебской губернии и получил, так сказать, полноценное еврейское воспитание. Об «основах» этого воспитания он говорит, например, следующее:

«Вообще русские у евреев не считались «людьми». Русских мальчиков и девушек прозывали «шейгец» и «шикса», т. е. «нечистью»... Для русских была даже особая номенклатура: он не ел, а жрал, не пил, а впивался, не спал, а дрыхал, даже не умирал, а издыхал. У русского, конечно,

не было и души, душа была только у еврея... Уже будучи (в первом классе) в гимназии (ранее он учился в иудейском хедере. — *В. К.*), я сказал (своему отцу. — *В. К.*), что в прочитанном мною рассказе капитан умер, а ведь капитан не был евреем, так надо было написать «издох», а не «умер». Но отец опасливо меня предостерег, чтобы я с такими поправками в гимназии не выступал... Христа бабушка называла не иначе как «мамзер» — незаконнорожденный, — рассказывал еще М.С. Альтман. — А когда однажды на улицах Уллы был крестный ход и носили кресты и иконы, бабушка спешно накрыла меня платком: «чтоб твои светлые глаза не видели эту нечисть». А все книжки с рассказами о Богородице, матери Христа, она называла презрительно «матери-патери»... »[10] (стоит отметить, что «патери» — это, по всей вероятности, неточно переданное талмудическое поношение Христа, чьим отцом якобы был некий Пандира-Пантера: Христа, как известно, именовали Сын Девы, а «дева» по-гречески — «парфенос-партенос», из чего возник этот самый талмудический «сын Пантеры»).

Таковы были основы духа юного Моисея, и вполне закономерно, что он с восторгом встретил Октябрь. К тому времени он учился на медицинском факультете Киевского университета, куда поступил в 1915 году. Власть большевиков установилась на Украине после длительной войны с петлюровцами.

«Я предвидел победу большевиков, — вспоминал М.С. Альтман, — и еще до окончания их войны выпустил газетный листок, где это населению предвещал. «Мы пришли!» — писал я в этом листке. И вот когда большевики одолели, они, прочтя листок, изумились и... назначили меня редактором уже официальной газеты... Я фанатично уверовал в Ленина и «мировую революцию», ходил по улицам с таким революционным выражением на лице, что мирные прохожие не решались ходить со мной рядом... Писал я в «своей» газете статьи предлинные и пререволюционные... В городе на меня смотрели с некоторым страхом... А деньги у меня завелись: я за каждую свою статью получал построчно, а строчек в них было много (больше,

чем обычно в газетных статьях). И я, после выхода в печать, ревностно число строк пересчитывал».

Но молодой революционный деятель не только писал. «Однажды мне сообщили, — вспоминал он, — что в селе... вымогают у евреев деньги якобы для государства. Я решился в это дело вмешаться... Мне из Чека выдали отряд, и я с ним отправился в село...» (с. 219—221).

Далее следует долгий подробный рассказ о столкновении в селе со своего рода махновской вольницей. В частности, сельский вожак по имени Люта так отнесся к явившемуся в село Альтману:

« — Разные, — начал он, — существуют большевики: есть такие, которые против капитала, и есть такие, что за капитал. Вот мы с вами против капитала, а приехавший за капитал. Кто из вас желает что сказать? — спросил он и при этом взял пистолет в руки» и т.д. (с. 221). В результате Моисея Семеновича чуть не убили, но в конце концов командир отряда ЧК спас его. Разумеется, на вольномыслие крестьянских вожаков можно было ответить из пулеметов (что сплошь и рядом делалось), но М.С. Альтман пришел к следующему выводу: «трудно еврею переносить русскую революцию», и прекратил попытки «руководить» ею (с. 222). Правда, от революции вообще он пока не отказался и в июне 1920 года отправился осуществлять ее в Иране, где якобы началось тогда «коммунистическое» восстание с центром в прикаспийском городе Энзели (ныне — Пехлеви), на «помощь» которому был отправлен отряд Красной армии.

«Я, — вспоминал М.С. Альтман, — в Энзели стал издавать газету... Выходила «моя» газета с вещательными, мной же сочиняемыми аншлагами вроде: «Шах и мат дадим мы шаху. С каждым днем он ближе к краху...» Персияне... отличались крайней (но только на словах) вежливостью. Так, когда мы впервые прибыли в Энзели, все стоявшие на улицах персы постукивали себя руками по груди и бормотали: «Болшевик, болшевик», т.е. указывали, что они все приверженцы большевиков и рады их приходу... когда мы месяца через три покинули Энзели, эти же самые «приверженцы» стреляли в нас из всех окон» (с. 224—225).

После этого М.С. Альтман, в отличие от многих своих соплеменников, участвовавших в революционной деятельности, полностью прекратил ее и, в сущности, начал жизнь заново, поступив (будучи уже, как говорится, человеком не первой молодости) на первый курс историко-филологического факультета Бакинского университета, где преподавал тогда Вячеслав Иванов.

В предисловии к альтмановской «Автобиографии» ее публикаторы совершенно справедливо подчеркнули, что она «восполняет *важный пробел* в отечественной мемуаристике — она позволяет по-новому взглянуть на духовную жизнь и религиозный уклад еврейских местечек, выходцы из которых, получив в *большинстве случаев* столь же ортодоксальное воспитание, как и М.С. Альтман, сыграли впоследствии значительную (вернее, громадную. — *В. К.*) роль в истории Советского государства и его культуры» (с. 206).

Уникальная честность рассказа недвусмысленно подтверждает, что М.С. Альтман действительно смог причаститься русской культуре (об этом же ярко свидетельствует его произошедший уже в преклонные годы разрыв с презиравшим русский язык высокопоставленным братом).

Но путь М.С. Альтмана, увы, не был «типичным». Те, кто получал подобное же воспитание, а затем связывал свою судьбу с большевизмом, чаще всего оставались чуждыми русскому бытию и культуре. Стоит привести весьма выразительный пример. В том же 1896 году, когда появился на свет М.С. Альтман, и в той же Белоруссии родился ставший впоследствии одним из виднейших большевиков Я.А. Эпштейн, известный под псевдонимом Яковлев (кстати, родились они почти одновременно: первый 4 июня, второй — 6-го). Жизнь Эпштейна началась в Гродно, который был такой же, — хотя и намного более крупной, — еврейской обителью, как и альтмановская Улла (в 1897 году в Гродно из 49,9 тыс. жителей 29,7 тыс. были евреи, а в Улле из 2,5 тыс. — 1,6 тыс. — то есть и там, и здесь более 60 процентов). Эпштейн окончил реальное училище и поступил в Петроградский политехнический институт, который затем оставил ради революционной деятельности. Как и М.С. Альтман, он после 1917 года боролся за уста-

новление власти большевиков на Украине, сталкивался с сопротивлением, вынужден был в 1919 году даже бежать в Центральную Россию, но это его ни в коей мере не поколебало. Как сказано в его биографии, опубликованной в 1927 году, «начиная с 1921 г. работает преимущественно над деревенскими вопросами»[11]. В частности, по этой причине он в 1929 году, с началом коллективизации, стал наркомом земледелия СССР и председателем Всесоюзного совета сельскохозяйственных коллективов СССР («Колхозцентр») и — с 1930-го — членом ЦК ВКП(б), а с 1934 года руководил сельскохозяйственным отделом ЦК.

И вот, казалось бы, мелкий, но по своей сути очень многозначительный факт. В своих известных мемуарах Н.С. Хрущев рассказал, как в 1937 году на Московской партийной конференции «выступил Яков Аркадьевич Яковлев, который заведовал сельхозотделом ЦК партии, и раскритиковал меня. Впрочем, его критика была довольно оригинальной: он ругал меня за то, что меня в Московской парторганизации все называют Никитой Сергеевичем. Я тоже выступил и в ответ разъяснил, что это мои имя и отчество, так что называют правильно. Тем самым как бы намекнул, что сам-то он ведь не Яковлев, а Эпштейн». Явно ради того, чтобы избежать обвинений в антисемитизме, Хрущев тут же добавил: «А после заседания ко мне подошел Мехлис... и с возмущением заговорил о выступлении Яковлева. Мехлис был еврей, знал старинные традиции своего народа (очевидно, имеется в виду еврейская «традиция», не предусматривающая употребления имени собеседника совместно с отчеством, как это принято в русском быту. — *В. К.*) и сообщил мне: «Яковлев — еврей, потому и не понимает, что у русских людей принято... называть друг друга по имени и отчеству»[12].

Может удивить, что Хрущев через три десятка лет ясно помнил и счел необходимым подробно описать этот вроде бы не имеющий существенного значения случай. Однако случай-то в самом деле впечатляющий! В любой русской деревне любого уважаемого крестьянина называли по имени-отчеству, а между тем Яковлев, уже полтора десятка лет «руководивший» русской деревней, не знал этого и

обвинил Хрущева в насаждении некоего низкопоклонства или даже «буржуазно-феодальных» нравов! Поистине поразительная отчужденность от жизни, которой Яков Аркадьевич заправлял!.. Словом, «курьез» этот обнаруживает очень существенную «особенность» тогдашних властителей.

* * *

Итак, для евреев-большевиков была характерна изначальная отчужденность от русской жизни, и это, вполне понятно, не могло не сказаться на их отношении — в том числе собственно «практическом» отношении — к русскому бытию и сознанию. И естественно вспоминаются лермонтовские строки:

Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы:
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

Вместе с тем нельзя не напомнить соображения, высказанные в заключительной части предшествующей главы этого сочинения. Как убеждает изучение истории, в периоды «смуты» закономерно или даже неизбежно появление на политической авансцене любой страны «чужаков»; острейшее, неразрешимое столкновение различных сил *внутри нации* как бы настоятельно требует «чужого» вмешательства. И проклятья по адресу ничего не щадивших чужаков вполне естественны, но такие проклятья ни в коей мере не приближают нас к пониманию хода истории. Впрочем, эта нелегкая тема будет подробно освещена в дальнейшем; сейчас следует остановиться на другом вопросе.

При уяснении роли евреев в большевизме часто утверждают, что их было все же весьма немного и, следовательно, они, мол, не могли в большой мере определять жизнь страны. Скажем, американский «русовед» Уолтер Лакер, даже признав, что «евреи составляли высокий процент большевистского руководства», тут же пытается посеять

сомнение относительно этого факта: «Однако из пятнадцати членов первого Советского правительства тринадцать были русские, один грузин и один еврей»[13]. Это действительно так (хотя для точности отмечу, что нарком продовольствия в первом правительстве И.А. Теодорович — не русский, а поляк, к тому же выросший, согласно его собственному рассказу, в националистически и антирусски настроенной семье). Однако *правительство* имело тогда в иерархии власти в прямом смысле слова *третьестепенное* значение (так, даже в справочных сведениях о власти *сначала* указывался ЦК с его Политбюро, затем ВЦИК Советов и лишь на третьем месте — Совнарком).

Немаловажен и тот факт, что в предшествовавшем Советскому Временном правительстве из 29 человек, побывавших на постах министров, 28 были русские, 1 — грузин (меньшевик И.Г Церетели) и *ни одного* еврея, — хотя во главе тех партий, чьи представители становились тогда министрами, евреев было немало. Но, например, один из главных эсеровских лидеров, А. Р. Гоц, которому предлагали войти во Временное правительство, «и слышать не хотел вообще ни о каком министерском посте; свой отказ он мотивировал еврейским происхождением»[14].

Точно так же — возможно, не без «подражания» А.Р. Гоцу — способный к предвидению Троцкий настаивал, что «в первом революционном правительстве не должно быть ни одного еврея, поскольку в противном случае реакционная пропаганда станет изображать Октябрьскую революцию «еврейской революцией»...»[15] Комментируя эту «позицию» Троцкого, его нынешний горячий поклонник В.З. Роговин стремится, в частности, убедить читателей в том, что Лев Давидович был-де лишен властолюбия, имел твердое намерение «после переворота остаться вне правительства и... согласился занять правительственные посты лишь по настойчивому требованию ЦК» (там же, с. 92, 93).

Но эти рассуждения рассчитаны на совершенно простодушных людей, ибо ведь Троцкий *никогда не отказывался* от членства в ЦК и Политбюро, а член Политбюро стоял в иерархии власти несоизмеримо выше, чем любой

нарком! И Троцкий, кстати сказать, не скрывал своего крайнего негодования, когда его в 1926 году «освободили от обязанностей члена Политбюро»...

Забегая вперед, стоит отметить, что отсутствие евреев *после 1926 года* в Политбюро (кроме одного лишь введенного в его состав в 1930 году Л.М. Кагановича) объяснялось вовсе не «антисемитизмом» (хотя многие толкуют это именно так), а, как раз напротив, стремлением не пробуждать в стране противоеврейские настроения, поскольку в середине 1920-х годов всем стало ясно, что верховная власть сосредоточена отнюдь не в правительстве, не в Совнаркоме, а в Политбюро. В высшей степени характерно, что если в 1920-х годах в составе *правительства* — особенно во главе ведущих наркоматов — было не так уж много евреев, то в 1930-х дело обстояло обратным образом: наркомом внутренних дел стал Ягода, иностранных — Литвинов-Валлах, внешней торговли — Розенгольц, путей сообщения — Рухимович, земледелия — Яковлев-Эпштейн, председателем правления Госбанка — Калманович и т.д. К этому времени, повторяю, все понимали, что высшей властью в стране является не Совнарком, а Политбюро, которому всецело подчинены эти наркомы-евреи. Иначе обстояло дело в первые послереволюционные годы. Так, в сентябре 1922 года встал вопрос о введении поста «первого заместителя председателя Совнаркома», который в периоды обострения болезни Ленина должен был автоматически заменять его. На этот пост прочили Троцкого, но он, по его же признанию, «решительно отказался... чтобы не подать нашим врагам повода утверждать, что страной правит еврей»[16]. Между тем впоследствии, в 1930—1940-х годах, заместителями председателя Совнаркома назначались — кроме пресловутого Кагановича — Землячка-Залкинд и Мехлис, но на этом основании не могло возникнуть представление, что евреи правят страной; ведь этих деятелей (в отличие от членов Политбюро, даже портреты которых приобрели всеобщее «ритуальное» значение) и знали-то не столь уж широкие слои населения СССР.

Впрочем, есть еще и иная сторона проблемы. Троцкий,

как мы видим, отказался от поста первого заместителя Предсовнаркома, дабы, мол, нельзя было утверждать, что «страной правит еврей». Однако лучший современный исследователь жизненного пути Троцкого, Н.А. Васецкий, недавно показал, что Лев Давидович отнюдь не возражал, когда ему однажды — пусть ненадолго — представилась возможность действительно «править страной» (а не быть «заместителем»).

30 августа 1918 года Ленин, как всем известно, был тяжело ранен, но «в литературе, — отметил Н.А. Васецкий, — как-то упускается из виду один факт... Свердлов телеграммой срочно вызвал в Москву с Восточного фронта Троцкого. 2 сентября ВЦИК объявил страну на положении военного лагеря. Чуть позже он же по предложению Свердлова утвердил наркомвоенмора Троцкого председателем Реввоенсовета (РВС) Республики — пост гораздо более емкий, чем у председателя Совнаркома, которым был Ленин. Эти расхождения Ленин устранит потом в ноябре 1918 года созданием Совета Труда и Обороны (СТО) республики, в который введет РВС, подчинив его СТО»[17].

В этот текст Н.А. Васецкого вкралась, правда, неточность. 30 ноября 1918 года Ленин добился создания нового «чрезвычайного высшего органа власти — «Совета рабочей и крестьянской обороны», а в «Совет труда и обороны» этот орган был преобразован только в апреле 1920 года, когда он, кстати сказать, уже не играл столь важной роли[18]. Но неожиданное создание оправившимся от ранения Лениным новой «структуры», которая, в сущности, лишала возглавленный 6 сентября Троцким РВС верховной власти, весьма впечатляет; Ленин тогда ловко «переиграл» Троцкого. Вместе с тем становится ясно, что Троцкий отказывался от тех или иных постов не только (или даже не столько) из-за своего «еврейства», но и из-за нежелания быть не «первой скрипкой»... Н.А. Васецкий напоминает очень выразительное признание Троцкого: «Ленину нужны были послушные практические помощники. Для такой роли я не годился»[19].

Как уже говорилось, многие нынешние публицисты пытаются всячески преуменьшить роль евреев в тогдашней

власти. Для этого, в частности, используется статистика. Известно, что в 1922 году, к XI съезду, в большевистской партии, насчитывавшей 375 901 человек, евреев было всего лишь 19 564 человека — то есть немногим более 5 процентов...[20] Какое уж тут «еврейское засилье»! Однако совсем другое обнаруживается при обращении к более высоким уровням «пирамиды» власти: так, среди *делегатов* съезда партии евреев было уже не 5%, то есть один из 20, а один из шести, в составе избранного на съезде ЦК — более четверти членов, а из пяти членов Политбюро ЦК евреями были трое — то есть три пятых!

Впрочем, уже отмечалось, что даже эти цифры не вполне раскрывают положение вещей, ибо руководители еврейского происхождения чаще всего играли более важную роль, чем занимавшие *те же* самые «этажи» власти русские, которых нередко выдвигали на первый план, в сущности, ради «прикрытия» (как мы видели, Троцкий не раз призывал не выдвигать на первый план евреев). В связи с этим уместно сослаться на свидетельства двух сторонних наблюдателей.

Доктор богословия А. Саймонс из США жил во время революции в Петрограде, являясь настоятелем местной епископальной церкви. Он заявил в 1919 году: «...многие из нас были удивлены тем, что еврейские элементы с самого начала играли такую крупную роль в русских делах... Я не хочу ничего говорить против евреев как таковых. Я не сочувствую антисемитскому движению... Я против него. Но я твердо убежден, что эта революция... имеет ярко выраженный еврейский характер. До того времени... существовало ограничение права жительства евреев в Петрограде; но после революции (имеется в виду Февраль. — *В. К.*) они слетелись целыми стаями... в декабре 1918 г. в так называемой Северной Коммуне (так они называют ту секцию советского режима, председателем которой состоит мистер Апфельбаум) (т. е. Зиновьев. — *В. К.*) из 388 членов только 16 являются русскими»[21].

А. Саймонс явно «недоволен» этим «еврейским засильем» и, хотя он уверяет, что он — не «антисемит», его заяв-

ление все же могут счесть тенденциозным. Но вот суждения другого иностранца — знаменитого писателя Герберта Уэллса, посетившего Россию в 1920 году. Он писал о главной «силе» революции, о множестве «энергичных, полных энтузиазма, еще молодых (так, Троцкому к 1917 году было 37 лет. — *В. К.*) людей, утративших... русскую непрактичность и научившихся доводить дело до конца (очень многозначительная характеристика! — *В. К.*)... Эти молодые люди и составляют движущую силу большевизма. Многие из них — евреи... но очень мало кто из них настроен националистически. Они борются не за интересы еврейства, а за новый мир... Некоторые (вот именно: всего лишь некоторые! — *В. К.*) из самых видных большевиков, с которыми я встречался, вовсе не евреи... У Ленина... татарский тип лица, и он, безусловно, не еврей»[22] (о «происхождении» Ленина еще пойдет речь).

В отличие от Саймонса, Уэллс ни в коей мере не может быть заподозрен в «антисемитизме», ибо ведь он всецело *одобряет* деятельность евреев-большевиков. И тот факт, что столь разные по своим взглядам иностранные наблюдатели согласно говорили о господствующей роли евреев в послеоктябрьской власти, придает их одинаковому «диагнозу» особенную весомость.

Известный сионистский деятель М.С. Агурский, не боявшийся острых проблем, писал в своем содержательном сочинении «Идеология национал-большевизма», что в 1920-х годах установился взгляд «на советскую власть как на власть с еврейским доминированием», и «советское руководство... должно было постоянно изыскивать средства, дабы... убеждать внешний мир, что дело обстоит как раз наоборот. Это было нелегко, особенно в 1923 г., когда в первой четверке советского руководства не оказалось ни одного русского. Оно состояло из трех евреев и одного грузина...»[23]

М.С. Агурский, говоря о «первой четверке», имел в виду, что пятый член тогдашнего Политбюро, Ленин, к 1923 году в силу болезни уже не мог исполнять свои обязанности. Но на деле Ленин надолго вышел из строя еще в конце 1921 года и, покинув Москву, впервые появился публично лишь 6 марта 1922 года. В своем выступлении в этот

день он сказал о болезни, «которая несколько месяцев не дает мне возможности непосредственно участвовать в политических делах и вовсе не позволяет мне исполнять советскую должность, на которую я поставлен»[24] (Ленин даже зачеркивал тогда свой титул «Председатель Совнаркома», когда ему приходилось набрасывать записки на имевшихся под рукой официальных бланках).

Словом, «первая четверка», о которой говорится в книге М.С. Агурского, правила страной в 1922-м, а не в 1923 году; последняя дата неверна потому, что Политбюро, «изыскивая средства» (как сформулировал Агурский) для опровержения тех, кто указывал на «еврейское доминирование», как-то неожиданно 3 апреля 1922 года приняло в свой состав двух русских — А.И. Рыкова и М.П. Томского (Ефремова)[25], которые ранее даже не были кандидатами в члены Политбюро. Возможно, это было сделано по инициативе Троцкого, а не Ленина, ибо имеется свидетельство, что «после первых же заседаний Политбюро с участием двух новых его членов Ленин заметил: «Ну вот, и представительство от комобывателей (т.е. коммунистических обывателей. — *В. К.*) есть теперь в нашем Политбюро»[26]. Показательно, что в своем «завещании» — «Письме к съезду» от 24 декабря 1922 года — Ленин охарактеризовал всех четырех *нерусских* членов Политбюро (в таком порядке: Сталин, Троцкий, Зиновьев, Каменев), но вообще не *упомянул* ни Рыкова, ни Томского. Тем не менее именно Рыков после смерти Ленина стал главой правительства — без сомнения, именно как руоский и к тому же сын крестьянина (поскольку тогда еще многим казалось, что страной правит Совнарком). Но роль Рыкова и других занимавших высокие посты русских в определении основ политического курса страны едва ли имела решающий характер.

Впрочем, несмотря на вполне определенные сведения о «пропорциях» на высших этажах власти, утверждения о «еврейском засилье» в послереволюционной России и ранее, и ныне многие стремятся квалифицировать как «антисемитские» выдумки. В связи с этим целесообразно еще раз сослаться на суждения людей, которых никак нельзя заподозрить в «антисемитизме».

Знаменитейший в начале века адвокат и литератор Н.П. Карабчевский, который был настоящим кумиром российского еврейства (он, в частности, блистательно вел защиту в ходе известного «дела Бейлиса»), в 1921 году издал в Берлине свои мемуары «Что глаза мои видели», где определил тогдашнее положение в России как «еврейскую революцию»[27].

Чрезвычайно характерны послереволюционные дневники не ушедшего в эмиграцию В.Г. Короленко — писателя, который даже в большей степени, чем Карабчевский, был до 1917 года объектом еврейского поклонения. Тут особенно уместно непосредственно сопоставить *дореволюционную* и позднейшую «позиции» прославленного писателя. В свое время, услышав чью-то фразу: «Я человек русский и не могу выносить этой еврейской наглости», — Короленко категорически возразил: «...никакой «еврейской наглости» нет и не может быть, как нет и не может быть «еврейской эксплуатации», потому что невоспитанных, да и подлых, людей хватает в любом народе»[28].

Однако тот же Короленко записал 8 марта 1919 года в своем дневнике, как бы опровергая самого себя: «...среди большевиков — много евреев и евреек. И черта их — крайняя бестактность и самоуверенность, которая кидается в глаза и раздражает. *Наглости* много и у не-евреев. Но она особенно кидается в глаза в этом национальном облике»[29]. Кто-нибудь, вполне возможно, придет к выводу, что в Короленко, так сказать, пробудился ранее дремавший в нём «антисемитизм» и он начал обличать специфически «еврейскую» наглость, то есть предъявлять обвинение евреям вообще, евреям как таковым. Но это вовсе не так. Владимир Галактионович заметил только, что в еврейском «облике» наглость «особенно кидается в глаза».

И утверждение это следует, очевидно, понять в том смысле, что наглость в русском «облике» привычна и потому не очень заметна, а та же наглость в «чужом», «ином» облике воспринимается гораздо острее.

В дневниковой записи Короленко действительно существенно другое: констатация очень внушительного участия евреев в большевистской власти, которая — о чем много-

кратно говорил писатель — была гораздо более насильственной и жестокой, чем дореволюционная власть (постоянно и беспощадно осуждавшаяся ранее и самим Короленко, и многочисленными еврейскими авторами). Писателя, в частности, возмущали факты, свидетельствующие о заведомой «привилегированности» евреев при новой власти. Он описывает (25 мая 1919 года) сцену в «жилищном отделе» Совета: «...какой-то «товарищ» требует реквизировать комнату для одной коммунистки. Тут же хозяин квартиры и претендентка-коммунистка. Это старая еврейка совершенно ветхозаветного вида, даже в парике». И она «всем своим видом старается подтвердить свою принадлежность к партии... «Коммунистка» водворяется революционным путем в чужую квартиру и семью... Для русского теперь нет неприкосновенности своего очага... Притом... то и дело меняют квартиры. Загадят одну — берут другую» (с. 108).

Еще раз подчеркну, что перед нами свидетельства писателя, которого никому не удастся обвинить в пресловутом «антисемитизме». Дело идет о всецело *объективной* характеристике тогдашней ситуации. Вот Короленко заходит в помещение ЧК, чтобы попытаться помочь арестованным соотечественникам: «Это популярное теперь среди родственников арестованных имя: «товарищ Роза» — следователь. Это молодая девушка, еврейка... Недурна собой, только не совсем приятное выражение губ. На поясе у нее револьвер в кобуре*. Спускаясь по лестнице, встречаю целый хвост посетительниц. Они подымаются к «товарищу Розе» за пропусками на свидание. Среди них узнаю и крестьянок, идущих к мужьям-хлеборобам, и «дам». Товарищ Роза... на упрек Прасковьи Семеновны (сестра супруги Короленко. — *В. К.*), что она запугивает допрашиваемых расстрелом, отвечает в простоте сердечной: «А если они не признаются?..» (с. 108, 109).

Повторю еще раз: В.Г Короленко ни в коей мере не

---

* Ну прямо как в популярной еще не так давно песенке Б. Окуджавы...

был «антисемитом»; характерна его озабоченность следующим (запись 13 мая 1919 года): «Мелькание еврейских физиономий среди большевистских деятелей (особенно в чрезвычайке) разжигает традиционные и очень живучие юдофобские инстинкты» (с. 106). Поистине замечательно, что почти одновременно об этом же говорит и Троцкий на заседании Политбюро (18 апреля 1919 года): «...*огромный* процент работников прифронтовых ЧК... составляют латыши и евреи... и среди красноармейцев (даже! — *В. К.*) ведется и находит некоторый отклик сильная шовинистическая агитация»[30].

Приведу еще фрагмент из недавно впервые изданных воспоминаний российского дипломата Г. Н. Михайловского — человека, которого опять-таки абсолютно нельзя заподозрить в «антисемитизме», ибо он сформировался в той среде, где высшим моральным авторитетом были люди типа Короленко (Георгий Николаевич — сын Николая Георгиевича Михайловского, писателя, вошедшего в русскую литературу под именем «Гарин» — автора четырехтомного автобиографического повествования, открывающегося всем известным «Детством Тёмы», а также замечательной — к сожалению, гораздо менее известной — очерковой книги «Несколько лет в деревне»). Во время Гражданской войны Г.Н. Михайловский много скитался по России и не раз имел дело с ЧК. Он рассказывает, в частности, как в 1919 году еврейка-чекистка «с откровенностью объяснила, почему все чрезвычайки находятся в руках евреев: «Эти русские — мягкотелые славяне и постоянно говорят о прекращении террора и чрезвычаек, — говорила она мне. — Мы, евреи, не даем пощады и знаем: как только прекратится террор, от коммунизма и коммунистов никакого следа не останется...» Так с государственностью Дантона рассуждала провинциальная еврейка-чекистка, отдавая себе полный отчет о том, на чем именно держится успех большевиков. При всем моральном отвращении, — заключил Г.Н. Михайловский, — я не мог с ней не согласиться, что не только русские девушки, но и русские муж-

чины-военные не смогли бы сравниться с нею в ее кровавом ремесле»[31].

Выше уже упоминался нынешний страстный приверженец Троцкого, В.З. Роговин, который, в частности, стремится представить своего кумира человеком, якобы не желавшим власти, пытавшимся (хотя, мол, и тщетно) отказываться от навязываемых ему ЦК и Политбюро высоких постов. И Роговин даже упрекает послереволюционную власть за недостаточное внимание к призывам Троцкого. Он пишет, например, что «после Октябрьской революции большевики, как мне представляется, недооценили силу и глубину антисемитских настроений... Поэтому они не проявили достаточной осторожности при выдвижении евреев, как и других «инородцев», на руководящие посты, невольно открывая тем самым возможность своим противникам играть на чувствительных национальных струнах масс»[32].

Но это рассуждение в сущности абсурдно, ибо для реализации «программы», предлагаемой Роговиным, необходимо было, например, чтобы сам Троцкий (а также Зиновьев и Каменев) покинул состоявшее в 1919-м — начале 1922 года из пяти верховных властителей Политбюро!.. И, между прочим, Троцкий однажды, по сути дела, «проговорился» об истинном смысле своих неоднократных отказов от руководящих постов (например, главы НКВД): «Если в 1917 г. и позже, — писал он, — я выдвигал иногда свое еврейство как довод против тех или других назначений, то исключительно по соображениям политического расчета»[33].

* * *

Этот «*политический расчет*» Троцкого — очень существенная и весьма интересная тема, на которой необходимо остановиться подробнее. Как ни неожиданно для многих это прозвучит, Троцкий в 1918—1926 годах *более чем кто-либо* из тогдашних «вождей» стремился доказывать, что Октябрьская революция имеет *национальный*, *русский* характер и смысл.

В этом он, в частности, кардинально отличался от русского по происхождению «вождя» — Н. И. Бухарина. 23 апреля 1920 года в «Правде» были опубликованы статьи Бухарина и Троцкого, посвященные 50-летнему юбилею Ленина. В бухаринской статье все сводилось к тому, что «Ленин, как никто более, воплотил... существо революционного марксизма», что он — «живое воплощение теоретического и практического разума рабочего класса», добивающегося «мировой победы»[34] и т.д. Совершенно иную сторону дела выдвинул на первый план в своей опубликованной в том же номере газеты статье Троцкий. Бегло отметив, что «интернационализм Ленина не нуждается в рекомендации», Лев Давидович провозгласил: «Ленин глубоко национален. Он корнями уходит в новую русскую историю, собирает ее в себе, дает ей высшее выражение...» В частности, у Ленина, по словам Троцкого, «не только мужицкая внешность, но и крепкая мужицкая подоплека». И именно *национальным* содержанием личности Ленина объясняет Троцкий его главенствующую роль: «Для того, чтобы руководить таким небывалым в истории народов переворотом, какой переживает Россия, нужна, очевидно, неразрывная, органическая связь с основными силами народной жизни — связь, идущая от глубочайших корней»[35].

Итак, для Бухарина Ленин — «воплощение» марксизма и «разума» всемирного пролетариата, а для Троцкого — «высшее выражение» истории России с ее «глубочайшими корнями». Своего рода противостояние Троцкого и Бухарина в «русском вопросе» резко выявилось позднее в их оценке творчества Есенина. 20 января 1926 года Троцкий опубликовал в «Известиях» весьма сочувственную статью «Памяти Сергея Есенина», между тем Бухарин, выждав год после гибели поэта, обрушился на него на страницах «Правды» (12 января 1927 года, статья «Злые заметки») с беспрецедентными поношениями...

Но обратимся к «национальному» в Ленине. Ныне и более или менее точно установлено, и достаточно широко известно, что Ленин был человеком предельно «сложного» — русско-монгольско (конкретно — калмыцкого)-гер-

манско (немецкого и шведского)-еврейского — происхождения.

Однако для России с ее «евразийским размахом» такое этническое сплетение не являет собой ничего необычного — о чем известно каждому знатоку российской генеалогии (родословия). Скажем, знаменитый современник Ленина, князь Феликс Юсупов (одновременно он имел и титул графа Сумарокова-Эльстон), знаменитый и тем, что он был женат на племяннице Николая II великой княгине Ирине Александровне, и тем, что он играл главную роль в убийстве Григория Распутина, имел точно такое же этническое происхождение, как и Ленин, то есть русско-монгольско-германско-еврейское: Юсупов был потомком мурзы Юсуфа, воеводы Сумарокова, выходца из Скандинавии Эльстона и видного дипломата крещеного еврея Шафирова.

Проблема *наследственности*, прямой зависимости от предков, предстает — по крайней мере пока, в настоящее время — в качестве довольно-таки туманной. По-видимому, нельзя полностью отрицать, что характеристики Ленина (чаще всего враждебные) как деспотического «Чингисхана», «рационалиста» *в немецком* духе или, наконец, человека, обладавшего «еврейской изворотливостью», в той или иной мере связаны с «наследием» предков; однако речь может идти только об определенных *чертах характера*, а не о самом «содержании» личности, которое создается все же воспитанием (в широком смысле слова) и непосредственным окружением.

Сравнительно недавно вполне точно, по документам, установлено, что дед Ленина, Николай Васильевич Ульянов (1764—1836), был крепостным крестьянином деревни Андросово Сергачского уезда Нижегородской губернии. Отпущенный в 1791 году помещиком на оброк, этот, по-видимому, весьма вольнолюбивый человек спустился вниз по Волге до устья, уже не захотел вернуться и в конце концов стал «вольным» астраханским мещанином. Здесь, в Астрахани, он женился на молодой, восемнадцатью годами его моложе, девушке, которая — хотя точных документальных сведений об этом нет — была, по всей вероятности, крещеной калмычкой. Ее опекал «именитый астраханский

иерей» о. Николай Ливанов[36] (вероятно, крестивший ее), и ее сын Илья Ульянов (1831—1886), в пятилетнем возрасте оставшийся без отца, смог получить гимназическое, а затем университетское образование: в результате за два поколения совершился характерный, пожалуй, только для России «скачок»: от беглого крепостного крестьянина до действительного статского советника, то есть штатского генерала! (Я, между прочим, знаю это российское «чудо» по истории своего собственного рода: мой прадед был полунищим ремесленником захолустного городка Белый Смоленской губернии, а его сын, отец моей матери Василий Андреевич Пузицкий (1863—1926), сделал точно такую же «карьеру», как и отец Ленина: окончив Смоленскую гимназию и Московский университет, был инспектором одной из лучших московских классических гимназий (2-й) и также действительным статским советником.)

В последнее время, впрочем, гораздо большее внимание привлекает материнская ветвь родословной Ленина; его теперь даже подчас именуют «Бланком» — по фамилии второго его деда. Но гораздо менее широкие круги знают, что уже отец этого деда, то есть прадед Ленина, Давид Бланк, не только принял Православие, но и отправил в 1846 году послание «на высочайшее имя», призывавшее создать такое положение, при котором все российские евреи откажутся от своей национальной религии. Тогдашний министр внутренних дел Л.А. Перовский счел необходимым сообщить Николаю I о предложениях этого ленинского прадеда, который, по словам министра, «ревнуя к христианству, излагает некоторые меры, могущие, по его мнению, служить побуждением к обращению Евреев»[37] (в Православие).

Сын Давида, Израиль Бланк (1799—1870), еще за полвека до рождения своего внука Ленина, в 1820 году, крестился с именем Александр Дмитриевич, окончил Императорскую медико-хирургическую академию, женился на дочери российского чиновника германского происхождения Ивана Федоровича Гросшопфа, служил врачом в Петербурге, а затем в Перми и Златоусте и обрел чин статского советника (равен чину полковника) и, соответственно, по-

томственное дворянство. В 1847 году, выйдя в отставку, он купил имение в глубине России, в приволжской деревне Кокушкино, где и жила до своего замужества (в 1863 году) его дочь Мария — мать Ленина.

В последнее время доводилось слышать разговоры о том, что она-де воспитывала сына в «иудейском» духе (хотя уже ее дед «отрекся»!). Но для такого предположения нет ровно никаких оснований. Тут уж скорее уместно говорить о «германском духе», ибо Мария Александровна была воспитанницей своей тетки (сестры ее рано умершей матери) — российской полунемки-полушведки Екатерины Ивановны Эссен и, в частности, свободно владела немецким языком. Однако из переписки Ленина известно, что только после тридцати лет, оказавшись в эмиграции, он основательно овладел немецким (с юных лет — как и все тогдашние образованные люди — он говорил по-французски); то есть и «немецкое» воздействие было не столь уж значительным.

Так или иначе Ленин вырос и сформировался в поволжских городах и деревнях, и в самом его доме господствовала русско-православная атмосфера. Старшая его сестра Анна писала, в частности, в 1925 году (когда подобные признания были не очень-то желательны): «Отец наш был искренне и глубоко верующим человеком и воспитывал в этом духе детей»[38]. Сам Ленин счел нужным сообщить незадолго до своей кончины, в 1922 году, что он до 16 лет был православным верующим. До этого возраста он вместе с отцом и матерью состоял в симбирском «Обществе преподобного Сергия Радонежского»[39].

Но пойдем далее. Как мы видели, Троцкий выдвигал на первый план «национальное в Ленине», в том числе русскую «мужицкую подоплеку». Сам Ленин никогда не говорил ничего подобного публично, он вроде бы был принципиальным «интернационалистом». Но вот весьма примечательные ленинские суждения, притом, что особенно существенно, из его чисто личного письма, которое было опубликовано лишь после его смерти. Незадолго до революции Ленин, находившийся в Швейцарии, беседовал с двумя людьми из России и так рассказал о них в своем письме:

...один — еврей из Бессарабии, видавший виды, социал-демократ или почти социал-демократ, брат — бундовец и т.д. Понатерся, но лично неинтересен... Другой — воронежский крестьянин, от земли, из старообрядческой семьи. Черноземная сила. Чрезвычайно интересно было посмотреть и послушать»[40].

Сразу же стоит сообщить, что Троцкий в те же дореволюционные времена писал, например, следующее: «Она, в сущности, нищенски бедна — эта старая Русь, со своим, столь обиженным историей, дворянством, не имевшим гордого сословного прошлого... Стадное, полуживотное существование ее крестьянства до ужаса бедно внутренней красотой, беспощадно деградировано...», жизнь его «протекала *вне* всякой истории: она повторялась без всяких изменений, подобно существованию пчелиного улья или муравьиной кучи»[41]. Выходит, «мужицкая подоплека» Ленина — это нечто подобное «муравьиной куче»?..

Известно относящееся к 1920 году суждение Троцкого о Ленине: «Ленин глубоко национален. Он корнями уходит в новую русскую историю... и именно таким путем достигает высших вершин». Однако позднее уже высланный из СССР Троцкий недвусмысленно объявил, что-де дореволюционная русская культура «представляла собой, в конце концов, лишь поверхностное подражание более высоким западным образцам... Она не внесла ничего существенного в сокровищницу человечества»[42].

Словом, абсолютно ясно, что вещания Троцкого о «глубоко национальном» в Ленине и о «русском» характере революции были целиком продиктованы политическим расчетом. На деле Троцкий усматривал в России только лишенную какого-либо смысла «муравьиную кучу» и — в образованном слое людей — не имеющее никакой ценности («не внесла ничего») подражательство западной культуре. Громогласно говоря о «национальном», о «русском», Троцкий попросту стремился создать себе, употребляя современное словечко, «имидж» патриота. В этом деле он, в сущности, не брезговал ничем. Так, читая изданные на Западе воспоминания одного из участников Белого движения, Троцкий наткнулся на описание курьезной сцены: некий казак, служивший в Красной армии, оказался как-то у

своих избравших иную судьбу собратьев-казаков в расположении Белой армии. И Троцкий не без торжества цитировал рассказ белого мемуариста: «...казак, кем-то умышленно уязвленный тем, что ныне служит и идет на бой под командой жида Троцкого, горячо и убежденно возразил: «Ничего подобного!.. Троцкий не жид. Троцкий боевой!.. Наш... Русский... А вот Ленин — тот коммунист... жид, а Троцкий наш... боевой... Русский!»[43]

Тут же Троцкий сослался и на Бабеля, «талантливейшего, — по его определению, — из наших молодых писателей», в изобилующей гротескными деталями «Конармии» которого одна из героинь говорит «красным» казакам: «Вы за Расею не думаете, вы жидов Ленина и Троцкого спасаете». И казак отвечает: «...за Ленина не скажу, но Троцкий есть отчаянный сын Тамбовского губернатора и вступился, хотя и другого звания, за трудящийся класс».

Все подобные «расчеты» Троцкого объяснялись весьма существенным мотивом: Лев Давидович, в отличие от большинства своих находившихся у власти соплеменников, хорошо понимал, что Россию нельзя — по крайней мере, в ближайшем будущем — полностью «денационализировать». Об этом, между прочим, подробно говорится в уже упомянутом трактате видного сиониста М.С. Агурского «Идеология национал-большевизма». Здесь констатируется, что с первых же послереволюционных лет «на большевистскую партию оказывалось массивное давление господствующей (то есть — русской. — *В. К.*) национальной среды. Оно чувствовалось внутри партии и вне ее, внутри страны и за ее пределами... Оно ощущалось во всех областях жизни: политической, экономической, культурной... Сопротивление этому всеохватывающему давлению грозило потерей власти... нужно было в первую очередь найти компромисс с русской национальной средой... надо было, не идя на существенные уступки, создать *видимость* того, что режим удовлетворяет исконным национальным интересам русских»[44].

В этом рассуждении может вызвать недоумение или даже негодование словосочетание «национальная *среда*», обозначающее почти стомиллионный русский народ. Но

М.С. Агурский в данном случае все же прав: для того же Троцкого русский народ был именно и только «средой» его деятельности; прав Агурский, и утверждая, что в первые послереволюционные годы «теоретиком красного патриотизма и едва ли не его вождем оказывается Лев Троцкий» (с. 144), — что явствует уже хотя бы из его речи «Национальное в Ленине».

Правда, Агурский не говорит с должной ясностью, что Троцкий действовал в этом направлении только ради «политического расчета», но все же достаточно определенно разграничивает две принципиально различные вещи: создание «видимости» национальных устремлений власти (что и делал Троцкий) и, с другой стороны, неизбежный подспудный процесс *действительной* «национализации» власти. Он пишет, например: «Давление национальной среды, сам тот факт, что революция произошла именно в России, не мог не оказать сильнейшего влияния на большевистскую партию, как бы она ни декларировала свой интернационализм... Это было результатом *органического* процесса» (с. 140).

И вот поистине замечательное «саморазоблачение» Троцкого. Если в 1922 году он провозглашал на страницах «Правды» (5 октября): «Большевизм национальнее монархической и иной эмиграции. Буденный национальнее Врангеля...»[45] и т.п., то в 1928 году, уже отстраненный от власти, он гневно обличает: «В целом ряде своих выступлений, сперва против «троцкизма», затем против Зиновьева и Каменева, Сталин бил в одну точку: против старых революционных эмигрантов (разумеется, не «монархических». — *В. К.*). Эмигранты — это люди беспочвенные, у которых на уме только международная революция, а теперь нужны руководители, способные осуществлять социализм в одной стране. Борьба против эмиграции... входит неразрывной частью в сталинскую идеологию *национал-социализма*... После каждой революции реакция начиналась с борьбы против эмигрантов, против чужаков и против инородцев...»[46] (обратим внимание: перед нами осознание своего рода «закона»: в «каждой революции» большую роль играют «чужаки», с которыми впоследствии ведется «борьба»).

Необходимо, правда, сказать, что Троцкий слишком забегал вперед: в 1928 году едва ли были основания усматривать в политике Сталина какие-либо собственно «национальные» устремления (они начали складываться — конечно же, под мощным воздействием идущего в стране «органического процесса» — позднее, в 1930-х годах), хотя программа «социализма в одной стране» все же была определенной подосновой перехода к национальной политике. Но если считать эту программу воплощением «национал-социализма», следует причислить к «национал-социалистам» и Бухарина, который ведь *первым*, ранее Сталина — о чем шла речь выше — ее разработал. Троцкий, кстати, прямо сказал здесь же об этом бухаринском «первенстве» и даже связал имя Бухарина с «национал-социализмом» (см. цит. изд., с. 66). Но, конечно, нелепо говорить о каком-либо «национальном духе» Бухарина. М.С. Агурский заявил в самом начале своей книги: «Я полностью отвергаю миф о Бухарине как об умнейшем «русском» человеке и позволю себе считать его «дураком» советской истории, притом злейшим врагом всего русского» (с. 11).

Бухарину, которому в самом деле была присуща почти патологическая ненависть ко всему русскому, явно недоставало ума, чтобы понять выдвигаемую им же самим идею «социализма в одной стране» как закономерный, естественный результат «давления национальной среды»; между тем Троцкий понимал это со всей определенностью.

Но именно тут и обнаруживается суть «позиции» Троцкого: он больше чем кто-либо из его коллег твердил о «русском национальном» характере революции, но лишь до тех пор, пока дело шло о «видимости», а не о реальной «национализации».

* * *

Впрочем, давно пора обратиться к вопросу, который, вполне вероятно, возник в уме читателей. Вот ты все говоришь нам о Троцком, а как быть с Лениным? Ведь он, проявляя «чрезвычайный интерес» к «черноземной силе» воронежского мужика, совместно с Троцким организовывал

жестокое подавление соседних с воронежскими тамбовских мужиков в 1921 году и никогда не возражал — по крайней мере не возражал открыто — против того, что в возглавляемой им властной иерархии огромную роль играли евреи и другие «чужаки»?

Между прочим, мало кто знает, что *до 1917 года* евреи занимали в верхах большевистской партии сравнительно скромное место — явно менее значительное, чем в партиях меньшевиков и даже эсеров. Так, из тех четырнадцати евреев, которые входили в число членов и кандидатов в члены большевистского ЦК в 1917—1921 годах, всего лишь *двое* занимали эти партийные посты в период с 1903 года (год создания собственно большевистской партии) по 1916 год — это Зиновьев (с 1907 года) и Свердлов (с 1912 года). И особенно примечателен тот факт, что такие «цекисты» с 1917 года, как Троцкий, Урицкий, Радек, Иоффе, только в этом самом году и вошли-то в большевистскую партию! То есть получается, что евреи особенно «понадобились» тогда, когда речь пошла уже не о революционной партии, а о *власти*...

Можно, конечно, попросту объяснить это тем, что, мол, евреи сделали ставку на большевистскую партию не тогда, когда это грозило правительственными репрессиями, а тогда, когда сама партия готова была стать правящей. Однако, во-первых, большевики — сравнительно, скажем, с террористической партией эсеров — преследовались в дореволюционное время гораздо менее жестоко. А, во-вторых, 10 из 14 евреев, которые в 1917 — 1921 годах были членами и кандидатами в члены ЦК, все же вступили в партию намного раньше — еще до 1907 года. Словом, в том факте, что до 1917 года большевистская «верхушка» не была очень уж «еврейской», а затем стала таковой, выразилась, надо думать, объективная «закономерность». Особенно наглядно она проявилась в своего рода послеоктябрьском «скачке»: из 29 цекистов (членов и кандидатов в члены ЦК), избранных на VI съезде, в 1917 году, было 6 евреев (то есть немногим более одной пятой части) и 7 других «нерусских» (всего «нерусских» около половины), а из 23 цекистов, избранных на VII съезде, в 1918 году, —

8 евреев (уже более трети) и 5 других «нерусских» (то есть всего «нерусских» намного более половины!).

Выше уже говорилось подробно о наиболее общем «законе»: в периоды великих смут для любой страны характерен приход к власти «чужаков». Более конкретные суждения о «закономерности» прихода в революционную власть «чужаков» не раз высказывал Ленин: наиболее ясно и резко он поведал об этом в одном личном разговоре, состоявшемся в конце июля — начале августа 1918 года, когда уже во всю силу разразилась Гражданская война:

«Русский человек добр, — говорил Ленин.— Русский человек рохля, тютя... У нас каша, а не диктатура... если повести дело круто (что абсолютно необходимо), собственная партия помешает: будут хныкать, звонить по всем телефонам, уцепятся за факты, помешают. Конечно, революция закаливает, но времени слишком мало»[47]. Это, между прочим, совпадает с цитированными выше словами чекистки, приведенными в воспоминаниях дипломата Г.Н. Михайловского...

Предвижу негодование многих читателей по этому поводу: вот, скажут они, чудовищная постановка вопроса — вместо «добрых» русских надо поставить во главе «чужаков», которые будут расправляться без колебаний! Подобное восприятие вполне естественно, но необходимо понять, что объективная историческая задача состояла все же не в некоем самоцельном подавлении всяческого сопротивления революционной власти, а (о чем не раз шла речь в этом моем сочинении) в создании *государства*, — в частности, в преодолении начавшегося после Февраля распада страны. Выше было показано, что десятки тысяч *русских офицеров* именно поэтому стали служить большевистской власти; они убеждались на опыте, что ни белые, ни тем более «зеленые» — то есть предводители народных бунтов — фатально не могут возродить в России государство...

Известнейший лидер дореволюционной русской партии *националистов* В.В. Шульгин, ставший затем одним из видных идеологов Белого движения, постоянно и подчас

крайне негодующе писал о «еврейском засилье» в большевистской власти, о том, что евреи, как он определил, «явились спинным хребтом и костяком коммунистической партии», которую они «своей организованностью и сцепкой, своей настойчивостью и волей... консолидировали и укрепили»[48]. Однако еще до окончания Гражданской войны, *в 1921 году*, способный к трезвому размышлению Василий Витальевич недвусмысленно заявил, что именно большевики «восстанавливают военное могущество России... восстанавливают границы Российской державы до ее естественных пределов»[49]. Он уточнял: «Конечно, они думают, что они создали социалистическую армию, которая дерется «во имя Интернационала», — но это вздор. Им только так кажется. На самом деле они восстановили русскую армию... Как это ни дико, но это так... Знамя Единой России фактически подняли большевики... Конечно, Ленин и Троцкий продолжают трубить Интернационал... На самом деле их армия била поляков, как поляков. И именно за то, что они отхватили чисто русские области» (с. 515, 516; имелась в виду война с Польшей Пилсудского в 1920 году).

И Шульгин прямо сказал о полной бесперспективности в тогдашних условиях программы Белого движения, которое стремилось вернуть к власти Учредительное собрание: «...русский парламент героических, ответственных, безумно смелых решений принимать не может... Их (большевиков. — *В. К.*) решимость — принимать на свою ответственность, принимать невероятные решения. Их жестокость — проведение однажды решенного. «Это нужно — значит, это возможно» — девиз Троцкого» (с. 517).

К суждениям такого человека, как В.В. Шульгин (1878—1976), — человека, который, во-первых, с молодых лет активнейшим образом участвовал в российской политической жизни и знал ее досконально и, во-вторых, до самого конца своей почти столетней жизни был убежденнейшим русским патриотом, — стоит внимательно прислушаться.

Шульгин явно считает «еврейское засилье» в послереволюционной России *неизбежным* и даже имеющим определенный *позитивный* смысл явлением. Кстати сказать,

Шульгин видел и более общую закономерность: выдвижение на первый план «чужаков» вообще, а не только одних евреев; он писал в 1929 году, что большую и необходимую роль играли в большевистской власти поляки, латыши, грузины и т.п.[50] (напомню, что Польша, Латвия и — до конца 1922 года — Грузия были самостоятельными государствами, и, следовательно, речь шла об «иностранцах»).

Вместе с тем В.В. Шульгин не считал (как это характерно и ранее, и теперь для многих людей), что Российскую революцию вообще совершили-де «чужаки», и прежде всего евреи. Вот его суждение о взбунтовавшемся русском народе: ...жиды виноваты только в том, что они его, народ, натравили на самого себя» (там же, с. 124), то есть на его собственную историческую власть, а в определенной мере и на русскую национальную культуру. Кто-нибудь скажет, что «натравить» — заведомо нехорошее дело. Однако в конечном счете *более* «виновен» все же тот, кто дал себя, позволил себя натравить на свою собственную власть и культуру. К тому же Шульгин в этой фразе не вполне точен: народ (или, вернее, наиболее активная и вольнолюбивая его часть) явно сам был готов к безудержному бунту, и евреи, если выразиться вполне адекватно, не «натравили» некий до того «мирный» народ, а лишь дополнительно его «*натравливали*» (эта глагольная форма имеет более «ограниченное» значение, чем «натравили»). Впрочем, и сам Шульгин со всей определенностью утверждает: «Никогда евреям не удалось бы соткать сие чудовище, которое поразило мир под именем «большевизма», если бы их сосредоточенная ненависть не нашла сколько угодно «злобствующего материала» в окружающей среде» (там же, с. 133). Обратим внимание, что и Шульгин употребляет слово «*среда*», и это в данном случае точное слово, ибо для большевистской власти русская жизнь поначалу была именно «средой» (а не, допустим, «почвой», «основой» и т.п.).

И, наконец, еще одно суждение Шульгина о русском народе, которое, без сомнения, трудно принять, но и столь же трудно опровергнуть: «Сняв самому себе голову (то

есть русскую власть и отчасти культуру. — *В. К.*), он теперь бесится, что сие совершил...» Но «ежели русскую голову этот народ сам себе «оттяпал», то «жиды», пожалуй, даже *услугу оказали*, что собственную свою еврейскую голову ему на время приставили: совсем без головы еще хуже было бы!» (там же, с. 124), — громадное безголовое тело напрочь разбило бы себя в нескончаемых «пугачевщинах»...

* * *

Итак, Василий Витальевич, прошедший весь крестный путь Белой армии, признает, что большевистская — во многом «еврейская» — власть все же «лучше» безвластия, и, кроме того, вообще не видит *другой* силы, которая в тогдашних условиях могла бы восстановить государственность. В первой части этого моего сочинения приводились размышления виднейшего черносотенца Б.В. Никольского, расстрелянного большевиками в 1919 году, который гораздо раньше, чем Шульгин, еще в начале 1918 года, пришел к тому же самому выводу[51].

Целесообразно напомнить и цитированные ранее точные характеристики самого состояния России после Февральского переворота — характеристики, которые согласно сформулировали совершенно разные люди — гениальный черносотенный мыслитель В.В. Розанов: «Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска... Что же осталось-то? Странным образом — буквально ничего» — и влиятельный сподвижник Керенского В.Б. Станкевич: «стихийное движение» русского народа, «сразу испепелившее всю старую власть без остатка: и в городах, и в провинции, и полицейскую, и военную, и власть самоуправлений».

И восстановить власть «на пустом месте» можно было только посредством самого жестокого насилия и, как оказалось, при громадной и, более того, необходимой роли «чужаков», способных «идти до конца»... Словом, есть все основания согласиться с приведенными суждениями В.В. Шульгина.

Вместе с тем нельзя, конечно, не видеть, что восстановление власти «чужаками» имело свою тяжелейшую «оборотную» сторону: они ничего не щадили в так или иначе чуждом им русском бытии, они подавляли и то, что вовсе не обязательно нужно было подавлять... И это уже в первые послереволюционные годы вызывало решительное сопротивление даже в тех кругах, которые всецело поддерживали дело Октября.

Ярчайшим примером могут служить в этом отношении судьбы трех военачальников Красной армии, притом из ряда самых выдающихся: командующего Красной армией Северного Кавказа И.Л. Сорокина, командующего Первым конным корпусом Б.М. Думенко и командующего Второй конной армией Ф.К. Миронова. После их убийства имена их были «заслонены» именами С.М. Буденного, Г.И. Котовского, А.Я. Пархоменко, С.К. Тимошенко и других, но в свое время они значили не меньше или даже больше...

Эти люди вовсе не были «контрреволюционерами», но они выступали против подавления национального бытия и сознания *русского народа*. Ф.К. Миронов писал Ленину 31 июля 1919 года про «коммунистов... большинство из которых не может отличить пшеницу от ячменя, хотя и с большим апломбом во время митингов поучает крестьянина ведению сельского хозяйства... Я все же хочу остаться искренним работником народа, искренним защитником его чаяний... Социальная жизнь русского народа... должна быть построена в соответствии с его историческими, бытовыми и религиозными традициями и мировоззрением, а дальнейшее должно быть предоставлено времени»[52].

В составленной позже декларации под названием «Да здравствует Российская пролетарская крестьянская трудовая республика» Миронов писал про «коммунистов, захвативших всю жизнь в свои руки»: «...эта дерзкая монополия кучки людей, вообразивших себя в своем фанатизме строителями социальной жизни»[53]. В другом обращении «ко всему русскому народу» он призывал: «Долой самодержавие комиссаров!» (там же, с. 232).

Понимая, очевидно, сколь опасно открыто ставить вопрос о «чужаках» в коммунистической власти, Миронов

только *говорил* об этом, но избегал затрагивать сию тему в своих письмах и обращениях. Однако о его устных высказываниях, разумеется, стало известно в верхах. А Миронов, например, звал Троцкого «Бронштейном», утверждал, что народ гонят на «жидовско-европейский фронт» (то есть используют в «еврейско-интернациональных» целях), клеймил члена ЦК Смилгу и других чужаков «вампирами, проливающими невинную кровь» и т.п. (там же, с. 248, 249).

13 сентября 1919 года Троцкий издал приказ: «..Как изменник и предатель, Миронов объявлен вне закона. Каждый гражданин, которому Миронов попадется на пути, обязан пристрелить его как собаку. Смерть предателю!»[54]

Однако в этот момент в судьбу Миронова вмешался Ленин, который, как полагают биографы Филиппа Кузьмича, именно в сентябре ознакомился с цитированным выше мироновским письмом к нему, отправленным 31 июля 1919 года[55]. Роль Ленина не вполне выяснена, и нет существенных оснований утверждать, что Ленин «защитил» русского военачальника от «чужаков» (к тому же через полтора года Миронова все-таки убили). Но, во всяком случае, Миронов был тогда не только «реабилитирован», но и назначен на высокий пост, и Ленин в течение двух часов беседовал с недавно объявленным «вне закона» военачальником.

И все же поведение Миронова было слишком «непростительным», и, несмотря на его громкие победы над Врангелем в следующем, 1920 году, он оказался в Бутырской тюрьме и 2 апреля 1921 года был пристрелен там именно «как собака» — без всякого суда, неожиданным выстрелом неведомого лица. Биографы Филиппа Кузьмича убеждены, что за этим убийством стоял очень влиятельный, но «неизвестный нам пока человек или группа людей» (там же, с. 360).

Намного раньше Миронова, еще 1 ноября 1918 года, был так же убит блистательный полководец Иван Лукич Сорокин. Правда, в отличие от Миронова, он сам начал кровавую борьбу с теми, кого считал врагами русского народа. Факты таковы: «13 октября (1918 года. — *В. К.*) он (И.Л. Сорокин. — *В. К.*) арестовал председателя ЦИК Кав-

казской республики Рубина, товарищей (то есть заместителей. — *В. К.*) председателя Дунаевского и Крайнего, члена ЦИК Власова и начальника «чрезвычайной комиссии» Рожанского. Все эти лица — кроме Власова, евреи — были в тот же день (согласно другим сведениям — 21 октября. — *В. К.*) расстреляны. По объяснению приближенных Сорокина, пойманных и заключенных в тюрьму, Сорокин «ненавидел евреев, возглавлявших кавказскую власть»[56]. 28 октября он был объявлен «вне закона» и вскоре же, 1 ноября, застрелен.

Наконец, Б.М. Думенко, заслуги которого позднее во многом приписали его бывшему «помощнику» С.М. Буденному, был 24 февраля 1920 года арестован вместе со своим штабом и расстрелян 11 мая. «Пункт первый» обвинения: «...проводили юдофобскую и антисоветскую политику... обзывая руководителей Красной Армии жидами». К делу подшито «донесение политработника Пескарева... в котором он сообщал, что Думенко в его присутствии сорвал со своей груди орден Красного Знамени и, забросив в угол, сказал: «Не надо мне его от жида Троцкого». ...Трибунал Республики имел указание Троцкого об осуждении и расстреле Думенко, который нанес ему личное оскорбление»[57].

Перед нами судьбы трех виднейших и в свое время знаменитейших военачальников Красной армии. Все они были безоговорочно против и дореволюционных порядков, и Белой армии. Но они не могли примириться с подавлением «русского народа с его, — пользуясь словами из цитированного мироновского письма Ленину, — историческими, бытовыми и религиозными традициями и мировоззрением». А находившиеся на верхах власти «чужаки» постоянно этим занимались, «углубляя», по их определению, революцию...

И дело, понятно, не сводилось к трем названным крупнейшим военачальникам. Нельзя усомниться в том, что подобная же гибель постигла тогда многих занимавших высокие посты людей. Так, согласно убедительным новейшим исследованиям, 30 августа 1919 года был во время боя убит пулей в затылок командир дивизии Николай Щорс, —

убит «своими»... Позднее, уже в 1930-х годах, его имя было прославлено — в особенности благодаря превосходному киноэпосу Александра Довженко «Щорс» (1939). Застрелил его, как доказывается, «политинспектор Реввоенсовета» одесский еврей П.С. Танхиль-Танхилевич; ранее член Реввоенсовета Юго-Западного фронта С.И. Аралов доложил Троцкому, что «в частях дивизии (щорсовской. — *В. К.*) развит антисемитизм...»[58].

Все это наверняка воспринимается сегодня многими с гневом и проклятиями по адресу властвовавших «чужаков». Но необходимо вдуматься в объективный смысл этой трагической ситуации. Во-первых, при беспристрастном размышлении становится ясно, что такие люди, как И.Л. Сорокин, Б.М. Думенко, Ф.К. Миронов, Н.А. Щорс, если бы даже они «свергли» стоявших над ними «чужаков», едва ли смогли в тогдашних условиях создать и удержать власть. А во-вторых, «на стороне Троцкого» было *преобладающее* большинство русских военачальников. Так, командующий Первой конной армией С.М. Буденный самым активным образом выступал и против Ф.К. Миронова, и против Б.М. Думенко (он даже через сорок с лишним лет, в 1962 году, протестовал против «реабилитации» последнего!)[59]; «разоблачал» Думенко и командир Первого конного корпуса, весьма известный герой Гражданской войны Д.П. Жлоба. Большую роль в роковой судьбе Н.А. Щорса сыграл ставший в 1918 году членом Реввоенсовета Республики сын замоскворецкого купца С.И. Аралов[60]. И нельзя не признать, что «вина» этих «одноплеменников» уж по крайней мере более непростительна, чем тех или иных «чужаков», с которыми застреленные военачальники к тому же вступили в противостояние сами, первыми...

Нельзя также не видеть, что власть «чужаков» являла собой тогда своего рода фатальную необходимость, которая столь резко обнаруживается в составе верховного органа — Политбюро ЦК, где к концу Гражданской войны числились, помимо Ленина, три еврея и один грузин... И несколько неожиданное введение в Политбюро в апреле

1922 года — когда война уже *закончилась* — русских Рыкова и Томского опять-таки очень показательно.

А в конце 1922-го — начале 1923 года Ленин попытался совершить своего рода переворот, — о чем недвусмысленно свидетельствуют его тексты, обращенные им к XII съезду партии, который был намечен на апрель, и впоследствии названные «политическим завещанием» Ленина. Как ни странно (и прискорбно), почти все «аналитики» этого завещания, полностью завороженные «проблемой Сталина», ухитрились заметить в этих ленинских текстах, в сущности, только одну, имеющую в конечном счете частное значение деталь — предложение «переместить» одного человека с поста генсека.

Между тем Ленин начал свое «завещание» так (цитирую по 45-му тому Полного собрания сочинений, указывая в скобках страницы): «Я советовал бы очень предпринять на этом съезде ряд перемен в нашем политическом строе» (с. 343). Да, ни много ни мало — изменение самого «политического строя» (!). И конкретизирует: «*В первую* голову я ставлю увеличение числа членов ЦК до нескольких десятков или даже до сотни» (там же; в ЦК тогда было всего 27 человек). При этом, — как неоднократно затем подчеркнул Ленин, — в новый ЦК должны войти *рабочие и крестьяне*, «стоящие ниже того слоя, который выдвинулся у нас за пять лет в число советских служащих, и принадлежащие ближе к числу рядовых рабочих и крестьян...» (с. 348). «Я предлагаю съезду выбрать 75—100... рабочих и крестьян... выбранные должны будут пользоваться всеми правами членов ЦК» (с. 384).

В ЦК состояли, как говорилось, 27 человек, и присоединение к ним 75—100 рабочих и крестьян означало бы, что четыре пятых членов ЦК оказались бы людьми из народа в прямом смысле этого слова.

У нас нет никаких сведений о том, что Ленин ставил тем самым задачу изменить *национальный* состав высшей власти. Он определял цель предлагаемого политического акта как обращение «за поисками новых сил туда, где лежит наиболее *глубокий* корень нашей диктатуры» (с. 383)

и установление «связи с действительно *широкими* массами» (с. 384. Выделено мною. — *В. К.*).

Однако вполне ясно, что при осуществлении ленинского «завещания» новый, очень значительно «расширенный» орган верховной власти состоял бы в основном из *русских*. Повторю еще раз: я вовсе не утверждаю, что Ленин сознательно преследовал именно эту цель: для такого вывода нет каких-либо доказательств. Однако *результат* предложенной Лениным «перемены» в политическом строе был бы все же именно таким, и естественно полагать, что искушенный политик это сознавал...

Партийные верхи отвергли предложение Ленина, причем особенно решительно выступил против него Троцкий, заявивший в специальном письме в ЦК от 13 февраля 1923 года, что это «расширение» состава ЦК лишит его «необходимой оформленности и устойчивости» и нанесет «чрезвычайный ущерб точности и правильности работ Цека»[61]. Ленин не имел возможности отстаивать свое предложение. Во-первых, — что не так давно перестало быть «секретом», — ЦК возражал против самой публикации его статьи «Как нам реорганизовать Рабкрин», в которой было частично сформулировано это предложение. В ЦК даже возник план «напечатать эту статью в номере газеты с тиражом... в одном экземпляре — специально для Владимира Ильича». 25 января 1923 года статья все же была опубликована в «Правде»[62], однако через день, 27 января, Политбюро разослало во все губкомы партии циркуляр, в котором объявлялось, что «Ленину из-за переутомления не разрешено читать газеты; что он не принимает участия в заседаниях Политбюро... что врачи сочли возможным ввиду невыносимости для него полной умственной бездеятельности вести нечто вроде дневника, куда он заносит свои мысли по разным вопросам; что отдельные части этого дневника по указанию и настоянию самого Владимира Ильича появляются на страницах печати» (там же, с. 112); предложение Ленина тем самым полностью дискредитировалось...

В работе XII съезда, к которому Ленин и обращал свое «предложение», он, в силу резкого обострения болезни, не принимал никакого участия. Но поскольку авторитет Лени-

на все равно был, конечно, огромен, на съезде не решились вообще игнорировать его предложение: состав ЦК был значительно расширен — в полтора раза (с 27 до 40 человек), однако среди вновь избранных *не было* ни рабочих, ни крестьян, то есть «расширение» было чисто показное...

Как уже говорилось, нельзя безоговорочно утверждать, что Ленин, предлагая ввести в ЦК множество не «профессиональных революционеров», а рабочих и крестьян, подразумевал тем самым и «национальный» сдвиг в составе высшей власти. Но именно такой сдвиг все же затем в течение всего нескольких лет совершился. Между прочим, В.В. Шульгин в 1926 году цитировал суждение одного наблюдателя (возможно, небезызвестного А.А. Якушева)[63]: «Многие... полагают, что в России царит беспросветное еврейское засилье. Я бы несколько смягчил этот диагноз, я бы сказал, что в современной русской жизни рядом с еврейским потоком, несомненно, пробивается и очень сильная русская струя на верхи»[64].

И действительно, если к 1922 году в Политбюро русским можно было считать только одного Ленина, то к 1928 году из 9 членов тогдашнего Политбюро 7(!) были русскими (остальные — грузин и латыш). Правда, период коллективизации явно вновь востребовал «чужаков», и к 1931 году из 10 членов Политбюро уже только половина — 5 человек — были русскими, которых «дополняли» еврей, поляк, латыш и два грузина. Такие изменения «национальных пропорций» на *наивысшем уровне* власти едва ли уместно считать «случайными», несущественными, и есть достаточные основания полагать, что именно новая «революция» в деревне продиктовала возврат к большой роли «чужаков». А к концу тридцатых годов соотношение русских и нерусских в Политбюро опять изменилось: из 9 его членов 6 были русскими, а остальные, кроме одного еврея, — грузин и армянин, то есть «представители» народов СССР, а не поляков, латышей и т.д.

В связи с тем что в 1926 году были «освобождены от обязанностей членов Политбюро» Каменев, Зиновьев и Троцкий, возникло острое словцо, приписываемое Радеку: «Какая разница между Сталиным и Моисеем? Моисей вы-

вел евреев из Египта, а Сталин из Политбюро». Фраза эта воспринимается обычно как разоблачение «антисемитизма» Сталина, который изгнал этих людей из Политбюро именно как ненавистных ему евреев.

Правда, как раз в 1926 году кандидатом в члены Политбюро стал еврей Каганович, который с 1930 года и до кончины Сталина являлся членом Политбюро, а в 1935—1938 годах был даже «вторым» человеком после Сталина, что с очевидностью выражалось в объединении в его лице сразу трех высших функций: он, как и сам Сталин, был одновременно членом Политбюро, секретарем ЦК и членом Оргбюро ЦК (других таких лиц не имелось). Однако Кагановича все же склонны рассматривать как чисто показную фигуру, долженствующую демонстрировать отсутствие «антисемитизма».

В конце концов можно даже допустить, что в таком мнении есть своя правота. Но нельзя закрывать глаза на целый ряд других сторон проблемы. Во-первых, за удаление Троцкого, Зиновьева и Каменева из Политбюро не менее, а подчас и более решительно выступал наряду со Сталиным также и Бухарин, которого трудновато заподозрить в «антисемитизме». Во-вторых, выведение из Политбюро трех наиболее влиятельных евреев ни в коей мере не сопровождалось устранением евреев из «второго» эшелона высшей власти — ЦК.

Впрочем, прежде чем говорить об этом, следует опровергнуть совершенно произвольные (и тем не менее широко распространенные) «сведения» о чуть ли не абсолютном большинстве, которым будто бы обладали евреи в составе ЦК первых революционных лет. В действительности в составах ЦК начиная с 1919 года и кончая 1939-м (следующий съезд партии был созван лишь в 1952 году) лица еврейского происхождения занимали 1/5—1/6 часть общего количества. Правда, их было больше в 1917 году (6 из 21 члена ЦК) и особенно в 1918-м (5 из 15). Но в обоих случаях имели место особые обстоятельства. В принципе количество членов ЦК должно было составлять тогда 19 человек; именно таковы составы ЦК 1919 и 1920 гг. Но в 1917 году к большевикам присоединились так называемые

межрайонцы, лидеры которых — Троцкий и Урицкий — вошли в ЦК, увеличив количество его членов до 21, а долю евреев — до более чем четверти состава. А в 1918 году не были — из-за их резкого расхождения с ленинской линией — введены в новый состав ЦК четверо ранее входивших в него русских (А.С. Бубнов, В.П. Милютин, В.П. Ногин и А.И. Рыков), в результате чего количество членов ЦК сократилось до 15, и, хотя лиц еврейского происхождения в ЦК стало меньше, чем в 1917-м (5, а не 6), «доля» их выросла до одной трети[65]. Но в дальнейшем, до 1939 года включительно — как бы следуя негласному «правилу», — эта доля составляла 1/5—1/6. Нередко объявляют, что террор 1937—1938 годов имел-де, в частности, целью удаление из органов власти евреев. Между тем доля людей еврейского происхождения в составах ЦК 1934 и 1939 годов одинакова (12 из 71)...

Тем более безосновательна версия Троцкого, который в середине 1930-х годов начал уверять, что-де его еще в 1920-х годах изгнали из власти в силу «антисемитской» политики Сталина и других. Ныне эту версию усиленно пропагандируют. Между тем сам Троцкий в ряде сочинений, по сути дела, опровергает эту свою позднейшую версию. Так, в изданном им в 1930 году автобиографическом сочинении «Моя жизнь» он с полной ясностью показал, что инициатива его отстранения от высшей власти исходила не от каких-либо «антисемитов», а прежде всего от Зиновьева и Каменева. Уже в начале 1923 года, когда стало очевидно, что Ленин едва ли выздоровеет и вернется к власти, «Каменев допрашивал, — сообщает Троцкий, — наиболее доверенных «старых большевиков»... «Неужели же мы допустим, чтоб Троцкий стал единоличным руководителем партии и государства?..» На первое место стали ставить Зиновьева... Еще через некоторое время стали появляться почетные президиумы без Троцкого... Потом (именно потом, несколькими годами позже! — *В. К.*) первое место стало отводиться Сталину...»[66]

Итак, отстранение Троцкого от верховной власти начали Каменев и Зиновьев, предложивший в январе 1925 года Пленуму ЦК резолюцию, в которой взгляды Троцкого ква-

лифицировались как «фальсификация коммунизма»[67], и на этом основании тот 26 января был освобожден от обязанностей председателя Реввоенсовета. Естественно, было бы абсурдно, если бы Троцкий приписал «антисемитизм» Зиновьеву и Каменеву. Но позднее, в середине 1930-х годов, умалчивая о том, что инициаторами лишения его верховной власти были эти евреи, он обвинил в «антисемитизме» Сталина. Насколько это было натяжкой, явствует из более раннего сочинения Троцкого, написанного вскоре после его «падения», в 1927 году. Здесь он сообщал, что решающую роль в борьбе с ним сыграли «Сталин, Ярославский, Гусев и пр. агенты Сталина»[68]. То есть выходит, что «антисемитскую» акцию по свержению Троцкого осуществляли вместе со Сталиным Яков Давидович Драбкин (Гусев) и Миней Израилевич Губельман (Ярославский)... Разгадка здесь в том, что Троцкий в 1930-х годах стремился дискредитировать Сталина в глазах «левых» кругов Европы и Америки, где большую роль играли евреи; отсюда и не имевшее реальных оснований обвинение в «антисемитизме» (выше уже сказано об очень значительной «доле» евреев в 1930-х годах в органах верховной власти СССР; об «антиеврейских» акциях Сталина речь может идти только по отношению к периоду конца 1940-х — начала 1950-х годов, о чем мы еще будем говорить подробно).

В принципе постепенное вытеснение евреев из высшей власти страны было, по верному определению сиониста М.С. Агурского, естественным, «органическим» процессом: «чужаки» сыграли в пору всеобщего хаоса свою закономерную роль, а в дальнейшем пребывание множества таких людей на верховных постах было уже ничем не оправданным явлением.

Те, кто объявляет подобную постановку вопроса «антисемитской» или «шовинистической», валят, как говорится, с больной головы на здоровую. Ибо обилие евреев, а также латышей, поляков и т.д., которые составляли незначительную долю населения страны, на верхних этажах власти едва ли можно считать «нормальным» явлением (другое

дело — явно «ненормальная» ситуация первых послереволюционных лет).

Более того: есть серьезные основания полагать, что сосредоточение евреев на вершине власти было само по себе чревато внутренней несостоятельностью. Казалось бы, такая точка зрения противоречит несомненной еврейской сплоченности, способности к прочному единству. Но мудрейший В.В. Розанов прозорливо написал в 1918 году, что напрасно евреи «думают в целом руководить... Россией... когда их место — совсем на другом месте, у подножия держав (так ведь и поступают, и чтут старые *настоящие* евреи, в *благородном*: «Мы — *рабы* Твои», у всего настояще Великого)»[69]. В этом, разумеется, нет ничего «антисемитского» (Розанова в конце его жизни можно, скорее, заподозрить в «филосемитизме»); он отметил здесь же, что революция евреям «не обещает ничего. Даже обещает плохо» (там же, с. 611).

Глубоко верны слова «место — у подножия держав», у подножия трона. Еврейская пропаганда с давних пор и до сего дня пытается внушить, что-де до революции евреи в России не могли занимать сколько-нибудь высоких постов. Но вот хотя бы несколько внушительнейших примеров: еврей Шафиров был вице-канцлером при Петре I, еврей Нессельроде — канцлером при Николае I, еврей Перетц — статс-секретарем при Александре II, еврей Гурлянд — фактическим руководителем министерства внутренних дел при Николае II. Разумеется, они так или иначе служили именно трону, державе (хотя Нессельроде, как можно догадываться, *тайно* служил и чему-то иному), а не осуществляли свою «программу». Но так или иначе все они благоденствовали при своих повелителях.

Между тем евреи, оказавшиеся на самóм верху после 1917 года, уже в 1923 году, как мы видели, «передрались» — несмотря на свою достославную сплоченность... Тем более это относится к более позднему времени, о чем и пойдет речь далее (в частности, о «загадке» 1937 года). Здесь же только подведу определенный итог вышесказанному.

Если уж ставить вопрос о *связи* устранения Троцкого, Зиновьева и Каменева из верховной власти с пресловутым

«антисемитизмом», то только в том плане, что их присутствие в Политбюро неизбежно стимулировало антисемитские настроения в стране, о чем не раз и не без глубокого беспокойства говорил и *сам* Троцкий. Особенно остро встала эта проблема в середине 1920-х годов, когда большинство населения осознало, что страной правит не Совнарком, а Политбюро. И не исключено, что сей факт оказал воздействие на решение в 1926 году судьбы еврейских членов Политбюро.

Характерно, что *на уровне* ЦК эта проблема не вставала столь остро (как в отношении Политбюро), и на ближайшем съезде партии, в 1927 году, в ЦК вошли трое евреев — Я. Б. Гамарник, Ф.И. Голощекин и И.А. Пятницкий (Таршис), как бы заменив удаленную из ЦК «тройку», и «доля» евреев осталась прежней.

Но в наиболее общем и глубоком смысле конец «еврейского засилья» в Политбюро означал, что их роль — притом роль, как говорилось выше, закономерная, даже необходимая — уже сыграна.

Напомню, что великий поэт сказал в 1924 году в стихотворении «Русь советская»:

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело...

В неистовом урагане первых послереволюционных лет неизбежна была отчужденная, ничего не щадящая власть, а затем начался, по определению стремившегося к объективности сиониста М.С. Агурского, «органический процесс» восстановления национальной государственности — правда, не без замедлений и даже отступлений. Так, — о чем уже шла речь — в пору *коллективизации* половину Политбюро составили «чужаки», хотя в 1928 году их было там всего только двое (из девяти). Наконец, господство «чужаков» сохранялось и в 1930-х годах в «органах безопасности», которые были призваны беспощадно бороться со всяческими «врагами». Но об этом мы еще будем говорить подробно.

Глава 5

ЗАГАДКА 1937 ГОДА

Об этой «загадке» я, как и многие люди моего поколения, начал размышлять еще в 1950-х годах, — в особенности, конечно, после ныне всем известного доклада, произнесенного Н.С. Хрущевым 25 февраля 1956 года на «закрытом заседании» XX съезда КПСС, но вскоре ставшего достоянием весьма широких кругов населения страны, поскольку его текст зачитывался на партийных и даже комсомольских собраниях.

Террор 1937 года предстал в этом докладе как следствие «культа личности Сталина» — культа, который привел к (цитирую доклад) «сосредоточению необъятной, неограниченной власти в руках одного лица», требовавшего «безоговорочного подчинения его мнению. Тот, кто сопротивлялся этому или старался доказывать свою точку зрения, свою правоту, тот был обречен на исключение из руководящего коллектива с последующим моральным и физическим уничтожением... жертвами деспотизма Сталина оказались многие честные, преданные делу коммунизма, выдающиеся деятели партии и рядовые работники партии»[1].

Некоторые из этих людей, говорилось в докладе, «совершали ошибки», — например, Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев, — но и их не следовало уничтожать: «Владимир Ильич требовал жестокой расправы с врагами революции и рабочего класса и, когда возникала необходимость, пользовался этими мерами со всей беспощадностью... Но Ленин пользовался такими мерами против действительных врагов, а не против тех, которые ошибаются...» (с. 27).

В докладе цитировалось «Письмо» Ленина XII съезду ВКП(б) от 4 января 1923 года («Сталин слишком груб...» и т.п.) и утверждалось: «Те отрицательные черты Сталина,

которые при жизни Ленина проступали только в зародышевом виде, развились... в тяжкие злоупотребления властью со стороны Сталина, что причинило неисчислимый ущерб нашей партии» (с. 23). Как было сообщено в докладе, на XIII съезде партии, в мае 1924 года (то есть уже после смерти Ленина), обсуждалось ленинское предложение о замене Сталина на посту генсека ЦК другим лицом, но все же, к прискорбию, решили, что Иосиф Виссарионович «сумеет исправить свои недостатки» (с. 23). Однако последний, мол, либо не сумел, либо не пожелал «исправиться»...

Итак, террор 1937 года был объяснен в знаменитом докладе, по сути дела, *чисто личными* качествами Сталина. Конечно, как констатировалось в докладе, 1937 год стал возможен в силу того *обстоятельства*, что вождь сосредоточил в своих руках «необъятную, неограниченную власть», но *причиной* террора были все же объявлены именно «отрицательные черты» сталинского характера, которые-де и привели к «тяжким злоупотреблениям» этой властью.

Со времени хрущевского доклада прошло ни много ни мало сорок лет, однако и по сей день «феномен 1937 года» во многих сочинениях по-прежнему истолковывается именно в этом духе. Таково, например, изданное с 1989 года громадными тиражами пространное сочинение А.В. Антонова-Овсеенко — сына известного революционного деятеля, который, в частности, руководил чудовищным по своей жестокости подавлением Тамбовского крестьянского восстания 1920—1921 годов (о чем шла речь выше), а затем назначался начальником Политуправления Реввоенсовета, прокурором РСФСР, наркомом юстиции РСФСР, — на каковой должности он был в декабре 1937-го арестован и погиб. Позднее, в 1943-м, арестовали и его сына — будущего автора книги. Считая главным и даже вообще единственным виновником всех репрессий 1930—1940-х годов Сталина, А.В. Антонов-Овсеенко стремится представить его беспримерным патологическим злодеем. И 1937 год, с его точки зрения, породили присущие Сталину «всепожирающая месть и неутолимая злоба»[2].

Можно понять точку зрения Антона Владимировича,

безвинно пережившего тяжкие злоключения, но все же едва ли есть серьезные основания усматривать в Сталине некое уникальное средоточие злобности и мстительности, — хотя об этом и говорили так или иначе многие. Беспощадные расправы с людьми — в том числе ни в чем не повинными, — неотъемлемая «особенность», даже своего рода «норма» поведения преобладающего *большинства* руководящих деятелей того времени; вспомним, как отец Антона Владимировича приказывал расстреливать сотни тамбовских заложников, скорее всего попросту и *не знавших*, где скрываются повстанцы, которых их принуждали под угрозой смерти выдать...

О том, что Сталин *лично* не был из ряда вон выходящим воплощением злобы и мести, достаточно убедительно свидетельствует хотя бы такой эпизод его жизни. В октябре 1942 года сын Сталина, Василий Иосифович, задумал снять кинофильм о летчиках и пригласил к себе известных режиссеров и сценаристов, среди которых были Роман Кармен, Михаил Слуцкий, Константин Симонов и Алексей (его звали в этой компании «Люся») Каплер — соавтор сценариев прославленных фильмов о Ленине, лауреат Сталинской премии, присужденной в 1941 году, и т.п.

Как вспоминала впоследствии дочь Сталина, Светлана Иосифовна, этот почти сорокалетний и уже располневший мужчина имел «дар легкого непринужденного общения с самыми разными людьми»[3]. Он стал показывать шестнадцатилетней школьнице Светлане заграничные фильмы с «эротическим» уклоном (кстати, на спецпросмотрах для двоих), вручил ей машинописный текст перевода хемингуэевского романа «По ком звонит колокол» (где десятки страниц занимает впечатляющее изображение «любви» в американском значении этого слова) и другие «взрослые» книги о любви, танцевал с ней игривые фокстроты, сочинял и даже публиковал в газете «Правда» любовные письма к ней и наконец приступил к поцелуям (все это подробно описано в воспоминаниях С.И. Сталиной). При этом нельзя умолчать, что дочь вождя отнюдь не отличалась женским обаянием (могу об этом свидетельствовать, поскольку в конце 1950-х — начале 1960-х годов был со-

служивцем Светланы Иосифовны в Институте мировой литературы Академии наук), а к тому же в 1942 году она еще не перешла рубеж подростковой «недоформированности» и, по ее собственному определению, «была смешным цыпленком» (с. 164). Словом, едва ли есть основания усматривать в описанном поведении «Люси» выражение роковой страсти, и трудно усомниться в том, что на деле «Люсей» была предпринята попытка «завоевания» дочери великого вождя...

Светлана Иосифовна писала впоследствии об отце: «Пока я была девчонкой, он любил целовать меня, и я не забуду этой ласки никогда. Это была чисто грузинская горячая нежность к детям...» (с. 137). Сказанное убедительно подтверждают опубликованные теперь переписка Сталина с дочерью (до сентября 1941 года — то есть незадолго до появления «Люси») и семейные фотографии. И вот в эти сентиментальные отношения вторгся чужой мужчина, о котором Сталин веско сказал дочери: «У него кругом бабы, дура!» (с. 170).

Попытка «совращения» многоопытным мужчиной несовершеннолетней школьницы сама по себе являлась предусмотренным уголовным кодексом деянием, но Сталин, конечно же, никак не мог допустить официального расследования «дела», касающегося его дочери. И Каплеру, постоянно общавшемуся с иностранцами, НКВД предъявил 2 марта 1943 года стандартное обвинение в «шпионаже». Однако «наказание» было прямо-таки до изумления мягким: «Люсю» отправили заведовать литературной частью Воркутинского драматического театра (помимо этого — или даже позже — он работал фотографом)! Правда, через пять лет, в 1948 году, за самовольный приезд в Москву его осудили на пятилетнее заключение, но едва ли Сталин диктовал это новое наказание: оно было обычным в те годы за дерзкое нарушение режима ссыльного.

Впрочем, суть дела в другом. Не будет преувеличением утверждать, что почти каждый (или уж, по крайней мере, подавляющее большинство) человек с «*кавказским менталитетом*», окажись он на месте Сталина, — то есть в ситуации «совращения» дочери-школьницы сорокалетним

мужчиной и при наличии безграничной власти — поступил бы гораздо более жестоко! В разгар своего «романа» Каплер выезжал в Сталинград (откуда прислал в «Правду» любовное письмо «лейтенанта Л.» — то есть «Люси», — вполне очевидно обращенное к Светлане). И Сталину ничего не стоило отдать тайный приказ пристрелить Каплера в прифронтовой обстановке, — хотя, конечно, и в Москве для этого годился любой «несчастный случай»... Тем не менее сталинская «всепожирающая месть» (по выражению А.В. Антонова-Овсеенко) не пошла дальше «административной высылки» Каплера, которая в те суровые времена явно была редким исключением, а не правилом: так, в 1943 году по «политическим» обвинениям в лагеря, колонии и тюрьмы были заключены 68 887 человек, а в ссылку отправлены всего только 4787 человек[4], — то есть лишь один из пятнадцати осужденных...

Все это, конечно, отнюдь не означает, что Сталин не диктовал самые жестокие приговоры, но вместе с тем история с Каплером вызывает самые глубокие сомнения в основательности версии об из ряда вон выходящей *личной* злобности и мстительности Иосифа Виссарионовича.

Впрочем, эта проблема, как мы еще увидим, вообще не имеет существенного значения, и я обратился к ней только для того, чтобы, так сказать, расчистить путь к пониманию действительного смысла 1937 года. В конце концов, даже если характер Сталина и был бы уникально «злодейским» (а «случай Каплера» являл, мол, собой некое странное отклонение от обычного поведения вождя), все равно объяснение террора 1937 года индивидуальной сталинской психикой — это крайне примитивное занятие, не поднимающееся над уровнем предназначенных для детей младшего возраста книжек, объясняющих всякого рода бедствия кознями какого-либо лубочного злодея...

В кругу моих друзей подобное «толкование» террора отвергалось и даже высмеивалось еще в конце 1950-х годов. В частности, я в то время, скрывая иронию, небезуспешно уверял иных простодушных собеседников, что 1937 год превосходно изображен в популярной стихотворной сказке Корнея Чуковского «Тараканище». Сначала там ри-

суется радостная картина «достижений первых пятилеток»: «Ехали медведи на велосипеде... Зайчики — в трамвайчике, жаба — на метле... Едут и смеются, пряники жуют» и т.д. Но, увы, наступает 1937-й: «Вдруг из подворотни — страшный великан, рыжий (тут я сообщал, что Иосиф Виссарионович до того, как поседел, был рыжеват) и усатый та-ра-кан. Он урчит и рычит и усами шевелит: «Приводите ко мне своих детушек, я их нынче за ужином скушаю». Звери задрожали — в обморок упали. Волки от испуга скушали друг друга (какая точная картина 1937-го! — комментировал я), а слониха, вся дрожа, так и села на *ежа*», — разумеется, на знаменитого наркома с «удачной» фамилией!

При этом я, естественно, умалчивал о том, что сказка «Тараканище» была опубликована не в 1938-м, а еще в 1923 году, и многие из тех, кому я читал процитированные только что строки, восхищались и меткостью, и редкостной смелостью сочинения Чуковского... И в конечном счете именно такое «толкование» 1937 года преподнесено в сочинениях о Сталине, написанных сыном Антонова-Овсеенко, или высокопоставленным армейским партаппаратчиком Волкогоновым, или литератором Радзинским, — сочинениях, которыми и по сей день увлекаются широкие круги людей, не отдающих себе отчета в том, что в основе «методологии» этих авторов как бы лежит та самая «модель», которая легла в основу увлекавшего их в детские годы «Тараканища»...

Впрочем, хватит об этом — в сущности, комическом — мифе о злодее Сталине, который-де единолично осуществил 1937 год (вернее, 1936—1938-й), когда были репрессированы 60—70 процентов людей, находившихся у власти — с самого верха и донизу, — хотя жестоко пострадали в той ситуации вовсе не только «руководители» (о чем еще будет речь). И громадные масштабы репрессий, между прочим, не скрывались. Еще в декабре 1956 года на широком обсуждении знаменитого тогда романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым», состоявшемся в набитом битком зале Института мировой литературы, я процитировал сталинский доклад на XVIII съезде партии (10 марта

1939 года): «...за отчетный период (то есть с 1934 года — года предшествующего, XVII съезда. — *В. К.*) партия сумела выдвинуть на руководящие посты по государственной и партийной линии более 500 тысяч молодых большевиков, партийных и примыкающих к партии»[5]. Это значит, резюмировал я в своем выступлении, что более 500 тысяч людей, находившихся ранее на «руководящих постах», сумели «задвинуть»... Тогда, сорок лет назад, я был за это свое выступление подвергнут резким нападкам, — в частности, со стороны имевшего репутацию «либерала» (впоследствии — замредактора «Нового мира») А.Г Дементьева, принадлежавшего к «номенклатуре ЦК» и в 1930—1960-х годах гибко повторявшего «извивы» генеральной линии партии (обсуждение признанного крамольным дудинцевского романа состоялось в Институте мировой литературы слишком «поздно» — уже после Венгерского восстания, разразившегося 23 октября 1956 года).

Кажется, совсем нетрудно понять, что «замена» более полумиллиона (!) руководителей никак не могла быть проявлением личной воли одного — пусть и всевластного — человека и причины такого переворота неизмеримо масштабнее и глубже пресловутого «культа личности». Помню, как еще в те же давние времена Георгий Гачев предложил своеобразное объяснение 1937 года. Победившие в октябре 1917-го революционеры были убеждены, рассуждал он, что они сами по себе суть власть, что «Советское государство — это мы сами». Но затем постепенно создалась прочная и многосторонняя государственная структура, и люди, продолжавшие сознавать и вести себя так, как будто именно и только они являются воплощением всей власти, стали «лишними» и уже потому «вредными». Гачевская мысль производила особенно сильное впечатление и потому, что собственный его отец — эмигрировавший в 1926 году в СССР болгарский революционер — был в 1938 году репрессирован и в 1945-м скончался в лагере...

Через много лет я встретил, в сущности, то же самое толкование в изобилующем проникновенными записями дневнике Михаила Пришвина:

«1 марта (1935)... Несколько дней занимает меня мысль о том, что всякая мораль имеет внутреннее стремление превратиться в учреждение. Замечательный пример — конец Горького: превратился в учреждение... Так все движение интеллигенции, даже и анархистское, таило в себе государство, и умерла интеллигенция, и государство стало *могилой* интеллигенции...»[6]

Тезис о том, что «революционеры» к середине 1930-х годов стали излишним «элементом», раскрывает только одну сторону дела, но все же он важен и объективен.

Скажу еще о том, что в кругу моих друзей уже сорок лет назад сложилось убеждение о неосновательности «деления» деятелей 1937 года по категориям «жертвы» и «палачи», — хотя и до сего дня попытки такого деления весьма популярны.

Помню, как на рубеже 1950—1960-х годов нас пригласили на «нелегальную» выставку рисунков заурядненьшего, но идеологически активного графика, поставившего задачу наглядно представить 1937 год. Одновременно с нами эти рисунки разглядывали артисты недавно созданного театра «Современник» во главе с Олегом Ефремовым. Они особенно заахали перед рисунком «Тройка», где были изображены сидящие на сцене страшные трое обвинителей, а перед ними — многолюдный зал беззащитных обвиняемых. И я заметил тогда, вызвав недоумение и даже протест «либеральных» артистов, что эти трое судей почти наверняка вскоре будут пересажены в зал уже в качестве подсудимых...

Позднее факты подобного превращения вчерашних «палачей» в «жертвы» стали общеизвестны; так, например, крупнейшие военачальники Я.И. Алкснис, И.П. Белов, В.К. Блюхер, П.Е. Дыбенко и другие 11 июня 1937 года осудили на расстрел своих сослуживцев В.М. Примакова, М.Н. Тухачевского, И.П. Уборевича, И.Э. Якира и других, но в следующем, 1938 году сами были расстреляны...

И те, кто занят ныне главным образом выявлением «палачей» и, с другой стороны, «жертв» 1937 года, едва ли способны приблизиться к пониманию сути дела, — так же, как и те, кто видит главного или даже единственного «па-

лача» в Сталине, в его личном характере и индивидуальной воле. То, что происходило в 1937 году, было своего рода завершением громадного и многогранного движения *самой истории* страны, начавшегося примерно в 1934 году, после периода коллективизации. За краткий срок страна очень резко, можно даже сказать, до удивления резко *изменилась*, хотя знающим историю России в XX веке нет оснований особенно удивляться быстроте колоссальных перемен.

Так, 10(23) июня 1917 года Ленин на заседании Первого съезда Советов (большевики составляли там незначительное меньшинство — менее 10 процентов) объявил, что его партия готова взять власть в России. В 1930-х годах и позднее реакция эсеро-меньшевистского съезда на это заявление изображалась в виде приступа бессильной злобы; между тем очевидец, известный литератор Вячеслав Полонский, вспоминал в 1927 году, «как в июне 1917 года Первый съезд Советов хохотал над заявлением Ленина... несколько минут, которые показались мне очень долгими, съезд не мог успокоиться от хлынувшего на него веселья»[7]. Однако не прошло и полгода, как «весельчаки» вынуждены были осознать свою полнейшую недальновидность...

Скорее всего именно долгим хохотом встретили бы делегаты XVII съезда партии, избравшие 9 февраля 1934 года новый состав ЦК, чье-либо заявление о том, что в близком будущем почти две трети членов избранного ими верховного органа власти расстреляют «свои»... Но, повторяю, террор 1937 года — это только один из результатов совершавшейся с 1934 года политико-идеологической метаморфозы, хотя, конечно, наиболее поражающий ее результат...

1) «Контрреволюция», осуществляемая «по-революционному»...

Сосредоточение, даже, если прибегнуть к современному жаргонному словечку, «заклиненность» на фигуре Сталина фатально мешала и мешает увидеть реальное *дви-*

жение истории в 1930-х годах — движение, о котором достаточно весомо и верно сказал, например, такой деятель и идеолог, как Л.Д. Троцкий. Речь идет о его книге «Преданная революция», законченной к началу августа 1936 года (то есть еще до 1937-го и до расстрела Зиновьева и Каменева 25 августа 1936 года) и издававшейся также под названием «Что такое СССР и куда он идет?». Троцкий считал эту книгу «*главным* делом своей жизни»[8]. Однако нынешних авторов, пишущих о 1930-х годах, как правило, интересуют другие сочинения Троцкого, написанные несколько позже, — сочинения, посвященные «разоблачению» *личных* пороков Сталина. Дело в том, что в левых кругах Запада в течение 1930-х годов все нарастал культ Сталина, Троцкого это крайне раздражало, и он стремился всячески дискредитировать своего победившего «соперника». Эти сочинения Троцкого гораздо более легковесны, чем «Преданная революция», о чем без обиняков говорится даже в апологетической книге Исаака Дойчера «Троцкий в изгнании»[9], однако сегодняшние авторы, заклинившиеся на Сталине, ценят более всего именно «сталиниану» Троцкого.

В сочинении же «Преданная революция» Троцкий явно ставил перед собой задачу понять ход самой *истории*, а не личные сталинские «козни»:

«Достаточно известно, — совершенно верно писал он, — что *каждая революция* до сих пор вызывала после себя реакцию или даже *контрреволюцию*, которая, правда, никогда не отбрасывала нацию полностью назад, к исходному пункту... Жертвой первой же реакционной волны являлись, по общему правилу, пионеры, инициаторы, зачинщики, которые стояли во главе масс в наступательный период революции... Аксиоматическое утверждение советской литературы, будто законы буржуазных революций «неприменимы» к пролетарской, лишено всякого научного содержания»[10].

И далее Троцкий конкретизировал понятия «реакция» и «контрреволюция» непосредственно на «материале» жизни СССР в середине 1936 года: ...вчерашние классовые враги успешно ассимилируются советским общест-

вом... — писал он. — Ввиду успешного проведения коллективизации «дети кулаков не должны отвечать за своих отцов»...» Мало того: ...теперь и кулак вряд ли верит в возможность возврата его прежнего эксплуататорского положения на селе. Недаром же правительство приступило к отмене ограничений (это началось в 1935 году. — *В. К.*), связанных с социальным происхождением!» — восклицал в сердцах Троцкий (там же, с. 94, 95).

Ныне об этой стороне дела уже мало кто знает, а между тем «ограничения» были чрезвычайно значительными. Так, например, в высшие учебные заведения принимались почти исключительно «представители пролетариата и беднейшего крестьянства». Выразителен в этом отношении написанный в октябре 1923 года «отчет» профессора Факультета общественных наук (ФОН) Московского университета В.Я. Брюсова — знаменитейшего тогда поэта, ставшего в 1920 году большевиком. В отчете речь шла, в частности, о «чистке» студенческого состава: «...принимался во внимание и момент социальный... результат чистки оказался, в общем, удачным. Надо признать, что в прошлом, 1922/1923-м, академическом году состав студенчества ФОНа оставлял многого желать... В текущем году это значительно изменилось. Что касается 1-го курса, то в текущем году состав его должен оказаться совершенно иным, так как принимались почти исключительно окончившие рабфаки»[11] (то есть подготовительные «рабочие факультеты»).

Отказ от такого рода «ограничений» возмущал Троцкого, — хотя сам-то он вырос в весьма богатой семье... Резко писал он и о другом «новшестве» середины 1930-х годов: «По размаху неравенства в оплате труда СССР не только догнал, но и далеко перегнал (это, конечно, сильное преувеличение. — *В. К.*) капиталистические страны!.. трактористы, комбайнеры и пр., т.е. уже заведомая аристократия, имеют собственных коров и свиней... государство оказалось вынуждено пойти на очень большие уступки *собственническим и индивидуалистическим* тенденциям деревни...» (с. 106, 107, 109, 110).

С негодованием писал Троцкий и о стремлении возродить в СССР *семью*: «Революция сделала героическую попытку разрушить так называемый «семейный очаг», т. е. архаическое, затхлое и косное учреждение... Место семьи... должна была, по замыслу, занять законченная система общественного ухода и обслуживания», — то есть «действительное освобождение от тысячелетних оков. Доколе эта задача не решена, 40 миллионов советских семей остаются гнездами средневековья... Именно поэтому последовательные изменения постановки вопроса о семье в СССР наилучше характеризуют действительную природу советского общества... Назад к семейному очагу!.. Торжественная реабилитация семьи, происходящая одновременно — какое провиденциальное совпадение! — с реабилитацией рубля (имеется в виду денежная реформа 1935—1936 гг. — *В. К.*)... Трудно измерить глазом размах отступления!.. Азбука коммунизма объявлена «левацким загибом». Тупые и черствые предрассудки малокультурного мещанства возрождены под именем новой морали» (с. 121, 122, 127).

И другая сторона этой проблемы: «Когда жива была еще надежда сосредоточить воспитание новых поколений в руках государства, — продолжал Троцкий, — власть не только не заботилась о поддержании авторитета «старших», в частности отца с матерью, но, наоборот, стремилась как можно больше отделить детей от семьи, чтобы оградить их от традиций косного быта. Еще *совсем недавно*, в течение первой пятилетки (то есть в 1929—1933 годах. — *В. К.*), школа и комсомол широко пользовались детьми для разоблачения, устыжения, вообще «перевоспитания» пьянствующего отца или религиозной матери... этот метод означал *потрясение* родительского авторитета в *самых его основах*. Ныне и в этой немаловажной области произошел крутой поворот: наряду с седьмой (о грехе прелюбодеяния. — *В. К.*) пятая (о почитании отца и матери. — *В. К.*) заповедь полностью восстановлена в правах, правда, еще без бога... Забота об авторитете старших повела уже, впрочем, к изменению политики в отношении религии... Ныне штурм небес, как и штурм семьи, приостановлен...

По отношению к религии устанавливается постепенно режим иронического нейтралитета. Но это только первый этап...» (с. 128, 129).

Наконец, возмущался Троцкий, «советское правительство... восстанавливает *казачество* (выделено самим Троцким. — *В. К.*), единственное милиционное формирование царской армии (имелось в виду постановление ЦИК СССР от 20 апреля 1936 года. — *В. К.*)... восстановление казачьих лампасов и чубов есть, несомненно, одно из самых ярких выражений Термидора![12] Еще более оглушительный удар нанесен принципам Октябрьской революции декретом (от 22 сентября 1935 года. — *В. К.*), восстанавливающим офицерский корпус во всем его буржуазном великолепии... Достойно вниманья, что реформаторы не сочли нужным изобрести для восстановляемых чинов свежие названья (в сентябре 1935 года были возвращены отмененные в 1917-м звания «лейтенант», «капитан», «майор», «полковник». — *В. К.*)... В то же время они обнаружили свою ахиллесову пяту, не осмелившись восстановить звание генерала» (с. 182, 185). Впрочем, Троцкий, который был убит 20 августа 1940 года, успел убедиться в последовательности «реформаторов»: 7 мая 1940-го и генеральские звания были возрождены...

Итак, Троцкий определил поворот, совершавшийся в середине 30-х годов, как «контрреволюцию» (которая, помимо прочего, закономерно привела в конце концов к уничтожению массы революционных деятелей; Троцкий написал приведенные выше тексты еще до второго суда над группой Зиновьева — Каменева, обрекшего ее на казни). Естественно может возникнуть вопрос о своего рода абсурде: в стране идут *контрреволюционные* изменения, а между тем репрессируемых квалифицируют именно как *контрреволюционеров*! Это было настолько общепринятым обвинением, что возникло даже ходовое словечко «каэры» (так произносилась аббревиатура «КР»). Но к вопросу об этом «абсурде» мы еще вернемся; рассмотрим сначала феномен «контрреволюции» 1930-х годов в освещении другого «наблюдателя».

В том же 1936 году, когда Троцкий писал о громадных

изменениях, произошедших за краткий срок в СССР, о том же самом, но с прямо *противоположной* «оценкой» писал видный мыслитель Георгий Федотов, эмигрировавший из СССР осенью 1925 года, то есть сравнительно поздно (это обеспечило ему хорошее знание послереволюционного положения на родине). Он утверждал, что 1934 год начал «новую полосу русской революции... Общее впечатление: лед тронулся. Огромные глыбы, давившие Россию *семнадцать лет* своей тяжестью, подтаяли и рушатся одна за другой. Это настоящая *контрреволюция*, проводимая сверху. Так как она не затрагивает основ ни политического, ни социального строя, то ее можно назвать бытовой контрреволюцией. Бытовой и вместе с тем духовной, идеологической... право юношей на любовь и девушек на семью, право родителей на детей и на приличную школу, право всех на «веселую жизнь», на елку (в 1935 году было «разрешено» украшать новогодние — бывшие «рождественские» — елки, что я, тогда пятилетний, хорошо помню. — *В. К.*) и на какой-то минимум обряда — старого обряда, украшавшего жизнь, — означает для России восстание из мертвых...»[13]

И далее: «Начиная с убийства Кирова (1 декабря 1934 г.) в России не прекращаются аресты, ссылки, а то и расстрелы членов коммунистической партии. Правда, происходит это под флагом борьбы с остатками троцкистов, зиновьевцев и других групп левой оппозиции. Но вряд ли кого-нибудь обманут эти официально пришиваемые ярлыки. Доказательства «троцкизма» обыкновенно шиты белыми нитками. Вглядываясь в них, видим, что под троцкизмом понимается вообще *революционный*, *классовый* или *интернациональный* социализм... Борьба... сказывается во всей культурной политике. В школах отменяется или сводится на нет политграмота. Взамен марксистского обществоведения восстановляется история. В трактовке истории или литературы объявлена борьба экономическим схемам, сводившим на нет культурное своеобразие явлений... Можно было бы спросить себя, почему, если марксизм в России приказал долго жить, не уберут со сцены его полинявших декораций? Почему на каждом шагу, изме-

няя ему и даже издеваясь над ним, ханжески бормочут старые формулы?.. Отрекаться от своей собственной революционной генеалогии — было бы безрассудно. Французская республика 150 лет пишет на стенах «Свобода, равенство, братство», несмотря на очевидное противоречие двух последних лозунгов самим основам ее существования» (там же, с. 86, 87); и в самом деле — между богатыми собственниками и наемными рабочими и служащими нет ни «братства», ни «равенства»...»

Характерно, что Георгий Федотов здесь же вспомнил о Троцком: «Революция в России *умерла*. Троцкий наделал много ошибок, но в *одном* он был прав. Он понял, что его личное падение (в 1927 году. — *В. К.*) было русским «термидором». Режим, который сейчас установился в России, это уже не термидорианский режим. Это режим Бонапарта» (там же, с. 85), — то есть нечто подобное режиму ставшего в конце концов императором полководца Французской революции Наполеона.

Немаловажно, что *единое* понимание (правда, с совершенно разной «оценкой»!) происходившего в 1934—1936 годах было высказано двумя столь различными деятелями. Правда, оба они явно *преувеличивали* результаты «контрреволюционных» изменений, делая это опять-таки по разным причинам: Троцкий стремился как можно более решительно разоблачить «предательство» Революции, а Федотов, напротив, — внушить надежду на «воскрешение» России, какой она была до революционного катаклизма. И то и другое стремления мешали объективному пониманию происходившего.

В рассуждениях Троцкого с очевидностью предстает «дурное» противоречие: он ведь сам заявил, что «каждая революция» сменялась «реакцией» или даже «контрреволюцией», то есть справедливо увидел в перевороте 1934—1936 годов воплощение неотменимой *исторической закономерности*, однако далее начал негодовать по поводу вполне «естественных» последствий этого поворота истории (определенное «восстановление» прошлого).

В свою очередь, Федотов совершенно уместно напом-

нил о ходе Французской революции, которая закономерно породила наполеоновскую империю, однако тут же заговорил о возможности «восстания из мертвых» дореволюционной России, — хотя, как ему хорошо было известно, ни «бонапартизм», ни даже позднейшая *реставрация* монархии (в 1814 году) не смогли «отменить» основные результаты Французской революции (стоит, правда, отметить, что впоследствии Федотов «разочаровался» в совершавшейся в СССР 1930-х годов, согласно его определению, «контрреволюции» и перестал усматривать в ней «восстание из мертвых» прежней России, — но это уже другой, особый вопрос).

При всех возможных оговорках и Троцкий, и Федотов были правы в основной своей мысли — в том, что страна начиная с 1934 года переживала «контрреволюционный» по своему глубокому смыслу поворот.

Нельзя не задуматься о самом этом слове «контрреволюция». В устах Троцкого оно имело самый что ни есть «страшный» обличительный смысл, в то время как Федотова это слово явно не «пугало». Об этом необходимо сказать потому, что и до сего дня в массовом сознании «контрреволюция» воспринимается скорее «по-троцки», чем «по-федотовски», — хотя в истории нет ничего «страшнее» именно *революций* — глобальных катастроф, неотвратимо ведущих к бесчисленным жертвам и беспримерным разрушениям.

Господствовавшее в продолжение десятилетий прославление и Российской революции, и — что закономерно — любых революций вообще посеяло прочное, но заведомо ложное представление о сущности этих катаклизмов. Беспощадность, которая была присуща всем революциям, когда они сталкивались с каким-либо сопротивлением, поистине не сравнима ни с чем. Вот типичные факты.

После победы Английской революции в 1648 году часть тогдашней Великобритании — Ирландия — не признала новой власти. Началась жесточайшая борьба, и в 1650 году, как констатируется в специальном исследовании, «английское командование прибегло... к таким средствам, как выкуривание (поджог мелколесья) и голодная блокада (под-

жог и истребление всего, что могло служить повстанцам продовольствием)... После трех лет борьбы Ирландия к концу 1652 г. лежала в развалинах. Запустение страны было столь велико, что можно было проехать десятки верст и не встретить ни одного живого существа... население Ирландии сократилось *почти вдвое*»[14].

Через полтораста лет, во время Французской революции, примерно то же самое произошло в своеобразной области страны — *Вандее*, которая также сопротивлялась новой власти. Борьба с вандейцами «была чрезвычайно кровопролитной... по наивысшим оценкам, погиб 1 млн. человек (учитывая тогдашнее население Франции — примерно 25 млн. человек, — это было колоссальное количество. — *В. К.*)... целые департаменты обезлюдели»[15].

В ходе Российской революции такая же ситуация имела место, например, в Области Войска Донского (ее и назвали тогда «казацкой Вандеей»), где также погибла примерно половина населения... И, конечно, жертвы «*контрреволюции*» 1930-х годов несопоставимы в этом отношении с результатами *Революции*: выше было показано, что в 1934—1938 годах погибло примерно в 30 раз (!) меньше людей, чем в 1918—1922 годах...

Впрочем, к этой скорбной теме мы еще вернемся. Сначала следует рассмотреть конкретные черты «контрреволюционного» поворота середины 1930-х годов.

Кардинально изменилось тогда само отношение к «дореволюционной» истории России. В 1930—1932 годах издавалась десятитомная «Малая советская энциклопедия», в статьях которой, несмотря на их предельную лаконичность, все же нашлось место для всяческого поношения величайших исторических деятелей России:

«Александр Невский... оказал ценные услуги новгородскому торговому капиталу... подавлял волнения русского населения, протестовавшего против тяжелой дани татарам. «Мирная» политика Александра была оценена ладившей с ханом русской церковью: после смерти Александра она объявила его святым (т. 1, с. 216). ...Минин-Сухорук... нижегородский купец, один из вождей городской торговой

буржуазии... Буржуазная историография идеализировала М.-С. как бесклассового борца за единую «матушку Россию» и пыталась сделать из него национального героя (т. 5, с. 229)... Пожарский... князь... ставший во главе ополчения, организованного мясником Мининым-Сухоруким на деньги богатого купечества. Это ополчение покончило с крестьянской революцией (т. 6, с. 651)... Петр I... был ярким представителем российского первоначального накопления... соединял огромную волю с крайней психической неуравновешенностью, жестокостью, запойным пьянством и безудержным развратом» (там же, с. 447) и т.д. и т.п.

Начиная с 1934 года об этих русских деятелях заговорили совершенно по-иному, и вскоре вся страна восхищенно воспринимала апофеозные кинопоэмы «Петр Первый» (1937), «Александр Невский» (1938), «Минин и Пожарский» (1939), «Суворов» (1940) и др.

Нельзя не вспомнить и о том, что в 1929—1930 годах по обвинению в «монархическом заговоре» и других подобных грехах было арестовано *большинство* виднейших историков России разных поколений — С.В. Бахрушин, С.К. Богоявленский, С.Б. Веселовский, Ю.В. Готье, Б.Д. Греков, В.Г Дружинин, А.И. Заозерский, Н.П. (не путать с Д.С.) Лихачев, М.К. Любавский, В.И. Пичета, С.Ф. Платонов, С.В. Рождественский, Б.А. Романов, Е.В. Тарле, Л.В. Черепнин, А.И. Яковлев и многие другие. Но всего через несколько лет все они — за исключением Любавского, Платонова и Рождественского, которые, увы, не дожили до освобождения — не только возвратились к работе, но и были вскоре удостоены самых высоких почестей и наград. К этому следует добавить, что почти все «обвинители» С.Ф. Платонова и других, начиная от воинствующих марксистских историков Г.С. Фридлянда и М.М. Цвибака и кончая руководителями ОГПУ и ЦКК ВКП(б) Я.С. Аграновым и Я.Х. Петерсом, были в 1937—1938 годах репрессированы. Поистине символическим актом явилось переиздание в том же 1937 году основного труда скончавшегося в 1933-м главного обвиняемого, С.Ф. Платонова, и избрание в 1939 году недавних «врагов» Ю.В. Готье дейст-

вительным членом и С.В. Бахрушина — членом-корреспондентом Академии наук...[16]

Конечно, коренная перемена в отношении власти к дореволюционной истории (и, соответственно, историкам) — это только одна сторона поворота, о котором идет речь, и для воссоздания полной картины пришлось бы подробно говорить чуть ли не обо *всех* областях и аспектах жизни страны в 1934—1936 годах.

Но в данном случае важнее всего понять, что столь масштабный и многосторонний поворот неверно, даже нелепо рассматривать как нечто совершившееся по *личному* замыслу и воле Сталина. Как уже говорилось, позднее тот же Троцкий, стремясь переломить нараставшие тогда симпатии левых кругов Запада к Сталину, приписывал его личным усилиям чуть ли не все, что происходило в 1930-х годах в СССР. Об этом критически говорится в восторженном в целом жизнеописании Троцкого, принадлежащем Исааку Дойчеру, который, в частности, счел нужным написать: «Апологетам Сталина... Троцкий отвечал с таким гневом, который, хотя был и оправдан, выставлял его фольклорным злоумышленником»[17], — то есть сочинителем «сказок» в духе упомянутого выше «Тараканища».

Но это, повторяю, было попыткой остановить рост культа Сталина на Западе. На деле же Троцкий был, конечно, много умнее и в своем дневнике (который был опубликован лишь в 1986 году) вполне обоснованно записал еще 18 февраля 1935 года, что «победа... Сталина была предопределена. Тот результат, который *зеваки* и *глупцы* (позже он сам, в сущности, присоединился к таковым! — *В. К.*) приписывают *личной* силе Сталина, по крайней мере его необыкновенной хитрости, был заложен глубоко в *динамику исторических сил*. Сталин явился лишь *полубессознательным* выражением второй главы революции, ее похмелья»[18].

Впрочем, и в своем опубликованном в 1936 году сочинении «Преданная революция» Троцкий, ставя вопрос: «почему победил Сталин?», ответил так (эти слова уже цитировались): «каждая революция вызывала после себя реакцию или даже контрреволюцию», — то есть суть дела заключалась в закономерном ходе истории *после любой*

революции, а не в «индивидуальной» идеологии и политике Сталина, который, правда, сумел так или иначе понять реальную «динамику исторических сил».

Эту «динамику», как видим, понимал и сам Троцкий, но он — в сущности, противореча своему собственному верному «диагнозу», — оценивал закономерный отказ от крайних разрушительных последствий революционного катаклизма безоговорочно отрицательно. Он явно жаждал все более интенсивного «углубления» революционной «переделки» жизни, в конце концов — полного уничтожения складывавшегося в течение столетий бытия России, пытаясь приписывать это устремление большинству ее населения, которое *будто бы* возмущалось явлениями «реставрации».

В противовес Троцкому Георгий Федотов (который, как мы помним, сам был в свое время, до революции, членом РСДРП) писал в том же 1936 году: «Россия, несомненно, возрождается материально, технически, культурно. ...Одно время можно было бояться, что сознательное разрушение семьи и идеала целомудрия со стороны коммунистической партии загубит детей. Мы слышали об ужасающих фактах разврата в школе, и литература отразила юный порок. С этим, по-видимому, теперь покончено... Школы подтянулись и дисциплинировались. Нет, с этой стороны русскому народу не грозит гибель... строится, правда, очень элементарное, но уже нравственное воспитание. Порядок, аккуратность, выполнение долга, уважение к старшим, мораль обязанностей, а не прав — таково содержание нового послереволюционного нравственного кодекса. Нового в нем мало. Зато много того, что еще недавно клеймилось как буржуазное... В значительной мере реставрировано десятословие (то есть десять христианских заповедей, — что, в противоположность Троцкому, Федотов приветствует. — *В. К.*). Правда, по-прежнему с приматом социального, с принесением лица в жертву обществу, но и лицо уже имеет некоторый малый круг, пока еще плохо очерченный, своей жизни, своей этики: дружбы, любви, семьи. И тот коллектив, которому призвана служить личность, уже не

узкий коллектив рабочего класса — или даже *партии*, а нации, родины, отечества, которые объявлены *священными*. Марксизм — правда, не упраздненный, но истолкованный — не отравляет в такой мере отроческие души философией материализма и классовой ненависти. Ребенок и юноша поставлены непосредственно под воздействие благородных традиций русской литературы. Пушкин, Толстой — пусть вместе с Горьким — становятся воспитателями народа. Никогда еще влияние Пушкина в России не было столь широким. Народ впервые нашел своего поэта. Через него он открывает собственную свою историю. Он перестает чувствовать себя голым зачинателем новой жизни, будущее связывается с прошлым. В удушенную рационализмом, технически ориентированную душу вторгаются влияния и образы иного мира, полнозвучного и всечеловечного, со всем богатством этических и даже религиозных эмоций. Этот мир уже не под запретом» (цит. изд., с. 108—110).

Федотов, конечно же, и в этом рассуждении (как и в цитированном выше) весьма и весьма *преувеличивал* плоды чаемого им «воскрешения» России, но само *направление* поворота — которое так возмущало Троцкого — он обрисовал верно (и сочувственно). И это был, повторю еще раз, ход самой *истории*, а не реализация некой личной программы Сталина, который только в той или иной мере *осознавал* совершавшееся историческое движение и так или иначе закреплял его в своих «указаниях». И, как явствует из многих фактов, его поддержка этого объективного хода истории диктовалась прежде всего и более всего нарастанием угрозы глобальной *войны*, которая непосредственно стала в повестку дня после прихода к власти германских нацистов в 1933 году.

Вполне естественно, что Георгий Федотов не без волнения писал в конце 1936 года: «Еще очень трудно оценить отсюда (то есть из эмиграции. — *В. К.*) силу и живучесть нового русского патриотизма... Сталин сам, в годы колхозного закрепощения, безумно подорвал крестьянский патриотизм, в котором он теперь столь нуждается... Мы с тре-

вогой и болью следим отсюда за перебоями русского надорванного сердца. Выдержит ли?» (с. 124).

То есть победа в грядущей войне, по убеждению Федотова, всецело зависит от того, насколько глубок и всеобъемлющ совершающийся поворот. Троцкий же, проявляя в данном случае поразительную *недальновидность*, утверждал тогда же: «Опасность войны и поражения в ней СССР есть реальность... Судьба СССР будет решаться в последнем счете не на карте генеральных штабов, а на карте *борьбы классов*. Только европейский пролетариат, непримиримо противостоящий своей буржуазии... сможет оградить СССР от разгрома...»[19] (на деле «революционный» пролетариат не играл во Второй мировой войне существенной роли, и вполне закономерно, что в ходе этой войны был распущен Коминтерн).

Позднее, в 1939 году — то есть уже после периода террора, — Троцкий писал: «Сталин не способен воевать... Он не способен дать ничего, кроме поражений». И объяснял это тем, что в СССР «задушен» (к 1939 году) «*революционный* народ»[20]. То есть Троцкий представлял себе войну с нацистской Германией как, по сути дела, «гражданскую», «классовую» войну...

Троцкий «забыл» или же вообще не сумел понять глубокое различие между «классовыми» схватками и войной в собственном смысле слова. Когда РСФСР в 1920 году оказалась в состоянии войны с Польшей, с поляками как *нацией*, предреввоенсовета Троцкий отправил командовать сражениями почти весь интернациональный сонм победителей в «*классовых* битвах»: руководили польской войной Гай (Бжишкян), Гамарник, Корк, Лазаревич, Мясников (Мясникян), Раковский, Розенгольц, Смилга, Тухачевский, Уборевич, Якир и другие — в числе их и Сталин-Джугашвили. Но в единоборстве со сравнительно небольшой польской *нацией* они потерпели настолько сокрушительное поражение, что пришлось отдать Польше громадные территории Украины и Белоруссии, возвращенные лишь в 1939 году... Нельзя исключить, что Сталин, испытавший на

себе горечь поражения 1920 года, в конечном счете извлек из него важный урок...

Господствует мнение, что гибель в 1937—1938 годах *всех* (кроме Сталина) перечисленных руководителей прискорбной войны с Польшей привела к крайне тяжким последствиям в 1941 году. Но это, надо прямо сказать, весьма *спорный* вопрос. Гитлер, который отнюдь не был лишен проницательности (хотя это принято отрицать), в конце войны неоднократно говорил об одной из причин победы СССР: «Правильно сделал Сталин, что уничтожил всех своих военачальников...»[21] Но к этой нелегкой проблеме мы еще вернемся.

* * *

26 января 1934 года Сталин заявил на заседании XVII съезда партии об «изменении политики Германии», о смене предшествующей — «мирной» — политической линии Германии в отношении СССР «политикой — как он иронически определил в кавычках — «новой», напоминающей в основном политику бывшего германского кайзера, который оккупировал одно время Украину и предпринял поход против Ленинграда»[22] (то есть — тогда — Петрограда). Речь шла о политике Германии в 1918 году, то есть уже в отношении советской, а не царской России. Но, конечно, «политика кайзера» была той же самой до 1917 года; об этом просто неудобно было говорить в начале 1934 года, когда еще всецело господствовало большевистское толкование Первой мировой войны, согласно которому царская Россия рассматривалась в качестве столь же враждебной пролетариату силы, как и кайзеровская Германия...

Но вот что в высшей степени важно. Сталин, говоря об угрозе войны с Германией, подчеркнул: «...дело здесь *не в фашизме*, хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной (Италия как таковая, сама по себе, действительно никогда не имела планов войны против СССР. —

В. К.)... Дело в изменении политики Германии» (там же). Эта постановка вопроса и по сей день вызывает негодование тех или иных идеологов: смотрите, говорят они, Сталин еще в январе 1934 года готов был иметь «наилучшие отношения» с фашизмом! Между тем в стратегическом и, шире, геополитическом плане такая постановка вопроса была всецело обоснованной. Ибо германский фашизм или, точнее, нацизм лишь в *пропагандистских* целях уверял, что ведет борьбу именно и только с *большевизмом*; действительной его целью было сокрушение России как геополитической силы, и Сталин правильно видел в этом давнюю «традицию»: политика Гитлера была «новой» именно в кавычках. Не исключено, что разведка сообщила Сталину хотя бы о *первом* выступлении Гитлера перед германским генералитетом 3 февраля 1933 года (фюрер нацистов стал рейхсканцлером всего четырьмя днями ранее — 30 января): «Цель всей политики в одном: снова завоевать политическое могущество», а затем — «захват нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадная германизация»[23].

Иными словами, противостояние «фашизм — большевизм» — это лишь внешняя оболочка принципиально более глубокого и широкого исторического содержания. Заявив еще в 1934 году, что «дело не в фашизме», Сталин обнаружил тем самым осознание внутреннего смысла этого геополитического противостояния и, естественно, по-иному стал воспринимать историческое прошлое России, ограничившись, правда, поначалу напоминанием о политике кайзеровской Германии в 1918 году, то есть уже *после* превращения Российской империи в РСФСР, а не о войне, начавшейся в 1914 году.

Однако, осознав, что назревающая война будет, по существу, войной не фашизма против большевизма, но Германии против России, Сталин, естественно, стал думать о необходимости «мобилизации» именно России, а не большевизма. По-видимому, именно в этом и заключалась *главная* причина сталинской поддержки той «реставрации», которая так или иначе, но закономерно совершалась в 1930-х

годах в самом бытии страны (а не в личной политической линии Сталина, которая ее только «оформляла»).

Впоследствии Сталин будет утверждать, что он всегда, с молодых лет был озабочен судьбой России (а не только большевистской политикой); так, выступая по радио с «обращением к народу» 2 сентября 1945 года, он скажет: «...поражение русских войск в 1904 году в период русско-японской войны... легло на нашу страну черным пятном... Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной...»[24]

Ясно помню, что я, тогда пятнадцатилетний, испытал чувство глубокого удивления, услышав из тарелки репродуктора эти произносимые подчеркнуто спокойным тоном Сталина слова. Об историческом «реванше» за поражение 1904 года как-то ничего до тех пор не говорилось, это поражение было только одним из поводов для обличения «самодержавия» (например, во всем известной тогда повести Валентина Катаева «Белеет парус одинокий»). И, несмотря на свой столь юный возраст, я не очень поверил тому, что Сталин в самом деле с 1904 года «ждал» этого реванша. Сейчас я допускаю, что он мог его ждать, но только не сорок, а максимум десять лет...

Ответы на подобные вопросы весьма важны, ибо речь идет в конечном счете вовсе не об изменении личных воззрений Иосифа Виссарионовича, а о понимании истории страны. Ныне с прямо противоположных сторон Сталина стремятся представить, так сказать, прирожденным, исконным «русским патриотом», хотя одни — так или иначе чуждые России авторы — говорят об этом с проклятиями, а другие, напротив, с удовлетворением или даже восхищением.

М.П. Лобанов, которого я издавна глубоко уважаю и — решаюсь печатно зафиксировать это задушевное слово — люблю, все же, думаю, не прав, утверждая на страницах «НС» (1996, № 7, с. 175—176), что Сталин был «непреклонным государственником... (тут же конкретизируя: «сторонником «органического» развития государства как целого,

которое вбирает в себя и подчиняет себе все его составляющие — личность, классы и т.д.») уже в то предоктябрьское время, когда «ленинская гвардия» жаждала превращения России в костер мировой революции». И еще до Октября Сталин-де выступал в этом вопросе «в противовес Ленину».

В качестве доказательства приводится заявление Сталина на VI съезде партии в июле 1917 года: «...не исключена возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму». И Михаил Петрович заключает, что уже тогда Сталин видел будущую Россию «государственностью («социализм в одной отдельно взятой стране»), независимой от мировой революции, мировых капиталистических сил».

Однако Сталин делал доклад на VI съезде по прямому поручению Ленина, который в тот момент находился на «нелегальном положении». И процитированные сталинские слова явно опирались на то, что было сказано в работе Ленина, написанной еще двумя годами ранее, в августе 1915 года: ...возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране. Победивший пролетариат этой страны, экспроприировав капиталистов и организовав у себя социалистическое производство, встал бы против остального капиталистического мира...»; этот ленинский прогноз Сталин, кстати сказать, впоследствии неоднократно цитировал.

И при всем желании едва ли можно обнаружить существенные противоречия между постановкой подобных вопросов у Ленина и Сталина в 1910—1920-х годах. Даже в позднейшем часто цитируемом письме Сталина к Демьяну Бедному (от 12 декабря 1930 года) высказано именно то понимание «национальной гордости», которое было сформулировано Лениным еще в 1913 году и согласно которому в историческом прошлом России ценно *одно только* революционное движение. «Руководители революционных рабочих всех стран, — писал в самом конце 1930 года Сталин, — с жадностью изучают поучительнейшую историю рабочего класса России, его прошлое, прошлое России,

зная, что кроме России реакционной существовала еще Россия революционная, Россия Радищевых и Чернышевских, Желябовых и Ульяновых (имелся в виду старший брат Ленина. — *В. К.*), Халтуриных и Алексеевых». Между тем вы, Демьян Бедный, возмущался Сталин, «запутавшись между скучнейшими цитатами из сочинений Карамзина и не менее скучными изречениями из «Домостроя», стали возглашать на весь мир, что Россия в прошлом представляла сосуд мерзости и запустения»[25].

Исследователь этого периода Ю.В. Емельянов справедливо писал о сталинском послании «запутавшемуся» Демьяну: «Из этого письма ясно, что И.В. Сталин решил отказаться от оголтелой дискредитации русского национального характера... лишь постольку, поскольку это вредило развитию мировой революции»[26]. Не приходится уже говорить о том, что в качестве объектов «национальной гордости» предложены главным образом *террористы*...

До 1934 года, в сущности, нет и намека на приверженность Сталина собственно русской (а не только *революционной*) теме. В своем докладе на XVI съезде партии (27 июня 1930 года) он посвятил целый раздел разоблачению «уклона к великорусскому шовинизму»: «Нетрудно понять, что этот уклон отражает стремление отживающих классов господствовавшей ранее великорусской нации вернуть себе утраченные привилегии. Отсюда опасность великорусского шовинизма, как *главная* опасность» (т. 12, с. 370—371). К этому времени, кстати сказать, уже были арестованы почти все виднейшие русские историки...

Позднее, 5 февраля 1931 года, Сталин публикует следующее прямо-таки удивительное рассуждение: «История старой России (вся ее история вообще! — *В. К.*) состояла, между прочим, в том, что ее *непрерывно* били... Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны» и т.д. Впоследствии Сталин «вспомнит» и о Дмитрии Донском, и о Суворове и Ушакове, триумфально бивших этих самых «турецких беков», и о сокрушающих победах России над «шведскими феодалами», которые в результате навсегда отказались от каких-либо военных предприятий вообще, и о Минине и

Пожарском и т.д. Но, повторяю, это было позже — после 1934 года, явившего собой определенную историческую грань. И опять-таки повторю, что суть дела не в выяснении развития личных сталинских представлений, а в понимании исторического развития самой страны.

Приписывание Сталину роли инициатора того (разумеется, весьма относительного) «воскрешения» России, которое совершалось в 1930-х годах, несостоятельно уже хотя бы потому, что в течение всего послеоктябрьского времени в стране было немало пользовавшихся более или менее значительным влиянием людей, которые никогда и не «отказывались» от тысячелетней России, — несмотря на риск потерять за эту свою приверженность свободу или даже жизнь. Ведь именно таковы были убеждения названных выше крупнейших историков во главе с С.Ф. Платоновым, арестованных в 1929—1930 годах! То же самое было присуще Сергею Есенину и писателям его круга (Клюев, Клычков, Павел Васильев и другие), которых начали арестовывать еще в 1920-х годах. И с теми или иными оговорками это можно сказать и о таких достаточно влиятельных в 1920-х — начале 1930-х годов писателях (пусть и очень разных), как Михаил Булгаков, Иван Катаев (не путать с Валентином!), Леонид Леонов, Михаил Пришвин, Алексей Толстой, Вячеслав Шишков, Михаил Шолохов, да и многих других. Притом нет сомнения, что за этими писателями стояла, как говорится, целая армия читателей, в той или иной мере разделявших их убеждения. Люди этого склада вели более или менее упорную духовную борьбу за Россию, и совершенно ясно, что поворот середины 1930-х годов был подготовлен и их усилиями.

Стоит коснуться здесь одного эпизода из жизни Михаила Булгакова — тем более что он преподносился подчас с грубейшими искажениями. Так, театровед А. Смелянский писал в своем изданном в 1989 году 50-тысячным тиражом сочинении: «Осенью 1936 года в доме Булгаковых были поражены разгромом «Богатырей» в Камерном театре по причине «глумления над крещением Руси». В 1939 году ура-патриотические тенденции стали официозной

доктриной режима»[27] Незнакомый с фактами читатель неизбежно поймет процитированные фразы в том смысле, что-де «в доме Булгаковых были поражены» *прискорбно* или даже возмущенно... На деле же все было, как говорится, с точностью до наоборот.

Пресловутая «опера» по пьеске Демьяна Бедного-Придворова была беспримерным издевательством над «золотым веком» Киевской Руси — над великим князем Владимиром Святославичем, его славными богатырями и осуществленным им Крещением Руси. «Опера» эта была поставлена впервые еще в 1932 году и всячески восхвалялась. Журнал «Рабочий и театр» захлебывался от восторгов: «Спектакль имеет ряд смелых проекций в современность, что повышает политическую действенность пьесы. Былинные богатыри выступают в роли жандармской охранки. Сам князь Владимир... к концу спектакля принимает образ предпоследнего царя-держиморды» и т.п. (1934, № 1, с. 14). Через четыре года, в 1936-м, один из влиятельнейших режиссеров, Таиров-Корнблит, решил заново поставить в своем театре эту стряпню, — явно не понимая, что наступает иное время. «Спектакль» был, если воспользоваться булгаковскими образами, зрелищем, организованным Берлиозом на стишки Ивана Бездомного (еще не «прозревшего»).

Е.С. Булгакова записала в своем дневнике 2 ноября 1936 года: «Днем генеральная репетиция «Богатырей» в Камерном. Это чудовищно позорно». А 14 ноября она записывает: «Миша сказал: «Читай» и дал газету. Театральное событие: постановлением Комитета по делам искусств «Богатыри» снимаются, в частности, за глумление над Крещением Руси. Я была потрясена»[28]. Вот фрагменты из постановления: «Спектакль... а) является попыткой возвеличивания разбойников Киевской Руси как положительный революционный элемент, что противоречит истории... б) огульно чернит богатырей русского былинного эпоса, в то время как главнейшие из богатырей являются... носителями героических черт русского народа; в) дает антиисторическое и издевательское изображение крещения Руси,

являвшегося в действительности положительным этапом в истории русского народа...»

Все это настолько «отличалось» от насаждаемой ранее идеологии, что «потрясение», испытанное и супругой писателя и, без сомнения, им самим, вполне понятно. Не прошло и десяти дней, как М.А. Булгаков (23 ноября) делает наброски к либретто другой *оперы*, озаглавленные для начала просто: «О Владимире»[29]. Он сгоряча преувеличил последствия совершающегося политико-идеологического поворота, но, очевидно, понял затем его «ограниченность» и не продолжил работу над произведением о Крестителе Руси.

* * *

Но поворот все же совершался.

Как мы видели, Троцкий был непримиримым противником этого поворота. В первое послереволюционное десятилетие он — о чем подробно говорилось выше — стремился постоянно подчеркивать «видимость» *русского национального* характера революции, но, когда видимость начала становиться реальностью, он не жалел проклятий по этому поводу. Однако совершенно неверно полагать, что яростными противниками «реставрации» были только Троцкий и близкие ему деятели «левацкого толка». Бухарин, который в середине 1920-х годов активнейшим образом боролся против Троцкого, в середине 1930-х годов мог бы быть его вернейшим союзником.

В последние годы фигура Бухарина была представлена множеством авторов в заведомо ложном освещении — притом, пожалуй, в большей мере, чем какой-либо другой «вождь». Это искажает и общую картину 1920—1930-х годов, и потому необходимо хотя бы кратко сказать о действительной сущности идеологии Бухарина.

В 1930-х годах Троцкий — что вполне понятно — сделал главной мишенью своих обличений Сталина, который в результате стал восприниматься как главный или даже единственный его враг. Между тем ранее, сразу после оконча-

тельного отстранения его от власти в октябре 1927 года, Троцкий совершенно недвусмысленно писал: «Всем известно, что Бухарин был *главным* и, в сущности, *единственным* теоретиком всей кампании против троцкизма..:»[30] Ныне нередко утверждают, что за спиной Бухарина стоял Сталин, который им манипулировал. Но это едва ли верно. Бухарин — что явствует из множества его вполне определенных высказываний — к середине 1920-х годов проникся чрезвычайно тревожными опасениями, полагая, что преобладающее в стране крестьянство, если его охватит сильное недовольство, неизбежно погубит большевистскую власть. И в «левацкой» программе Троцкого и его единомышленников, постоянно требовавших усиления нажима на «мелкую буржуазию», Бухарин видел смертельную угрозу. Это выражено в целом ряде его важнейших докладов и статей 1925—1927 годов, посвященных непримиримой борьбе с «троцкизмом».

В докладе же 13 апреля 1928 года Бухарин удовлетворенно констатировал: «После разгрома оппозиции (троцкистской. — *В. К.*) вся наша партия, естественно, должна приняться за деловую работу»[31]. Однако всего лишь через полтора месяца, 28 мая, Сталин неожиданно выступил с заявлением о необходимости неотложной коллективизации (об этом подробно говорилось выше). И, как иронически писал 7 февраля 1930 года — уже в Константинополе — высланный из СССР Троцкий, «правое крыло (Бухарин, Рыков, Томский) порвало со Сталиным, обвинив его в троцкизме...»[32].

Благодаря этому конфликту со Сталиным Бухарин обрел, пользуясь модным сегодня словечком, имидж «защитника крестьянства» — крестьянства в целом, включая «кулаков» — и потому чуть ли не патриота, — поскольку речь шла прежде всего о *русском* крестьянстве; именно так его необоснованно воспринимал, в частности, ряд писателей есенинского круга. И в наше время сей бухаринский имидж внедрен в сознание самых широких кругов.

В действительности же Бухарин, выступая против «сплошной коллективизации», стремился «защищать» тем

самым вовсе не крестьянство, а большевистскую власть, для которой, по его убеждению, крестьянское сопротивление представляло смертельную опасность. В своем вызвавшем резкие нападки Сталина докладе «Политическое завещание Ленина» (21 января 1929 года) он заявил, что, «если возникнут *серьезные классовые разногласия*» (выделено самим Бухариным) между рабочим классом и крестьянством, «гибель Советской республики *неизбежна*»[33].

И нетрудно показать, что своей репутацией защитника крестьянства и даже — страшно подумать! — кулака Бухарин целиком и полностью обязан именно *Сталину* и его сподвижникам по борьбе с «правым уклоном». Стремясь всячески очернить Бухарина, ему совершенно безосновательно приписали тогда эти ни в коей мере не свойственные ему устремления (для политической борьбы такое искажение взглядов противника — дело типичное).

По мере развертывания коллективизации Бухарин убедился в том, что ни о какой «гибели Советской республики» не может идти речи, и в статье, опубликованной в «Правде» 19 февраля 1930 года, далеко «обгоняя» самого Сталина, громогласно заявил, что с кулаками «нужно разговаривать языком свинца» (эти его слова уже цитировались).

После этого с Бухарина были полностью сняты те — в сущности, чисто *клеветнические* — обвинения, в силу которых он предстал как некий пособник кулачества; сохранилось лишь обвинение в крайнем *преувеличении* кулацкой опасности. Судите сами: в своем «заключительном слове» на XVI съезде партии (2 июля 1930 года) Сталин свел всю «вину» Бухарина и «правого уклона» в целом к необоснованной «тревоге», которую вызвало у них решение о «чрезвычайных мерах против кулаков»: «Помните, — вопрошал Сталин, — какую истерику закатывали нам по этому случаю лидеры правой оппозиции?.. «Не лучше ли проводить либеральную политику в отношении кулаков? Смотрите, как бы чего не вышло из этой затеи»... Появилась у нас где-либо трудность, загвоздка, — они уже в тревоге... приходят в ужас и начинают вопить о катастрофе, о гибели Советской власти... И — «пошла писать губерния»... Буха-

рин пишет по этому поводу тезисы и посылает их в ЦК, утверждая, что политика ЦК довела страну до гибели... Рыков присоединяется к тезисам Бухарина... Правда, потом, через год, когда всякому дураку становится ясно, что... опасность не стоит и выеденного яйца, правые уклонисты начинают приходить в себя... заявляя, что они не боятся... Но это через год. А пока — извольте-ка маяться с этими канительщиками...»[34]

Поскольку с лидеров так называемых «правых» были тем самым сняты заведомо клеветнические обвинения в защите кулаков, то есть «классового врага», Бухарин, Рыков и Томский тут же, 13 июля 1930 года, были *переизбраны* членами ЦК партии — то есть высшего эшелона власти, состоявшего тогда всего из семи десятков человек. «Врагами» эти трое «оказались» намного позднее, в 1937 году; в 1929—1930-м они потеряли только свои места на самой что ни есть вершине власти — в Политбюро ЦК (ранее роль Бухарина была сравнима лишь с ролью самого Сталина).

Но Бухарин — и в этом он не отличался от Троцкого — был полностью чужд повороту, начавшемуся в 1934 году. Ю.В. Емельянов в своей уже упомянутой книге о Бухарине совершенно справедливо писал: «Н.И. Бухарин безоговорочно принял и плоды «сплошной коллективизации», и меры против кулачества. Однако там, где позиция руководства вступала в полный конфликт с его идеями, он как мог оказывал сопротивление новому курсу. По словам С. Коэна (американский биограф Бухарина. — *В. К.*), «Бухарин попросту отказывался от уступок и не участвовал в неонационалистической реабилитации царизма». Так как ясно, что под «реабилитацией царизма» С. Коэн имеет в виду частичные попытки восстановить уважение к достижениям прошлого России и что никакой реабилитации царизма на самом деле не происходило, становится очевидным, — заключает Ю.В. Емельянов, — что непримиримый протест Бухарина вызывало возвращение с начала (вернее, с середины — *В. К.*) 30-х годов в учебники истории и публикации имен героев русской истории, свидетельств побед русского народа» (цит. соч., с. 291).

Между прочим, то же самое писал о Бухарине и совер-

шенно другой исследователь — сионист М.С. Агурский: «О нем сложилось немало легенд, и одна из них заключается в том, что он якобы был настоящим русским человеком, близко к сердцу бравшим страдания русского народа и в особенности крестьянства...»; на деле же «Бухарин испытывал подлинную ненависть к русскому прошлому... он до самого конца пытался сражаться, как только мог, с русским национализмом... Он говорил (имеется в виду статья Бухарина в редактируемой им газете «Известия» от 21 января 1936 года. — *В. К.*), что русские были нацией Обломовых, а слово «русский» было синонимом жандарма и т.п. Правда, при этом Бухарин прославлял современный ему русский рабочий класс за то, что ему удалось победить в себе отрицательное наследие прошлого (как и Сталин до 1934 года. — *В. К.*). «Правда» резко отозвалась на эту статью Бухарина: «Партия всегда (сие, конечно, никак не соответствовало действительности! — *В. К.*) боролась против... «Иванов, не помнящих родства», пытающихся окрасить все историческое прошлое нашей страны в сплошной черный цвет»[35] (цитируется «Правда» от 10 февраля 1936 года).

* * *

Как уже говорилось, «реабилитация» исторического прошлого была лишь одним из проявлений того поворота, той «контрреволюции», которая совершалась в 1930-х годах, но проявлением особенно *наглядным*, особенно выразительным, — почему и уместно говорить о нем подробно. Троцкий определил «восстановление» в 1935 году дореволюционных воинских званий как «самый оглушительный» удар по «принципам Октябрьской революции». Но едва ли иначе воспринимал это «восстановление» столь, казалось бы, далекий от Троцкого Бухарин (Троцкий, кстати сказать, относился к нему с презрением, именуя его в своем кругу «Колей Балаболкиным»). Неприятие и в какой-то мере прямое сопротивление «реставрации» было присуще *преобладающему большинству* революционных деятелей.

Правда, это неприятие чем дальше, тем менее выражалось открыто, публично, что вполне понятно: ведь дело шло о неприятии «поворота», становившегося к середине 1930-х годов *одной из основ* политико-идеологического курса страны! Ю.В. Емельянов говорит по этому поводу: «Н.И. Бухарин активно не принял... поворота в отношении прошлого. Он никак не мог принять и упорно продолжал клеймить «рабское», «азиатское» прошлое России, обзывая ее «нацией Обломовых». Лишь в 1936 году это вызвало огонь критики, и Бухарин отрекся от столь любимого ярлыка, который он придумал для своей Родины» (цит. соч., с. 292); имеется в виду «покаянная» бухаринская статья, опубликованная в редактируемых им «Известиях» через три дня после нападок на него в «Правде», 14 февраля 1936 года.

«Загадочность» 1937 года во многом обусловлена тем, что открыто говорить о неприятии совершавшегося с 1934 года поворота было, в сущности, невозможно: ведь пришлось бы заявить, что *сама власть* в СССР осуществляет контрреволюцию! Но именно об этом и заявляли находившиеся *за рубежом* Троцкий и — хотя и с совершенно иной оценкой — Георгий Федотов.

И в высшей степени показательно, что именно к этому «диагнозу» присоединились многие из тех, кто, будучи послан с политическими заданиями за границу, решили не возвращаться в СССР. Так, один из руководящих деятелей ОГПУ — НКВД Александр Орлов (урожденный Лейба Фельдбин), ставший в 1938 году «невозвращенцем», рассказывал позднее, что начиная с 1934 года «старые большевики» — притом, как он отметил, «подавляющее большинство» из их среды, — приходили к убеждению: «Сталин изменил делу революции. С горечью следили эти люди за торжествующей реакцией, уничтожавшей одно завоевание революции за другим»[36].

Так, «Сталин воскресил казачьи войска со всеми их привилегиями (это, конечно, преувеличение. — *В. К.*), включая казачью военную форму царского времени... На праздновании годовщины ОГПУ, которое состоялось в декабре 1935 года в Большом театре, всех поразило присутствие...

группы казачьих старшин в вызывающей форме царского образца... Взгляды присутствующих чаще устремлялись в сторону *воскрешенных атаманов*, чем на сцену. Бывший начальник ОГПУ, отбывавший когда-то каторгу, *прошептал*, обращаясь к сидевшим рядом коллегам: «Когда я на них смотрю, во мне вся кровь закипает! Ведь это их работа!» — и наклонил голову, чтобы те могли видеть шрам, оставшийся от удара казацкой шашкой» (имелся в виду зампред ОГПУ в 1926—1930 годах М.А. Трилиссер, вскоре репрессированный. — *В. К.*). Все это, заключил Орлов, призвано было «показать народу, что революция со всеми ее обещаниями кончилась» (с. 52, 53).

Что же касается верных принципам Революции большевиков, Орлов писал о них: «...они втайне надеялись, что сталинскую реакцию смоет новая революционная волна... они помалкивали об этом. Но... молчание рассматривалось как признак протеста» (с. 49).

Все высказанное отнюдь не было оригинальной личной «версией» Орлова. Так, еще один «невозвращенец», сотрудник НКВД Игнатий Рейсс (Натан Порецкий) писал 17 июля 1937 года, что СССР является «жертвой открытой контрреволюции» и тот, кто «теперь еще *молчит*, становится... предателем рабочего класса и социализма... А дело именно в том, чтоб «начать все сначала»; в том, чтоб спасти социализм. Борьба началась...»[37] (в сентябре 1937 года Рейсс был разыскан в Швейцарии группой под руководством специально присланного из Москвы виднейшего деятеля НКВД Шпигельгласа и убит).

То же самое согласно утверждали и другие тогдашние «невозвращенцы»: Вальтер Кривицкий (Самуил Гинзбург), по словам которого в СССР осуществляют «ликвидацию революционного интернационализма, большевизма, учения Ленина и всего дела Октябрьской революции» (там же, с. 284—289), Александр Бармин (Графф), объявивший, что в СССР произошел «контрреволюционный переворот» и «Каины рабочего класса... уничтожают дело революции» (там же, с. 289), и т.д. (в некоторых из процитированных высказываний «контрреволюционный» поворот целиком

приписан личному своеволию Сталина, но, как уже не раз говорилось, это заведомо примитивное объяснение; Троцкий и Федотов справедливо видели в совершавшейся метаморфозе воплощение *объективной* исторической закономерности послереволюционной эпохи, а не индивидуальный произвол).

В самом СССР противники «контрреволюции» редко решались говорить нечто подобное (разве только в кругу ближайших единомышленников), но несдержанные на язык это все же делали. Так, кадровый сотрудник НКВД, а затем заключенный ГУЛАГа, Лев Разгон (впоследствии — автор нашумевших мемуаров) уже в наше время обнаружил в собственном следственном деле следующую агентурную информацию о своих речах 1930-х годов: «Говоря о картине «Петр I» и других, Разгон заявляет: «Если дела так дальше пойдут, то скоро мы услышим «Боже, царя храни»...»[38].

Восстановление дореволюционных «реалий» особенно бросалось в глаза и едва ли не более всего раздражало революционных деятелей. Когда в середине 1930-х годов стали неожиданно возвращаться из ссылки «разоблаченные» в 1929—1930 годах как «монархисты» и «шовинисты» видные историки, сам этот факт, без сомнения, крайне возмущал тех деятелей, которые всего несколько лет назад так или иначе способствовали тотальной расправе над русской историографией.

Поистине «замечательно», что даже и в наши дни находятся авторы, негодующие по поводу «реабилитации» историков во второй половине 1930-х годов. Так, нынешний поклонник Троцкого В.З. Роговин гневно писал в 1994 году, что «коренной идеологический сдвиг» (это его — верное — определение) 1930-х годов «выдвинул на первый план историков «старой школы»... В 1939 году был избран академиком Ю.В. Готье, чьи дневники периода Гражданской войны дышат неистовой ненавистью к большевизму и зоологическим антисемитизмом (об «антисемитизме» 1920—1930-х годов еще будет речь. — *В. К.*). Тогда же Высшей партийной школой был переиздан курс лекций по русской истории академика Платонова, не скрывавшего своих мо-

нархических убеждений и за шесть лет до того умершего в ссылке»[39].

При этом Роговин умалчивает о том, что и Ю.В. Готье был репрессирован в одно время с С.Ф. Платоновым, а кроме того, обнаруживает свое невежество, ибо платоновский курс лекций был переиздан лишь в 1993 (!) году, да и не мог появиться раньше; в 1937-м (а не в 1939-м, как пишет Роговин) вышло в свет новое издание классических «Очерков по истории смуты в Московском государстве XVI—XVII вв.» С.Ф. Платонова (впервые были изданы в 1899 году).

Можно представить себе, с какими чувствами воспринимал «реабилитацию» виднейших русских историков Бухарин! Помимо мифа о нем как о «защитнике крестьянства», в массовое сознание внедрена и столь же фальшивая идейка о Бухарине — «защитнике интеллигенции». Но вот хотя бы один факт. В конце 1930-го — начале 1931 года было официально объявлено о «разоблачении» двух «вражеских» центров — «Промпартии» во главе с выдающимся инженером Л.К. Рамзиным и «контрреволюционного заговора», возглавляемого выдающимся историком, академиком С.Ф. Платоновым. Ко второму «делу» Бухарин имел прямое отношение, ибо в 1928 году он возжаждал стать академиком, как будто ему было мало его тогдашних постов в Политбюро и Исполкоме Коминтерна. Академики, вполне понятно, сопротивлялись внедрению в их среду полупросвещенных большевистских идеологов. Но последовал упорный и жесткий нажим власти, о чем теперь подробно рассказано в ряде упомянутых выше исследований, и Бухарин в январе 1929 года все-таки «пробился» в академики — правда, за счет всего только одного голоса (за него проголосовали 20 академиков, а если бы их было 19, избрание не состоялось бы). Это сопротивление академиков сыграло свою роль в начавшихся против них в том же 1929 году репрессиях. И нельзя не упомянуть, что 19 октября 1929 года Бухарин вместе с другими «большевиками-академиками» подписал обращение в ЦК ВКП(б), «уличающее» во враждебных деяниях С.Ф. Платонова[40], кото-

рый сразу же был освобожден от своих постов в Академии наук, а затем арестован...

И после официальных сообщений о делах «Промпартии» и академиков, 6 апреля 1931 года, Бухарин громогласно заявил, что «квалифицированная российская интеллигенция... заняла свое место по ту сторону великой Октябрьской революции... Рабочие СССР... не могут просить «извинения» перед холопами капитала, великодержавности (это именно о «монархических» историках. — *В. К.*)... Речь идет о *целом слое* (выделено Бухариным. — *В. К.*) нашей технической и научно-исследовательской интеллигенции, который оказался в лагере наших самых отъявленных, самых кровавых (! — *В. К.*) врагов, лишь для внешности надевающих в «мирное» время лайковую перчатку дипломатии и усердно орудующих по временам лакированным языком буржуазной христианской цивилизации. С врагом пришлось поступить как с врагом. На войне как на войне: враг должен быть окружен, разбит, уничтожен»[41] (стоит отметить, что свое цитируемое сочинение сей мнимый «защитник интеллигенции» в 1931—1932 годах счел нужным опубликовать *трижды* в разных изданиях).

Однако не более чем через пять лет все сумевшие выжить из этих «самых отъявленных врагов» были возвращены к работе; правда, Бухарин, расстрелянный в 1938 году, уже не узнал, что «великодержавный» историк С.В. Бахрушин в 1942 году, а «холоп капитала» инженер Л.К. Рамзин в 1943-м были увенчаны самой престижной наградой — Сталинскими премиями. В таких «превращениях» — а их было множество в то время — со всей яркостью выразился поворот, который и Троцкий, и Федотов называли «контрреволюцией».

* * *

Помимо принадлежащих Троцкому и Федотову истолкований тех коренных сдвигов, которые привели в конечном счете к 1937 году, стоит процитировать еще одно своеобразное сочинение, написанное тогда же, в 1936 году, незаурядным историком Российской революции Б.И. Ни-

колаевским (1887—1966). За свою долгую жизнь он успел побывать и большевиком, и меньшевиком, руководил историко-революционным архивом в Москве, затем эмигрировал и занялся упорным и квалифицированным «расследованием» происходившего в XX веке в России. В конце 1936 — начале 1937 года он опубликовал в Париже под видом «письма» некоего «старого большевика» опыт объяснения состоявшегося в августе 1936 года судебного процесса над бывшими верховными революционными вождями Зиновьевым и Каменевым. Широко распространено мнение, что «письмо» это было-де попросту изложением мыслей Бухарина, который, находясь в феврале — апреле 1936 года по заданию ЦК ВКП(б) в Париже, подолгу беседовал с Николаевским. Но последний не раз опровергал эту версию, хотя и признавал, что «использовал некоторые рассказы Бухарина». Достаточно сказать, что одновременно с Бухариным Николаевского посещал тогда видный большевик А.Я. Аросев; были у составителя «письма», несомненно, и другие «источники».

Как определил впоследствии сам Б.И. Николаевский, в сочиненном им «письме» представлены «общие настроения, присущие «старым большевикам», на которых надвигалась новая эпоха, где они погибли...» (цит. изд., с. 60). Мы, эти большевики, говорится в «письме», видели, что с начала 1935 года «реформы следовали одна за другой, и все они били в одну точку: замирение с *беспартийной* интеллигенцией, расширение *базы* власти путем привлечения к активному участию в советской общественной жизни всех тех, кто на практике, своей работой в той или иной области *положительного* советского строительства показал свои таланты» и т.д. Между тем «мы («старые большевики». — *В. К.*) являемся все нежелательным элементом в современных условиях... заступиться за нас никто не заступится. Зато на советского *обывателя* сыпятся всевозможные льготы и послабления» (с. 136, 141).

Утверждение о «нежелательности» этих самых большевиков имеет в «письме» двойственный характер: с одной стороны, признается определенная обоснованность этого

«приговора», с другой же — вроде бы он вынесен (и несправедливо) лично Сталиным, по мнению которого неприемлемы «самые основы *психологии* старых большевиков. Выросшие в условиях революционной борьбы, мы все воспитали в себе психологию оппозиционеров... мы все — не строители, а критики, разрушители. В прошлом это было хорошо, теперь, когда мы должны заниматься положительным строительством, это безнадежно плохо. С таким человеческим материалом... ничего прочного построить нельзя, а нам теперь особенно важно думать о прочности постройки советского общества, так как мы идем навстречу большим потрясениям, связанным с *неминуемо нам предстоящей войной*» (с. 137, 138).

Здесь ясно проступает отмеченная «двойственность»: то ли эта характеристика «старых большевиков» объективна, то ли на них возведена напраслина. Таковы, очевидно, и были «общие настроения» тех, кто подвергся репрессиям (эта двойственность как бы объясняет слабое сопротивление «старых большевиков» своей участи). А дальше в «письме» идет речь о «выводе» Сталина: «...если старые большевики, та группа, которая сегодня является *правящим слоем* в стране, не пригодны для выполнения этой функции в новых условиях, то надо как можно скорее снять их с постов, создать новый правящий слой... с новой психологией, устремленной на положительное строительство» (с. 138).

Итак, выше были рассмотрены в основном сочинения трех весьма различных наблюдателей и толкователей того исторического сдвига, который породил феномен 1937 года, — Троцкого, Федотова и Николаевского. Все трое высказались «свободно», ибо находились вне СССР, и все три сочинения относятся к 1936 году. Вполне вероятен вопрос: почему я основываюсь на суждениях, высказанных еще *до* наступления самого 1937 года, *до* обрушившегося на большинство «правящего слоя» беспощадного террора?

Можно бы доказать на множестве исторических примеров, что в периоды крайне драматических, катастрофических событий ослабляется или даже вообще утрачивает-

ся *объективность* восприятия и осмысления. И нетрудно убедиться, что в написанных позднее сочинениях тех же Федотова и Троцкого нет столь ясного видения происходящего, господствуют эмоционально-экспрессивные утверждения и оценки.

Весомость их суждений 1936 года обусловлена, с одной стороны, тем, что они прямо и непосредственно наблюдали ход исторических перемен, а с другой стороны, тем, что еще не разразился тот «взрыв», который вызвал в той или иной степени шоковое состояние.

Необходимо осознать, что, вообще-то, смена «правящего слоя» в периоды существенных исторических сдвигов — дело совершенно естественное и типичное. Уместно сопоставить с этой точки зрения 1934—1938 годы с другим пятилетием больших перемен — 1956—1960 годами. В ЦК ВКП(б), избранном на XVIII съезде (в марте 1939-го), только около 20 процентов составляли те члены и кандидаты в члены, которые были в прежнем, — избранном за пять лет до того, в 1934 году, — ЦК, и этот факт часто расценивается как выражение беспримерной «чистки»; однако ведь и в ЦК, избранном на XXII съезде, в 1961 году, также лишь немногим более 20 процентов составляли те, кто был членами (и кандидатами) ЦК до 1956 года!

Что же касается верховного органа власти, Политбюро, то там при Хрущеве была проведена даже намного более решительная «чистка»: если из 9 членов Политбюро 1939 года 6 (включая Сталина) состояли в нем и в 1934 году, то в Президиуме ЦК (так тогда именовалось Политбюро) 1961 года из 10 его членов сохранились из состава 1956 года только 3 — сам Хрущев, «гибкий» идеолог Суслов и «вечный» Микоян (то есть в первом случае «уцелевшие» составляли две трети, а во втором — менее одной трети!).

Разумеется, мне сразу же (и многие — возмущенно) напомнят, что в 1930-х годах «чистка» завершалась чаще всего отправлением на казнь, а в 1950-х (кроме Берии) — всего-навсего на пенсию... Однако объясняется это — конечно, чудовищное — «различие» вовсе не тем, что Хрущев-де был менее «кровожаден», чем Сталин. Есть всецело

достоверные сведения о предельной беспощадности Хрущева и в 1937 году, когда он был «первым секретарем» в Москве, и в 1938-м, когда он занимал тот же пост на Украине (в дальнейшем об этом еще будет речь). И только малоосведомленные люди продолжают сегодня считать, что Хрущев и другие уничтожили Берию со товарищи не как «соперника» в борьбе за власть, а якобы в качестве представителя прежней злодейской клики, которую теперь-де сменили другие, «добрые» начальники. Но вот хотя бы один выразительнейший факт. Чтобы, так сказать, стереть с лица земли все «бериевское», сами «органы безопасности» были тогда, в 1954 году (что делалось не в первый раз), выведены из Министерства внутренних дел во вновь созданное учреждение — КГБ. Однако во главе этого Комитета Хрущев поставил не кого-нибудь, а И.А. Серова, который в свое время был заместителем наркома внутренних дел Берии и, вполне понятно, действовал заодно с ним!

Суть дела отнюдь не в замещении «злых» людей «добрыми», а в глубоком изменении самого *политического климата* в стране — изменении, которое медленно, но все же совершалось в течение 1939—1952 годов. В последнее время были наконец опубликованы «совершенно секретные» документы о политическом терроре второй половины 1930-х — начала 1950-х годов[42]. Количество смертных приговоров, хотя оно и не имеет ничего общего с пропагандируемыми до сего дня — в том числе с телеэкрана — нелепыми цифрами в 5, 7, 10 или даже 20 миллионов (здесь можно вспомнить иронические слова эмигрантского демографа С. Максудова о том, что, согласно подобного рода «цифрам», к 22 июня 1941 года «все взрослые мужчины СССР погибли или сидели за решеткой. Все и немного больше...»), конечно, было все же громадно: в 1937—1938 годах 681 692 человека были приговорены к смерти...[43]

Но затем — в 1939—1952 годах — происходило последовательное уменьшение масштабов террора. Во многих сочинениях утверждается обратное: что-де Сталин, старея, все более разнузданно злодействовал. И поскольку о нескольких «процессах» последних лет его жизни — Ле-

нинградском деле, расправе над Еврейским антифашистским комитетом, судилищах над рядом военачальников и деятелей военной промышленности, деле кремлевских врачей и т.д. (обо всем этом мы еще будем в своем месте говорить) — написано очень много, создается впечатление, что террор все нарастал или по крайней мере не ослабевал до 1953 года.

Между тем вот всецело достоверные цифры о количестве смертных приговоров, вынесенных в течение трех пятилетий после 1937—1938 годов «за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления»: в 1939—1943 годах — 39 069 приговоров, в 1944—1948-м — 11 282 (в 3,5 раза меньше, чем в предыдущем пятилетии), в 1949—1953-м — 3894 приговора (в 3 раза меньше предыдущего пятилетия и в 10 раз (!) меньше, чем в 1939—1943-м).

Разумеется, даже и последняя цифра страшна: в среднем около 780 приговоренных к смерти за год, 65 человек в месяц! Но вместе с тем очевидно неуклонное «затухание» террора — без сомнения, подготовившее тот отказ от политических казней, который имел место после смерти Сталина (кроме казней нескольких десятков «деятелей» НКВД—МГБ).

Эти сопоставления лишний раз показывают, что «объяснение» террора личной волей Сталина совершенно неосновательно; есть множество свидетельств о крайней «подозрительности» и своеволии вождя именно в *последние* годы его жизни, а между тем масштабы террора все более сокращались. Речь должна идти совершенно о другом — о закономерном изменении самого бытия страны, самого господствующего в ней, как уже сказано, политического климата.

К 1937 году в стране еще царила атмосфера Революции и гражданской, «классовой» войны (недавняя коллективизация и была именно «классовой» войной). Это, в частности, со всей определенностью, а подчас и с немалой силой воздействия на души людей выражалось в широко известных, звучавших над страной стихах (и песнях на стихи) Э. Багрицкого, Д. Бедного, А. Безыменского, М. Голод-

ного, В. Маяковского и других революционных авторов. В популярном стихотворении М. Голодного «Судья Горба» (1933) с возвышенным пафосом воспет герой, отправляющий на казнь родного брата, а в чрезвычайно ценимом тогда стихотворении Э. Багрицкого «ТВС» (оно было опубликовано в 1929—1936 годах в десятке изданий) не без талантливости утверждалось, что, мол, нелегко разобраться в нашем времени, не прост выпавший нам *век*,

Но если он скажет: «Солги», — солги.
Но если он скажет: «Убей», — убей.

Эти строки — не только полная отмена нравственных заповедей, но и точная «модель» поведения множества людей в 1937 году...

Конечно, смысл популярных стихов — только одно и не принадлежавшее к наиболее существенным из проявлений политического климата, но даже и он, этот смысл, дает представление о том, почему возможно было без особенных «трудностей» отправить на казнь сотни тысяч людей в 1937—1938 годах. Очень важно само безоговорочное требование «солги», ибо террор тех лет основывался на заведомой и тотальной лжи: деятели, оказавшиеся не соответствующими тем историческим сдвигам, которые были явным отходом от собственно *революционной* политики и идеологии, то есть, в конечном счете, сдвигам контрреволюционным (о чем согласно писали и Троцкий, и Федотов), осуждались и уничтожались как *контрреволюционеры*!

Стоит отметить, впрочем, что иногда действительный смысл происходившего как бы обнажался. Так, например, Алексей Толстой написал в 1938 году следующее: «Достоевский создавал Николая Ставрогина (главный герой романа «Бесы». — *В. К.*), тип опустошенного человека, *без родины*, без веры, тип, который через 50 лет (писатель ошибся — через 65 лет. — *В. К.*) предстал перед Верховным судом СССР как предатель...»[44], — то есть получалось, что в 1937-м судили все-таки чуждых *родине* «бесов» Революции...

Один из исследователей обратил внимание и на статью бывшего «сменовеховца» Исая Лежнева (Альтшулера) в «Правде» от 25 января 1937 года о начавшемся 23 января суде над «контрреволюционерами» Пятаковым, Сокольниковым, Радеком, Серебряковым (все — бывшие члены ЦК) и другими: «Статья эта носит название «Смердяковы», и ее главной целью является доказать, что подсудимые не просто враги советской власти, а преимущественно враги русского народа... Лейтмотивом статьи являются слова Смердякова (героя романа Достоевского «Братья Карамазовы». — *В. К.*): «Я всю Россию ненавижу... Русский народ надо пороть-с», — которые, согласно Лежневу, отражают душевное состояние подсудимых...»[45]

Тем не менее, несмотря на такого рода «проговоры», 1937 год проходил все же под знаком борьбы с контрреволюционерами. Георгий Федотов утверждал в 1936 году: «Происходящая в России ликвидация коммунизма окутана защитным покровом лжи. Марксистская символика революции еще не упразднена...» И объяснял это, во-первых, тем, что «создать заново идеологию, соответствующую новому строю, — задача, очевидно, непосильная для нынешних правителей России», а во-вторых, тем, что «отрекаться от своей собственной революционной генеалогии было бы безрассудно», — вот смотрите, Франция уже 150 лет (ныне — 200 с лишним) не отрекается от своей революции, не менее чудовищной, чем Российская[46].

(Забегая далеко вперед, отмечу, что в России люди гораздо менее «расчетливы», чем во Франции, и множество из них сегодня напрочь «отрекается» от всего, что происходило в их родной стране с 25 октября 1917-го или даже с 14 декабря 1825 года... Но это, конечно, особая проблема.)

Федотов, как уже говорилось, сильно преувеличивал «контрреволюционность» политики 1930-х годов, но основное историческое движение определял верно. В частности, как ни неожиданно — и для многих возмутительно — это прозвучит, именно в 1930-е годы в стране начинает в какой-то мере утверждаться *законность*, правовой

порядок. Господствует прямо противоположная точка зрения, согласно которой 1937 год был временем крайнего, беспрецедентного беззакония, что особенно ясно и страшно выразилось в избиениях и даже изощренных пытках «обвиняемых», от которых требовали признаний в выдуманных «преступлениях».

В первые послереволюционные годы такого рода «практика» была гораздо более редким явлением. Жестокое насилие применялось, главным образом, тогда, когда надо было заставить выдать какую-либо «тайну» (скажем, сведения о количестве и вооружении отряда белых или о том, где скрываются повстанцы и т.п.). Добиваться же признания в какой-нибудь «вине» перед Революцией было, в общем, совершенно ни к чему.

Это хорошо показано в кратком исследовании Дмитрия Галковского «Стучкины дети» — о «правовой» идеологии одного из первых наркомов юстиции РСФСР, а затем председателя Верховного суда Петериса Стучки (1865—1932) — кстати сказать, зятя (мужа сестры) известнейшего латышского писателя Яна Райниса. Стучка недвусмысленно писал: «Так называемая юриспруденция есть последняя крепость буржуазного мира». И чтобы окончательно отменить юриспруденцию, Стучка «отменил» сам ее «предмет» — преступность:

«Слово «преступность» не что иное, как вредная отрыжка буржуазной науки... Возьмем... крестьянина, который напился «вдрызг» и в драке убил случайно того или другого... Если крестьянин совершил убийство по бытовым побуждениям, мы этого убийцу могли бы отпустить на свободу с предупреждением... И наоборот, кулак, эксплуататор, даже если он формально и не совершал никаких преступлений, уже самим фактом своего существования в социалистическом обществе является вредным элементом и подлежит изоляции»[47].

Это «теоретизирование» вполне адекватно отражало *практику* революционного времени. Совершенно очевидно, например, что преобладающее большинство казней в 1918—1922 годах совершалось вообще без хоть какого-либо «разбирательства». Так, точно известно, что в 1921

году был вынесен всего лишь 9701 смертный приговор, но совершенно нелепо было бы полагать, что мы имеем тем самым сведения о количестве расстрелянных в этом году. Вот тот же самый Багрицкий, который отлично знал, что происходило на Украине в 1919—1921 годах, ибо сам побывал инструктором политотдела отряда красных, описывает «практику» воспеваемого им комиссара *продотряда*:

Выгребайте из канавы
Спрятанное жито!
Ну, а кто подымет бучу,
Не шуми, братишка:
Усом в мусорную кучу,
Расстрелять — и крышка!

Естественно, при этом ровно никакие юридические акции не предпринимались, и «приговор» нигде не фиксировался.

Между тем в 1930-х годах юриспруденция так или иначе начинает восстанавливаться. Это, между прочим, убедительно показано в переведенном на русский и изданном в Москве в 1993 году исследовании американского правоведа Юджина Хаски «Российская адвокатура и Советское государство» (1986). Характерны названия разделов этого трактата: «Гражданская война и расцвет правового нигилизма» и «Конец правового нигилизма». Этот «конец» автор усматривает уже в событиях начала 1930-х годов, хотя тут же отмечает, что другой американский исследователь истории советской юриспруденции, П. Джуливер, в своей книге «Революционный правопорядок» (1976) «датирует начало поворота в правовой политике 1934—1935 годами»[48], то есть временем многостороннего поворота, о котором подробно говорилось выше.

П. Джуливер, несомненно, датирует вернее, да и сам Ю. Хаски исходит только из того, что до указанной даты имели место лишь отдельные выступления в «защиту» юриспруденции, и сообщает, что «в начале 1930-х годов нарком юстиции РСФСР Н. Крыленко и некоторые другие оставались приверженцами нигилистического подхода к

праву» (там же, с. 140). Точно так же, пишет Хаски, «известный как «совесть партии» Аарон Сольц отказался отступить от революционных принципов» (с. 115). Итак, и нарком, и влиятельнейший член Президиума Центральной контрольной комиссии ВКП(б), осуществлявший верховный партийный надзор за судебной практикой, были *против* утверждения правовых норм. Но к середине 1930-х годов этого рода сопротивление было сломлено.

Между прочим, именно благодаря этому мы смогли узнать обо всех — или, в крайнем случае, почти обо всех — жертвах 1937 года... Могут сказать, что для многих тогдашних «контрреволюционеров» установление правовых норм имело тяжкие последствия, ибо из них «выбивали» признания в мнимых преступлениях вместо того, чтобы попросту расстрелять, — как это делалось в первые послереволюционные годы. И тут действительно есть о чем задуматься...

С другой стороны, вполне вероятно такое сомнение: можно ли говорить о восстановлении права, если едва ли не абсолютное большинство передаваемых в суды следственных материалов было фальсифицированным? Но, во-первых, судебный процесс как таковой вообще «формален»: он исходит из результатов следствия, а не занимается изучением самой реальности. А во-вторых, ОГПУ и НКВД, занимавшихся расследованием «контрреволюционных преступлений», *явно не коснулись* тогда те перемены, которые произошли начиная с 1934 года в других сферах и областях жизни страны.

Вот характерный пример. Преемник Дзержинского на посту председателя ОГПУ, В.Р. Менжинский (1874—1934), писал о великом «достоинстве» своего предшественника:

«На меры репрессии он смотрел только как на средство борьбы, причем все определялось данной политической обстановкой и перспективой дальнейшего развития революции».

То есть совершенно не имело значения, в чем «повинен» репрессируемый; как поясняет в следующей за процитированной фразе Менжинский, «одно и то же контрреволюционное деяние при одном положении СССР требо-

вало, по его (Дзержинского. — *В. К.*) мнению, расстрела, а несколько месяцев спустя арестовать за подобное дело он считал бы ошибкой» (!)[49]; стоит отметить, что в одном из новейших изданий этого текста редакторы сочли за лучшее *изъять* вторую фразу...[50]

Эти «принципы» деятельности «органов безопасности» всецело сохранялись в 1937—1938 годах, когда, если угодно, *расстреливали* за то, за что в 1935-м или 1939-м не стали бы даже *арестовывать*... Но об этих «органах» речь пойдет далее.

Как уже сказано, в 1937-м совершилась смена «правящего слоя», типичная для любых крупных исторических сдвигов (например, в 1956—1960 годах). Страшное «своеобразие» заключалось в том, что прежние носители власти не только отстранялись, но и уничтожались или по меньшей мере оказывались в ГУЛАГе. Однако заведомо ложно широко распространенное представление, согласно которому эта варварская беспощадность является «особенностью» именно 1937 года и, конкретнее, выражением злодейской сущности Сталина. Часто говорится о мнимой «беспрецедентности» характерных для 1937 года директив о заранее «подсчитанных» количествах «врагов», которых следует выявить. Но уже приводилось заявление одного из вождей, Зиновьева, в сентябре 1918 года:

«Мы должны увлечь за собой 90 миллионов из ста, населяющих Советскую Россию (то есть РСФСР. — *В. К.*). С остальными нельзя говорить (и, уж конечно, нельзя устраивать следственные и судебные разбирательства! — *В. К.*) — их надо уничтожать». И действительно уничтожали...

Нельзя не видеть, что именно отсюда идет прямая линия к словам, написанным Бухариным ровно через восемнадцать лет, в сентябре 1936 года, по поводу казни самого Зиновьева с Каменевым: «Что расстреляли собак — страшно рад».

Но, как известно, следствие НКВД (конечно, фальсифицированное) и судебные разбирательства дела Зиновьева и других длились *полтора года* — и это было «новым»

в сравнении с 1918 годом явлением... 1937 год самым диким образом соединил в себе восходящую к первым революционным годам стихию беспощадного террора и восстанавливаемые — пусть даже формально — юридические принципы, которые вплоть до 1934—1935 годов начисто отвергали «старые большевики» типа Крыленко и Сольца.

Один из людей моего круга, П.В. Палиевский, еще на рубеже 1950—1960-х годов утверждал, что 1937 год — это «великий праздник», праздник исторического *возмездия*. Много позднее человек совершенно иного, даже противоположного мировосприятия, Давид Самойлов, написал: «Тридцать седьмой год загадочен. После якобинской расправы с дворянством, буржуазией, интеллигенцией, священством, после кровавой революции сверху (был страх, но не было жалости), произошедшей в 1930—1932 годах в русской деревне, террор начисто скосил правящий слой 20—30-х годов. Загадка 37-го в том, кто и ради кого скосили прежний правящий слой. В чьих интересах совершился всеобщий самосуд, в котором сейчас (это пишется в конце 1970-х — начале 1980-х; раньше люди этого типа думали иначе. — *В. К.*) можно усмотреть некий оттенок *исторического возмездия*. Тех, кто вершил самосуд, постиг самосуд»[51].

Существенно, что даже «либеральный» идеолог понял в конце концов необходимость признать этот смысл 1937 года — смысл *возмездия* (пусть даже, как говорится, скрепя сердце: «некий оттенок»). Перед нами масштабная и глубокая тема.

2) Драма «самоуничтожения»

Тема «возмездия» решена Д. Самойловым слишком прямолинейно: вот, мол, те люди, которых «скашивают» в 1937-м, ранее, начиная с 1917-го, сами беспощадно «скашивали» других людей и потому в конце концов получили столь же беспощадное наказание. Это толкование, по сути дела, подразумевает, что в истории действует неотврати-

мый закон *возмездия*, благодаря которому насильники и палачи сами подвергаются репрессиям и казням.

Вообще-то, вера в реальность такого закона существует. Супруга Михаила Булгакова Елена Сергеевна записала 4 апреля 1937 года в своем дневнике:

«В газетах сообщение об отрешении от должности Ягоды (в 1934—1936 годах — глава НКВД. — *В. К.*) и о предании его следствию... Отрадно думать, что есть Немезида...» (древнегреческая богиня возмездия). И даже о литераторах — рьяных «обличителях» Булгакова — в дневнике сказано (23 апреля 1937 года): «Да, пришло возмездие. В газетах очень дурно о Киршоне и об Афиногенове»[1].

Д. Самойлов (эти его суждения приводились выше) писал, что 1937 год был выполнением «предначертаний *высшей* воли», — то есть как бы воли Бога; но эту «волю», скажу от себя, едва ли сколько-нибудь уместно осознавать в *христианском* духе: речь может идти о языческих или ветхозаветном богах...

Е.С. Булгакова в записи 27 апреля 1937-го рассказывает, как встреченный на московской улице писатель Юрий Олеша «уговаривает М.А. (Булгакова. — *В. К.*) пойти на собрание московских драматургов, которое открывается сегодня и на котором будут расправляться с Киршоном. Уговаривал выступить и сказать, что Киршон был главным организатором травли М.А. Это-то правда. Но М.А. и не подумает выступать с таким заявлением и вообще не пойдет...» (там же, с. 141), — то есть не хочет принимать участия в «возмездии»...

М.М. Бахтин вспоминал о судьбе следователей ГПУ, которые в 1928—1929 годах стряпали его дело, а также дело его близкого знакомого — историка Е.В. Тарле; в 1938 году этих следователей расстреляли: «Тарле мне написал с торжеством: «А знаете, наших-то ликвидировали». Но я не мог разделить этого торжества»[2].

Тем не менее можно все же понять людей, которые со своего рода языческим упоением воспринимали *возмездие*, обрушившееся на тех, кто в конце 1910-х — начале 1930-х годов так или иначе играл роль палачей и превра-

тился в жертву в 1937-м либо позднее (так, известный переводчик и поэт С.И. Липкин написал недавно о тех, кто во время коллективизации обличал повесть Андрея Платонова «Впрок» как «вылазку классового врага»: «Среди них мне запомнился Гурвич, впоследствии (в 1949 году. — *В. К.*) — несчастный, преследуемый космополит. Ветхозаветный Бог мести наказал Гурвича»)[3].

Но проблема, если вдуматься, достаточно сложна. Ведь в 1937-м погибли или оказались в заключении многие и многие люди, которых ни в коей мере нельзя отнести к категории «палачей» (о чем еще будет речь), и уже одно это ставит под сомнение «закономерность», каковую вроде бы можно увидеть в казнях вчерашних палачей, — не говоря уже о том, что далеко не все из них получили возмездие (об этом мы также еще вспомним)...

Словом, представление, согласно которому люди, принимавшие участие в массовом терроре периода Гражданской войны и затем коллективизации, именно потому, или, выражаясь попросту, именно «за это», сами были подвергнуты репрессиям в 1937-м, уместно, так сказать, в умозрительном плане, но едва ли может быть обосновано «практически», реально; *возмездие* в этом смысле, в этом аспекте являет собой, в сущности, метафизическую проблему.

Но есть и другой аспект дела: именно те люди, против которых были прежде всего и главным образом направлены репрессии 1937-го, *создали в стране сам «политический климат»,* закономерно — и даже неизбежно — порождавший беспощадный террор. Более того: именно этого типа люди всячески раздували пламя террора непосредственно в 1937 году!

В большинстве нынешних сочинений о том времени предлагается иной взгляд на вещи, пытающийся, в частности, рассматривать тогдашнюю политическую ситуацию как столкновение зловещих и мерзких приверженцев жестоких расправ и их добродетельных и гуманных противников, которые, мол, и гибли нередко именно из-за своего неприятия террора. Однако к действительным противни-

кам террора принадлежали тогда, как правило, люди, находившиеся в той или иной мере *вне* политики и не имевшие возможности оказать хоть сколько-нибудь значительное влияние на ход вещей. А те, кто был так или иначе причастен к власти, — особенно члены партии и комсомольцы — воспринимали террор, в сущности, как нечто «естественное» (ведь враги Революции не дремлют!), и если и начинали возмущаться, то лишь тогда, когда репрессии касались прямо и непосредственно их самих...

Весьма выразительны с этой точки зрения воспоминания Л.Я. Шатуновской — приемной дочери П.А. Красикова — прокурора Верховного суда СССР в 1924—1932 годах и заместителя председателя того же Верховного суда в 1933—1938 годах; он был также одним из руководителей борьбы с Церковью. Шатуновская в 1930-х годах находилась, как говорится, в гуще событий, а в 1970-х эмигрировала в США и опубликовала там книгу «Жизнь в Кремле» (1982) и несколько статей. Она написала, в частности, о гибнувших в 1937-м большевиках (в том числе и близких ей лично):

... я не нахожу в своей душе ни жалости, ни сочувствия к ним. Конечно, никаких преступлений против партии и государства, в которых их обвиняли, они никогда не совершали... Но была за ними другая, более страшная вина — они не только создали это государство, но и безоговорочно поддерживали его чудовищный аппарат бессудных расправ, угнетения, террора, пока этот аппарат не был направлен против них». Цитируя эти слова в своей книге «О Сталине и сталинизме» (М., 1990, с. 419), популярный в то время публицист Рой Медведев, сын репрессированного в 1937-м большевика, пытался опровергнуть сей «приговор», но его доводы не убеждают...

Важно отметить, что многочисленные современные авторы, предпринимающие попытки *разграничить*, отделить друг от друга приверженцев и противников террора 1937 года, очень часто причисляют к последним всех либо по крайней мере почти всех *пострадавших*, ставших жертвами репрессий. При этом, в сущности, игнорируется тот факт,

что ведь в те времена пострадала едва ли не *наибольшая* (в сравнении с другими «профессиями») доля сотрудников НКВД, которые, понятно, играли свою необходимую или даже решающую роль в репрессиях; впрочем, авторы многих сочинений — о чем еще пойдет речь — стремятся и среди «чекистов» отыскать последовательных противников террора.

Однако при объективном изучении реального хода дел в 1937 году указанное «разграничение» предстает как сомнительная либо даже вообще невыполнимая задача. Ибо, внимательно рассматривая «поведение» кого-либо из репрессированных тогда политических деятелей до момента ареста, мы едва ли не всякий раз обнаруживаем, что деятель этот сам приложил (или даже крепко приложил!) руку к развязыванию террора...

Обратимся, например, к не так давно опубликованной стенограмме «Февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года» (пленум этот длился 11 дней — с 23 февраля до 5 марта), после которого террор и приобрел весь свой размах. Стенограмма зафиксировала недвусмысленные призывы к беспощадному разоблачению «врагов», прозвучавшие из уст таких вскоре же подвергшихся репрессиям «цекистов», как К.Я. Бауман, Я.Б. Гамарник, А.И. Егоров, Г.Н. Каминский, С.В. Косиор, П.П. Любченко, В.И. Межлаук, Б.П. Позерн, П.П. Постышев, Я.Э. Рудзутак, М.Л. Рухимович, А.И. Стецкий, М.М. Хатаевич, В.Я. Чубарь, Р.И. Эйхе, И.Э. Якир и др. Нельзя не отметить также, что «разоблачавшийся» непосредственно на этом самом пленуме Н.И. Бухарин (в то время — кандидат в члены ЦК) в своих заявлениях осыпал проклятиями всех своих уже «разоблаченных» к тому времени сотоварищей...[4]

Вот два достаточно выразительных «примера» из стенограммы этого «рокового» пленума. 23 февраля 1937 года тогдашний «главный палач» Н.И. Ежов «сетует»: «К сожалению, слишком много уродов в семье правых...» (то есть в окружении Бухарина). И Р.И. Эйхе (которого, как говорится, никто специально за язык не тянул) прерывает Ежова: «Сплошь одни уроды»[5]. Спустя год сам Роберт Индрикович окажется «уродом»...

1 марта Ежов снова «жалуется» пленуму: ...должен сказать, что я не знаю ни одного факта... когда бы по своей инициативе позвонили и сказали: «Тов. Ежов, что-то подозрителен этот человек, что-то неблагополучно в нем, займитесь этим человеком» — факта такого я не знаю... (*Постышев:* А когда займешься, то людей не давали.) Да. Чаще всего, когда ставишь вопрос об арестах, люди, наоборот, защищают этих людей. (*Постышев:* Правильно.)»[6]

Ежов явно преувеличивал, говоря о тех, которые «защищают» репрессируемых, да и истинная цель его высказываний явно не в устранении «защиты», а в пробуждении «инициативы». И Постышев (которого арестуют меньше чем через год — 21 февраля 1938-го), не задумываясь, поддержал «железного наркома»... Между тем и по сей день распространено представление о Постышеве как несчастной жертве террора; уж в таком случае и Ежова, арестованного годом позже Постышева, 10 апреля 1939-го, следует считать жертвой...

И еще один выразительный факт. В целом ряде сочинений, опубликованных в конце 1980-х — начале 1990-х годов, говорится о борьбе против террора, на которую отважился тогдашний нарком здравоохранения РСФСР, кандидат в члены ЦК Г.Н. Каминский. До 1937 года говорить о его недовольстве террором никак невозможно; дело обстояло противоположным образом. На рубеже 1920—1930-х годов он являлся одним из руководителей коллективизации, и стенограмма донесла до нас его «напутствие» непосредственным организаторам колхозов в речи на их совещании 14 января 1930 года: «Если в некотором деле вы перегнете и вас арестуют (под «перегибами» имелись в виду, в частности, бессудные расстрелы противящихся коллективизации крестьян... — *В. К.*), то помните, что вас арестовали за революционное дело...» («Вопросы истории», 1965, № 3, с. 7).

Вполне возможно, что и Григорий Наумович начал сопротивляться, когда смертельная опасность нависла *над ним самим*. Однако до того момента он вел себя совсем по-иному. Так, бывшему предсовнаркома, а с 1931 года

наркому связи А.И. Рыкову в 1936 году предъявили обвинение в том, что он-де в апреле 1932 года готовил теракт против Сталина. Алексей Иванович возразил, что он тогда находился на отдыхе в Крыму, и в доказательство предъявил открытку, отправленную ему в то время из Москвы в Крым юной дочерью. Однако именно Каминский отмел этот аргумент. «Ты столько лет работал в связи, — «обличил» он Рыкова, — что любую открытку и штампы мог подделать...»[7] Жестокая «ирония» времени: Каминский был расстрелян раньше Рыкова (первый — 10 февраля, второй — 15 марта 1938 года).

Показательно, что сами деятели НКВД, подвергшиеся репрессиям, но все же уцелевшие в разгуле террора, обычно рассказывают о себе именно и только как о жертвах. В 1995 году были изданы мемуары руководящего сотрудника ВЧК — ОГПУ — НКВД М.П. Шрейдера «НКВД изнутри. Записки чекиста». В редакционном предисловии к ним утверждается, что их автор в 1937—1938 годах боролся-де за «честный профессионализм» и «не признавал «липовых» дел и людей, которые на его глазах фабриковали такие дела»[8]. Книга М.П. Шрейдера по-своему весьма интересна, в ней немало выразительных зарисовок отмеченной «абсурдизмом» ситуации того времени. Так он описывает сцену своего допроса в начале 1939 года:

« — Ах ты, фашистская гадина! — заорал мой бывший подчиненный. — Тебе не видать должности полицмейстера, которую обещал тебе Гитлер!

От такой чуши я остолбенел.

— Неужели ты не знаешь, — попытался разъяснить ему я, — что Гитлер истребляет евреев и изгнал их всех из Германии? Как же он может меня, еврея, назначить полицмейстером?

— Какой ты еврей? — к моему удивлению, изрек этот болван. — Нам известно, что ты — немец и что по заданию немецкой разведки несколько лет назад тебе сделали обрезание.

Несмотря на всю горечь моего положения, я рассмеялся... (с. 193). Действительно, бесподобный образчик «черного юмора»...

В 1937 году Шрейдер был заместителем начальника управления НКВД Ивановской области (начальником являлся прославленный чекист В.А. Стырне), а в феврале 1938 года по личному указанию Н.И. Ежова (о чем он сам сообщает в «Записках») получил немалое повышение: стал заместителем наркома внутренних дел Казахской ССР (наркомом был в то время свояк Сталина*, комиссар госбезопасности 1-го ранга С.Ф. Реденс). Между тем, если верить Шрейдеру, в Ивановской области (то есть перед его повышением в должности) он, мол, всячески стремился противостоять «ежовскому» террору.

Но одновременно с книгой Шрейдера — хотя и совершенно независимо от нее — в том же 1995 году было опубликовано изложение сохранившейся в архиве г. Иваново стенограммы пленума тамошнего обкома партии, состоявшегося в августе 1937 года, — своего рода чрезвычайного пленума, которым командовали прибывшие из Москвы секретарь ЦК Л.М. Каганович и секретарь партколлегии Комиссии партийного контроля при ЦК М.Ф. Шкирятов. И уже пожелтевшая стенограмма показала, что (цитирую) «Шрейдер обрушился на секретаря горкома (Ивановского. — *В. К.*) партии Васильева. Он выразил возмущение по поводу того, что Васильев, имевший связь с врагом народа, занимает место в президиуме...

— У меня нет никаких (! — *В. К.*) данных о том, что Васильев враг, — сказал он (Шрейдер. — *В. К.*), — но я позволю себе выразить ему недоверие.

Затем Шрейдер обвинил начальника управления НКВД Стырне в том, что тот противодействовал репрессиям и якобы имел связь с бывшим сотрудником НКВД Корниловым, который в 1936 году обвинялся в сотрудничестве с троцкистами. Стырне, старый чекист, активный участник Гражданской войны, тут же был снят с работы, а впоследствии арестован и расстрелян... Шрейдер выразил недоверие еще нескольким ответственным работникам, ничем это не мотивируя»[9].

---

* То есть муж родной сестры сталинской супруги.

Между тем в мемуарах Шрейдер не только преподносит свои отношения со Стырне как истинно товарищеские, но и уверяет, что он не раз предостерегал этого знаменитого чекиста, раскрывал ему глаза на «ежовщину»!

Увы, подобного рода «забывчивость» типична для авторов изданных в последнее время мемуаров; так, например, Лев Разгон, публикуя в 1988 году свое ставшее тогда очень популярным «Непридуманное», где он гневно проклинал НКВД, ухитрился «забыть» даже и о том, что сам он в 1937 году был штатным сотрудником этого самого НКВД! Согласно его мемуарам, он занимался тогда трогательным делом издания книжек для детей... Впрочем, о Разгоне еще будет речь.

* * *

Как уже не раз говорилось, террор 1937 года — это порождение не козней каких-либо «злодеев», а всей атмосферы фанатической беспощадности, создавшейся в условиях революционного катаклизма. Это вполне ясно из изданных в 1983 году за рубежом воспоминаний идеологической, затем литературной деятельницы, далее «диссидентки» и, наконец, эмигрантки Р.Д. Орловой (урожденной Либерзон; 1918—1984). Правда, в *обобщающих* своих суждениях Раиса Давыдовна присоединяется к типичному «разделению»: мол, были хорошие «мы» и некие мерзкие «они», которые и устроили террор 1937-го. Однако множество ее *конкретных* сообщений, в сущности, начисто опровергает подобные (в том числе и ее собственные!) голословные противопоставления. В том общественном слое, к которому она принадлежала, эти самые «мы» и «они» едва ли могут быть разграничены. Кстати сказать, в другой книге Р.Д. Орлова определила суть 1937 года так: «свои убивали своих»[10]. То же самое не раз повторял в широко известных мемуарах И.Г Эренбург. И эта «формулировка» вполне верна...

В 1937 году Раиса Либерзон была студенткой Московского ИФЛИ — Института истории, философии и литерату-

ры, самого «элитарного» и «престижного» из гуманитарных высших учебных заведений того времени. Среди студентов имелось немало детей крупных руководителей, и мемуаристка воссоздает атмосферу (цитирую) «комсомольских собраний в 1937—1938 годах, где студенты один за другим отрекались от арестованных отцов и матерей... Бывший нарком финансов Гринько — среди обвиняемых на процессе «правотроцкистского блока»... Не решаюсь смотреть туда, где стоит Ирина (дочь этого наркома, с которой, между прочим, я позднее, в 1950—1970-х годах, вместе работал в Институте мировой литературы. — *В. К.*), и не могу не смотреть... Студенты и преподаватели ИФЛИ... единогласно требуют расстрела подлых изменников. Я голосовала вместе со всеми... И она (Ирина. — *В. К.*) поднимает руку, и она за то, чтобы ее отца расстреляли!..»[11]

Нельзя не оценить правдивость мемуаристки. Так, рассказывая о своем собственном отце, не самом крупном, но все же руководящем деятеле, отстраненном от своего поста в 1937 году и ждавшем ареста (чего не произошло), Р.Д. Орлова честно признается: «...он спрашивает: «А если меня арестуют?» И я, не подумав ни мгновения: «Я буду считать, что тебя арестовали правильно». Сказала, и пол под ногами не содрогнулся... Принял ли он мои чудовищные слова как должное? Он и сам говорил, что *по-другому нельзя*» (с. 74).

Раиса Давыдовна — и опять-таки нельзя не оценить ее искренность — поведала и о своем прямом практическом участии в «чистке». Она училась в ИФЛИ, а затем работала в ВОКСе (Всесоюзное общество культурных связей с заграницей — учреждение, теснейшим образом связанное с НКВД) вместе с человеком, которого называет в своих воспоминаниях «Юрий К.» (как сообщил мне А.В. Караганов, речь идет о Г.С. Кнабе). На заседании партийного бюро ВОКСа его принимали в партию, — точнее, переводили из кандидатов в члены: «Я выступила против приема К. Остальные были «за», меня не поддержали. И тогда я рассказала содержание личного разговора, который был у нас за несколько месяцев до бюро... Он мне сказал: «Если

бы тебе в ЦК велели вешать детей, ты бы проплакала всю ночь, а утром стала бы выполнять приказ». Фраза, — продолжает мемуаристка, — крамольная: каждый коммунист обязан был выполнять любые указания ЦК, в том числе выселять, сажать, да и убивать. Но говорить об этом, называть подобные указания было нельзя... Дело дошло до КПК — Комиссии партийного контроля. Во все инстанции вызывали и меня (и она вновь излагала свой личный разговор с сослуживцем! — *В. К.*)... Ю.К. исключили из кандидатов партии, выгнали из ВОКСа. Потом я долго не знала, что с ним. Не думала о нем. Вероятно, он автоматически вошел в категорию «чужой»... сегодня (написано в 1979 году. — *В. К.*)... я бы не подала руки человеку, который сделал нечто подобное (то есть и самой себе... — *В. К.*). Если б сегодня могла сказать: «заставили». Нет, *никто не заставлял*...» (с. 141).

Важно учитывать, что описанный эпизод относится к началу 1940-х годов, а не к 1937—1938 годам, когда Г.С. Кнабе едва ли бы отделался исключением из партии и изгнанием с работы... И воистину странно, что, поведав о подобных фактах, Р.Д. Орлова в то же время не раз вопрошает в этих же своих воспоминаниях:

«Тридцать седьмой год — память ужаса... И бесконечные поиски объяснения... почему это произошло?» (с. 72). Или: «Кто же... все это делает?» (с. 55).

Разве не ясно, что «это делали» люди, во всем подобные ей самой, — насквозь проникнутые духом Революции?

Р.Д. Орлова пишет о более поздних — уже 1960-х годов — событиях: «...очень важно для отдельных человеческих судеб, кто в партбюро — сволочи или порядочные люди (отмечу сразу же, что в 1937-м это едва ли было «важно». — *В. К.*). Если бы не партсобрание секции критики (Московской организации Союза писателей. — *В. К.*) в декабре 1961 года, не пламенная активность вечного комсомольца Ивана Чичерова, не было бы поднято дело Эльсберга, не был бы этот доносчик, виновник стольких арестов, публично разоблачен» (с. 228).

Я знал по Институту мировой литературы и «пламенного вечного комсомольца» — театрально-литературного

деятеля И.И. Чичерова, и (как в конце концов выяснилось) «консультанта» НКВД — МГБ литературоведа Я.Е. Эльсберга (Шапирштейна), который еще в юности, в начале 1920-х годов, был арестован ГПУ за связь с «эсеровским подпольем», но вскоре освобожден, — по-видимому, не без обязательства «сотрудничать с органами». Близко знал я и одного из тех, на кого «донес» Эльсберг, — влиятельного литературоведа Л.Е. Пинского, который рассказывал мне, как на суде Эльсберг с удивительной точностью воспроизвел его «крамольные» речи (Леонид Ефимович неосторожно «исповедовался» перед коллегой, не имея представления о другой его «профессии»).

Между прочим, широко мысливший Л.Е. Пинский отнюдь не винил во всем «доносчика», ибо «доносительство» в разных его формах было, по его определению, всеобщей «системой», а не следствием пороков отдельных людей.

И, как мы видим, Р.Д. Орлова, проклиная Эльсберга, вместе с тем признается в своем собственном *доносе* на собрата по ИФЛИ!

Тут, правда, возможен спор о двух различных «видах» доноса: Орлова подчеркивает, что ее никто и никак «*не заставлял*» быть доносчицей, а Эльсберг, надо думать, доносил не в силу личной коммунистической убежденности (он, кстати, был беспартийным), а, если воспользоваться словом Маяковского, «по службе» (но не «по душе»). Можно дискутировать о том, что «лучше» и что «хуже», однако скорее всего эта этическая проблема до конца неразрешима...

Но в данном случае существенна не этическая, а *практическая* сторона дела: во-первых, нет оснований сомневаться, что в 1937 году и позже было исключительно широко распространено именно совершенно «добровольное» (подобное тому, в котором призналась Р.Д. Орлова) доносительство, диктуемое искренней убежденностью, а во-вторых, те разного рода «приспособленцы», которые доносили «по службе» или, скажем, «из страха», в конечном счете *опирались* на царившую в стране атмосферу «разоблачения врагов». Необходимо сознавать, что любое «приспособленчество» возможно лишь тогда, когда есть к чему

и к кому *приспособляться*! И с практической (а не этической) точки зрения *добровольное* доносительство, воспринимаемое и самим доносчиком, и его окружением как «правильное», нормальное — и даже истинно *нравственное*! — поведение, без сомнения, гораздо «опаснее», чревато во много раз более тяжкими последствиями, чем доносы по службе или из страха, — что и доказал лишний раз 1937 год.

Р.Д. Орлова — прямо скажем, не очень-то уж разумно — даже и в 1979 году с очевидным сочувствием, даже любованием писала о «пламенной активности вечного комсомольца Ивана Чичерова», который в конце 1950-х — начале 1960-х годов разоблачал Эльсберга. Двумя десятилетиями ранее именно такие «пламенно активные» комсомольцы и коммунисты разоблачали бесчисленных «врагов». И нельзя не сказать, что «пламенная активность» Чичерова была в конечном счете «пробуждена» разоблачительным хрущевским докладом на XX съезде и последующими партийными директивами этого характера. Это очевидно из следующего. Сталин в 1937 году в очередной раз «поддержал» Михаила Булгакова, и Чичеров, как явствует из дневника Е.С. Булгаковой, стал всячески «обхаживать» писателя; но Елена Сергеевна записала 25 февраля 1938 года: «Этот Чичеров — тип! Он в 1926 году, чуть ли не через два дня после премьеры «Турбиных», подписал, вместе с другими, заявление в газете с требованием снятия «Турбиных»...

Уже много лет назад, вскоре после смерти Сталина, Анна Ахматова произнесла слова, которые до сих пор многие любят цитировать: «Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили»[12].

Анне Андреевне принадлежит немало метких суждений, но эти ее слова явно упрощают реальность 1937-го и позднейших годов: две противоположные «стороны», о которых она говорила, сплошь и рядом совмещались в одном и том же человеке... Так, в 1960-х годах немалую популярность приобрели сочинения литератора Бориса Дьякова о пережитой им судьбе заключенного, но позднее по

документам выяснилось, что до того, как его «посадили», он сам «посадил» десятки людей... Или другой пример. В первое издание уже упомянутого «Непридуманного» (1991) Льва Разгона вошел небольшой раздел «Военные», в центре которого — судьба двоюродного брата автора, Израиля Разгона — высокопоставленного армейского политработника, расстрелянного в конце 1937 года. В рассказе создается прямо-таки героический образ, речь идет о выдающихся «уме, честности и бесстрашии Израиля», о его благородной дружбе с легендарным героем Гражданской войны Иваном Кожановым и т.п.[13] Однако, переиздавая свое сочинение через три года, в 1994-м, Л. Разгон явно *вынужден* был выбросить этот краткий раздел (менее 20 страниц) из своей книги (все ее другие составные части вошли во второе издание), поскольку по документам было установлено, что именно его кузен Израиль Разгон «посадил» своего друга Ивана Кожанова, о чем как раз в 1991 году было сообщено в печати...[14]

* * *

Прежде чем идти далее, нельзя не остановиться на возбуждающем страсти вопросе, который, по всей вероятности, уже возник в сознании читателей. Почему в обсуждение феномена «1937-й год» вовлеклось столь много еврейских имен?

Правда, реакция на это обилие еврейских имен будет, без сомнения, совершенно иной у разных читателей. Одни скажут, что вот, мол, евреи в 1937 году устроили в стране очередную кровавую мясорубку. Но здесь я не могу не повторить то, о чем уже говорил выше. Русский человек, не лишенный разума и честности, должен возмущаться прежде всего и главным образом теми *русскими*, которые участвовали в терроре на своей родной земле, а не евреями и вообще людьми других национальностей! Вина этих русских гораздо более тяжкая и позорная, чем вина любых «чужаков»! К этой теме, впрочем, нам еще придется обращаться.

Но неизбежна и другая реакция на обилие еврейских имен в разговоре о 1937 годе: эти имена, мол, тенденциозно выпячены в «антисемитских» целях. И неправильно было бы закрыть глаза на эту сторону дела, причем не только (и даже не столько) ради опровержения упреков в «антисемитской» тенденциозности, но и — прежде всего! — ради всестороннего уяснения реальной политической ситуации 1930-х годов. Выше цитировалось исследование израильского политолога М.С. Агурского, который не «побоялся» напомнить, что к 1922 году в верховном органе власти — Политбюро — состояли три (из общего количества пяти членов) еврея. Между тем в 1930-х годах в составе Политбюро (тогда — десять членов) имелся только один еврей — Каганович. Об этом очень часто говорится в сочинениях о тех временах с целью показать, что евреи тогда уже не играли первостепенной роли в политике.

Всецело естественный процесс постепенного «продвижения» во власть представителей «основного» населения страны действительно совершался, но колоссальная роль евреев в верховной власти первых послереволюционных лет привела к чрезвычайно весомым результатам, — о чем недвусмысленно писал тот же М.С. Агурский. В его уже не раз цитированной книге есть специальное «приложение» под заглавием «Демографические сдвиги после революции», где прежде всего, как он сам сформулировал, «идет речь о массовом перемещении евреев из бывшей черты оседлости в центральную Россию» и особенно интенсивно — в Москву: «В 1920 г., — констатирует М.С. Агурский, — здесь насчитывалось 28 тыс. евреев, то есть 2,2% населения, в 1923 г. — 5,5%, а в 1926 г. — 6,5% населения. К 1926 г. в Москву приехали около 100 тыс. евреев» (с. 265).

Имеет смысл сослаться и на сочинение другого, гораздо более значительного, еврейского идеолога — В.Е. Жаботинского. На рубеже 1920 — 1930-х годов он привел в своей статье «Антисемитизм в Сов. России» следующие сведения:

«В Москве до 200 000 евреев, все пришлый элемент.

А возьмите... телефонную книжку и посмотрите, сколько в ней Певзнеров, Левиных, Рабиновичей... Телефон — это свидетельство или достатка, или хорошего служебного положения»[15].

Из обстоятельного справочника «Население Москвы», составленного демографом Морицем Яковлевичем Выдро, можно узнать, что если в 1912 году в Москве проживали 6,4 тысячи евреев, то всего через два десятилетия, в 1933 году, — 241,7 тысячи, то есть почти в *сорок раз* больше![16] Причем население Москвы в целом выросло за эти двадцать лет всего только в *два* с небольшим раза (с 1 млн. 618 тыс. до 3 млн. 663 тыс.).

В сознание многих людей — о чем уже шла речь — давно внедрено представление, что евреи тем самым вырывались, «освобождались» из чуть ли не «концлагеря» — «черты оседлости». Но вот, например, И.Э. Бабель записывает в дневнике об исчезавших на его глазах еврейских местечках в «черте оседлости»: «Какая мощная и прелестная жизнь нации здесь была...»[17] Через много лет, в 1960-х, М.М. Бахтин рассказал мне о своей только что состоявшейся беседе с широко известным в свое время писателем Рувимом Фраерманом, который был старше Бабеля и еще лучше знал еврейскую жизнь в «черте оседлости». Р.И. Фраерман (1891—1972) с глубокой горечью говорил о том, что в пределах этой самой «черты» в течение столетий сложились своеобразное национальное бытие и неповторимая культура, которые теперь, увы, безвозвратно утрачены...

Однако среди родившихся позднее, чем Бабель и Фраерман, евреев господствовало иное мнение. Я рассказал тогда же о сетованиях Фраермана близко знакомому мне поэту Борису Абрамовичу Слуцкому (1919—1986), и он не без гнева воскликнул: «Ну, Вадим, вам не удастся загнать нас обратно в гетто!» Подобное «намерение», разумеется, даже и не могло бы прийти мне в голову — уже хотя бы в силу его полнейшей утопичности. Тем не менее «реакция» Слуцкого была, несомненно, типичной для евреев, которые не могли иметь представления о реальной жизни в «черте оседлости», — несмотря даже на то, что жизнь эта

нашла художественное и, более того, *поэтическое* воплощение, скажем, в прозе Шолом-Алейхема и живописи Шагала.

Могут, впрочем, возразить, что в произведениях Шолом-Алейхема и Шагала воссозданы не только «поэзия» жизни еврейских «местечек», но и ее тяготы и страдания. Однако такое возражение совершенно неосновательно, ибо литература и живопись того же времени, запечатлевшие *русскую* жизнь, ничуть не менее драматичны и даже трагедийны; собственно говоря, «поэзия бытия» и немыслима без тягот и страданий...

Но обратимся непосредственно к еврейскому «перемещению» 1920-х — начала 1930-х годов. Сотни тысяч евреев после 1917 года бесповоротно уходили из тех городов и городков на западных землях России, где их предки жили в течение *столетий*, и устремлялись в центр России; только в Москву переселились к 1933 году, как мы видели, около четверти миллиона евреев!

Это своего рода «великое переселение», естественно, не могло не иметь самых существенных последствий. «Очень большое число евреев», резюмировал в своем исследовании М.С. Агурский, оказалось «в ряде жизненно важных областей государственной, экономической, социальной жизни» (цит. соч., с. 260).

Стоит сказать о том, что многие из пишущих об истории считают ненужной или даже вредящей истине самую постановку вопроса о роли «национального фактора» и особенно о роли евреев в истории России. Так, например, в 1992 году Г.А. Бордюгов и В.А. Козлов в своей совместной книге «История и конъюнктура» заявили:

«Мы собственными глазами видели, как в 1988 г. некоторые люди, опираясь на статью В. Кожинова «Правда и истина» («Наш современник», 1988, № 4), составляли списки партийных работников 20—30-х годов с указанием их псевдонимов и фамилий и подсчитывали количество евреев в составе руководящих партийных органов. Очевидно, они считали, что это и есть та самая главная правда, та самая истина, до которой следует докапываться. Такие «простые» ответы были очень соблазнительны для неразвитого

сознания, но это было нечто весьма и весьма чуждое как правде, так и истине. Заметим, что «простые ответы» часто возникают и от растерянности, и от незнания. Но есть незнание, которое ведет людей в библиотеки. А есть воинствующее невежество, которое зовет людей «бить жидов, спасать Россию»...»[18]

К сожалению, подобные рассуждения отнюдь не редкость, и потому следует разобраться в их существе. Начну с конца. В течение последнего десятилетия (1988—1997) о весомой, а в отдельные периоды даже исключительно весомой роли евреев в трагической истории России 1910—1930-х годов писали и говорили очень многие авторы и ораторы, однако нельзя привести *ни единого* факта «битья жидов», — хотя межнациональных побоищ за это время в стране было сколько угодно... Бордюгов и Козлов, по всей вероятности, скажут, что такое все же *могло бы* случиться и поэтому нельзя, мол, касаться столь «опасной» темы. При этом — хотели этого или не хотели наши авторы — неизбежно подразумевается, что нарушивший сей запрет человек предстает — пусть хотя бы «объективно», «невольно» — в качестве опаснейшего врага евреев, ибо люди с «неразвитым сознанием», прочитав его статью, примут решение «бить жидов».

Кстати сказать, согласившись с этим мнением, придется признать антисемитами М. Агурского и Д. Самойлова-Кауфмана (см. цитаты из его сочинения ниже), которые, не боясь острых углов, размышляли о непомерном «обилии» евреев в составе послеоктябрьской власти...

И что бы там ни говорилось, в изучении истории нет и не может быть «запретных» тем, а помимо того нельзя не видеть, что замалчивание реальной роли евреев во властных «органах» в 1937 году дает возможность многим современным авторам и ораторам грубейшим образом искажать суть тогдашнего террора: его пытаются толковать (это, кстати сказать, начал делать еще в 1930-х годах Троцкий) как «антисемитский» (поскольку тогда погибло множество евреев). И, конечно же, необходимо внести ясность в эту проблему.

* * *

Конкретная «доля» евреев в важнейших, по определению М. Агурского, «областях жизни» 1930-х годов не выяснена со всей достоверностью, и вокруг этой проблемы нередко возникают сегодня горячие споры. Так, например, страстный борец против «антисемитизма» журналистка Евгения Альбац, признавая в своей книге об «органах», что «среди следователей НКВД — МГБ — и среди самых страшных в том числе — вообще было много евреев» (уже точно установленные факты никак не позволяют это игнорировать), все же утверждает: ...в процентном отношении — к общей численности еврейского народа в стране — евреев в НКВД было не больше, чем, скажем, русских или латышей»[19].

Архивы ОГПУ — НКВД, в сущности, еще не изучены. Однако что касается *верховного* руководства НКВД в середине 1930-х годов, оно доподлинно известно, ибо 29 ноября 1935 года в газете «Известия» было опубликовано сообщение о присвоении «работникам НКВД» высших званий — Генерального комиссара и комиссаров госбезопасности 1 и 2-го рангов (соответствовали армейским званиям маршала и командармов 1 и 2-го рангов, — то есть, по-нынешнему, маршала, генерала армии и генерал-полковника). И из 20 человек, получивших тогда эти верховные звания ГБ, больше половины — 11 (включая самого Генерального комиссара) были евреи*, 4 (всего лишь!) — русские, 2 — латыши, а также 1 поляк, 1 немец (прибалтийский) и 1 грузин.

Из этих двух десятков людей, которые — подобно множеству других деятелей того времени — были и палачами, и затем жертвами, уцелел тогда (чтобы быть расстрелянным позднее, в 1953 году) только грузин С.А. Гоглидзе. Но ясно, что утверждение Е. Альбац о «процентном соотноше-

---

* Я.С. Агранов (Сорензон), Л.Н. Бельский (Левин), М.Н. Гай, Л.Б. Залин (Левин), З.Б. Кацнельсон, И.М. Леплевский, Л.Г Миронов, К.В. Паукер, А.А. Слуцкий, А.М. Шанин, Г.Г Ягода (Иегуда).

нии» в свете этой информации оказывается заведомо несостоятельным.

Стоит привести здесь прямо-таки поразительное заявление по поводу обилия евреев в «органах», сделанное принципиальным «юдофилом» А.М. Горьким еще в 1922 году:

«Я верю, что назначение евреев на опаснейшие и ответственные посты часто можно объяснить провокацией: так как в ЧК удалось пролезть многим черносотенцам, то эти реакционные должностные лица постарались, чтобы евреи были назначены на опаснейшие и неприятнейшие посты»[20].

Закономерно, что Горький начал со слов «я верю» (а не «я знаю»), и, разумеется, он не смог бы назвать даже хотя бы *одно* имя из тех «многих черносотенцев», которые, сумев «пролезть» в ЧК, якобы заняли там положение, дающее им возможность назначать евреев на «ответственные посты»! К тому же — как уже было показано выше — суть дела состояла в назначении на такие посты не именно и только евреев, а вообще «чужаков», которые смотрели на русскую жизнь как бы со стороны и могли в тех или иных ситуациях «не щадить» никого и ничего... Часто можно столкнуться с утверждениями, что ВЧК и затем ГПУ вообще, мол, «еврейское» дело. Однако до середины 1920-х годов на самых высоких постах в этих «учреждениях» (постах председателя ВЧК — ОГПУ и его заместителей) евреев не было; главную роль в «органах» играли тогда поляки и прибалты (Дзержинский, Петерс, Менжинский, Уншлихт и др.), то есть, по существу, «иностранцы». Только в 1924 году еврей Ягода становится 2-м заместителем председателя ОГПУ, в 1926-м возвышается до 1-го зама, а 2-м замом назначается тогда еврей Трилиссер. А вот в середине 1930-х годов и глава НКВД, и его 1-й зам (Агранов) — евреи.

Впрочем, Е. Альбац может возразить, что, помимо самого верхнего «этажа», имелось множество руководящих сотрудников ОГПУ — НКВД, которые непосредственно осуществляли репрессии, и следует учитывать «национальные пропорции» не только на самом верху.

Документами, которые дали бы возможность точно выяснить эти «пропорции», мы пока не располагаем. Правда, не так давно киевский журнал «Наше минуле» опубликовал обширный свод «документов из истории НКВД УССР» (1993, № 1, с. 39—150), свидетельствующих, что на Украине евреи играли в репрессивных «органах» безусловно преобладающую роль. Но нас интересует центр страны, Москва, куда после 1917 года шел, по определению М.С. Агурского, «огромный приток еврейского населения», и множество евреев заняло чрезвычайно весомое положение «в ряде жизненно важных областей», к которым, понятно, относилось и ОГПУ—НКВД.

В самое последнее время ведущий специалист Государственного архива Российской Федерации Александр Кокурин и сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров опубликовали статистические данные о национальном составе НКВД в 1937 году, — правда, только о *периферийных* его сотрудниках; приводимые цифры предваряет следующее уклончивое разъяснение: «Статистические данные о состоянии (на 1 марта 1937 года) оперативных кадров УГБ (то есть *местных* «управлений Госбезопасности». — *В. К.*) НКВД/УНКВД (кадры ГУГБ* Центра сюда *не входят*) выглядят так: общая численность — 23 857 человек... русские — 15 570 человек... евреи — 1776 человек...»[21]

При этом остается совершенно неясным, каков был удельный вес тех и других среди «руководителей». Количество сотрудников «низших» званий (сержант ГБ, младший лейтенант, лейтенант) или вообще не имевших звания составляло 22 271 человек (имеются в виду *местные* УГБ) — то есть 93,4 процента (от 23 857 человек), а количество сотрудников (опять-таки местных) с более или менее высокими званиями — от старшего лейтенанта ГБ (соответствовало нынешнему майору) до комиссара ГБ 1-го ранга (соответствовало генералу армии) — всего лишь 1585 человек, то есть 6,6 процента.

---

* То есть находившегося в Москве Главного управления ГБ, определявшего деятельность «органов» в целом.

И архивисты должны были бы, конечно, сообщить, какая часть из 1776 евреев, являвшихся к марту 1937 года (то есть как раз ко времени широких репрессий) сотрудниками *местных* управлений ГБ, принадлежала к 22 271 носителю «низших» званий (и вообще не имевшим званий), а какая — к 1585 носителям высших. Публикаторы сведений, похоже, предпочли затушевать это соотношение...

Еще более важны, конечно, данные о национальном составе *Главного* управления ГБ (в Москве), которые в публикуемый материал вообще «не вошли» (по всей вероятности, опять-таки из-за опасений публикаторов быть обвиненными в «антисемитизме»).

Но точно известно, что в 1934—1936 годах во главе «центра» НКВД стояли два еврея и один русский (нарком Г.Г Ягода и его заместители: 1-й — еврей Я.С. Агранов и 2-й — русский Г.Е. Прокофьев). В конце 1936 года *впервые* в истории ВЧК — ОГПУ — НКВД (о смысле этого — ниже) главой стал русский, Н.И. Ежов, Агранов остался 1-м замом, а из трех действовавших с конца 1936-го *новых* замов — М.Д. Бермана, Л.Н. Бельского (Левина) и М.П. Фриновского — только последний не был, возможно, евреем (точных сведений о его национальности у меня нет). Далее, «Главное управление ГБ Центра» состояло к 1937 году из 10 «отделов» (охраны, оперативного, контрразведывательного, секретно-политического, особого и т.д.), и начальниками по меньшей мере 7 (!) из этих 10 отделов были евреи*

И все же вполне достоверной и полной картины национального состава НКВД пока не имеется, — хотя вместе с тем едва ли есть основания сомневаться, что дело обстояло тогда так же, как и в других «жизненно важных» областях.

Чтобы показать, сколь значительной была в 1930-х годах роль людей еврейского происхождения в жизни столи-

---

* Паукер, Миронов, Леплевский, Шанин, Слуцкий, Цесарский, Вейншток.

цы СССР, обратимся к такой, без сомнения, важной области, как *литература,* — к доподлинно известному нам национальному составу Московской организации ССП (Союза советских писателей), точнее, *наиболее «влиятельной»* ее части.

На первый взгляд может показаться, что это «перескакивание» от ОГПУ — НКВД к ССП неоправданно. Но можно привести целый ряд доводов, убеждающих в логичности такого сопоставления. Для начала вспомним хотя бы о том, что среди деятелей литературы того времени было немало людей, имевших опыт работы в ВЧК — ОГПУ — НКВД, — скажем, И.Э. Бабель, О.М. Брик, А. Веселый (Н.И. Кочкуров), Б. Волин (Б.М. Фрадкин), И.Ф. Жига, Г. Лелевич (Л.Г Калмансон), Н.Г Свирин, А.И. Тарасов-Родионов и т.д.

Далее, своего рода «единство» с ОГПУ продемонстрировала большая группа писателей, побывавшая в августе 1933 года в концлагере Беломорканала, чтобы воспеть затем работу «чекистов» в широко известной книге, где выступили тридцать пять писателей во главе с А.М. Горьким.

Уместно привести также позднейшие (конца 1950-х — начала 1960-х годов) рассуждения писателя В.С. Гроссмана о И.Э. Бабеле и других: «Зачем он встречал Новый год в семье Ежова?.. Почему таких необыкновенных людей — его (Бабеля. — *В. К.*), Маяковского, Багрицкого — так влекло к себе ГПУ? Что это — обаяние силы, власти?»[22]

Особой «загадки» здесь нет, ибо Бабель сам служил в ВЧК, одним из наиболее близких Маяковскому людей был следователь ВЧК — ОГПУ и друг зампреда ОГПУ Агранова Осип Брик, Багрицкий же с чувством восклицал в стихах:

Механики, *чекисты,* рыбоводы,
Я ваш товарищ, *мы одной породы*...

и т.д.

Уже из этого, полагаю, ясно, что «сопоставление» ОГПУ — НКВД и ССП того времени не является чем-то несообразным. Что же касается национального состава «ведущей» части писателей Москвы, о нем есть точные сведе-

ния. Речь идет при этом не вообще о писателях, а о тех из них, которые имели тогда достаточно высокий официальный статус и потому в 1934 году стали делегатами всячески прославлявшегося писательского съезда, торжественно заседавшего шестнадцать дней — с 17 августа по 1 сентября.

Московская делегация была самой многолюдной: из общего числа около 600 делегатов съезда (со всей страны, от всех национальностей) к ней принадлежала почти треть — 191 человек. (Следует иметь в виду, что в опубликованном тогда «мандатной комиссией» съезда подсчете указана цифра 175, но здесь же оговорено: «не все анкеты удалось полностью обработать», и, согласно *поименному* списку делегатов, от Москвы участвовало в съезде на 16 человек больше.)[23]

Национальный состав московских делегатов таков: русские — 92, евреи — 72, а большинство остальных — это жившие в Москве иностранные «революционные» авторы (5 поляков, 3 венгра, 2 немца, 2 латыша, 1 грек, 1 итальянец; в кадрах НКВД, как мы видели, тоже было немало иностранцев). И если учесть, что население Москвы насчитывало к 1934 году 3 млн. 205 тыс. русских и 241,7 тыс. евреев, «пропорция» получается следующая: один делегат-русский приходился (3205 тыс. 92) на 34,8 тысячи русских жителей Москвы, а один делегат-еврей (241,7 тыс.: 72) — на 3,3 тысячи московских евреев... Из этого, в сущности, следует, что евреи тогда были в *десять раз* более способны занять весомое положение в литературе, нежели русские, — хотя ведь именно русские за предшествующие Революции сто лет создали одну из величайших и богатейших литератур мира!..

Но проблема проясняется, если вспомнить, что делегатами съезда 1934 года не являлись, например, Анна Ахматова, Михаил Булгаков, Павел Васильев, Николай Заболоцкий, Сергей Клычков, Николай Клюев (он был арестован за полгода до съезда), Михаил Кузмин, Андрей Платонов, — без которых нельзя себе представить русскую литературу того времени, — а также множество других значительных писателей.

Стихослагатель Безыменский заявил на съезде: «В стихах типа Клюева и Клычкова... мы видим... воспевание косности и рутины при охаивании всего... большевистского... Под видом «инфантилизма» и нарочитого юродства Заболоцкий издевался над нами... Стихи П. Васильева в большинстве своем поднимают и живописуют образы кулаков...»[24]

Не было, понятно, на съезде и наиболее выдающихся русских мыслителей, органически связанных (как это вообще присуще русской мысли) с литературой, — Михаила Бахтина, Алексея Лосева, Павла Флоренского, которые к тому времени были репрессированы... На съезде задавали тон совсем другие «идеологи» — Иоганн Альтман, Михаил Кольцов (Фридлянд), Исай Лежнев (Альтшулер), Карл Радек (Собельсон) и т.п.

Виктор Шкловский провозгласил на одном из первых заседаний съезда: «Я сегодня чувствую, как разгорается съезд, и, я думаю, мы должны чувствовать, что если бы сюда пришел Федор Михайлович, то мы могли бы судить его как наследники человечества, как люди, которые судят изменника, как люди, которые сегодня отвечают за будущее мира. Ф.М. Достоевского нельзя понять вне революции и нельзя понять иначе как изменника»[25].

В данном случае в типичной для Шкловского претенциозной риторике выразился весьма существенный смысл: литературу необходимо отсечь от Достоевского и, в конечном счете, от всего наиболее глубокого в русской литературе.

Накануне съезда вышла книга его активного делегата И. Лежнева (Альтшулера) «Записки современника», где было немало проклятий в адрес Достоевского и выдвигалось четкое требование: «...пора бросить набившие оскомину пустые разговоры о добре и зле по Толстому и Достоевскому»[26]. Вскоре И. Лежнев при содействии Давида Заславского добился — вопреки даже воле самого Горького! — запрета издания «Бесов» Достоевского (запрет этот действовал затем более двадцати лет).

Как уже сказано, меня наверняка обвинят в тенденциозном подборе имен и фактов, предпринятом в «антисе-

митских» целях. Однако ситуация 1930-х годов такова, что подобные обвинения могут предъявлять либо совершенно бесчестные, либо попросту не блещущие умом оппоненты. Чтобы доказать это, обращусь к суждениям одного обладавшего ясным умом писателя, размышлявшего впоследствии — на рубеже 1970—1980-х годов — о «вхождении» евреев в русскую жизнь и культуру. Он четко отграничил две принципиально различные «волны» в «русском еврействе» — дореволюционную и послереволюционную.

В первой «волне» так или иначе имело место (цитирую) «вживание еврейского элемента в сферу русской интеллигенции». Но после 1917 года «через разломанную черту оседлости хлынули многочисленные жители украинско-белорусского местечка, прошедшие только *начальную* ступень ассимиляции... непереваренные, с чуть усвоенными идеями, с путаницей в мозгах, с национальной привычкой к догматизму... Это была вторая волна зачинателей русского еврейства, социально гораздо более разноперая, с гораздо большими претензиями, с гораздо меньшими понятиями. Непереваренный этот элемент стал значительной частью населения русского города... Тут были... многочисленные отряды красных комиссаров, партийных функционеров, ожесточенных, поднятых волной, *одуренных властью.* Еврейские интеллигенты шли в Россию (имеется в виду Россия до 1917 года. — *В. К.*) с понятием об обязанностях перед культурой. Функционеры шли с ощущением прав, с требованием прав... Им меньше всего было жаль культуры, к которой они не принадлежали»[27]

Перед нами совершенно верный «диагноз», к которому мало что можно добавить. А любителям выискивать в таких размышлениях «антисемитизм» сообщаю, что снова цитирую рассуждения Давида Самуиловича Кауфмана (1920—1990) — поэта, известного под именем Д. Самойлов. В порядке уточнения скажу только, что, во-первых, людям, о коих он говорит, не только не было «жаль» русской культуры; она в ее глубоком смысле была им чужда или даже враждебна. А кроме того, они в значительной или даже в

полной мере оторвались и от той культуры, носителями которой были их отцы и деды.

Так, игравший одну из ведущих ролей на писательском съезде 1934 года Ицик Фефер (он стал после него членом президиума Правления Союза писателей) в своей речи заявил о скончавшемся накануне крупнейшем еврейском поэте Хаиме-Нахмане Бялике (1873—1934), что тот писал «о разрушенном Иерусалиме и о потерянной родной земле, но это была буржуазная ложь...». И вынес Бялику совсем уж тяжкий приговор: «Перед смертью он (Бялик. — *В. К.*) заявил, что гитлеризм является спасением, а большевизм проклятием еврейского народа»[28] (кстати сказать, как совершенно точно известно, Фефер в 1940-х годах был немаловажным секретным сотрудником НКВД — МГБ; не исключено, что это его сотрудничество началось намного раньше).

Выше уже шла речь (в частности, в связи с размышлениями Л.П. Карсавина) о том, что неверно говорить в XX веке о евреях «вообще», ибо есть евреи, сохраняющие свою национальную сущность, евреи, так или иначе вжившиеся в русскую (или иную) культуру, и, наконец, те из них, кто утратил еврейскую культуру и не обрел реального приобщения к русской. И это в высшей степени существенные различия; именно последний «тип» и был «востребован» в условиях революционного катаклизма, и, в частности, именно люди этого типа играли значительнейшую роль и в литературе, и в других «жизненно важных областях», включая ОГПУ — НКВД.

И обсуждение роли этой части, этого «типа» евреев, по сути дела, не является обсуждением собственно *национальной* проблемы: перед нами *политическая* и *идеологическая* проблема, хотя и связанная с людьми определенного национального происхождения. Поэтому несостоятельны попытки усмотреть в предлагаемом обсуждении «антисемитскую» тенденцию, то есть «критику» евреев как этноса, как нации; это станет совершенно ясным из дальнейшего.

* * *

Уже говорилось, что на съезде писателей 1934 года не было ни Ахматовой, ни Булгакова, ни Заболоцкого, ни, разумеется, арестованного 2 февраля 1934 года Клюева. Но не было на нем и выдающегося русского поэта еврейского происхождения Осипа Эмильевича Мандельштама (1891—1938), которого арестовали через три с небольшим месяца после Клюева — 13 мая 1934 года, то есть за четыре месяца до съезда.

И я обращаюсь теперь к личности и судьбе О.Э. Мандельштама, поскольку пристальное внимание к этой личности и этой судьбе в историческом контексте 1930-х годов дает возможность очень многое увидеть и осмыслить.

В настоящее время идут споры о том, был ли Осип Эмильевич «русскоязычным» еврейским поэтом или же русским поэтом еврейского происхождения. В февральском номере журнала «Наш современник» за 1994 год было опубликовано сочинение живущего ныне в США «русскоязычного» еврейского литератора Аркадия Львова «Желтое и черное», в котором он с помощью разного рода соображений стремился доказать, что Мандельштам страстно хотел стать подлинно русским поэтом, но ему это-де ни в коей мере не удалось. Однако в предисловии к сочинению А. Львова, написанном Станиславом Куняевым, остроумно и вместе с тем глубоко раскрыта неосновательность сего «приговора»[29].

Споры этого рода вокруг творчества Мандельштама начались давно. В частности, еще в 1924 году Юрий Тынянов объявил, что поэтическая «работа» (характерный для опоязовцев термин) Мандельштама — «работа почти чужеземца над литературным языком»[30]. С тыняновской точки зрения, это, надо сказать, отнюдь не было «недостатком», но Мандельштама такое толкование его «работы» явно возмутило — и сильно возмутило: даже через тринадцать лет, в январе 1937 года, он, отправляя Тынянову письмо из ссылки с просьбой (увы, напрасной) о поддержке, все же не смог не возразить ему: «Вот уже четверть века, как я...

наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои с ней сольются и растворятся в ней»[31].

И, на мой взгляд, перед нами совершенно верное заключение самого поэта, хотя прав и Станислав Куняев, уточняя: «...может быть, все-таки не столько Осип Мандельштам «наплыл» на русскую поэзию, сколько она наплыла на него»[32].

Выше цитировалось рассуждение Давида Самойлова о двух совершенно разных — даже, в сущности, противоположных по своему отношению к русскому бытию и культуре — «волнах» уходивших из «черты оседлости» евреев, первая из которых действительно приобщалась этому бытию и культуре.

Мандельштам родился в 1891 году в Варшаве, но уже на следующий год его семья поселилась в Павловске (под Петербургом), а с шести лет, то есть с 1897 года, поэт жил и учился в столице. В 1914 году Мандельштам пишет статью, свидетельствующую о том, что он поистине благоговейно воспринял русскую культуру и, шире, русское бытие. России присуща, утверждает поэт, «нравственная свобода, свобода выбора. Никогда на Западе она не осуществлялась в таком величии, в такой чистоте и полноте». Эта «нравственная свобода» — «дар русской земли, лучший цветок, ею взращенный... она равноценна всему, что создал Запад в области материальной культуры» (подчеркну, что поэт совершенно верно говорит не о «превосходстве» России над Западом, а об ее «равноценности» с ним). Притом в основе этой свободы лежит, по определению Мандельштама, «углубленное понимание народности как высшего расцвета личности»[33] — то есть величие русской культуры уходит корнями в тысячелетнее народное бытие.

Как не без оснований писала вдова Мандельштама Надежда Яковлевна, «мысль у О.М. всегда переходила в поступок». В юности, еще до революции, Осип Эмильевич четырежды посещал страны Западной Европы, прожив там в общей сложности более двух лет. И именно там поэт «выбрал» Россию и даже «отказался от соблазна еще раз посетить Европу», — несмотря на то, что в середине 1920-х

годов «заграничный паспорт был обеспечен»; документы «пролежали без толку... — вспоминала вдова поэта, — до самого обыска 34-го года, когда их... вместе с рукописями стихов увезли на Лубянку»[34].

После 1917 года поэту казалось, что та народная основа России, которую он ценил превыше всего, не подвергнется жестокому давлению, и, очевидно, именно поэтому он так или иначе «принял» свершившееся. Он писал в мае 1918 года:

Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год!..
Восходишь ты в глухие годы, —
О солнце, судия, народ.

В этих строках слово «свобода» употреблено, без сомнения, в ином (политически-правовом) значении, чем в процитированной выше статье поэта, где речь шла о «нравственной свободе», или, как сказано там же, «внутренней свободе», — а не «внешней», — по сути дела, «формальной», — присущей Западу. И «сумерки» этой внешней свободы поэт вроде бы готов даже «прославить» — ради «восхождения» высшего начала...

И Мандельштам вступил в острейший конфликт с новой властью только во время *коллективизации,* которую он воспринял как разрушение самых основ русского бытия, что и выражено, например, в его стихотворении 1933 года — года, когда тотальный голод поразил черноземные области страны:

Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины, Кубани...

То есть коллективизация предстает как всеобщая — *космическая* — катастрофа, сокрушающая и народ, и даже *природу*...

Тем самым Мандельштам оказался в прямом конфликте не только с властью, но и с основной и господствовавшей частью тогдашней литературы. Так, Тынянов, ранее безосновательно писавший о поэте как о «чужеземце», нисколь-

ко не был озабочен судьбой русского крестьянства и с искренним пафосом говорил Корнею Чуковскому: «Сталин, как автор колхозов, величайший из гениев, перестраивавших мир. Если бы он, кроме колхозов, ничего не сделал, он и тогда был бы достоин назваться гениальнейшим человеком эпохи»[35].

Другой известнейший писатель, Бабель, в декабре того самого гибельного 1933 года, когда Мандельштам создал только что процитированное стихотворение, утверждал в письме к своей сестре: «Колхозное движение сделало в этом году решающие успехи, и теперь открываются действительно безбрежные перспективы, земля преображается»[36].

Анна Ахматова многозначительно сказала в своих «Записках» о Мандельштаме, что «слово н а р о д (разрядка Ахматовой. — *В. К.*) не случайно фигурирует в его стихах»[37]. Литератор из известной эмигрантской семьи, Никита Струве, в 1988 году писал в монографии о поэте*: «Он ищет в своей верности четвертому сословию, то есть народу, объяснение своего двусмысленного отношения к веку»[38] (то есть двойственного отношения к Революции и ее последствиям). Здесь же Никита Струве полемизирует с одним частным суждением Анны Ахматовой: «В своих «Записках» Ахматова жалеет, что Мандельштам покинул (в начале 1931 года. — *В. К.*) Ленинград, где у него были верные, понимавшие и ценившие его друзья — Тынянов, Гуковский, Эйхенбаум. Она приписывает это бегство семейным причинам, влиянию жены... Но это утверждение нам кажется поверхностным... Оно не дает удовлетворительного объяснения внутренним причинам, побудившим Мандельштама бросить... круг друзей... Сознательно или нет, Мандельштам покидает Ленинград, чтобы оторваться от ложной последовательности, чтобы забыть, упразднить прошлое», — то есть свое предшествующее отношение к действительности.

---

* Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить приславшего мне эту книгу Никиту Алексеевича.

В Москве, куда поэт переселялся, его, по словам Струве, «песнь будет борьбой, вызовом, Мандельштам поставит на стихи карту своей жизни» (цит. изд., с. 52, 53). В Москве Мандельштам, — по сути дела, опровергая приведенные только что суждения Тынянова, — напишет крайне резкие стихи о Сталине, которые, отмечает Струве, «начинаются с широкого обобщения, с «мы», что придает стихотворению национальное измерение. Поэт отождествляет себя с «мы»...» (там же, с. 78).

И Анна Ахматова в самом деле едва ли была права, утверждая, что Тынянов и другие люди этого круга являлись «понимавшими» Мандельштама друзьями. В высшей степени показательно, что, переселившись в Москву, поэт обретает здесь *совершенно иных* друзей — Николая Клюева (о творчестве которого он восхищенно писал еще в 1922 году), Сергея Клычкова, Павла Васильева. Очевидец — С.И. Липкин — вспоминает, как «в 1931-м или в 1932 году» Мандельштам приходит в гости к Клычкову и Клюеву: «Клюев привстал, крепко обнял Мандельштама, они троекратно поцеловались»[39].

Но, прежде чем говорить об этой дружбе, необходимо обратиться к теме коллективизации — этой «второй» революции. Сейчас общепринято мнение, что Мандельштам, создавая в ноябре 1933 года свое памфлетное стихотворение о Сталине, определил вождя вначале как «мужикоборца», но затем отказался от этого слова, — из чего вроде бы следует, что коллективизация не имела в глазах поэта главного, всеопределяющего значения. Однако едва ли не более основательным будет противоположное умозаключение. Ведь ясно, что процесс создания произведения — это путь от непосредственного *переживания* реального бытия к собственно *художественной* «реальности». И тот факт, что *вначале* явилось слово «мужикоборец», свидетельствует об особо существенном значении коллективизации для мандельштамовского восприятия фигуры Сталина (об этом, между прочим, верно писал в своей известной статье о поэте С.С. Аверинцев)[40]. А завершенное стихотворение — как и любое явление искусства — отнюдь

не преследует цель «информировать» о тех явлениях самой действительности, которые побудили поэта его создать.

За полтора-два года до Мандельштама (то есть в 1931-м или в начале 1932 года) сочинил «эпиграмму в античном духе» на Сталина Павел Васильев, для которого — как и для его старших друзей Клюева и Клычкова — наиболее неприемлемым событием эпохи была тогда, вне всякого сомнения, коллективизация. Тем не менее в васильевской эпиграмме о ней нет речи:

О муза, сегодня воспой Джугашвили, сукина сына,
Упорство осла и хитрость лисы совместил он умело.
Нарезавши тысячи тысяч петель, насилием к власти
пробрался...

и т.д.[41]

Между прочим, нередко можно встретить ложное утверждение, что-де Мандельштам явился единственным поэтом, осмелившимся написать антисталинские стихи. Верно другое: он был единственным выступившим против Сталина поэтом *еврейского* происхождения. И, по свидетельству вдовы поэта, Борис Пастернак «враждебно относился к этим стихам... «Как мог он написать эти стихи — ведь он еврей!..»[42] Да, даже для Бориса Леонидовича тогдашнее — высокопривилегированное — положение евреев в СССР как бы «перевешивало» трагедию русского крестьянства... Словом, Осип Эмильевич, в сущности, резко разошелся с вроде бы близкой ему литературной средой и избрал для себя совсем иную. И естественно полагать, что именно поэтому он смог создать свой антисталинский памфлет.

Ведь Павел Васильев, как уже сказано, написал свою эпиграмму раньше, и есть основания сделать вывод, что Мандельштам, тесно сблизившийся в 1931—1932 годах с Васильевым и его друзьями, знал эту эпиграмму, и она так или иначе «повлияла» на его собственное отношение к Сталину.

Необходимо при этом учитывать, что Мандельштам очень высоко ценил поэзию совсем еще молодого, 24—25-летнего Павла Васильева, даже в какой-то мере «завидовал» ему, говоря в 1935 году: «Вот Есенин, Васильев имели бы на моем месте социальное влияние. Что я? — Катенин, Кюхля»[43] (то есть находившиеся как бы на обочине главного пути поэты пушкинской эпохи). Но дело не только во «влиятельности»; тогда же Мандельштам утверждает: «В России пишут четверо: я, Пастернак, Ахматова и П. Васильев» (там же, с. 83, 84). В данном случае речь идет уже не о конкретном «смысле» поэзии Васильева, а об ее собственно художественной ценности. Можно, конечно, оспаривать эту мандельштамовскую оценку, считать ее преувеличенной. Но если он даже и преувеличивал, то, надо думать, потому, что видел в васильевской поэзии воплощение истинного восприятия трагической эпохи коллективизации.

Многозначительно, что в двух стихотворениях Мандельштама, созданных в одно время с антисталинским памфлетом, в ноябре 1933 года, — «Квартира тиха как бумага...» и «У нашей святой молодежи...» — присутствует тема коллективизации («...грозное баюшки-баю колхозному баю пою. Какой-нибудь изобразитель, чесатель колхозного льна...»; «колхозного бая качаю, кулацкого пая пою...»).

Как уже сказано, до начала коллективизации Осип Эмильевич не питал непримиримости к власти, — хотя некоторые нынешние авторы, «вдохновленные» столь широко разлившейся в последнее время волной тотального «отрицания» Революции, пытаются превратить поэта в бескомпромиссного «контрреволюционера». Между тем достаточно обратиться к целому ряду мандельштамовских статей 1921—1929 годов, чтобы убедиться в ложности подобных утверждений.

Разумеется, далеко не все в тогдашней драматической и трагической действительности поэт мог «принять», но он, например, вполне искренне писал в 1927 году: «Нужна была революция, чтобы раскрепостить слово...»[44] Резкий перелом в мировосприятии Мандельштама совершается именно во время коллективизации.

Здесь целесообразно напомнить широко известные и чрезвычайно показательные фразы Эренбурга из его позднейших воспоминаний «Люди, годы, жизнь» о времени писательского съезда 1934 года, накануне которого Мандельштам как раз и был репрессирован: «...мое имя, — констатировал Илья Григорьевич, — стояло на красной доске, и никто меня не обижал. Время было вообще хорошее, и мы все (обратим внимание на это «мы все». — *В. К.*) думали, что в 1937 году, когда должен был по уставу собраться второй съезд писателей, у нас будет рай».

Перед нами по-своему замечательное «саморазоблачение» человека «*либерального*» образа мыслей. Можно понять и, как говорится, простить длинную речь Эренбурга, произнесенную в 1934 году на писательском съезде, — речь, в которой на все лады восхвалялась, по его определению, «глубокая человечность нашего социалистического общества»[45], — невзирая ни на только что завершившуюся трагедию коллективизации, ни на недавний арест «коллег» по литературе — Клюева и Мандельштама. Тогда, в 1934-м, могли иметь место непреодолимые иллюзии. Но приведенные выше фразы написаны в 1960-х годах, когда, казалось бы, все уже было ясно...

И суть дела в том, что для «либеральной» идеологии, фундаментом которой является принципиальный *индивидуализм,* абсолютизация личности, типичен именно такой подход к положению в обществе: раз «*мое* имя» (и моих друзей) «на красной доске» и «никто *меня*» (и моих друзей) «не обижает», — значит, время вообще «хорошее»!

В связи с этим нельзя не сказать о том, что Осип Мандельштам решился на роковой конфликт с властью в период, когда его личная судьба складывалась в силу тех или иных причин (исследовать их для нашей темы не так уж важно) отнюдь не столь уж «плохо». Вот краткие сведения о его «успехах» с весны 1932-го до осени 1933 года.

23 марта 1932 года О.Э. Мандельштаму «за заслуги перед русской литературой» назначена пожизненная персональная пенсия (поэту, кстати, исполнился тогда всего только 41 год); в апреле и июне циклы его стихотворений

публикуются в журнале «Новый мир»; в апреле же в газете «За коммунистическое просвещение» появилась его статья о Дарвине; 8 сентября подписан договор с «престижным» Государственным издательством художественной литературы об издании книги Мандельштама «Стихи»; 10 ноября состоялся вечер поэта в «Литературной газете» и затем, 23 ноября, публикация на ее страницах его стихотворений; 31 января 1933 года подписан еще один договор об издании книги «Избранное»; в феврале—марте состоялись четыре вечера поэта — два в Ленинграде и два в Москве (один из них — в известном зале Политехнического музея); в мае в журнале «Звезда» была опубликована книга очерков поэта «Путешествие в Армению», а в июле Издательство писателей в Ленинграде уже подготовило гранки отдельного ее издания; в августе получен ордер на двухкомнатную квартиру в «престижном» доме около Арбата, где поэт и поселился в октябре 1933 года.

И тем не менее вскоре же, в ноябре, Осип Эмильевич пишет острейшее антисталинское стихотворение и читает его десятку различных литераторов...

Эренбург впоследствии, в 1960-х годах, писал о Мандельштаме как о чрезвычайно высоко ценимом им с давних пор поэте и человеке, но есть все основания не сомневаться в полной правоте вдовы поэта, Н.Я. Мандельштам, которая утверждала, что в 1930-х годах «Эренбург мало интересовался Мандельштамом. Ему казалось, что Мандельштам принадлежит прошлому... Поведение Мандельштама было неразумное (в глазах Эренбурга. — *В. К.*)... Писал бы себе про ос (имеется в виду стихотворение «Вооруженный зреньем узких ос...». — *В. К.*), и ничего бы с ним не случилось... Это... точка зрения «победителей»...» Надежда Яковлевна называла так людей, которые были, в общем и целом, довольны всем, что совершалось в стране, и, в частности, праздновали в 1934-м «победу» на съезде писателей. Их ужаснул только (цитирую вдову поэта) «тридцать седьмой год, отнявший у них плоды победы. Все, что происходило до 37-го года, считалось закономерностью и

вполне разумной классовой борьбой, потому что крошили не «своих», а «чужих»[46].

Здесь может возникнуть недоумение, ибо ведь Мандельштам погиб, условно говоря, как раз в «тридцать седьмом» (собственно календарно — 27 декабря 1938-го в лагере на окраине Владивостока). Но к этому скорбному итогу мы еще вернемся; отметим только, что вдова поэта явно — и правильно — не считала его жертвой именно «тридцать седьмого».

Между тем позднее Мандельштама без сколько-нибудь серьезных обоснований «приплюсовали» к тем, кто стал «жертвой» именно и только в тридцать седьмом. Кроме того, литераторы, «уцелевшие» в 1937-м, начали задним числом рассказывать о своем изначальном преклонении перед Мандельштамом. На деле он был, в сущности, чужд героям писательского съезда 1934 года. И, надо сказать, лишь один из делегатов этого съезда, Борис Пастернак, честно признался в 1956 году, что в свое время «недооценил» Мандельштама (и потому в 1934-м уклонился от ответа на вопрос Сталина о том, является ли Мандельштам «мастером»)[47], а, скажем, делегаты съезда 1934 года Каверин (Зильбер), Паустовский, Шкловский — как и Эренбург — впоследствии уверяли, что они-де всегда знали истинную (высшую) цену Мандельштаму. Между тем Каверин в 1937 году отказался дать Осипу Эмильевичу небольшую сумму денег взаймы, сославшись на то (поразительная моральная глухота!), что деньги нужны ему самому, так как он строит дачу... (В 1977 году Каверин сделал «выговор» вдове поэта: «Напрасно вы об этом вспомнили»[48].)

Мандельштама сейчас ставят в один ряд с теми, кто в 1934-м, после его ареста, «праздновал победу» на писательском съезде. Так, в незаурядном в целом исследовании Виталия Шенталинского «Рабы свободы. В литературных архивах КГБ» (1995) на с. 14 дан *перечень* этих самых «рабов», в котором имена арестованных *перед* писательским съездом Флоренского, Клюева и Мандельштама оказались «в одном строю» с именами делегатов съезда — Бабеля, А. Веселого (Кочкурова), М. Кольцова (Фридлянда)... А ведь Бабель и А. Веселый служили в ВЧК, Кольцов

же занимал, пожалуй, еще более «ответственное» положение — был своего рода личным «эмиссаром» Сталина.

И гораздо уместнее было бы поставить вторую «тройку» в совсем иной «ряд» — скажем, Кольцова — вместе с его приятелем, заместителем главы НКВД в 1936—1937 годах, начальником ГУЛАГа М.Д. Берманом, который был арестован в том же декабре 1938-го[49], что и Кольцов, а Бабеля — с его многолетним другом, виднейшим деятелем ВЧК — ОГПУ, начальником СОУ (Секретно-оперативного управления) ОГПУ Е.Г Евдокимовым*, арестованным опять-таки в одно время с Исааком Эммануиловичем (Бабель даже был расстрелян 27 января 1940 года в одной «группе» с женой и сыном Евдокимова[50]; последнего расстреляли несколькими днями позже вместе с Ежовым).

Осип Эмильевич — человек и поэт совсем иного «ряда», о чем совершенно верно писали и его вдова, в глазах которой «уничтожение Мандельштама, Клюева, Клычкова»[51] — *единый* акт, и «боевой» стихотворец Алексей Сурков, с чьей точки зрения, высказанной в 1936 году, «только по паспорту, а не по духу — советские: Клюев, Клычков, Мандельштам»[52], — тот же «ряд»... И еще одно существеннейшее имя: «Последним «мужем совета», — писала вдова поэта, — для Мандельштама был Флоренский, и весть об его аресте... он принял как полное крушение и катастрофу»[53]. П. А. Флоренский был арестован 25 февраля 1933-го — то есть за год с небольшим до ареста Мандельштама.

Как-то сближать Мандельштама с Бабелем нет оснований уже хотя бы потому, что поэт, о чем свидетельствует его вдова, «категорически отказывался» от какого-либо литературного «союза с одесситами»[54], то есть писателями бабелевского круга, а также пришел к выводу, что Бабель пишет «не по-русски»... [55]

---

* 3 февраля 1935 года Бабель сообщал в письме к матери и сестре: «...прибыли мои товарищи — Евдокимов... Калмыков... На них уходит много времени. Ложусь спать в четыре-пять часов утра» (*Бабель Исаак.* Сочинения. М., 1991, т. 1, с. 345—346).

Тем более это относится к М. Кольцову, ибо, как сообщает Н.Я. Мандельштам, даже и В.Б. Шкловский мечтал в 1930-х годах о том, чтобы репрессии ограничились «собственными счетами» людей власти, и «когда взяли Кольцова, он сказал, что это нас не касается»[56].

Словом, присущее массе нынешних сочинений «приравнивание» совершенно различных людей, погибших в 1930-х годах, означает не только явное упрощение, но и грубое искажение реальности. Те же Бабель и М. Кольцов, если уж на то пошло, были гораздо ближе к уничтоженному в 1940-м Ежову, в доме которого они запросто бывали в качестве дорогих гостей, чем к Флоренскому, а также и к Мандельштаму.

Бабель много лет работал над сочинением о чекистах, и ему мешало только следующее: «...не знаю, справлюсь ли, — признавался писатель, — очень уж я однообразно думаю о ЧК. И это оттого, что чекисты, которых знаю... просто святые люди. И опасаюсь, не получилось бы приторно. А другой стороны не знаю. Да и не знаю вовсе настроений тех, которые населяли камеры, — это меня как-то даже и не интересует»[57] (!). А вот суждения М. Кольцова: «...работа в ГПУ продолжает требовать отдачи всех сил, всех нервов, всего человека, без отдыха, без остатка... Не знаю, самая ли важная для нас из всех работ работа в ГПУ. Но знаю, что она самая трудная...» Ежова М. Кольцов воспел в «Правде» от 8 марта 1938 года как «чудесного несгибаемого большевика... который дни и ночи... стремительно распутывает и режет нити фашистского заговора...»[58].

Бабеля — не говоря уже о Кольцове — «категорически» отделяет от Мандельштама уже одно только восприятие *коллективизации*, которой Исаак Эммануилович не только восхищался (выше приведено одно из соответствующих его высказываний), но и *сам лично* осуществлял. С февраля по апрель 1930 года он, по его собственному определению, «принимал участие в кампании по коллективизации Бориспольского района Киевской области». Вернувшись в Москву в апреле 1930-го, Бабель сказал своему другу Багрицкому: «Поверите ли, Эдуард Георгиевич, я теперь нау-

чился спокойно смотреть на то, как расстреливают людей»[59]. В начале 1931 года Бабель вновь отправился в те места...[60]

Осип Мандельштам, казалось бы, столь далекий от Николая Клюева, воспринял коллективизацию как космическую катастрофу («природа своего не узнает лица...»); в написанной Клюевым незадолго до ареста (но опубликованной лишь в наше время) «Песне Гамаюна», которую, вполне вероятно, слышал из его уст Осип Эмильевич, воплотилось именно такое восприятие, предстающее сегодня поражающе провидчески (стихотворение это сохранилось только в архиве ОГПУ):

К нам вести горькие пришли,
Что зыбь Арала в мертвой тине,
Что редки аисты на Украине,
Моздокские не звонки ковыли.
И в светлой Саровской пустыне
Скрипят подземные рули!*

К нам вести горькие пришли,
Что больше нет родной земли...

Да уж, в самом деле, Гамаюн — птица вещая... И как прав был Мандельштам, написавший ранее: «Клюев — пришелец с величавого Олонца, где русский быт и русская мужицкая речь покоится в эллинской важности и простоте. Клюев народен потому, что в нем сживается ямбический дух Боратынского с *вещим* напевом неграмотного олонецкого сказителя»[61].

Вполне закономерно, что в 1934 году ордера на арест Клюева и, через три с половиной месяца, Мандельштама подписал один и тот же зампред ОГПУ Я.С. Агранов, а допросы их вел один и тот же Н.Х. Шиваров; его отчество — «Христофорович», из-за чего некоторые читатели усматривают в нем сына русского священника. Между тем Шиваров, подобно известному Христиану Раковскому (Станчеву), был выходцем из Болгарии, то есть «коммунистом-ин-

* В 1940-х годах Саров превратится в «Арзамас-16»...

тернационалистом», каковых в составе ВЧК — ОГПУ имелось множество.

Невозможно переоценить тот факт, что Николай Клюев, находясь с 1934 года в предельно тяжкой и окончившейся гибелью (в октябре 1937-го) сибирской ссылке, пишет в Москву 25 октября 1935 года о своем в очередной раз оказавшемся в заключении молодом последователе: «Жалко сердечно Павла Васильева» — и тут же спрашивает: «Как поживает Осип Эмильевич? Я слышал, что будто он в Воронеже?»[62] И через четыре месяца, 23 февраля 1936-го: «Очень меня волнует судьба Васильева, не знаете ли Вы его адреса?» И опять-таки: «Очень бы хотелось написать Осипу Эмильевичу, но его адреса я тоже не знаю» (там же, с. 191). Напомню, что Мандельштам в своей ссылке 5 августа 1935 года говорил о Павле Васильеве как об одном из трех наиболее выдающихся поэтов современности (см. выше). Стоит еще привести слова Н.Я. Мандельштам о Сергее Клычкове: «...мы всегда дружили с ним. Ему посвящена третья часть «Стихов о русской поэзии»...»[63] (отмечу, что в наследии Мандельштама весьма немного таких посвящений, — кроме «шуточных» стихотворений, одно из которых, кстати, обращено к Павлу Васильеву).

Эти взаимоотношения Мандельштама с Клюевым, Клычковым и Павлом Васильевым с известной точки зрения неожиданны и даже странны. Ведь перечисленные три поэта в 1920—1930-х годах (а в какой-то мере это продолжается и сегодня) преподносились в качестве заведомых русских «националистов», «шовинистов» и, конечно же, «антисемитов»; достаточно упомянуть, что Сергей Клычков арестовывался по обвинению в «антисемитизме» в 1923 году, а Павел Васильев — в августе 1935 года, то есть как раз тогда, когда Осип Мандельштам говорил о нем как об одном из трех наиболее ценимых им поэтов!

В начале 1930-х годов критик О. Бескин, являвшийся, между прочим, ответственным секретарем редакции «Литературной энциклопедии», писал о поэзии Клычкова как о «националистически-шовинистической лирике»[64]. И тогда же некто С. Розенталь на страницах самой «Правды»

(10 августа 1933 года) заявил, что «от образов Мандельштама пахнет... великодержавным шовинизмом»[65].

Итак, О.Э. Мандельштам — «шовинист», и, разумеется, дело идет не об еврейском, а о русском «шовинизме». Это обвинение было выдвинуто «главной» партийной газетой, редактируемой тогда Л.З. Мехлисом, который, между прочим, до 1918 года был членом сугубо «национальной» еврейской партии «Поалей Цион» («Рабочие Сиона»)... И Розенталь, и Мехлис были по-своему «правы»: ведь «дерзнул» же Осип Эмильевич опубликовать в советской газете статью (я ее только что цитировал), в которой, говоря о поэзии Клюева, выразил свое преклонение перед еще теплившейся тогда «исконной Русью», где, по его определению, «русский быт и русская мужицкая речь покоится в эллинской важности»...

В те времена (как, кстати сказать, и сегодня) каждый человек, для которого Россия представляла собой безусловную *самостоятельную* ценность (а не всего лишь «материал», из коего необходимо нечто «выработать»), рисковал быть «обвиненным» в «национализме», «шовинизме», «фашизме» и, разумеется, «антисемитизме». Именно в этих «преступлениях» были обвинены тогда П. А. Флоренский, А.Ф. Лосев, С.Ф. Платонов, М. М. Бахтин...

Впрочем, вроде бы в самом деле есть основания усматривать в Сергее Клычкове или Павле Васильеве «националистическую» настроенность, которая выражалась в их недовольстве засильем «чужаков» — «инородцев», «иноземцев» — и в литературе, и в жизни страны в целом. Так, арестованный Клычков признался — по всей вероятности, вполне искренне, — что власть в СССР «в моем представлении и в разговорах с окружающими рисовалась узурпатором русского народа, а руководители ВКП(б) — иноземцами, изгоняющими и принижающими русский дух»[66].

Однако ведь с теми же основаниями можно обвинить в «национализме» Мандельштама, который в своем весьма кратком (всего 16 строк) памфлете не преминул все же «сообщить», что Сталин — «горец» и «осетин», а также заявил (о чем уже говорилось), что Бабель пишет «не по-рус-

ски»... Более того: в мандельштамовском стихотворении о Сталине, по всей вероятности, содержится бессознательная, а может быть, даже полусознательная «полемика» с известной статьей Бухарина «Злые заметки» (1927) — несмотря на то, что Николай Иванович не раз поддерживал поэта.

Бухарин в этой статье с крайней резкостью выступил против пресловутого «русского национализма». Он писал, цитируя строку второстепенного стихотворца 1920-х годов: «...»На кой же черт иные страны!» — вот один уровень «национальной гордости» мещанина. «Умом Россию не объять»* — вот вам другой уровень, поквалифицированнее. Некий *разговорец* (выделено мною. — *В. К.*) насчет «жидов» и «инородцев» — вот еще форма воспитания... Так помаленечку просовывает свои идеологические пальцы *новая российская буржуазия*» (выделено Бухариным)...[67] У Мандельштама же сказано:

...где хватит на *полразговорца,*
Там припомнят кремлевского горца...

Будучи ознакомлен с этим стихотворением близким ему наркомвнуделом Ягодой, Бухарин, как известно, в гневе не пустил на порог жену поэта, пришедшую просить о смягчении его участи. Конечно, главное было здесь в самом факте выступления поэта против Сталина, но не исключено, что Бухарина возмутило и как бы признание законности, естественности «полразговорцев» о властвующем «инородце» в мандельштамовском стихотворении... Эта законность и естественность определялась тем, что «чужаки» в самом деле играли громадную и нередко страшную роль.

Из вышеизложенного, полагаю, вполне ясно, что и «полразговорца» 1930-х годов, и теперешний мой разговор о «чужаках» отнюдь не имеют в виду проблему так называемой «*крови*», то есть вообще всех людей нерусского происхождения, которые-де, заняв существенные места в

---

* Это искаженная Бухариным строка Тютчева.

русской культуре и русском бытии, в силу самой своей «нерусскости» наносят вред этой культуре и этому бытию. История Руси-России опровергает подобную «точку зрения» буквально на каждом своем шагу, ибо поистине бесчисленные люди иной «крови» играли в этой тысячелетней истории весомую и плодотворную роль. И речь идет у нас только о таких людях нерусского происхождения, которые не имеют духовной, да и просто жизненной связи с русским бытием и культурой, но в силу той или иной кризисной ситуации все же занимают эти самые существенные места. И такие люди были враждебны и Николаю Клюеву, и Осипу Мандельштаму в равной мере...

Вдова поэта в своих написанных тридцатью с лишним годами позднее воспоминаниях заметила — правда, мимоходом, не развивая тему, — что «Мандельштам, еврей и русский поэт, платил... по двойным... счетам»[68], — то есть гонения на него были, мол, вызваны как его принадлежностью к подлинной русской поэзии, так и его еврейским происхождением. Но второе утверждение явно безосновательно, и, рассказывая о пути поэта, приведшем его к аресту в мае 1934 года, мемуаристка сама начисто опровергает это свое утверждение, ибо *почти все* «враги» поэта, о которых она сообщает, — *евреи*...

Надежда Яковлевна вспоминает, что еще в 1917 году поэт вызвал враждебное отношение к себе со стороны двух «вождей» — Каменева и (цитирую) «особенно Зиновьева. Мы это остро чувствовали, когда жили в середине двадцатых годов в Ленинграде» (там же, с. 87; Зиновьев с 1917-го до 1926 года был «хозяином» Ленинграда). Поддерживал поэта как раз русский по происхождению «вождь» — Бухарин, «который привлек на свою сторону еще и Кирова» (там же, с. 106; Киров-Костриков в 1926 году сменил Зиновьева в качестве «хозяина» Ленинграда).

Впрочем, еще в 1918 году поэт оказался в крайне остром конфликте с влиятельнейшим тогда деятелем ВЧК — и это опять-таки был еврей Блюмкин (там же, с. 95—100). Н.Я. Мандельштам пишет также, что «в доме у Брика, где собирались литераторы и сотрудники Брика по службе

(а он служил тогда в ВЧК — ОГПУ. — *В. К.*), — они там зондировали общественное мнение и заполняли первые досье — О(сип) М(андельштам) и Ахматова уже в 22-м году получили кличку «внутренние эмигранты». Это сыграло большую роль в их судьбе» (там же, с. 160).

В 1924 году агрессивный литдеятель Г Лелевич (Калмансон) «кипел ненавистью», обличая: «Насквозь пропитана кровь Мандельштама известью старого мира» (там же, с. 161, 413). Влиятельный литератор Абрам Эфрос «был организатором фельетона» Давида Заславского (в 1929 году в «Литературной газете»), ставившего задачу дискредитации поэта. Уже говорилось об С. Розентале, который в 1933 году с санкции Л. Мехлиса обвинил поэта в «*великодержавном шовинизме*» (до ареста Мандельштама оставалось тогда меньше года...). Далее, вероятным доносчиком, передавшим в ОГПУ текст мандельштамовской эпиграммы на Сталина, был еврей Л. Длигач, а «подсадной уткой», помогавшей аресту поэта, Надежда Яковлевна называет Давида Бродского. Наконец, приказ об аресте отдал в мае 1934 года зампред ОГПУ Я. Агранов (Сорензон)...

Чрезвычайно показательна и ситуация *после ареста* поэта. Н.Я. Мандельштам вспоминала, что перед отправлением мужа (вместе с нею) в ссылку 28 мая 1934 года было решено собрать какое-то количество денег: «Анна Андреевна (Ахматова. — *В. К.*) пошла к Булгаковым (нельзя не сказать, что ныне Булгакова, как и Клычкова с П. Васильевым, «принято» считать «антисемитом». — *В. К.*) и вернулась, тронутая поведением Елены Сергеевны (супруги писателя. — *В. К.*), которая заплакала, услыхав о высылке, и буквально вывернула свои карманы. Сима Нарбут (жена поэта-акмеиста. — *В. К.*) бросилась к Бабелю, но не вернулась...»[69] И это вполне понятно: Бабель никак не мог сочувствовать поэту, выступившему против Сталина; вскоре, на писательском съезде, Исаак Эммануилович беспрецедентно превознесет вождя...

Словом, явно неуместна версия, согласно которой гонения на русского поэта Мандельштама, завершившиеся арестом, хоть в какой-то мере были связаны с его еврей-

ским происхождением. Правда, Надежда Яковлевна рассказывает еще об имевшем место в 1932—1934 годах конфликте поэта с писателем С.П. Бородиным и затем с поддержавшим последнего А.Н. Толстым. Однако перед нами чисто «бытовая» стычка, которая закончилась пощечиной, нанесенной Толстому Мандельштамом (а не наоборот!). Вдова поэта пишет, что до нее «дошла фраза», якобы произнесенная тогда, в начале мая 1934 года, самим М. Горьким: «Мы ему покажем, как бить русских писателей...»[70], фраза, которая-де сыграла зловещую роль. Однако все, что мы знаем о Горьком, убеждает в абсолютной немыслимости подобного высказывания в его устах. Достаточно вспомнить, что именно в то время Горький, по сути дела, назвал Павла Васильева «фашистом» («Правда» от 14 июня 1934 года; статья была напечатана в тот же день и в трех других газетах).

Горький никак не мог бы негодовать из-за того, что еврей дал пощечину «русскому писателю», ибо он был прямо-таки мистическим «юдофилом» (знать об этом немаловажно, ибо Алексей Максимович в первой половине 1930-х годов так или иначе возглавлял все литературное дело). 26 сентября 1929 года он гордо заявил на страницах «Правды»: «По мере сил моих я боролся с антисемитизмом лет тридцать»[71], хотя, казалось бы, с 1917 года он вполне мог «доверить» эту борьбу ВЧК — ОГПУ... Очень характерна деталь из рассказа о быте Горького в 1930-х годах:

«Желающих побывать у Алексея Максимовича было слишком много, и очередность посещений устанавливал строгий его секретарь (П.П. Крючков, тесно связанный с Г.Г. Ягодой. — *В. К.*). Но была *категория людей*, которые, по договоренности с Алексеем Максимовичем, «обходили» секретаря и пробирались «нелегально»... В «нелегальные» попали и Исаак Эммануилович Бабель, и Соломон Михайлович Михоэлс, и Самуил Яковлевич Маршак, и Михаил Кольцов»[72] (Михаил Ефимович Фридлянд).

Словом, нет ровно никаких оснований полагать, что беды Мандельштама зависели от его еврейского происхождения.

В связи с этим уместно сказать, что в глазах иных ны-

нешних авторов сам Осип Эмильевич предстает в качестве... «антисемита». Именно таково, например, мнение активнейшего специалиста «по данному вопросу» М. Золотоносова. В своей изданной в 1995 году книге «Мастер и Маргарита» как путеводитель по субкультуре русского антисемитизма (СРА*)» сей автор утверждает, что творцу знаменитого романа присущ «элементарный антисемитизм, разрушающий ту «оптимизированную» биографию Булгакова (неправомерно сближенную с Идеалом), которая внедрилась в общественное сознание»[73].

В цитируемой книге говорится, в частности, о концепции «легендарной вины евреев за то, что «они Бога распяли»... Булгаков имел в виду эту концепцию при работе над «Мастером и Маргаритой». Впрочем, — добавляет, сокрушаясь, М. Золотоносов, — что говорить о Булгакове, если даже О.Э. Мандельштам... писал: «Если победит Рим — победит даже не он, а иудейство — иудейство всегда стояло за его (Рима. — *В. К.*) спиной и только ждет своего часа...» (там же; речь идет об ожидании казни Иисуса Христа).

Определение «вины» как «легендарной» основывается, очевидно, на попытке Золотоносова трактовать евангельские сведения о распятии Христа как беспочвенную «легенду» — к тому же опять-таки «антисемитскую» легенду (что утверждалось не раз). Однако имеется, например, *талмудический* текст, полностью совпадающий с «версией» Евангелия:

«В течение сорока дней перед этим (распятием. — *В. К.*) ходил перед ним (Иисусом. — *В. К.*) вестник, возвещавший, что его, Иешу из Назарета, намерены побить камнями за то, что он занимался колдовством, обманывал и сводил Израиль с пути истинного. Пусть имеющий ска-

---

* В книге не раз употреблена эта аббревиатура, что волей-неволей заставляет аналогично воспринимать фамилию автора, ибо слово «золото» с давних пор иронически использовалось и для обозначения совершенно иного «вещества», связанного с просторечным глаголом, начинающимся с букв СРА.

зать нечто в его защиту выйдет наперед и защитит его. Но не было обнаружено ничего в его защиту, и накануне Пасхи его повесили...»[74]

Таким образом, если даже считать сообщение о распятии Христа «легендой», ее недопустимо толковать как «антисемитскую», ибо она содержится и в еврейском Талмуде! И, по воспоминаниям драматурга С.А. Ермолинского, Булгаков опирался именно на иудейские сведения о казни Христа[75]. А «золотоносовское» причисление Осипа Мандельштама (как и Булгакова) к носителям сконструированной этим автором «СРА» с особенной ясностью обнаруживает истинный смысл жупела «антисемитизм».

И следует с полным правом скорректировать суждение Н.Я. Мандельштам о том, что Осип Мандельштам «платил по двойным счетам» — как «еврей и русский поэт». Да, «платил» (и, оказывается, продолжает еще и *сегодня* «платить»!) — но как русский поэт и человек, причастный христианству (а не иудаизму).

* * *

Выше подробно говорилось о том, что в революционные эпохи вполне закономерно и даже неизбежно выдвижение на первый план «чужаков». Яркий пример — роль во Франции корсиканца, то есть итальянца, Наполионе Буонапарте, продемонстрировавшего, в частности, чрезвычайную «беспощадность», о которой метко сказал Достоевский. И уже одна эта «способность» ни в коей мере «не щадить» основы иного национального бытия решительно выдвигала «чужаков» на командные посты в пору грандиозных переворотов.

Трудно спорить с тем, что состав самых *верхних* этажей власти формируется далеко не случайно. И просматривается вполне определенная «закономерность» в том, что на исходе Гражданской войны, к 1922 году, в Политбюро числился только *один* русский из пяти его членов, далее, за время нэпа, к 1928 году, в Политбюро, состоявшем тогда из *девяти* членов, осталось, напротив, только *двое*

нерусских (Сталин и Рудзутак), а к 1931 году, в условиях «второй революции», Политбюро включало в себя пятерых русских и пятерых же нерусских... При этом — что необходимо учитывать — под «русскими» здесь и далее имеются в виду все три «ветви» восточного славянства — собственно русские, украинцы и белорусы, которые в 1920—1930-х годах совместно составляли около 80 процентов (!) населения страны.

Впрочем, еще более, пожалуй, многозначителен другой «отбор» руководящих лиц во время коллективизации. Действительной причиной, вызвавшей коллективизацию, явилась, как показано выше, фатальная нехватка товарного хлеба. Мне могут возразить, что идея «обобществления» сельского хозяйства была провозглашена намного раньше. Но одно дело — идея, и совсем иное — ее практическое, и к тому же чрезвычайно поспешное, осуществление на рубеже 1920—1930-х годов. Многие идеи, заявленные в большевистской программе, никогда не реализовывались — например, идея замены армии «вооруженным народом» или идея ликвидации денег (хотя подчас, в экстремальных условиях, «социалистическая торговля» на краткий период фактически заменялась распределением) и т.д. и т.п. Практическое требование неотложной и «сплошной» коллективизации, выдвинутое летом 1928 года Сталиным, явилось неожиданностью даже для тогдашнего Политбюро...

Как уже говорилось, обоснование необходимости коллективизации тем, что нельзя «базироваться» на обобществленной промышленности и противостоящем ей «единоличном» сельском хозяйстве, представляло собой чисто идеологический аргумент, который и сформулирован-то был не сразу; вначале (в июне 1928 года) Сталин заявил только о несомненной неспособности «единоличного» крестьянства обеспечить стране даже безусловно необходимый минимум товарного хлеба. И уместно напомнить, что, например, в «социалистической» Польше 1940—1950-х годов (а также и позднее) коллективизация вообще не проводилась...

Я цитировал слова Юрия Тынянова, что-де «Сталин как

автор колхозов — величайший из гениев». В действительности «автором» коллективизации был, уж если на то пошло, экономист В.С. Немчинов, показавший, что крестьяне конца 1920-х годов могут представить на рынок всего только немногим более 1/10 производимого ими хлеба (об этом шла речь выше). И создание колхозов преследовало, в сущности, одну всецело «прагматическую» цель — получить товарный хлеб.

Это со всей ясностью выразилось в самом ходе коллективизации: первоочередные и наиболее интенсивные (и наиболее агрессивные) действия власти сосредоточились на *зерновых* — прежде всего черноземных — регионах: Украине, южной части центра Европейской России, кубанских и донских степях, Поволжье, Западной Сибири и Казахстане.

По тогдашнему административному делению указанная территория СССР состояла из весьма крупных «единиц»: Украинской ССР, Казахской АССР (входившей в РСФСР), Северо-Кавказского края, Сибирского края, Нижне-Волжского края, Средне-Волжского края, Центрально-Черноземной области и Московской области, которая была в три с лишним раза крупнее нынешней и включала в себя северную часть *черноземной* полосы.

Накануне коллективизации во главе этих «единиц» были поставлены поляк Станислав Косиор (Украина), еврей Шая Голощекин (Казахстан), русский Андрей Андреев (Северный Кавказ), латыш Роберт Эйхе (Сибирь), русский Борис Шеболдаев (Нижняя Волга), еврей Мендл Хатаевич (Средняя Волга), литовец Юозас Варейкис (Черноземный центр) и латыш Карл Бауман (Московская область). Многозначительность этого «отбора» станет понятной, если знать, что в *общем* количестве членов ЦК ВКП(б) 1930 года (а все перечисленные люди были членами ЦК) поляки, прибалты — то есть фактически «иностранцы» — и евреи составляли совместно только *одну четверть*; между тем в когорте «главных коллективизаторов» они заняли *три четверти*! Словом, едва ли сей «отбор» был случайным, и суть дела здесь, надо думать, в том, что руководители «зерновых» республик, краев и областей — в отличие от лиц в

центральной власти, которые спускали «указания» на места, — должны были прямо и непосредственно осуществлять разного рода беспощадные «мероприятия».

В 1996 году вышло в свет исследование Н.А. Ивницкого «Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов)», в котором на строго документальной основе обрисованы эти самые «мероприятия». Особенно подробны сведения о происходившем в Средне-Волжском крае:

«20 января 1930 г. бюро Средне-Волжского крайкома ВКП(б) на закрытом заседании приняло постановление «Об изъятии и выселении контрреволюционных элементов и кулачества из деревни»:

1) Немедленно провести по всему краю массовую операцию по изъятию из деревни активных контрреволюционных антисоветских и террористических элементов в количестве 3000 человек. Указанную операцию закончить к 5 февраля.

2) Одновременно приступить к подготовке проведения массового выселения кулацко-белогвардейских элементов вместе с семьями, проведя эту операцию с 5 по 15 февраля.

3) Считать необходимым провести выселение кулацких хозяйств вместе с семьями в количестве до 10 000 хозяйств».

Был создан «боевой штаб» во главе с М. М. Хатаевичем, — сообщает далее Н.А. Ивницкий, — куда вошли председатель крайисполкома, крайпрокурор и представитель реввоенсовета Приволжского военного округа. Аналогичные штабы создавались в округах и районах»[76].

Но все это показалось недостаточным, и через восемь дней, 29 января 1930 года, было признано «необходимым довести общее количество арестованных до 5 тыс. вместо ранее намеченных 3 тыс. человек, а выселенных семей — до 15 тыс. (против 10 тыс.)»* При этом подчеркивалось,

---

* То есть всего около 100 тысяч человек (тогдашняя крестьянская семья состояла в среднем из шести человек).

что «работа по изъятию путем ареста кулацких контрреволюционных элементов должна быть развернута во всех районах и округах вне зависимости от темпа коллективизации...». Кроме того, «движение в деревне за снятие колоколов и закрытие церквей должно быть охвачено партийным руководством». На следующий день, «30 января 1930 г., краевой штаб решил всю операцию по изъятию кулацкого актива закончить к 3 (! — *В. К.*) февраля, а «тройке» при ГПУ было дано указание с 4 февраля приступить к рассмотрению дел наиболее злостных элементов, приговоры вынести и реализовать (т.е. расстрелять. — *Н.И.*) не позднее 10 февраля». Предусматривалось для осуществления операции привлечь и части Красной Армии: в гарнизонах выделить по 50 бойцов в полной боевой готовности, создать отряды Красной Армии в 20 населенных пунктах, где нет воинских гарнизонов, по 40 человек в каждом. Краевой штаб... вынес решение о выдаче коммунистам оружия... речь шла фактически о развязывании гражданской войны в Поволжье» (там же, с. 104—105).

Последнее умозаключение едва ли верно. Во-первых, в 1930 году — в отличие от 1918 года, когда действительно развязалась Гражданская война, — в руках крестьянства, по существу, не было никакого оружия (между тем бросавшие с весны 1917 года фронт одетые в шинели крестьяне принесли в деревню массу оружия). Во-вторых, чрезмерно агрессивные действия Хатаевича и ему подобных вскоре же были в той или иной мере пресечены центральной властью.

Здесь перед нами встает нелегкий и, так сказать, щекотливый вопрос о личной роли Сталина в трагедии коллективизации. «Антисталинисты» целиком и полностью возлагают вину на вождя, а «сталинисты» (число коих в последнее время заметно растет) либо стараются вообще обойти эту неприятную для них тему, либо выдвигают в качестве главных виновников других тогдашних деятелей.

Ясно, что попытки «обелить» Сталина несостоятельны, ибо даже в том случае, если наиболее беспощадные и разрушительные акции того времени осуществляли другие

лица, ответственность все равно лежит и на Сталине, ибо эти лица (тот же Хатаевич) оказались на своих постах с его ведома и не без его воли. Впрочем, к сущности действий Сталина в тот период мы еще вернемся. Пока же следует выявить, что главный «вождь» (хотя, повторю еще раз, его роль в трагедии того времени не подлежит никакому сомнению) стремился «смягчить» ход коллективизации, делая это, конечно же, не из «гуманных», а из чисто прагматических соображений.

В последнее время многочисленные авторы сочинений о коллективизации толковали широко известную сталинскую статью «Головокружение от успехов», опубликованную в «Правде» 2 марта 1930 года (то есть через месяц-полтора после начала беспощадных насильственных акций «коллективизаторов»), как заведомо лживую попытку снять вину с самого себя. Именно так толкуется эта статья и в цитированной книге Н.А. Ивницкого, который пишет о «лицемерии» Сталина, диктовавшего, мол, самые крайние меры, а затем, задним числом, публично обвинившего в «перегибах» местных руководителей.

Как ни странно, в самой книге Н.А. Ивницкого это его утверждение достаточно убедительно опровергается. Ибо, рассказав о действиях Средне-Волжского крайкома во главе с Хатаевичем, которые к 30 января приняли характер жесточайшего насилия (см. выше), Н.А. Ивницкий далее сообщает, что «такое развитие событий встревожило даже сталинское руководство. В Самару Хатаевичу была срочно (на следующий же день! — *В. К.*) отправлена телеграмма (31 января) Сталина, Молотова, Кагановича: «Ваша торопливость в вопросе о кулаке ничего общего с политикой партии не имеет. У вас получается голое раскулачивание в его худшем виде» и т.д. (цит. изд., с. 105).

Это сообщение явно противоречит словам самого же Н.А. Ивницкого о том, что Сталин «говорил одно, а делал другое» (там же, с. 94), причем под «говорил» здесь имеется в виду *позднейшая* (2 марта) статья «Головокружение от успехов», а под «делал» — предшествующие (скрытые от населения страны, «секретные») сталинские указания местным руководителям. Однако цитируемая телеграмма от

31 января была именно «секретным» указанием (Н.А. Ивницкий опубликовал ее впервые через 66 лет), и, следовательно, действия Хатаевича вызвали *немедленный* протест Сталина*

Хатаевич, естественно, на следующий же день, 1 февраля, ответил Сталину: «Телеграмма принята к строгому руководству» (там же, с. 106). Это, однако, отнюдь не означало, что тяжелейшие последствия предыдущих действий Хатаевича и его «команды» устранены; их уже *невозможно* было устранить. И Хатаевич вслед за приведенным обещанием «строго» руководствоваться сталинской отповедью откровенно признался: «Арест кулацко-белогвардейского актива приостановить не можем, ибо он почти закончен». И далее: «Мы уверены, что допущенная нами ошибка... не принесет вреда делу коллективизации» (там же).

Но то, что уже было совершено до 31 января, имело поистине роковой характер. И дело было не только в людях, уже подвергшихся жестоким репрессиям, но и в тех людях, которые исполняли или хотя бы считали правильными эти репрессии. В истории, как и в бытии в целом, присутствует мощная, непреодолимая сила *инерции.* Крайне резкий сдвиг, начатый на рубеже 1920—1930-х годов, вовлек в себя судьбы *миллионов* людей, и его последствия нельзя было устранить сколько-нибудь быстро. Более того: если бы мгновенная «остановка» и была возможна, она, вероятно, привела бы к новым тяжелейшим результатам. Впрочем, и реальное положение было крайне прискорбно: «На местах широко развязалась антикулацкая стихия, которую трудно «загнать в берега»...» (там

---

* Весьма показательно следующее. События излагаются в книге Н.А. Ивницкого в строго хронологическом порядке, но имеется одно весьма странное отступление от него: о сталинской статье, опубликованной 2 марта, речь идет на с. 93—94, а о беспощадных акциях Хатаевича, начатых за почти полтора месяца до ее появления, 20 января, — далее, на с. 103—107. В результате — хотел или не хотел этого автор книги — у читателя создается впечатление, что жестокие насилия творились будто бы уже *после* «лицемерной» статьи генсека.

же, с. 107) — так излагает Н.А. Ивницкий смысл письма Хатаевича Сталину от 5 февраля 1930 года.

В известном выражении «историю делают люди» обычно видят отрицание фатализма, но, пожалуй, не менее или даже более существенно другое: историю делают *такие* люди, которые *налицо* в данный ее период. Коллективизация началась всего через семь лет после окончания непосредственно революционного времени с его беспощадной Гражданской войной...

Спустя два — два с половиной месяца после начала «сплошной» коллективизации, 22 марта 1930 года, один из наиболее близких тогда к Сталину людей, Серго Орджоникидзе, сообщал ему о руководителях Криворожского округа Украины: «Перекручено здесь *зверски*. Охоты исправлять мало... Все хотят объяснить кулаком, не сознают, что перекрутили, переколлективизировали. Большое желание еще большим нажимом выправить положение, выражают желание расстрелять в округе человек 25—30...» (там же, с. 98); выше приводилось признание Бабеля, принимавшего непосредственное участие в коллективизации на той же Украине и именно в феврале—марте 1930 года: «...я теперь научился спокойно смотреть на то, как расстреливают людей». «Выучка» была надежной: так, Бабель позднее «спокойно» поселился в дачном особняке, из которого ранее отправился на расстрел Л.Б. Каменев (Леонид Леонов вспоминал, что ранее Сталин предложил ему занять эту дачу, но он в ужасе отказался...)[77]

На предшествующих страницах я стремился осмыслить феномен «1937 год» в его связи с совершившейся в 1929—1933 годах коллективизацией, поскольку без такого соотнесения двух периодов многое невозможно понять и даже просто увидеть. Так, из тех вышеупомянутых *восьми* членов ЦК, которые непосредственно осуществляли коллективизацию в основных «зерновых» регионах, к концу 1930-х были расстреляны *семеро*, — «уцелел» один только Андреев, — кстати сказать, уже в 1930 году возвращенный с Северного Кавказа в Москву и более не занимавшийся «коллективизаторством»...

Побуждает задуматься и сравнительно давно опубликованная статистика, говорящая о судьбах всех (71 человек) членов ЦК ВКП(б), избранного в феврале 1934 года — на «съезде победителей» (главнейшей их «победой» была именно коллективизация). Из состава этого ЦК к марту 1939 года (то есть к следующему, XVIII съезду) были репрессированы 46, а уцелели 19 (еще 3 члена ЦК за указанный период умерли своей смертью, 2 покончили с собой, 1 — Киров — был убит террористом). И едва ли уместно счесть «случайностью» тот факт, что из 19 *уцелевших* цекистов всего только 2 человека — Андреев и Молотов — имели прямое отношение к коллективизации (не считая, понятно, самого Сталина), а из 46 репрессированных непосредственно руководили этой «второй революцией» более 20 (!) человек (уже упоминавшиеся Бауман, Варейкис, Косиор, Хатаевич, Шеболдаев, Эйхе, а также «осужденные» в 1937—1939 годах Балицкий, Е.Г Евдокимов, Зеленский, Икрамов, Кабаков, Криницкий, Постышев, Разумов, Чернов, Ягода, Яковлев-Эпштейн и др.).

Стоит сказать в связи с этим еще об одном из главных деятелей того времени — «уцелевшем» Кагановиче. Во многих сочинениях его представляют в качестве чуть ли не ведущего «коллективизатора». Между тем, хотя у Лазаря Моисеевича, разумеется, вполне достаточно всяческих «грехов», коллективизацией как таковой он все же не руководил* Нередко упоминают о его «командировке» в 1930 году в черноземные края. Но она состоялась во *второй половине марта*, то есть *после* сталинской статьи «Головокружение от успехов» (2 марта) и принятого (10 марта) на основе ее секретного постановления Политбюро «О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении», предназначавшегося для властей на местах. В этом

---

* Это, в частности, явствует из той же, основанной на тщательном изучении всего хода дела, книги Н.А. Ивницкого; так, Каганович даже не состоял в двух создававшихся Политбюро в декабре 1929-го и январе 1930-го «комиссиях», руководивших коллективизацией.

постановлении (фрагменты его опубликованы лишь в наши дни Н.А. Ивницким; см. с. 95—96 его книги), в частности, содержалось требование «немедленно *прекратить* в какой бы то ни было форме насильственную коллективизацию. Решительно бороться с применением *каких бы то ни было* репрессий по отношению к крестьянам... немедленно проверить списки раскулаченных и *исправить* допущенные ошибки...

Правда (об этом уже шла речь), запущенную в конце 1929 года махину «сплошной» коллективизации, сразу захватившую в свое мощное движение миллионы людей (как насильников, так и их жертв), уже *невозможно было остановить*... Тем не менее 17 марта 1930 года Политбюро все же направило в основные зерновые регионы «верховных» лиц — Кагановича, Калинина, Молотова, Орджоникидзе и др., обязав их попытаться «склеить» то, что было уже, в сущности, непоправимо разбито... (отмечу, что эта попытка «исправить» тяжелейшее положение, создавшееся в результате «сплошной» коллективизации, была продиктована, конечно же, не какими-либо «гуманными» мотивами, а опасением полнейшего краха сельского хозяйства страны).

Итак, среди тех членов ЦК 1934 года, которые *не погибли* к концу 1930-х, в самом деле совсем мало лиц, которые были главными «героями» коллективизации, а в то же время почти половина погибших — «победители» в войне с крестьянством. Этот вывод целиком подтверждается и судьбами кандидатов в члены ЦК, избранных в том же 1934 году (их было 68 человек). Пять десятков из них к 1939 году были репрессированы, и около половины этого числа — руководители коллективизации (в частности, Быкин, Вегер, Грядинский, Демченко, Дерибас, Каминский, Кубяк, Лепа, Позерн, Прамнек, Птуха, Шубриков); между тем из около полутора десятков «уцелевших» кандидатов в члены ЦК всего лишь один (Юркин) был непосредственно причастен к коллективизации!

Разумеется, не стоит истолковывать приведенные факты прямолинейно: вот, мол, те, кто сыграл решающую роль в коллективизации, именно «за это» позднее подверглись репрессиям. Речь должна идти об определенном «*типе*»

людей, о деятелях с особенно обостренным «революционным» сознанием и поведением (в силу чего они и стали ранее «героями» коллективизации — этой «второй революции»); люди этого типа и подверглись прежде всего репрессиям в 1937-м.

Так или иначе, но огромная доля «коллективизаторов» в числе *репрессированных* «цекистов» и совсем малая их доля среди *уцелевших* — это едва ли, повторюсь, случайное «совпадение». Вместе с тем проступающая в этих фактах «закономерность» может истолковываться (и истолковывается теми или иными авторами) различно. Как уже говорилось, достаточно распространено представление о буквальном «*возмездии*», поразившем тех, кто в начале 1930 года беспощадно расправлялся с крестьянством. Есть и версия, согласно которой деятели, осуществлявшие коллективизацию, как говорится, «слишком много знали», — знали о том, на какой великой крови, на каких страданиях огромного количества людей воздвигалась колхозная деревня, и поэтому подлежали уничтожению.

Но, надо думать, наиболее важно другое: к середине 1930-х годов жизнь страны в целом начала постепенно «нормализоваться», и деятели, подобные тем, которые, не щадя никого и ничего, расправлялись с составлявшим огромное большинство населения страны крестьянством, стали, в сущности, *ненужными* и даже «*вредными*»; они, в частности, явно не годились для назревавшей великой войны, получившей имя Отечественной, — войны народной, а не «классовой».

Поэтому самая широкая замена «руководства» (сверху донизу) была в то время вполне закономерна, даже естественна (как и, например, позднее — в 1956—1960 годах или в 1990—1993-м). Страшное «своеобразие» времени состояло в том, что людей отправляли не на пенсию, а в лагеря или прямо в могилы...

В сочинениях о 1930-х годах безусловно господствует точка зрения, согласно которой в этом терроре повинны вполне определенные — «сталинистские» — силы, непримиримо относившиеся к любому инакомыслию, а объектом репрессий были-де в основном более или менее «уме-

ренные» и, в какой-то мере, «либеральные» деятели, которые якобы полагали, что и самые острые конфликты следует решать в ходе дискуссий, а не на путях насилия. Но подобный взгляд никак не выдерживает сопоставления с реальностью.

Судите сами. Одна из наиболее ярких, или даже самая яркая фигура, противопоставляемая ныне «сталинистам», — Мартемьян Рютин, большевик с 1914 года, активнейший участник Гражданской войны в Сибири и подавления Кронштадтского мятежа 1921 года, в 1925 году ставший секретарем Краснопресненского райкома ВКП(б) в Москве. В 1928 году он вместе с рядом других московских партийных руководителей вступил в конфликт со Сталиным, а позднее, в 1932 году, организовал антисталинский «Союз марксистов-ленинцев» и подготовил его пространную «платформу» под названием «Сталин и кризис пролетарской диктатуры»; она была впервые опубликована в 1990 году. В послесловии к этой публикации, эмоционально озаглавленном «Потрясающий документ эпохи сталинизма», утверждалось: «Платформа Рютина явилась обвинительным заключением и приговором Сталину и сталинщине — за измену марксизму и ленинизму, идеалам Октябрьской революции, за созданную в стране обстановку *морального, политического* и *физического террора*». Рютин «гневно заклеймил развязанный Сталиным террор против инакомыслящих, насаждаемое Сталиным «единомыслие» в партии»[78].

Но автор цитируемого текста, Н. Маслин, либо не знал, либо умолчал о том, что ранее *именно Рютин* сыграл поистине выдающуюся роль как раз в деле создания в *партии* «обстановки морального, психологического и физического террора» против «инакомыслящих».

По случаю 10-й годовщины революции, 7 ноября 1927 года, оппозиция во главе с Троцким, Зиновьевым и Каменевым провела, как известно, демонстрацию, выражавшую несогласие с линией Политбюро (из которого эти «вожди» были выведены в 1926-м). И вот каков своего рода пик событий 7 ноября в Москве: «Острый инцидент произошел во время прохождения колонны демонстрантов

(оппозиционных. — *В. К.*)... Около 11 часов на балкон Дома Советов... выходивший на угол улиц Охотный ряд и Тверская, поднялись член ЦК ВКП(б) и ЦИКа Смилга, исключенные к тому времени из партии Преображенский (член РСДРП с 1903 года, был кандидатом в члены ЦК. — *В. К.*), Мрачковский (член РСДРП с 1905-го, крупный военачальник. — *В. К.*) и другие. Они обратились к манифестантам с речами. На балконе висел лозунг «Назад к Ленину!». Из колонны слышалось «ура!»...» Но тут «на автомобилях прибыли секретарь Краснопресненского райкома Рютин (да, тот самый, который в начале 1930-х годов доставит столько неприятностей Сталину из-за своего несогласия с его диктатурой)... и другие члены МК (Московского комитета ВКП(б). — *В. К.*)... в Смилгу и Преображенского полетели картошка, палки... За «артподготовкой» начались «военные действия»... Атаковавшие пошли на штурм квартиры. Первыми в подъезд ворвались Рютин, Вознесенский и Минайчев (члены МК. — *В. К.*). Дверь взломали... Смилгу и Преображенского... начали избивать. Досталось Альскому, Гинзбургу, Мдивани, Малюте, Юшкину (деятели оппозиции. — *В. К.*). Изрядно помятых, их заперли в комнате и к дверям приставили караул»[79].

Позднее, в 1932 году, Троцкий свидетельствовал, что «Рютин... руководил в столице борьбой против левой оппозиции, очищая все углы и закоулки от «троцкизма»... *никто не мог похвалиться такими успехами* в насаждении *сталинского* режима, как Угланов (1-й секретарь Московского комитета ВКП(б) — *В. К.*) и Рютин»[80] (определение «сталинский» Троцкий дал, так сказать, задним числом: Рютин был убежден, что он насаждает истинно большевистский, а не «сталинский» режим). И надо прямо сказать, что описанные действия Рютина явились настоящей исторической вехой, *поворотным* пунктом в практике борьбы против «инакомыслия» в партии. За свой «подвиг» секретарь всего-навсего райкома Рютин через месяц, на XV съезде, был введен в качестве кандидата в состав ЦК ВКП(б), а еще через месяц недавний влиятельнейший член Политбюро Троцкий был отправлен ОГПУ в ссылку, что опять-та-

ки представляло собой принципиальный поворот в борьбе с «инакомыслием» в партии.

Итак, едва ли хоть сколько-нибудь уместно видеть в Рютине поборника «демократии». И, кстати сказать, его истинная суть достаточно ясно выразилась в той самой составленной им в 1932 году «Платформе», где он, в частности, так разоблачал находившихся у власти лиц: «Гринько (нарком финансов. — *В. К.*), Н.Н. Попов (влиятельный член редколлегии «Правды». — *В. К.*) — бывшие меньшевики... Межлаук — зам. пред. ВСНХ, бывший кадет, потом меньшевик, Серебровский — зам. пред. Наркомтяжа, бывший верный слуга капиталистов (имелась в виду его дореволюционная служба в качестве инженера на частных предприятиях. — *В. К.*), Киров — член Политбюро, бывший кадет... Все это, можно сказать, столпы сталинского режима. И все они представляют из себя законченный тип оппортунистов»[81].

Названные люди — кроме убитого в 1934 году Кирова — были репрессированы в 1937—1938 годах, и не без точно таких же, как рютинские, «обвинений»!.. И даже в восторженном нынешнем послесловии к публикации «Платформы» все же пришлось оговорить, что, «осуждая Сталина за нетерпимость, Рютин и сам был не чужд подобных взглядов» (там же, с. 446).

Словом, можно так или иначе противопоставлять «сталинистам» Мартемьяна Рютина и его сторонников с точки зрения политэкономических *программ*, но едва ли уместно считать последних более «либеральными» и «демократическими». В конце концов даже на часто публикуемой теперь фотографии Мартемьяна Никитича явлен типичнейший облик непримиримого фанатика... И именно такого типа и склада деятели «творили историю» в тот период, — что и породило с неизбежностью «1937-й»...

Во многих сочинениях заходит речь об «антисталинских» выступлениях тех или иных высокопоставленных деятелей 1930-х годов, пытавшихся, мол, спасти своих собратьев по партии от уничтожения. Но при изучении достоверных источников подобные сведения, как правило, оказываются легендами. Вот, например, вдова Бухарина на-

писала в своих мемуарах «Незабываемое»: «...о мужественном поведении И.Э. Якира, входившего в комиссию по решению судьбы Бухарина и Рыкова и воздержавшегося при голосовании (на февральско-мартовском Пленуме 1937 года. — *В. К.*), я узнала от жен Якира, Уборевича (Иерониму Петровичу сообщил об этом сам Якир), наконец, то же говорила мне жена Чудова»[82].

Однако почти одновременно с выходом книги А. М. Бухариной (в 1989 г.) были опубликованы *документальные* сведения об этом самом голосовании членов комиссии по решению судьбы Бухарина. На голосование были поставлены два «предложения»: «судить с применением высшей меры наказания — расстрела» (Ежов) и «судить без применения расстрела» (Постышев). Воздержался от голосования только один — самый осторожный и потому, вероятно, «вечный» Микоян (недаром он бессменно пробыл в составе ЦК долее чем кто-либо — 54 года, — с 1922 по 1976-й!). Против расстрела были также «уцелевшие», умершие своей смертью Литвинов, Петровский и даже считающийся особо злодейским Шкирятов. А среди тех, кто проголосовал за расстрел, — репрессированные вскоре Косарев и — вопреки легенде! — Иона Якир...

Впрочем, все обстояло даже прискорбнее, ибо позже было внесено еще одно предложение (Сталина) — *доследовать* дело Бухарина, а потом уже решить вопрос о суде, за что и проголосовало большинство (и суд состоялся только через год, в марте 1938-го), но Якир *еще раз* проголосовал за незамедлительный суд и расстрел!..[83]

Характерно, что в крайне легковесном сочинении о Сталине высокопоставленного армейского партаппаратчика Волкогонова, который раньше других сумел получить доступ к обсуждаемым (ранее строго засекреченным) документам, с огорчением констатируется: «...из истории не выбросишь и того, что Косарев и Якир, ближайшие жертвы беззакония, проголосовали за... расстрел» (там же, с. 213). Волкогонов явно не был способен осознать, что не дожидавшееся какого-либо разбирательства «решение» Якира и Косарева как раз и представляло собой самый вопию-

щий образец беззакония! И объяснялось их «решение» тем, что они наиболее были проникнуты «революционной» нетерпимостью.

* * *

Самая, пожалуй, тяжкая, даже чудовищная «особенность» ситуации 1937 года — смертельное столкновение не различных и чуждых друг другу людей, а, напротив, людей самых близких, подчас даже в прямом смысле слова «родных». Перед нами, в сущности, *самоуничтожение*, самопожирание...

Поскольку тогда гибли не только «жертвы», но и их «палачи», сами становившиеся, в свою очередь, «жертвами», до нас дошло не столь много полноценных сведений о совершавшемся, — к тому же, о чем уже говорилось, «уцелевшие» нередко проявляли в своих воспоминаниях странную «забывчивость» в отношении неприятных для них фактов. Тем не менее достаточно выразительные свидетельства все-таки дошли до нас.

В 1920—1930-х годах на политической сцене действовал своего рода «клан» (один из множества подобных же) — ряд родственников и свойственников одного из наиглавнейших «вождей» — Я.М. Свердлова. В свое время (еще в середине XIX века) сестра его деда, Сруля Свердлова, вышла замуж за Фишеля Иегуду, и ее внук Ханох-Енох стал в 1934 году главой НКВД Генрихом Ягодой; он являлся, следовательно, троюродным братом Янкеля (Якова) Свердлова. Как бы подкрепляя семейную связь, Ягода вступил в брак с племянницей Я.М. Свердлова Идой — дочерью старшей сестры последнего Сары (Софьи) Свердловой и богатого купца Лейбы (Леонида) Авербаха. А брат Иды, Леопольд Авербах (то есть также племянник Свердлова и двоюродный племянник и, одновременно, шурин — брат жены — Ягоды), стал главой «пролетарских писателей». Высокие посты занимал и младший брат Свердлова Вениамин.

В 1937—1938 годах все перечисленные родственники

Свердлова были репрессированы. Но «уцелел» (можно сказать — «чудом») его родившийся в 1911 году сын Андрей, который с начала 1930-х годов служил в ОГПУ — НКВД, достиг там звания полковника, в 1951 году арестовывался по обвинению в «сионистском заговоре» (о чем речь пойдет впоследствии), но вскоре был освобожден и умер своей смертью в 1970-х годах.

И вот молодая (третья) жена Бухарина (с 1934 года) Анна Ларина (Лурье; родилась в 1914 году), арестованная в качестве «ЧСИР» (член семьи изменника родины), рассказывает, как ее ввели для допроса в кабинет на Лубянке:

« — Познакомьтесь, Анна Михайловна, это ваш следователь.

— Как следователь! Это же Андрей Свердлов! — в полном недоумении воскликнула я...

Я его знала с раннего детства. Мы вместе играли, бегали по Кремлю... отдыхали в Крыму... Андрей не раз приезжал ко мне в Мухолатку из соседнего Фороса (того самого, где через полвека обоснуется Горбачев... — *В. К.*). Это было еще до его женитьбы и моего замужества. Мы вместе гуляли, ходили в горы, плавали в море» (естественно усмотреть здесь намек на начинавшийся «роман» юной пары и вероятное будущее замужество).

И далее о «встрече» с Андреем в 1938 году на Лубянке:

«Я была возмущена до крайности, был даже порыв дать ему пощечину, но я подавила в себе это искушение. (Хотела — потому, что он был *свой*, и не смогла по *той же* причине...)»[84]

Последнее признание весьма содержательно; оно открывает смысл поистине душераздирающей драмы, которую пережили многие люди в 1937 году... Анна Бухарина все же, согласно ее рассказу, «наказала» допрашивавшего ее сына Свердлова: «Передала привет от тетки Андрея — сестры Якова Михайловича — Софьи Михайловны, с которой побывала в Томском лагере; привет от двоюродной сестры Андрея — жены Ягоды (к тому времени уже расстрелянной. — *В. К.*)... Наконец, передала привет от племянника Андрея (сына Ягоды — также Генриха-Гарика. —

В. К.), рассказала и о трагических письмах Гарика бабушке (Софье Свердловой-Авербах. — *В. К.*) из детского дома в лагерь». И далее: «...одна из сестер моей матери... прошла тот же адов путь, что и я... она рассказала мне, что следователем ее был Андрей Свердлов. Он обращался с ней грубо, грозил избить, махал нагайкой перед ее носом» (там же, с. 240—241).

Поскольку А. Свердлов был одним из не столь уж многих *уцелевших* следователей НКВД 1930-х годов, о нем пожелала рассказать впоследствии не одна из его уцелевших «жертв» — например, дочь видного репрессированного деятеля Я.С. Ганецкого-Фюрстенберга, который, в частности, был в свое время «посредником» между Лениным и небезызвестным Гельфандом-Парвусом: «Когда... Ханна Ганецкая увидела, что в комнату для допроса вошел Андрей Свердлов, она бросилась к нему с возгласом: «Адик!» — «Какой я тебе Адик, сволочь!» — закричал на нее Свердлов...»[85]

Вел А. Свердлов следствие и по делу дочери виднейшего большевистского деятеля Гусева-Драбкина, которая «являлась в 1918—1919 годах личной секретаршей Я.М. Свердлова. За несколько часов до смерти Якова Михайловича она увела в свою квартиру его детей, Андрея (ему было тогда 8 лет. — *В. К.*) и Веру... Андрей Свердлов знал, что Елизавета Драбкина, которую он когда-то звал «тетей Лизой», не совершала преступлений. Тем не менее он добивался от нее «признаний» и «раскаяния». Он был груб, кричал, хотя по крайней мере не применял к Драбкиной пыток» (там же, с. 423).

Можно предположить, что в чьих-либо глазах фигура А. Свердлова, чинившего жестокие допросы столь близких ему людей, предстает как нечто уникальное, из ряда вон выходящее. В действительности все здесь типично и просто *обычно* для тех времен. Напомню искренний рассказ Р.Д. Орловой-Либерзон о том, как даже на вопрос своего отца об отношении к его вероятному аресту она ответила: «Я буду считать, что тебя арестовали правильно».

Обилие сведений именно об А. Свердлове объясняется, как уже отмечено, тем, что он, в отличие от подавляю-

щего большинства энкавэдистов, уцелел и впоследствии, в 1950—1960-х годах, стал «научным сотрудником» Института марксизма-ленинизма, защитил диссертацию, публиковал (правда, под псевдонимами) разные сочинения и т.п. Потому его выжившие жертвы особенно стремились рассказать о его мрачном прошлом. Может вызвать недоумение тот факт, что все четыре «жертвы» А. Свердлова, о которых шла речь, — женщины. Но и это имеет свое естественное объяснение: из его жертв уцелели (и потому смогли поделиться воспоминаниями) именно женщины, которых гораздо реже приговаривали к расстрелу, нежели мужчин.

Наконец, опять-таки тот же «щекотливый» вопрос: почему все упомянутые лица — евреи? Во многих сочинениях это «объясняют» якобы «антисемитской» направленностью террора того времени. Например, в объемистой книге Виталия Рапопорта и Юрия Алексеева с многозначительной иронией говорится о процессе «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра»: «На скамье подсудимых Зиновьев, Каменев, Евдокимов, И.Н. Смирнов и 12 других. (По Сталинской Конституции все национальности нашей страны полностью равноправны. Поэтому в списке подсудимых 9 еврейских фамилий + Зиновьев (Радомысльский) и Каменев (Розенфельд), 1 армянская, 1 польская и 3 русских.)»[86]

Звучит это вроде бы внушительно, но только для тех, кто не знает или же «забыл» состав «команды» НКВД, подготовившей сей громкий процесс: Ягода, Агранов (Сорензон), Марк (Меир) Гай, Александр (Шахне) Шанин, Иосиф Островский, Абрам Слуцкий, Борис Берман, Самуил Черток, Георгий Молчанов, — то есть 9 евреев и всего только один (!) русский (Молчанов)... Непосредственный свидетель их «работы» энкавэдист А. Орлов-Фельдбин, подробно рассказывая о ней в своих мемуарах, отметил, что «следствие приняло характер почти семейного дела», и бывший зав. секретариатом Зиновьева Пикель в ходе допросов «называл сидящих перед ним энкавэдистов по имени: «Марк, Шура, Иося»...»[87]

Могут возразить, что в конечном-то счете Пикель (как и

остальные 15 «обвиняемых») был расстрелян; но не следует забывать, что и Марк, Шура, Иося (то есть Гай, Шанин и Островский) и все прочие энкавэдисты также были расстреляны или же покончили жизнь самоубийством (как знаменитый тогда следователь-садист Черток)* Их места весной—летом 1937 года заняли новые «выдвиженцы» — Израиль Леплевский, Бельский (Левин), Дагин, Литвин, Шапиро и т.д.

Выше уже цитировались верные суждения Давида Самойлова о том, что после революции в центр страны «хлынули многочисленные жители украинско-белорусского местечка... с чуть усвоенными идеями, с путаницей в мозгах, с национальной привычкой к догматизму... Из них «вырабатывались многочисленные отряды... функционеров, ожесточенных, одуренных властью».

В последнее время публикуются — хотя и весьма скупо — документированные сведения, характеризующие состояние дел в ОГПУ — НКВД, во многом созданное именно этими «ожесточенными, одуренными властью» лицами. Вот два авторитетных ответа на острые вопросы читателей, опубликованные в популярной газете «Аргументы и факты» в 1993 году:

«Правда ли, что широко применявшаяся немцами во время Второй мировой войны «душегубка» является советским изобретением?» (И. Рейнгольд, Иркутск).

На вопрос отвечает подполковник Главного управления охраны РФ А. Олигов:

— Действительно, отцом «душегубки» — специально оборудованного фургона типа «Хлеб» с выведенной в кузов выхлопной трубой — был начальник административно-

---

* Не так давно в печати появилось сообщение, что будто бы один из главных энкавэдистов, комиссар ГБ 2-го ранга Миронов, не только не был расстрелян, но даже «до 1964 года возглавлял Административный отдел ЦК КПСС» (см.: *Царев Олег, Костелло Джон*. Роковые иллюзии. Из архива КГБ... М., 1995, с. 447). На деле речь идет о другом человеке с той же фамилией, служившем в «органах» с 1951 года (см.: *Костырченко Г* В плену у красного фараона. М., 1994, с. 143).

хозяйственного отдела Управления НКВД по Москве и Московской области И.Д. Берг. По своему прямому назначению — для уничтожения людей — «душегубка» была впервые применена в 1936 году. В 1939 году Берга расстреляли» («АИФ», 1993, № 17, с. 12).

И другой вопрос — ответ: «Известно ли, кто был самым жестоким палачом в истории КГБ?» (Л. Верейская, Санкт-Петербург).

На этот вопрос наш корреспондент И. Стояновская попросила ответить начальника ООС Управления МБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Е. Лукина.

— В чекистской среде им считают Софью Оскаровну Гертнер, в 1930—1938 гг. работавшую следователем Ленинградского управления НКВД и имевшую среди коллег и заключенных ГУЛАГа кличку Сонька Золотая Ножка. Первым наставником Соньки был Яков Меклер, ленинградский чекист, за особо зверские методы допроса получивший кличку Мясник. Гертнер изобрела свой метод пытки: привязывала допрашиваемого за руки и за ноги к столу и со всего размаха била несколько раз туфелькой по «мужскому достоинству»... Берия, придя к руководству НКВД, приказал заключить Соньку Золотую Ножку под стражу. «Уж слишком известна». Умерла Гертнер в Ленинграде в 1982 году в возрасте 78 лет» («АИФ», 1993, № 19, с. 12).

Конечно, это только отдельные примеры; таких монстров в НКВД имелось тогда множество, и они внесли свой кошмарный вклад в его «деятельность»...

До 1937 года они беспощадно расправлялись с «чужими», но в конце концов дело дошло до жестокой расправы в своей собственной среде, вплоть до родственников... Казалось бы, этому должна была препятствовать тысячелетняя (сложившаяся в «рассеянии») мощная традиция еврейской сплоченности и взаимовыручки, однако традиция эта действовала в условиях, когда евреи так или иначе противостояли «чужой» для них власти; когда же они *сами* в громадной степени стали властью, извечный «иммунитет» начал утрачиваться... Напомню, что прозорливый Василий Розанов в 1917 году в своем «Апокалипсисе нашего

времени» предостерегал евреев от обретения власти, утверждая, что «их место» (политическое) — «у подножия держав».

Изложенные только что факты 1937 года (а подобные факты были тогда поистине бесчисленными) раскрывают прямо-таки душераздирающую ситуацию, предельное нервное напряжение («Какой я тебе Адик, сволочь!» — а ведь он в самом деле был почти родным Адиком...). Как уже сказано, на политической сцене подвизались евреи, которые, не войдя в русскую жизнь*, вместе с тем «ушли» из своей национальной жизни, хотя и могли вдруг обратиться к ней в момент потрясения, — особенно на пороге смерти. А. Орлов-Фельдбин рассказал о дикой сценке: «20 декабря 1936 года, в годовщину основания ВЧК — ОГПУ — НКВД Сталин устроил для руководителей этого ведомства небольшой банкет... Когда присутствовавшие основательно выпили, Паукер (комиссар ГБ 2-го ранга, т.е. генерал-полковник. — *В. К.*)... поддерживаемый под руки двумя коллегами... изображал Зиновьева, которого ведут в подвал расстреливать (это было ранее, 25 августа 1936 года. — *В. К.*). Паукер... простер руки к потолку и закричал: «Услышь меня, Израиль, наш Бог есть Бог единый!»[88]

Не исключено, что, когда 14 августа 1937 года повели на расстрел самого Паукера, и он кричал нечто подобное (ведь и сам рассказавший о Зиновьеве и Паукере резидент НКВД в Испании Орлов-Фельдбин, бежавший в июле 1938 года в США, уже в сентябре этого года посетил там синагогу...)[89]

И вполне естественно усматривать особенный — и существенный — смысл в том, что накануне 1937 года главой «органов» был (*впервые!*) назначен русский, Ежов, хотя 1-м «замом» остался Агранов (к тому же получивший теперь и должность начальника Главного управления госбезопасности), а другими «замами» — Б. Берман и Бельский-Ле-

---

* Иные даже плохо говорили по-русски; так, у комиссара ГБ 3-го ранга (т.е. генерал-лейтенанта) Б. Бермана «любимым изречением было: «Нужно арестоват и взят сюда»...» (см.: *Ковалев Валентин*. Два сталинских наркома. М., 1995, с. 147).

вин, — не говоря уже о 7 (из 10) начальниках отделов Главного управления госбезопасности. Ежов полновластно управлял НКВД менее двух лет; летом 1938 года (по другим сведениям, даже ранее, уже в апреле) к нему был приставлен Берия, тут же начавший перехватывать управление в свои руки (хотя официально Ежов был заменен Берией на посту наркома позднее, в ноябре). Но Ежов «успел» уничтожить множество главных деятелей НКВД — таких, как Ягода, Агранов, Паукер, Слуцкий, Шанин, Бокий, Островский, Гай и т.д., которым, вероятно, очень нелегко было бы уничтожать друг друга (или даже, пожалуй, брат брата...). Ежов выступал как своего рода беспристрастный арбитр...

Уже говорилось, что широко распространены попытки толковать 1937-й год как «антисемитскую» акцию, и это вроде бы подтверждается очень большим количеством погибших тогда руководителей-евреев. В действительности обилие евреев среди жертв 1937 года обусловлено их обилием в том верхушечном слое общества, который тогда «заменялся». И только заведомо тенденциозный взгляд может усмотреть в репрессиях 1930-х годов противоеврейскую направленность (она в самом деле имела место, но намного позднее, в конце 1940-х годов, — о чем еще будет речь). Во-первых, совершенно ясно, что многие евреи играли громадную роль в репрессиях 1937 года; во-вторых, репрессируемые руководящие деятели еврейского происхождения нередко тут же «заменялись» такими же, что опрокидывает версию об «антисемитизме». Так, пост начальника Политуправления РККА и зам. наркома обороны еврея Гамарника, покончившего с собой 31 мая 1937 года в предвидении неизбежного скорого ареста, занял бывший член национальной еврейской партии «Рабочие Сиона» — Мехлис; пост репрессированного наркома оборонной промышленности Рухимовича — еврей же Ванников, на место арестованного начальника Спецотдела ГУГБ НКВД Бокия пришел Шапиро и т.п.

Но еще показательнее, конечно, сведения о национальном составе ЦК ВКП(б) в целом. В 1934 году из 71 члена ЦК 12 были еврейского происхождения; к 1939 году

(когда на XVIII съезде избирался новый ЦК) 9 из этих 12 подверглись репрессиям, а 3 вошли в новый состав. Но помимо них в этот новый состав (также из 71 члена) были введены 9 человек еврейского происхождения. Таким образом, в 1939 году, после якобы противоеврейских репрессий, в ЦК по-прежнему (как и в 1934 году) каждый шестой из его членов был евреем (это «представительство» в ЦК, между прочим, более чем в *десять* раз превышало долю евреев в населении страны...).

Тем не менее во многих нынешних сочинениях как о само собой разумеющемся говорится об «антисемитской» направленности террора, разразившегося между 1934 и 1939 годами. Так, автор, считающийся знатоком истории Наркомата иностранных дел, Зиновий Шейнис, утверждает, что к концу 1930-х годов в этом Наркомате была-де осуществлена «расовая чистка»[90]. Для пущей «достоверности» он добавляет, что арестованный «Марк Плоткин (зам. заведующего правовым отделом наркомата. — *В. К.*) был *предпоследний... последним* сотрудником Наркоминдела, евреем по национальности, был Евгений Александрович Гнедин (зав. отделом печати), сын А.Л. Гнедина-Парвуса». На самом деле не Гнедина, а Гельфанда; Гнедин — псевдоним, избранный сыном (а не отцом). (Там же, с. 59.)

Определения «предпоследний» и «последний» — либо беспардонная ложь, либо результат полнейшей утраты памяти, ибо в конце 1930-х — первой половине 1940-х годов, то есть уже после ареста «последнего» Гнедина-Гельфанда, евреи Лозовский (Дридзо), Майский (Ляховецкий; с 1932 по 1943 год был послом в Великобритании) и Литвинов (Валлах) занимали посты ни много ни мало *заместителей наркома* иностранных дел, а еврей Уманский был важнейшим послом в США! Не приходится уже говорить о евреях на других, не таких наивысших должностях в Наркоминделе.

Шейнис утверждает, что расправа с тем же Е.А. Гельфандом-Гнединым была-де расправой с «евреем по национальности». Однако, согласно собственному позднейшему рассказу Евгения Александровича, главную роль в

его допросах и истязаниях играл помощник начальника следственной части Главного управления госбезопасности Израиль Львович Пинзур, который одновременно вел дело М. Кольцова-Фридлянда.

* * *

Но к отмеченным честностью воспоминаниям Гнедина я еще вернусь. Теперь же целесообразно обратиться к широко известным мемуарам Льва Разгона. Его опубликованное в 1988—1989 годах более чем трехмиллионным (!) тиражом «Непридуманное» вызвало поистине сенсационный интерес, но, возможно, именно потому довольно быстро было, в сущности, забыто. Когда всего через пять лет, в 1994-м, Разгон переиздал свои мемуары (к тому же со значительными дополнениями и более «завлекательным» названием — «Плен в своем Отечестве»), тираж их оказался почти в 700 (!) раз меньшим — всего 5 тыс. экз.

Рассказы Разгона были восприняты массой читателей наскоро, бездумно, и об этом вполне уместно сожалеть, ибо, несмотря на то что в его сочинении, вопреки заглавию, немало «придуманного», оно дает очень существенный материал для понимания феномена «1937 год». Речь идет при этом не столько о «фактической» стороне мемуаров, сколько о воссозданном — или, вернее, как бы невольно *воссоздавшемся* — в них *сознании* (и, соответственно, поведении) самого автора и его окружения, его «среды».

В глазах Разгона «центр» этой среды — его собственный «семейный клан». Я вовсе не навязываю это определение Льву Эммануиловичу; он сам говорит, например: «Мой двоюродный брат, Израиль Борисович Разгон, был самым знаменитым в нашем семейном клане. Сын мелкого музыканта, игравшего на еврейских свадьбах...» Да, буквально: кто был ничем, тот стал всем... После 1917 года «Израиль комиссарил на Западном фронте», был «главнокомандующим Бухарской народной армии... Потом отправился военным советником в Китай... Вершиной его китай-

ской карьеры была должность начальника политического управления Китайской народной армии... Затем много лет был заместителем командующего Черноморским флотом, заместителем командующего Балтийским флотом...»[91] — весьма высокое положение.

Другой двоюродный брат Разгона стал заместителем начальника Московского уголовного розыска и членом так называемой «тройки», которая отправляла в ГУЛАГ «социально вредные элементы». Согласно рассказу Разгона, его кузену регулярно приносили «огромную — в несколько сотен листов — кипу документов. Не прерывая разговора со мной, Мерик («полное» имя этого своего кузена Разгон не сообщил. — *В. К.*) синим карандашом подписывал внизу каждый лист... Он не заглядывал в эти листы, а привычно, не глядя, подмахивал. Изредка он прерывался, чтобы потрясти уставшей (! — *В. К.*) рукой» (с. 69). Разгон толкует сие занятие своего кузена как неприятную «повинность» чиновника, которого, как и других крупных чиновников, назначили «членом тройки»: «...почти все они подписывались таким же образом, и единственный, кто реально решал участь этих людей («социально вредных». — *В. К.*), был тот сержант, лейтенант или капитан, кто составлял бумагу, под которой подписывались остальные» (с. 91). Об этом типичнейшем для книги Разгона перекладывании «вины» с «высших» на самых «*низших*» мы еще побеседуем.

Упоминает Разгон и о своем родном старшем брате, которого называет «Соля». О его карьере не сообщается, но показательно, что в 1928 году Соля пригласил младшего брата отдохнуть в Крыму на богатейшей даче, принадлежавшей в свое время самому П.Н. Милюкову.

Что касается личной карьеры Разгона, она поначалу была вроде бы скромной: он вел работу с юными пионерами, бывал пионервожатым, сочинял (об этом, правда, не упомянуто в мемуарах) в конце 1920-х — начале 1930-х книжки для «Библиотеки пионера-активиста»[92]. Но затем Разгон вступил в очень «престижный» брак: его супругой стала дочь одного из главных деятелей ВЧК — ОГПУ — НКВД Г.И. Бокия, к тому же ко времени женитьбы Разгона

она была падчерицей находившегося тогда на вершине своей карьеры партаппаратчика И.М. Москвина, к которому в начале 1920-х годов «перешла» супруга Бокия вместе с младшей дочерью.

Москвин до 1926 года являлся одним из сподвижников «хозяина» Ленинграда — Зиновьева, но, по рассказу самого Разгона, во время острой борьбы с левой оппозицией «был самым активным в противодействии зиновьевцам» и за эту заслугу «взлетел на самый верх партийной карьеры»[93] — стал членом Оргбюро ЦК и кандидатом в члены Секретариата ЦК, войдя тем самым в высший эшелон власти, состоявший всего только из *трех десятков* человек (члены Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК).

Стоит сказать еще и о том, что «переход» жен от одного к другому руководящему деятелю характерен для того времени и обусловлен как раз «клановостью», «кастовостью» правящего слоя. Слой этот, естественно, состоял главным образом из мужчин, и своего рода «дефицит» соответствующих определенным критериям женщин приводил к тому, что, скажем, супруга члена ЦК Пятницкого-Таршиса стала затем супругой члена Политбюро Рыкова, жена другого члена ЦК, Серебрякова, перешла к кандидату в члены Политбюро Сокольникову-Бриллианту* и т.п.

Бокий сохранил дружественные отношения с бывшей женой и постоянно, — по сообщению Разгона, «почти каждую неделю», — посещал квартиру Москвина. И деятель пионерского движения Разгон решил сделать карьеру в НКВД под руководством отца своей жены. Как уже отмечалось, в *первом* издании своего «Непридуманного» Разгон об этом «скромно» умолчал. Всячески обличая и проклиная НКВД, он утверждал, что он-то в 1937 году занимался изданием книг для детей, сотрудничая с уже знаменитым тогда Маршаком. Однако это его возвращение в сферу дея-

---

* Это была известная в свое время писательница Галина Иосифовна Серебрякова, пережившая заключение и ссылку; в 1960-х годах я не раз слушал ее небезынтересные рассказы о прошлом.

тельности, в которой он подвизался в юные годы, произошло *после* его увольнения из НКВД.

16 мая 1937 года был арестован Бокий. Разгон указал в своих мемуарах иную, противоречащую документам дату этого ареста — 7 июня; перед нами, вероятно, дата увольнения из «органов» самого Разгона, которую он поэтому счел датой ареста своего тестя. Вместо НКВД Разгон стал служить в Детиздате, причем, очевидно, на достаточно высокой должности, поскольку, по его словам, занимался разработкой планов этого издательства совместно с Маршаком. Спустя год, 18 апреля 1938 года, Разгон был арестован и осужден на пять лет заключения (осудили его, в частности, как уже сказано, за обличение «контрреволюционности» нового идеологического курса страны, возрождающего-де монархию).

Можно предвидеть, что кто-либо усомнится в целесообразности подробного обсуждения мемуаров одного из сотрудников НКВД. Но, во-первых, история в конечном счете воплощается в судьбах отдельных людей, и только долгое господство в историографии XX века работ, сводивших все и вся к социально-политическим схемам, мешает увидеть и понять это. Во-вторых, мемуары Разгона весьма небезынтересны — и не только тем, что они сообщают, но и тем, о чем они *умалчивают*.

По-своему замечателен уже тот факт, что Разгон, подробно рассказывая о себе в «Непридуманном», не сказал ни слова о своей службе в проклинаемом им теперь, спустя много лет, НКВД, — надеясь, вероятно, на уничтожение или полную недоступность соответствующих документов. В 1992 году была издана уже упоминавшаяся книга Евгении Альбац, посвященная беспощаднейшему обличению ВЧК — ОГПУ — НКВД — КГБ, которые, по ее определению, с 1917 года осуществляли «геноцид в отношении собственного народа»[94]. Она особо отмечала, что в НКВД «было много евреев», ибо революция подняла на поверхность, как определила Альбац, «все самое мерзкое... вынесла на простор Отечества именно подонков народа (в данном случае — еврейского. — *В. К.*). И в НКВД, на эту кровавую работу, пришли те, для кого она была возможностью само-

утвердиться, ощутить свою власть» (с. 130). Евреи, «трудившиеся в органах, — утверждает Альбац, — были лучше образованны... а потому быстрее продвигались по служебной лестнице, да еще благодаря своему генетическому страху особо усердствовали, опасаясь, что их уличат в «мягкости» к своим... Расплата наступила скорее, чем они предполагали» (там же, с. 130).

«Оценка» предельно резкая, но в то же время книга Альбац *посвящена* не кому-нибудь, а бывшему сотруднику НКВД Разгону! Более того, ему уделена в книге особая главка под названием «Немного о любви», и он назван «бесконечно дорогим и близким» автору человеком... Очевидно, Разгон, — несмотря на всю «близость» к Альбац, — *утаил* и от нее свою службу в НКВД, столь ненавистном ей, и это, мягко говоря, несимпатичный поступок.

Но, к прискорбию для Разгона, несколько позже историк Т.А. Соболева заинтересовалась фигурой его тестя и начальника Бокия, по сохранившимся все же документам установила, что в возглавляемом им «Спецотделе» НКВД служил уцелевший Лев Эммануилович, и обратилась к последнему за информацией. Поэтому во втором издании мемуаров (1994 года) Разгону, во-первых, волей-неволей пришлось признаться (правда, он сделал это в одной беглой фразе), что он таки служил в НКВД[95], и, во-вторых, совсем по-иному, чем в первом издании, охарактеризовать своего тестя*

В *первом* издании мемуаров Бокий был преподнесен как своего рода исключение, уникум в чекистских кругах: он помогает спасти от неминуемой гибели одного из великих князей, оказывает услуги готовому эмигрировать Шаляпину и т.п.[96] И вообще, как написал Разгон, в Бокии «при всех некоторых странностях» (именно такая формулировка!) «было какое-то обаяние» (с. 26).

---

* Разгон дал второму изданию своих мемуаров заглавие «Плен в своем Отечестве», правильнее было бы озаглавить его «Плен в своем Ведомстве»...

Во втором издании своих мемуаров — уже после общения с историком Т.А. Соболевой — Разгон, по-прежнему оговаривая, что его тесть Бокий иной человек, «нежели Ягода, Паукер, Молчанов, Гай и другие», что он человек «из интеллигентной семьи, хорошего воспитания, большой любитель и знаток музыки», все же вынужден был не ограничиться подобными «штрихами». Мемуарист теперь «вспомнил», что именно Бокий «был *автором* идеи создания концентрационного лагеря и первым его куратором... Ни образование, ни происхождение, ни даже профессия нисколько не мешали чекистам быть обмазанными невинной кровью с головы до ног... — «вспомнил» во втором издании Разгон. — Бокий... после убийства Урицкого стал председателем Петроградской ЧК и в течение нескольких месяцев... руководил «красным террором»... с 1919 года был начальником Особого отдела Восточного фронта... невозможно подсчитать (! — *В. К.*) количество невинных жертв на его совести...»[97]

Но, уверял здесь же Разгон, позднее, после завершения Гражданской войны, Бокий-де отошел от кровавых дел и (цитирую) «с 1921 года и до самого своего конца был создателем и руководителем отдела, который даже не был отделом ОГПУ, а официально считался «при»... в этом отделе никого и никогда не арестовывали и не допрашивали» (с. 96).

Разгон в очередной раз ухитрился «забыть», что, согласно документам, в середине 1920-х годов, то есть в уже «мирное время», в ОГПУ было «для осуществления внесудебной расправы... организовано Особое совещание... в его состав входили В.Р. Менжинский, Г.Г Ягода и Г.И. Бокий»[98]. Кроме того, Разгон без всяких оснований «вывел» возглавлявшийся Бокием с 1921 по 1937 год «Спецотдел» за рамки ОГПУ — НКВД, ибо, согласно документам, во время службы там Разгона это был именно один из отделов (9-й) Главного управления госбезопасности (ГУГБ) НКВД, и сам Бокий имел звание комиссара ГБ 3-го ранга (т.е. генерал-лейтенанта).

Вполне понятно, что Разгон, пытаясь «отделить» Бокия от НКВД, думал прежде всего о собственной репутации.

Но одновременно с выходом второго издания его мемуаров вышла в свет основанная на тщательном исследовании фактов книга Т.А. Соболевой, в которой установлено, что возглавлявшийся Бокием Спецотдел «являлся частью репрессивного аппарата» и с течением времени становился «все больше вовлекаемым в поток репрессий»[99].

Важно отметить, что Т.А. Соболевой вовсе не свойственна какая-либо предубежденность по отношению к Бокию и его сотрудникам; напротив, она высказывает предположение, что «кровавый террор», в который они были «вовлекаемы», «тяжким бременем лег на души и совесть честных партийцев. Многие начинали осознавать ужас трагедии» (там же). Факты, однако, убеждают, что «осознание» начиналось лишь тогда, когда террор доходил непосредственно до самих этих «честных партийцев»...

Между прочим, Разгон, пытаясь «отделить» Бокия (и, конечно, самого себя) от репрессивной машины, вместе с тем не смог преодолеть стремления показать особую значительность своего тестя* и написал, что Бокий и возглавляемый им Спецотдел «были, пожалуй, самыми закрытыми во всей сложной и огромной разведывательно-полицейской машине... Бокий из всех возможных и невозможных по своим обязанностям фигур вокруг сосредоточения власти был самым информированным, самым знающим, от него не могли укрыться никакие тайны»[100]; не исключено, что Разгон намекнул здесь на фамилию своего тестя — Бокий, — которая, согласно авторитетному исследованию филолога Б. Унбегауна, происходит от древнееврейского слова, означающего «сведущий человек», и имела распространение среди евреев Украины[101].

Все вышеизложенное нельзя не сопоставить со следующей возмущенной сентенцией из мемуаров Разгона:

---

* Это вообще характерная черта разгоновских мемуаров. Так, всячески проклиная страшного Ежова, он все же не сумел удержаться от своеобразной «похвальбы»: «...мне раза два приходилось сидеть за столом и пить водку с будущим «железным наркомом»...» («Непридуманное», с. 15).

...никто из многих тысяч людей, служивших в этих огромных домах на Лубянской площади, никто из них... не выступил устно или письменно со словами и слезами покаяния...»[102]

Но помилуйте! Ведь сам Разгон служил в этих самых «домах», однако в его пространных письменных излияниях не найти и намека на его собственное «покаяние»... В гневе он бессознательно проговаривается, что после его ареста (18 апреля 1938 года) его «ночной Москвой везли к *знакомому* проклятому дому»[103]; дом был ему действительно «знаком», поскольку до июня 1937 года он сам в нем подвизался...

И здесь мы подходим к главному: сущности самосознания подобных Разгону людей, занимавшихся в 1937 году «пожиранием» друг друга. Вот одно поистине ярчайшее проявление этой сущности. Разгон с крайним, прямо-таки яростным негодованием пишет о том, что приговоры 1937 года нередко включали в себя пункт о «конфискации имущества» репрессированных, которое затем выставлялось на продажу в магазинах «случайных вещей», — вещей, как определяет Разгон, «награбленных энкавэдэшниками» (употребив презрительное прозвание в первом издании своих мемуаров, он, очевидно, полагал, что его собственная принадлежность к этим самым «дэшникам» останется тайной). «Осенью 37-го года я проходил по Сретенке мимо одного такого магазина... — вспоминал Разгон. — И, войдя, сразу же в глубине магазина увидел наш (точнее, все-таки не «наш», а Москвина, в квартиру которого Разгон вселился как муж его падчерицы. — *В. К.*) диван... со львами, вырезанными из черного дерева, по краям... рядом с диваном в магазине стояла мебель из кабинета» (москвинского). И, как поясняет тут же Разгон, это была мебель из «какой-то крупночиновной петербургской квартиры, доставшейся (вдумаемся в это слово! — *В. К.*) секретарю Севзапбюро (в Ленинграде. — *В. К.*) Москвину и затем... перевезенная в Москву». И Разгон с предельным гневом заявляет, что расправившиеся с Москвиным «энкавэдэшники», которые конфисковали и выставили на продажу его мебель, «были не только убийцами, но и мародерами»[104].

Здесь с разительной ясностью запечатлелось разгоновское «самосознание»: ему и подобным ему субъектам *даже не может* прийти в голову, что, исходя из его собственного «простодушного» рассказа, определение «мародеры» приходится отнести (и с гораздо большими основаниями!) к его собственному семейному кругу, которому «досталась» — вернее сказать, была просто присвоена (а не *куплена* при распродаже конфискованного имущества) мебель (затем перевезенная в Москву — в другую «доставшуюся» квартиру), принадлежавшая, вполне вероятно, человеку, убитому во время «красного террора», руководимого председателем Петроградской ЧК Бокием... Тут наиболее прискорбен (и, в сущности, чудовищен) тот факт, что Разгон не усматривает ничего «компрометантного» в этом своем рассказе о «нашем» (москвинском) диване и прочем...

Как уже говорилось, Разгон, после увольнения из НКВД, занял высокий пост в Детиздате, где подружился с его сановным директором, Григорием Цыпиным, побывавшим ранее помощником Кагановича, заместителем Бухарина, директором издательства «Советский писатель» и т.п. По уверению Разгона, Цыпин был «любопытнейшим и приятным человеком», хотя в издаваемых им книгах «не было, может, большого вкуса». Зато у Цыпина «была потрясающая библиотека... У него были собрания сочинений из *великокняжеских* библиотек, редчайшие книги, когда-то собранные московскими книжниками. Помню полное собрание сочинений Достоевского... на титуле каждого тома надпись... «из книг Федора Шаляпина»...» (опять то же «мародерство» — особенно если вспомнить о расстрелах великих князей). И арест Цыпина 31 декабря 1937 года Разгон толкует как тяжкую потерю для культуры.

Чтобы яснее представить себе, кто такой Цыпин, обратимся к не так давно опубликованным фрагментам дневника Михаила Пришвина. 12 января 1936 года в ЦК ВЛКСМ началось «совещание о детской литературе» с докладами Цыпина и Маршака. И Пришвин, в частности, записал: «После речи Цыпина, столь невежественного человека, почувствовал такое унижение себя как писателя, литературы,

что не только не решил выступать, а даже и вовсе быть дальше с ними...»[105]

Едва ли не самый характерный мотив мемуаров Разгона — так или иначе выразившееся в них «убеждение», что до 1937 года все обстояло, в общем, благополучно. Разгон вспоминает, в частности, что даже и сам 1937 год он «встречал в Кремле у Осинских... встреча... была такой веселой... мы пели все старые любимые песни... тюремные песни из далекого (дореволюционного. — *В. К.*) прошлого. Которое не может повториться...»[106] (кстати, к этому времени *уже были расстреляны* Зиновьев и Каменев, — но ведь тот же Москвин беспощадно боролся с ними еще десятью годами ранее, в 1926 году).

Следует отметить, что в 1994 году, готовя дополненное издание своих мемуаров, Разгон не смог игнорировать то, о чем уже громко к тому времени сказали многие другие авторы, и «осудил» террор периода Гражданской войны и коллективизации. Но вместе с тем он не вычеркнул из книги свое искреннее признание в том, что ему, сотруднику НКВД, и его окружению было *весело* в начале 1937-го, — и за эту откровенность его можно бы даже и похвалить...

Но особую выразительность имеет другая откровенная глава из книги Разгона — «Корабельников». Речь здесь идет о человеке, который «в служебной энкавэдэвской иерархии занимал весьма ничтожное место. Он был рядовой оперодчик», ему давали задания проводить «слежку, охрану начальства, аресты». Разгон познакомился с Корабельниковым уже после своего ареста, в лагере, где тот оказался потому, что «по пьяному делу трепанулся... про одно бабское дело у начальника», который, так сказать, отомстил ему пятилетним сроком заключения. Примечательно, что сам Корабельников отнюдь не грешил по «бабской» линии; он рассказывает Разгону, что во время ареста чьего-либо мужа или отца «бабы, такие из себя красивые да гордые, готовы тебе сапоги лизать, могу любую из них тут же... Конечно, ни-ни... я на это никогда не шел, начальство всегда во мне было уверено... Мне достаточно знать, что *могу*» (с. 180—181).

Разгон подробно изображает, как выбившийся из ни-

зов Корабельников наслаждается этим ощущением *потенциальной* власти над людьми, стоящими выше его в советской иерархии. Притом дело идет именно и только об *ощущении*; так, Корабельников прямо заявляет, что, например, *казнить* людей — «не по моему характеру». Кроме того, выясняется, что руководителей НКВД (в отличие от остальных людей) он воспринимает как «богов», которым, с его точки зрения, все дозволено. Собственно, и общение-то Разгона с Корабельниковым начинается с того, что последний с подобострастием говорит об уже расстрелянном к тому времени Бокии:

«Авторитетный был человек!»

И добавляет о выпавшем на его долю «счастье»:

« — Кого только не знал, кого только не видел! И Артузова, и Молчанова, и Бермана... Ну само собой — Паукера... А ты откуда Бокия-то знаешь?

— Это мой тесть...

И тут Корабельников «оживился, на лице его исчезло то странное выражение превосходства, которого я раньше не понимал». То есть близость Разгона к одному из «богов» (пусть даже и бывшему!) побудила Корабельникова изменить свое отношение к нему и вступить в доверительную беседу. Ведь даже о *заместителе* начальника Оперативного отдела ГУГБ НКВД Зорахе Элиевиче Воловиче Корабельников с великой гордостью рассказывает: «Сам Волович меня заметил, иногда самолично вызывал и давал распоряжения такие, которые не мог доверить какому-нибудь пентюху».

Дело вроде бы вполне ясное: Корабельников — «законченный», даже уже и патологический тип лакея, холуя, способного вызвать, казалось бы, только чувство брезгливого презрения. Но Разгон воспринимает его совсем по-иному, с какой-то исключительной, чрезвычайной злобой; этот лакей предстает в качестве главного, наиболее опасного и ужасающего врага мемуариста...

Так, Разгон недвусмысленно признается: «...из множества злодеев, которых мне пришлось встретить, Корабельников произвел на меня особо страшное впечатление». В течение многих лет «его прямые пшеничные волосы...

снились по ночам, и я стонал во сне и просыпался, покрытый липким потом... И сейчас (то есть полвека спустя! — *В. К.*) я совершенно отчетливо вижу его круглое и плоское лицо... когда я думаю о нем, — я стараюсь это делать как можно реже, — меня начинает бить дрожь от неутоленной злобы...».

Все это по меньшей мере странно. Ведь Корабельников — «пешка», всего лишь своего рода «техническое средство» в системе НКВД. Правда, Разгон с его слов рассказывает, как тот по собственной инициативе доставляет в НКВД некоего «парня» (который, по завистливому суждению Корабельникова, «университеты кончал, зарплата ему хорошая идет»), пировавшего с «девочкой» в шикарном ресторане «Метрополь», где одновременно ужинали «иностранцы из посольства», — доставляет «по подозрению, перемигивался с иностранцами, дескать». А уж следователь в НКВД этого «парня» или к стенке поставит, или, в лучшем случае, «даст ему лет восемь по подозрению в шпионаже».

Нельзя исключить, что подобный курьезный случай мог иметь место в атмосфере 1937-го года, однако именно в качестве курьеза (так, если бы он был типичен, тот же «Метрополь» посещали бы одни иностранцы). И крайняя злоба Разгона по отношению к Корабельникову объясняется, очевидно, чем-то иным. Эта «неутоленная злоба» в самом деле загадочна: ведь Корабельников, согласно разгоновскому рассказу, был всего-навсего «рычажком», который приводили в действие Паукер или Волович, но о тех-то (как и о Бокии) в книге Разгона нет ни одного злого слова! После того как Разгон поведал, что он — зять Бокия, Корабельников его сразу принял за «своего»... Но он-то с его «пшеничными волосами» был Разгону «страшен и отвратен».

В чем же здесь дело? Как это ни противоречит здравому смыслу, в глазах Разгона занимавший, по его же словам, «ничтожное место» в «иерархии» НКВД Корабельников неизмеримо «хуже» Паукера, Воловича, Бермана и, разумеется, Бокия, чьи распоряжения он, Корабельников, чисто технически исполнял.

Разгон признал во втором издании своей книги (ибо

это уже стало общеизвестным), что (см. выше) Бокий «обмазан невинной кровью с головы до ног... и невозможно подсчитать количество невинных жертв на его совести». Однако Бокий и другие лица этого круга отнюдь не «ужасают» Разгона; он готов даже находить в них «обаяние». И это может иметь только одно объяснение: Бокий и ему подобные все-таки *«свои»* (пусть даже они приказывали убивать и «своих»!); напомню, что Бухарина-Лурье, по ее признанию, не смогла дать пощечину «своему» Андрею Свердлову...

Кстати сказать, Разгон упоминает, что он и в 1930-х годах не раз «приходил в Кремль к Свердловым», и впоследствии, в 1960-х годах, вполне «нормально» общался с этим жестоким следователем (ведь это не какой-нибудь Корабельников!): «Андрей Свердлов показал мне рукопись сделанной им литературной записи воспоминаний коменданта Кремля...» Что ж, люди одного «клана»... Другое дело — подписанное уже престарелым Разгоном гораздо позже, в 1993 году, обращенное к власти требование 43 авторов беспощадно расправиться с теми, кто выступал на стороне Верховного Совета: они не принадлежали к разгоновскому «клану»...

Но вернемся к «сюжету» с Корабельниковым. По-видимому, одна из причин (или даже главная причина) его появления в книге Разгона — попытка как бы «переложить» на него «вину» за 1937 год. Ведь в заключение своего рассказа о Корабельникове Разгон заявляет: «В моих глазах этот маленький и ничтожный человек... стоит неподалеку от главного его бога — от Сталина». А «обаятельный» Бокий, Паукер, Волович и т.п. — это, мол, скорее, «жертвы», зажатые, так сказать, между молотом и наковальней, между побуждающим их совершать насилие над «своими» всевластным генсеком и этим рядовым «энкавэдэшником», которому они (опять-таки «вынужденно»!) приказывают следить, производить обыски, арестовывать (хотя, как ясно из многих свидетельств, к «привилегированным» лицам посылали для ареста и обыска не каких-нибудь корабельниковых; так, согласно мемуарам супруги Бухарина, в ее квартиру заявился сам «начальник следственного отдела НКВД», ко-

миссар 3-го ранга — то есть генерал-лейтенант — Борис Берман, который в глазах Корабельникова был одним из «богов», а затем с ней общался — еще до ее «встречи» с Андреем Свердловым — старший майор ГБ — то есть генерал-майор — Коган).

Что ж, может быть, Разгон с определенной точки зрения прав? Вот, мол, наверху вождь, диктатор, в конце концов, «царь», «самодержец» Сталин, внизу — «представители народа», рядовые корабельниковы, а посередине — разгоновский «клан», обреченный быть раздавленным сближающимися друг с другом «вождем» и «народом» (в восприятии Разгона «маленький и ничтожный человек» Корабельников оказывается в конце концов «неподалеку от Сталина»).

* * *

Здесь перед нами предстает очень существенная и очень непростая проблема, заслуживающая самого внимательного рассмотрения. Необходимо только, не торопясь, увидеть и понять многосторонний смысл совершавшегося и лишь после этого сделать определенные выводы.

Говоря с крайним негодованием о наметившемся к концу 1930-х годов своего рода «сближении» тех, кого он называет «маленькими и ничтожными людьми», с верховной властью (ранее их отделял особый «слой»), Разгон, как уже сказано, в известной мере прав. Характерно, что видный деятель НКВД, генерал-лейтенант Павел Судоплатов*, вспоминает, как он с некоторым даже удивлением воспринимал поведение нового главы (с ноября 1938 г.) своего наркомата:

«Берия часто был весьма груб в обращении с высокопоставленными чиновниками, но с рядовыми сотрудника-

---

* Готовясь на рубеже 1980—1990-х годов к работе над данным своим сочинением, я разыскал этого, тогда мало кому известного (мемуары его были изданы в России только в 1996 году) «уцелевшего» деятеля НКВД — МГБ, и беседа с ним кое-что для меня прояснила.

ми, как правило, разговаривал вежливо. Позднее мне пришлось убедиться, что руководители того времени позволяли себе грубость лишь по отношению к руководящему составу, а с простыми людьми члены Политбюро вели себя подчеркнуто вежливо»[107].

И именно это изменение роли и положения «простых людей» было неприемлемо для Разгона и его круга. Так, в мемуарах другого сотрудника НКВД, К. Хенкина (племянника популярнейшего в 1930-х годах актера), который вообще во многом «перекликается» с Разгоном, с крайним негодованием говорится о постепенной замене «кадров» в «органах»: «...на место исчезнувших пришли другие. Деревенские гогочущие хамы. Мои друзья (по НКВД. — *В. К.*) называли их... «молотобойцы»...»[108] То ли дело его, Хенкина, «высший начальник» — полковник ГБ «Михаил Борисович Маклярский, наблюдавший (! — *В. К.*) до войны за миром искусства» (с. 43): «Михаил (Исидор) Борисович был человек немного плутоватый, но вовсе не злой. Любящий отец и заботливый муж, неплохой, по советским понятиям, товарищ» (с. 103). Кстати, Хенкин, как и Разгон, стремится «умалить» свои «энкавэдэшные» заслуги («Миша, — то есть Маклярский. — *В. К.*, — давал мне мелкие поручения»), но его заверениям решительно противоречит тот факт, что ему была пожалована квартира в одном из немногих наиболее привилегированных московских домов — «высотном» на Котельнической набережной.

Следует учитывать, что Хенкин, в отличие от Разгона, в 1973 году эмигрировал «по израильской визе», хотя отнюдь не поселился на «исторической родине», а стал сотрудником пресловутой радиостанции «Свобода» (ранее он много лет выполнял те же функции во французской редакции московского контрпропагандистского радио; эта способность с успехом делать одно и то же дело и «здесь», и «там» по-своему замечательна...). В 1980-м мемуары Хенкина были опубликованы эмигрантским издательством «Посев», а в 1991-м переизданы в Москве.

Любопытен его рассказ о том, как ему, прежде чем его удостоили поста на «Свободе», пришлось доказывать представителю спецслужб США, что он не столь уж заслу-

женный деятель НКВД. Американца смущало, в частности, то, что Хенкин проживал в сталинской «высотке» на Котельнической набережной. В ответ Хенкин не без ловкости представил дело так, что в этот дом поселяли «известных» людей: «...в моем подъезде была квартира Паустовского, в пятом жил Вознесенский, в девятом — Твардовский и Фаина Григорьевна Раневская... жили в этом доме Евтушенко, Зыкина, Уланова...» (с. 8). Однако, во-первых, Хенкин отнюдь не принадлежал к подобным «знаменитостям», а во-вторых, для тех, кто хотя бы в общих чертах знает сей дом, не является секретом, что среди его насельников преобладали высокие чины МГБ.

Но обратимся к суждению Хенкина о том, что место его «друзей» (точнее — «исчезавших» друзей его друзей) в НКВД занимают «деревенские хамы», эти страшные «молотобойцы». В определенном смысле Хенкин прав, хотя тот процесс замены «кадров», о котором он говорит, был весьма длительным и завершился, как увидим, только в 1950-х годах.

Об этой постепенной замене свидетельствуют и другие мемуары, написанные уже упоминавшимся видным сотрудником Наркомата иностранных дел Е.А. Гельфандом-Гнединым (1898—1983). В отличие от Разгона и Хенкина, перед нами объективные и честные воспоминания. Евгений Александрович был сыном весьма и весьма «темной» личности — Гельфанда-Парвуса, но с юных лет расстался с отцом (в мемуарах он откровенно говорит о своем сложившемся уже к 1917 году «нежелании» быть «сыном Парвуса»[109]) и сформировался как человек с прочной этической основой.

Его воспоминания, написанные в 1970-х годах, были уже после его кончины опубликованы в «Новом мире» (1988, № 7), однако, как ни удивительно, с сокращением именно тех эпизодов, в которых наиболее очевидно выразилась честность мемуариста! К счастью, книга воспоминаний Гнедина позднее, в 1994 году, была издана полностью, хотя, увы, мизерным тиражом 2025 экз. («Новый мир»

с урезанным текстом Гнедина вышел в 1988 году тиражом более миллиона экз.).

Гнедин — что нельзя не оценить — еще в 1970-х годах с покаянными нотами рассказывал в этих мемуарах о своем участии — хотя и в качестве рядового «агитатора» — в проведении коллективизации. Вместе с тем он правильно осознал совершившийся во второй половине 1930-х годов кардинальный поворот в отношении власти к крестьянству — то есть к преобладающему большинству населения страны (около 70 процентов в 1937 году). Констатируя, что к «середине тридцатых годов... аресты и репрессии против партийных и государственных работников стали таким же постоянным методом внутренней политики, как и карательные мероприятия в деревне» (имеются в виду «мероприятия» начала 30-х годов), Гнедин тут же заметил: «Парадоксальным образом эта система мероприятий привела к тому, что позднее новые кадры государственных служащих пополнялись в значительной мере выходцами из крестьянской среды» (с. 61).

Могут возразить, что на вершине власти и ранее находились люди крестьянского происхождения — А.И. Рыков и М.И. Калинин. Но они, по сути дела, имели только, пользуясь модным словечком, «имидж» правителей-крестьян. Что касается Рыкова, которого несколько неожиданно назначили после кончины Ленина главой правительства, он действительно принадлежал в юности к крестьянскому сословию, но лишь чисто *формально*: его семья занималась торговлей в большом губернском Саратове, где он и родился; характерно, что и он, и оба его брата окончили гимназию и поступили в университет, — откуда, правда, Алексей Иванович ушел еще в 1898 году в «профессиональные революционеры».

Калинин в самом деле начал свою жизнь в деревне, но он-то впоследствии, в сущности, только *играл роль* носителя высшей власти. В 1917-м ему дали чисто «представительский» пост «городского головы» Петрограда, а с марта 1919-го — «всероссийского старосты». Троцкий в 1927 году напомнил: «Члены Политбюро знают, что после смерти Свердлова первой мыслью Владимира Ильича было на-

значить председателем ВЦИКа тов. Каменева. Предложение выбрать «рабоче-крестьянскую» фигуру исходило от меня. Кандидатура тов. Калинина была выдвинута мною. Мною же он был назван всероссийским старостой»[110]. И, конечно, Михаил Иванович являл собой именно «фигуру», а не действительного правителя страны.

Уместно вспомнить и о том, что В.И. Ленин в конце 1922-го — начале 1923 г. в своем так называемом «Завещании» прозорливо написал о необходимости введения в ЦК, то есть высшую власть, состоявшую тогда из 27 членов и 19 кандидатов в члены, — множества («50, 75 или даже 100») людей, «принадлежащих ближе к числу рядовых рабочих и крестьян» (а не давно «оторвавшихся» от народного бытия «профессиональных революционеров»); его предложение было фактически полностью отвергнуто, но в 1939 году так или иначе реализовалось: из 138 тогдашних членов и кандидатов в члены ЦК примерно две трети были «из рабочих и крестьян»...

С конца 1930-х годов те, кого Хенкин называл «деревенскими хамами», действительно начали занимать все более значительное место во власти — и в том числе в НКВД. Хенкин добавил, что эти «хамы» являлись-де и «молотобойцами», то есть наиболее жестокими следователями, и, значит, «самый страшный» период в истории НКВД открыли-де — после замены прежних «кадров» — именно «деревенские хамы».

Но в мемуарах Гнедина-Гельфанда содержится прямо противоположная информация. Он был арестован позже многих, в 1939 году, и его «делом» занимался, по его собственному рассказу, «младший лейтенант Гарбузов... начинающий работник следственных органов» (с. 63). Гнедин как бы специально отметил, что Гарбузов — человек «малообразованный», явно из тех самых, пришедших на смену «исчезнувшим» друзьям друзей Хенкина «деревенских хамов» и, по-видимому, «молотобойцев».

Правда, в 1939 году эти новые «кадры» еще только начинали теснить прежние (они действительно выдвинулись на первый план позже, в ходе Отечественной войны 1941—

1945 годов). И мемуары Гнедина об этом свидетельствуют. Гарбузовым командовал, сообщает он, «Пинзур, возглавлявший группу следователей или секцию в следственной части НКВД СССР» (с. 50), и именно он «возглавлял следствие» по делу Гнедина (с. 55).

Известный юрист и публицист (уделяющий основное внимание юридическим проблемам) Аркадий Ваксберг, получивший доступ к «засекреченным» документам еще до издания полного текста воспоминаний Гнедина, в сущности, дал к ним точный комментарий:

«Имя капитана госбезопасности (соответствует воинскому званию «полковник»), — писал А. Ваксберг, — Израиля Львовича Пинзура встречается во множестве сфальсифицированных политических дел. Одно время он руководил следственной частью Московского управления госбезопасности, потом возвысился до помощника начальника следственной части Главного управления госбезопасности НКВД СССР. 27 апреля 1940 года был награжден медалью «За отвагу». Судя по датам — за успешно проведенное следствие по делу Гнедина»[111].

Что же касается «малообразованного» Гарбузова, то, как сообщает Гнедин, «держался он спокойно и корректно», хотя, «если бы он вздумал держаться со мной грубо и недоброжелательно, начальство его за это не попрекнуло бы. Позднее, в мрачнейшей обстановке, я имел случай убедиться, что он ко мне относится человечно...» (с. 63).

Совсем иное дело — Пинзур. Гнедин вспоминал: «Дверь раскрылась, и вошли несколько человек: капитан Пинзур... младший лейтенант Гарбузов и несколько неизвестных... Меня бросили наземь и принялись избивать дубинками». Затем «капитан (Пинзур. — *В. К.*) передал дубинку Гарбузову, тот вздрогнул и вернул дубинку своему начальнику. Чтобы замять этот эпизод, не ускользнувший от моего внимания, капитан, лишенный стыда и совести, воскликнул: «Видите, Гнедин, вы так противны вашему следователю, что он не хочет к вам прикоснуться!» Но я-то понял, что лейтенант был не в состоянии поднять на меня руку» (с. 71, 72). И еще характерная деталь из рассказа о позднейшем

допросе, в ходе которого Гарбузов «был со мной неожиданно груб, по поводу какой-то моей реплики поднял крик, явно рассчитывая, что в соседних помещениях его коллеги услышат, как грозно он со мной разговаривает» (с. 75).

Мне, по всей вероятности, возразят, что это, мол, всего лишь «единичный случай», а в целом приход «деревенских хамов» на смену друзьям друзей Хенкина привел-де к тяжелейшим последствиям. Прежде всего необходимо сказать следующее. Тем моим читателям, которые — это не исключено — удивятся, почему я уделяю столь большое внимание «концепции» Хенкина, следует учитывать, что сей мемуарист «откровеннее» других высказался о том, о чем говорили и говорят многие. Так, не какой-нибудь второстепенный «энкавэдэшник» вроде Хенкина, а сам Никита Хрущев с прискорбием заявил в своих не так давно, в 1997 году, изданных в виде книги воспоминаниях, что в 1937—1938 годах, когда репрессии обрушились на «честных партийцев», шли также (цитирую) «аресты чекистов. Многих я знал как честных, хороших и уважаемых людей... Яков Агранов (тот самый, который в 1921 году вел дело Николая Гумилева, а в 1934-м приказал арестовать Клюева и Мандельштама. — *В. К.*) — замечательный человек... Честный, спокойный, умный человек. Мне он очень нравился... был уполномоченным по следствию, занимался (в 1930-м году. — *В. К.*) делом Промпартии (как давно установлено, в основе своей сфальсифицированным. — *В. К.*). Это действительно был следователь!.. Арестовали и его и тоже казнили».

И далее своего рода «обобщение»: «Берия, — утверждает Хрущев, — завершил начатую еще Ежовым чистку (в смысле изничтожения) чекистских кадров еврейской национальности. Хорошие были работники. Сталин начал, видимо, терять доверие к НКВД и решил брать туда на работу людей прямо с производства, от станка... Им достаточно было какое-то указание сделать и сказать: «Главное арестовывать и требовать признания... бить его (ср. «молотобойцы» Хенкина. — *В. К.*), пока не сознается, что он «враг народа»...»[112]

Буквально все процитированные утверждения Хрущева заведомо искажают действительность, и надо прямо сказать, что нынешняя публикация этих и подобных им страниц хрущевских мемуаров без каких-либо комментариев — дело просто-таки возмутительное.

Ведь никуда не денешься от того факта, что именно восхваляемые Хрущевым первоначальные «чекистские кадры» (а вовсе не пришедшие им на смену позже) осуществляли террор 1937 года (он вообще-то начался еще в 1936-м, при Ягоде), а с определенного момента начали уничтожать друг друга (факты приводились выше). Далее, совершенно лживо утверждение, согласно которому в 1937—1938 годах «изничтожались» именно «кадры еврейской национальности»: во-первых, обилие погибших тогда евреев всецело обусловлено обилием их в «руководстве» НКВД, а во-вторых, действительная «чистка кадров еврейской национальности» имела место намного позднее, в начале 1950-х годов, и, как будет показано ниже, *сам Хрущев*, ставший в 1949 году секретарем ЦК именно «по кадровым вопросам», играл в этой «чистке» очень существенную или даже вообще главную роль — чем, очевидно, и объясняется предпринятая им в мемуарах грубая фальсификация положения в 1937 году.

В уже цитированной, основанной на изучении достоверных источников книге Аркадия Ваксберга «Нераскрытые тайны», изданной в 1993 году, говорится о тех, кто пытается объяснить репрессии против сотрудников НКВД — МГБ (цитирую) «принадлежностью к «пятому пункту»...» (т. е. пункту тогдашних «анкет» о национальной принадлежности): «...в ведомстве Берии особого значения такому пороку не придавали: Соломон Мильштейн, Леонид Райхман, Леонид Эйтингон, Лев Новобратский и многие другие благополучно продержались на очень высоких постах (генеральских. — *В. К.*) вплоть до крушения своего патрона (имеется в виду Берия, свергнутый летом 1953 года. — *В. К.*), добавляя новые звезды к погонам и новые ленточки к орденским колодкам»[113] (в книге Ваксберга говорится и

о целом ряде других евреев, занимавших высокие посты в «органах» до начала 1950-х годов).

Правда, слово «вплоть» в приведенной цитате могут понять в том смысле, что репрессии против перечисленных генералов МГБ — евреев начались лишь в момент «крушения» Берии, то есть летом 1953 года; в действительности основная их часть подверглась гонениям несколько ранее, во второй половине 1951-го — начале 1952 года, о чем говорит, например, в своих воспоминаниях генерал-лейтенант ГБ Павел Судоплатов. Еще «по распоряжению Сталина (как будет показано ниже, в подготовке сего распоряжения немалую роль играл Хрущев. — *В. К.*) были арестованы все евреи — ответственные сотрудники центрального аппарата Министерства госбезопасности, — вспоминал Судоплатов, — так, оказались за решеткой Эйтингон, Райхман, заместители министра госбезопасности генерал-лейтенанты Питовранов и Селивановский. Арестовали и полковника в отставке Маклярского (бывшего непосредственного начальника Хенкина. — *В. К.*)... Был брошен в тюрьму и сын первого главы советского государства Свердлова полковник Андрей Свердлов»[114].

Судоплатов делает еще немаловажное добавление: «Вместе с этими людьми также были арестованы и их непосредственные *подчиненные*, по национальности русские» (там же). В то же время (1951—1952) в МГБ были арестованы и многие другие генералы и офицеры высших рангов еврейского происхождения — Белкин, Шварцман, Броверман, Павловский, Бородин-Грузенберг, Арон Палкин, Матусов, Майрановский и т.д.

Перед нами, конечно, особая тема, о которой речь пойдет в главе о периоде конца 1940-х — начала 1950-х годов; я привел здесь эти сведения для того, чтобы показать лживость хрущевской версии о якобы имевшем место целенаправленном и поголовном «изничтожении кадров еврейской национальности» ГБ в 1937—1938 годах; повторю еще раз, что обилие погибших в 1937—1938 годах «чекистов» еврейского происхождения обусловлено их непомерным обилием в руководящем составе НКВД, а вовсе не

каким-либо «антисемитизмом». Вот, к примеру, даты назначения евреев на верховные посты заместителей Председателя Совнаркома: 21 августа 1938 года — Каганович; 31 мая 1939 года — Землячка-Залкинд; 6 сентября 1940 года — Мехлис (ту же должность заняли в то же время вместе с перечисленными Ворошилов, Микоян, Булганин, Берия).

Но главная и поистине возмущающая ложь Хрущева состоит в том, что «самое страшное» в НКВД началось будто бы тогда, когда туда стали брать «людей от станка» (или «от сохи»). Тот факт, что люди, подобные следователю Гарбузову, после 1937—1938 годов стали занимать все более значительное место и все более высокое положение в НКВД и, позднее, МГБ, несомненен (так, в 1939 году заместителем — и затем даже 1-м замом — наркома НКВД назначается доподлинный крестьянин С.Н. Круглов, до 1929 года живший и трудившийся в тверской деревне).

Однако *именно с 1939 года* масштабы кровавого террора самым кардинальным образом *сократились*. Хрущев беззастенчиво лгал, уверяя, что «новые кадры» (от станка и сохи) занялись буквальным «вышибанием» признаний у «врагов народа» и, естественно, их казнями. В последние годы были с полной точностью выяснены и опубликованы сведения о вынесенных на основе «деятельности» НКВД и, позднее (с 1946 года), МГБ смертных приговорах «врагам». В течение 1937—1938 годов, когда во главе еще стояли превозносимые Хрущевым имевшие многолетний стаж «чекистские кадры» (правда, как раз в эти годы «изничтожаемые», точнее, сами себя уничтожавшие), были приговорены к смерти 681 692 «врага», а в 1939—1940-м — всего лишь 4201 «враг». (Конечно же, и эта цифра возмущает душу — 2100 человек за год, более 5 человек каждый день... но все-таки не около 1000 человек за *день*, как в 1937—1938-м! А в течение 1946—1953 годов были приговорены к смерти 7895 человек, — то есть в среднем около 1000 человек *за год*, — а не за день![115])

Гнедин рассказал, как пришедший от сохи или станка в НКВД Гарбузов, даже рискуя вызвать опасный для себя гнев начальника, *не смог* ударить своего подследственно-

го. И этот «единичный» эпизод подтверждается самым что ни есть «всеобщим» показателем: в 1939—1940-м «годовое» количество смертных приговоров уменьшилось в сравнении с предшествующими двумя годами в 200 с лишним раз, а в 1946—1953-м, когда «хамы» уже преобладали в МГБ, — даже в 360 раз!*

Мне, вполне вероятно, возразят, что это чрезвычайно резкое сокращение количества смертных приговоров объясняется не сменой «кадров» в НКВД — МГБ, а тем, что «наиболее опасные» реальные или мнимые «враги» («враги» Сталина или тогдашней верховной власти в целом) были в основном уничтожены в 1937—1938 годах и позднее, так сказать, уже некого было казнить... Однако даже если и согласиться с подобным истолкованием столь кардинального сокращения казней (в 360 раз!), оно не колеблет высказанные ранее соображения: «деревенские хамы», пришедшие в НКВД на смену прежним «чекистским кадрам», отнюдь не проявляли той, унесшей сотни тысяч жизней, кровожадности, которая была присуща их предшественникам, — хотя и Хенкин, и Хрущев, и многие другие утверждали и утверждают — совершенно безосновательно — обратное.

А истинная суть дела заключается в том, что после 1937 года решительно изменилось само общее положение вещей в стране, и поднимавшиеся наверх «деревенские хамы» соответствовали этому новому положению.

Но об этом речь пойдет ниже; сначала подведем итоги «обсуждения» мемуаров Разгона и других. Как мы видели, и Разгон, и Хенкин, и Хрущев пытались внушить, что самые «страшные» фигуры, которые-де и повинны в жестоком массовом терроре, — это разгоновский Корабельников, хенкинские «деревенские хамы», хрущевские «люди прямо от станка». Совсем иное дело — «обаятельный» Бокий, «вовсе не злой» Миша Маклярский (у Хенкина), «замечательный, честный» Агранов (у Хрущева) и т.д.

---

* В 1941—1945 годах смертных приговоров было, конечно, больше, но нельзя не учитывать «экстремальные» условия жесточайшей войны.

При этом Разгон «откровеннее» других (почему я и уделил столь большое внимание его сочинению). Он — правда, только во втором издании своей книги — признал, что Бокий «обмазан невинной кровью с головы до ног» и «невозможно подсчитать количество невинных жертв на его совести», и тем не менее в качестве главного, самого страшного «злодея» преподносится в разгоновской книге Корабельников, который лишь «технически» исполнял приказы начальников типа Бокия...

И все же, подводя итоги, необходимо сказать о другой — и очень важной — стороне проблемы. Конечно же, охарактеризованные выше попытки возложить ответственность и вину за «1937-й» на так называемых деревенских хамов несостоятельны чисто фактически и безнравственно-лживы. Однако те из моих читателей, которые попросту переложат ответственность и вину на «друзей» Хенкина и Разгона, по сути дела, поставят себя в один ряд с этими авторами.

Ибо, во-первых, верхушка НКВД не могла бы делать то, что она делала, если бы ее распоряжения не осуществлялись десятками и даже сотнями тысяч* рядовых исполнителей, — в том числе упоминавшимися Корабельниковым и Гарбузовым (он «не смог ударить» подследственного, однако ведь необоснованные обвинения все же сформулировал...). Кто-нибудь скажет, что Корабельниковы и Гарбузовы только подчинялись приказам, которые отдавали другие; но в ответ можно не без основания возразить, что верхи НКВД также подчинялись Сталину и, скажем, Секретариату ЦК, в составе коего в 1937 году, помимо Сталина и Кагановича, были Андреев, Ежов и Жданов.

Во-вторых, тогдашняя верхушка НКВД сама погибала в

---

* Не так давно было выяснено, что к 1937 году в системе НКВД в целом (включая, правда, и пограничную службу) числились 270 730, а к 1939-му — 365 839 человек (см.: *Жеромская В.Б., Киселев И.Н., Поляков Ю.А.* Полвека под грифом «Секретно». М., 1996, с. 121, 115).

разгуле террора, и притом уничтожали друг друга «свои», предельно близкие люди. Как бы ни относиться к этой верхушке, нельзя — если быть объективным — не признать, что перед нами остродраматическая, даже трагическая ситуация...

Еще раз подчеркну, что негоже уподобляться тому же Разгону, который изобразил в виде главного — и, в сущности, единственного «настоящего» — злодея Корабельникова с его «пшеничными волосами».

Не буду отрицать, что и высказанное выше мною имеет односторонний характер, — но это обусловлено явным преобладанием интерпретаций 1937 года в «разгоновском» духе. Подобное толкование едва ли не первым преподнес еще непосредственно в 1937 году Троцкий в хлесткой статейке «Термидор и антисемитизм»[116], а в последнее время оно господствует не только в печати, но и в электронных СМИ.

В изданной в 1997 году книге Александр Кац упоминает «группу евреев — начальников ГУЛАГа, жестоких и энергичных... Б. Бермана, С. Фирина, Н. Френкеля, Л. Когана, Я. Рапопорта, С. Жука» (это, кстати, *все без исключения* высшие начальники ГУЛАГа накануне 1937 года) — и заявляет, что всегда, мол, «еврейский народ будет стыдиться имен своих преступных сынов»[117]. Уместно выразить искреннее уважение Александру Кацу за такой — редкостный! — подход к делу, но к его заявлению едва ли присоединятся многие его соплеменники. Незадолго до появления его книги, в 1995 году, в Москве был издан объемистый трактат Л.Л. Мининберга «Советские евреи в науке и промышленности СССР в период Второй мировой войны (1941—1945 гг.)», где весьма высоко оценены те самые «преступные» генерал-лейтенант Н. Френкель и генерал-майор Я. Рапопорт (остальные четверо из перечисленных Кацем не дожили до 1941 года), а также генерал-лейтенант С. Мильштейн, полковник Б. Вайнштейн (правда, о последнем несколько критически сказано: «Вопреки многовековому мировому опыту, полковник госбезопасности Б.С. Вайнштейн сохранил и на склоне жизни, в 86 лет, судя

по одной из его публикаций, уверенность в высокой производительности принудительного труда» — с. 215) и др.

Словом, еще многие существенные вопросы остаются не решенными до конца...

Но в заключение этого раздела моего сочинения стоит сопоставить судьбы двух людей, о которых говорилось подробно: вскоре после того, как Осип Мандельштам был арестован «органами безопасности», Лев Разгон подал заявление о приеме на «работу» в эти самые «органы». Тут есть о чем задуматься...

* * *

Теперь нам следует вернуться в самое начало этой главы — к поставленной там проблеме «*контрреволюции*», совершавшейся в стране с середины 1930-х годов. Как уже сказано, она осуществлялась по-революционному и *именно потому* была столь беспощадной и варварской; когда два десятилетия спустя, во второй половине 1950-х — начале 1960-х годов, происходила самая широкая замена наличных «кадров», она, за очень немногими исключениями, уже не выражалась в репрессиях*

Впоследствии тогдашний «вождь», Хрущев, безосновательно объявил эту «гуманность» своей личной заслугой; в действительности речь должна идти о «заслуге» самого *времени*: через сорок лет после революционного взрыва уже иссяк тот запал, который так чудовищно проявил себя в 1937-м...

Напомню цитированные выше верные слова Д. Самойлова о том, что «после расправы с дворянством, буржуазией, интеллигенцией, после кровавой революции сверху, произошедшей в 1930—1932 годах в русской деревне, террор начисто скосил правящий слой 20—30-х годов»; то есть дело шло об *единой* линии террора, длившейся, пока революционный запал сохранял свою мощь и агрессивность...

---

* Тем более это относится к недавней «перестройке».

Во множестве сочинений этот революционный запал пытаются, по сути дела, целиком и полностью «сосредоточить» в личности одного человека — что являет собой не что иное, как культ Сталина «наизнанку» (раньше был один всесильный герой, теперь — один не менее всесильный антигерой)...

В свое время Тютчев обратился в стихах к Наполеону, превратившему революционную Францию в Империю:

Сын Революции, ты с матерью ужасной
Отважно в бой вступил... —

тогда же заметив в политической — но все же и поэтической, — прозе, что Наполеон — это «кентавр, который одною половиною тела — Революция». И, вступив в бой с Революцией, вместе с тем

Ты всю ее, как яд, носил в самом себе...

Сталин, борясь во второй половине 1930-х годов, по существу, именно с Революцией, конечно же, как и Наполеон, нес ее в самом себе. Но необходимо осознать, что роль личности в истории с течением времени явно убывает. Так, Наполеон и Александр I лично определяли ход событий в значительно меньшей степени, чем, скажем, Чингисхан и Александр Невский, а Сталин и Гитлер — еще менее существенно, чем первые из названных, — пусть многие и думают о недавних «вождях» иначе. Один из проницательнейших германских мыслителей (хотя по происхождению — итальянец) нашего столетия, Романо Гвардини, писал в 1950 году: «...главная особенность нынешнего вождя состоит... в том, что он не является творческой личностью в старом смысле слова... он лишь дополняет безликое множество других, имея иную функцию, но ту же сущность, что и они...»

Этому утверждению резко противоречат многочисленные характеристики роли Сталина в истории второй четверти XX века, принадлежащие как его хвалителям, так и хулителям, которые склонны (ничуть не менее, чем хвалители!) усматривать во всех крайне негативно оцениваемых ими исторических сдвигах и событиях конца 1920-х — на-

чала 1950-х годов воплощения *личной* сталинской воли (тот самый «культ наизнанку»).

Несостоятельность подобного понимания тогдашней истории явствует, например, из того факта, что «решения» Сталина, как правило, были, если угодно, неожиданными для него самого: в его предшествующих этим решениям высказываниях и волеизъявлениях не обнаруживаются соответствующие «замыслы», какие-либо предварительные разработки «идеи». Каждое очередное решение являет собой не планируемую ранее *реакцию* генсека на ту или иную *объективно* сложившуюся ситуацию в жизни страны или мира в целом, а не осуществление продуманной программы.

Выше уже шла речь о том, что сталинское решение о немедленной коллективизации было вызвано вдруг выявившейся в 1928 году роковой нехваткой «товарного» хлеба, а заключение в 1939 году «пакта» с Гитлером — предшествующим «разделом» западной части Европы (Мюнхенские соглашения 1938 года и т.д.) на британско-французскую и германскую сферы.

Столь же «неожиданным» был и поворот в середине 1930-х годов. Нынешние «сталинисты» стремятся понять обращение в это время к «патриотической» идеологии как реализацию давнего и основательного сталинского замысла. Однако в высказываниях Сталина вплоть до конца 1934 года нет действительных проявлений подобного замысла, и — что особенно существенно — их нет в его волеизъявлениях. Так, совершенно ясно, что помимо воли Сталина не могли быть уничтожены в декабре 1931 года московский храм Христа Спасителя (который воплощал в себе память об Отечественной войне 1812 года), 1 мая 1933 года — *древнейший* — в 1930 году ему исполнилось 600 лет! — кремлевский собор Спаса-на-Бору (его уничтожение «укоротило» историю Кремля* на полтора столетия) и в апреле 1934 года — главный московский памятник Петров-

---

* «Древнейшим» стал после этого созданный в 1479 году Успенский собор.

ской эпохи — Сухарева башня. Притом, узнав о подготовке уничтожения этой башни, Сталину направляли протестующие послания И.Э. Грабарь, И.В. Жолтовский, А.В. Щусев, К.Ф. Юон и другие, но 18 сентября 1933 года вождь собственноручно написал директиву тогдашнему «хозяину» Москвы Кагановичу, заявив, что Сухареву башню «надо обязательно снести... Архитектора, возражающие против сноса, — слепы и бесперспективны»[118]. В действительности же именно Сталин был «слеп», не видел столь близкую «перспективу» *своей собственной* политики; всего через два-три года он едва ли бы отнесся подобным образом к «возражениям» выдающихся деятелей культуры против сноса существеннейших памятников в центре Москвы, и памятники *такого* «ранга», как перечисленные, более не уничтожались.

Уже говорилось, что кардинальные изменения политической линии Сталина в середине 1930-х годов главным образом определялись, надо думать, очевидным нарастанием угрозы войны — войны не «классовой», а национальной и, в конечном счете, *геополитической*, связанной с многовековым противостоянием Запада и России.

Этот «мотив» изменений политики можно обнаружить едва ли не в любой сфере жизни того времени. Вот один из многих примеров такого обнаружения. В 1997 году была издана книга Леонида Максименкова «Сумбур вместо музыки. Сталинская культурная революция 1936—1938» (правильнее было бы, впрочем, употребить в этом заглавии слово «*контрреволюция*»). В центре внимания автора — «кампания борьбы с формализмом и натурализмом 1936 года», начатая опубликованной 28 января в «Правде» редакционной статьей «Сумбур вместо музыки», крайне резко критикующей оперу Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» (далее в ходе этой «кампании» подверглись критике Мейерхольд, Пастернак, Таиров, Эйзенштейн и т.п.).

Сейчас господствует представление, согласно которому в 1936 году уже прославленный к тому времени Шостакович создал новую оперу, которая тут же подверглась разгрому. В действительности же, как показано в книге Е.С. Громова «Сталин. Власть и искусство» (1998), все об-

стояло существенно по-иному. Композитор сочинил «Леди Макбет...» еще в 1932 году, объявив в своем интервью газете «Советское искусство» (16 октября), что он (цитирую) «старался создать оперу — разоблачающую сатиру, заставляющую ненавидеть весь страшный произвол и издевательство купеческого быта» (это едва ли соответствовало смыслу использованной композитором повести Н.С. Лескова). И вплоть до 1936 года опера, сообщает Е.С. Громов, «рассматривалась как величайший триумф советской музыки, принципиально новое слово в мировой...», как «опера, которая делает эпоху»[119].

В книге Леонида Максименкова много иронических и даже гневных суждений о «кампании», направленной против Шостаковича и других известнейших «левых» деятелей искусства, но в заключение он говорит о *результате* этой «кампании» следующее: «Появлялась институциональная база для придания русской советской культуре сильного государственного импульса. Интернационалист Керженцев (тогдашний председатель Комитета по делам искусств при Совнаркоме, снятый со своего поста в ходе «кампании». — *В. К.*) вряд ли бы смог выполнить эту стратегическую задачу... А этому придавалось стратегическое значение в идеологической перестройке советского общества накануне Второй мировой войны. От успеха зависела *победа* (выделено мною. — *В. К.*) в грядущей схватке с национал-социализмом»[120].

Но если всерьез принять во внимание это заключение, придется по-другому взглянуть на все освещенные в книге Л. Максименкова факты. И, кстати сказать, Борис Пастернак, один из «пострадавших» от сей «кампании», писал в 1936 году, что в ней «было много обманчивого, неопределенного... Если есть доля правды во всем печатавшемся и говорившемся, то она лишь в том, что совпадает с крупнейшим планом времени... Эта *правда* давалась в безотрадно слабом растворе. Не верьте растворам! Верьте именно этой линии, именно из революционного патриотизма верьте...»[121].

Тут примечательно уже само по себе соединение слов

«революция» и «патриотизм»; еще совсем недавно эти слова непримиримо противостояли друг другу. Впрочем, в их истинном смысле они вообще несоединимы, ибо Революция, совершившаяся в России, по сути дела, рушила то, без чего вообще невозможен подлинный патриотизм; в изданном в 1931 году 6-м томе «Малой советской энциклопедии» утверждалось: «Пролетариат не знает территориальных границ, ибо он не противопоставляет (как буржуазные патриоты) одной страны другой. Он знает *социальные* границы...» и т.д.

Но наиболее важно отметить, что Пастернак возражает против того «*уровня*», на котором проводилась «кампания», а не против самой ее исторической сущности. В его тогдашней поэзии действительно имело место то, что правомерно называть «формализмом» и «натурализмом»; он сам впоследствии, в 1956 году, признался: «Я не люблю своего стиля до 1940 года. Мне чужд общий тогдашний распад форм... засоренный и неровный слог», «манерность» и т.д.[122]. К 1940 году поэт почти полностью преодолел эти черты, и такой «финал» многое говорит об истинном смысле времени, если иметь в виду его (по определению Пастернака) «крупнейший план», который нашел выражение в грандиозной Отечественной войне.

Подводя итог, целесообразно коснуться еще одной стороны проблемы. В книге Л. Максименкова, как и во множестве других сочинений на ту же тему, резко противопоставлены два периода в истории культуры — до середины 1930-х годов и последующий, изобилующий уродливыми явлениями «культового» характера и т.п. Верно, что культ Сталина непомерно разросся в это время, но в какой-то мере за счет других — по-своему также «уродливых» — культов. Так, например, сейчас уже мало кто представляет себе во всем его объеме культ В.Э. Мейерхольда. В 1935 году в центре Москвы началось строительство нового монументального здания «Государственного театра имени Мейерхольда» (основанный в 1920 году под названием «Театр РСФСР 1-й», он с 1923-го стал называться именем своего главного режиссера). Здание это всем известно, ибо оно было в сильно «укороченном» виде до-

строено в 1940 году в качестве Концертного зала им. П.И. Чайковского. По первоначальному проекту оно должно было быть в два с лишним раза выше и увенчиваться громадной фигурой самого Мейерхольда, стоящего в несколько странной позе — с расставленными ногами и руками (похожая поза — у небольшой статуи дипломата В.В. Воровского, установленной — правда, только после его гибели — перед бывшим зданием Наркоминдела на углу Кузнецкого Моста и Б. Лубянки). С проектом здания «Театра имени Мейерхольда» можно познакомиться в изданной в 1936 году книге «Генеральный план реконструкции города Москвы. 1. Постановления и материалы» (с. 98), и он оставляет сегодня, надо прямо сказать, тяжелое впечатление.

В том самом 1936 году Мейерхольд как бы с высоты своего строящегося прижизненного монумента заявил (26 марта; опубликовано в № 4 журнала «Театр и драматургия» за 1936 год), что Михаил Булгаков принадлежит к таким драматургам (см.: Дневник Елены Булгаковой. М., 1990, с. 368), «которые, с моей точки зрения, ни в какой мере не должны быть допущены на театральную сцену», и возмущался, что в театр Сатиры «пролез Булгаков» (на деле великий драматург не смог туда «пролезть»). Между тем Л. Максименков, с горячим сочувствием повествуя о гонениях 1936 года на Мейерхольда, не обмолвился ни словом о мейерхольдовской атаке на Булгакова...

* * *

Прежде чем идти дальше, считаю нужным и важным сказать, что приведенная выше цитата из книги Л. Максименкова о том, что от успеха «идеологической перестройки», совершившейся в 1936 году, «зависела победа в грядущей схватке с национал-социализмом», не вполне точна по своему смыслу.

Во-первых, «схватка» именно тогда, в 1936 году, и началась, — правда, вроде бы в ограниченном пространстве — на испанской земле, где военные (и в еще большей

степени — военно-политические) усилия СССР непосредственно столкнулись с соответствующими усилиями германского нацизма и итальянского фашизма (не говоря уже, понятно, об испанской фаланге).

Во-вторых, дело и здесь, в Испании, было не только в национал-социализме (как и в позднейшей мировой войне). Политика «*невмешательства*», которой придерживались в ходе войны в Испании Великобритания, Франция и США, играла по-своему чрезвычайно существенную роль. И есть достаточные основания утверждать, что именно эту политическую линию западные державы в той или иной степени продолжали и впоследствии — по крайней мере до июня 1944 года, когда их войска наконец-то начали реальные боевые действия (правда, еще в августе—сентябре 1943 года войска «союзников» вторглись в южную часть Италии, но затем их движение явно застопорилось, и Рим был взят ими только 4 июня 1944 года — то есть почти одновременно с их вторжением в северную Францию, состоявшимся 6 июня).

Почти за два с половиной месяца до этой акции «союзников» войска СССР в южной части фронта вышли (26 марта) к государственной границе, и было ясно, что они вполне могут стать единственными реальными победителями в этой войне... И только тогда «союзники» действительно начали воевать с Германией (с Японией их война шла уже давно, — но это другой вопрос).

Обо всем этом еще пойдет речь в следующей главе моего сочинения; пока же скажу только, что с объективной точки зрения — то есть независимо от субъективных устремлений тех или иных деятелей западных держав — эти державы, не принимая непосредственного участия в боевых действиях в течение трех лет — с июня 1941-го до июня 1944-го, — как бы предоставляли Германии и ее союзникам возможность до предела ослабить или даже вообще победить СССР-Россию...

И эта их политическая — или, вернее, геополитическая — линия обнаруживалась уже и в Испании 1936 года, что, пожалуй, не столь легко было отчетливо осознать, но

вполне можно было «почувствовать». Конечно, в глазах многих людей война в Испании являлась только схваткой с нацизмом (или, шире, с фашизмом). Подчас смысл этой войны осознавался и еще более узко. Так, боец «интернациональной бригады» А. Люснер писал в 1938 году с испанского фронта известному еврейскому художнику Марку Шагалу: «...вот уже около двух лет еврейские массы, взяв в руки мощное оружие, уже не одного сторонника гитлеровского «Майн кампф» заставили изменить свое мнение о том, что мы ни на что не способны». А Шагал в ответ писал о войне в Испании: «Я сознаю, что наше еврейское сопротивление против наших врагов приобретает черты и масштабы библейские»[123].

* * *

Впрочем, теме войны, как уже сказано, будет посвящена следующая глава. Обратимся к «внутренней» жизни СССР-России во второй половине 1930-х годов и начнем с сообщений «стороннего» наблюдателя. Самое, пожалуй, пространное из имеющихся на сей день сочинение о Сталине написано американским политологом Робертом Такером, который неоднократно посещал нашу страну и даже вступил в брак с русской женщиной.

В его сочинении (как, впрочем, и в целом ряде других книг о Сталине), увы, великое множество не обладающих достоверностью «сведений», почерпнутых из всякого рода «слухов», пересказов (подчас через несколько «посредников») сообщений неких анонимных «очевидцев» и т.п. Правда, в приложенных к книге примечаниях Р. Такер нередко информирует читателей о могущем вызвать серьезные сомнения происхождении подобных «сведений» (чего, кстати сказать, очень многие авторы, использующие «слухи», не делают).

Вместе с тем Р. Такер весьма широко опирается на более надежные сведения из прессы и различных документов 1930-х годов, и его сочинение в той или иной мере дает объективное представление о том времени. Другой

вопрос — как *истолковываются* и *оцениваются* в его сочинении тогдашние явления и события; впрочем, даже неадекватные толкования и оценки по-своему небезынтересны и способны помочь кое-что осмыслить и понять.

Вскоре же после завершения жестокой коллективизации, уже в 1935 году, показывает Р. Такер, сталинские директивы неожиданно приобретают «прокрестьянскую окраску... Сталин занял позицию, прямо противоположную его негласной позиции в конце 1929 г., когда он начинал свой Октябрь на селе...». В 1935-м же «он настаивал на том, что необходимо считаться с личными интересами колхозников. «Некоторые думают, что корову нельзя давать, другие думают, что свиноматку нельзя давать. И вообще вы хотите зажать колхозника. Это дело не выйдет... И... новый колхозный устав позволил иметь участки площадью... даже до одного гектара... в каждом крестьянском хозяйстве разрешалось иметь по меньшей мере одну корову, двух телят, свинью с поросятами, до десяти овец или коз, неограниченное количество птиц и кроликов и до десяти пчелиных ульев» (выше приводились возмущенные слова Троцкого именно по этому поводу).

В следующем, 1936 году Сталин, напоминает Такер, отверг «запрет на отправление религиозных культов», а также «заявил... ...не все бывшие кулаки, белогвардейцы или попы враждебны Советской власти...»[124].

Но что в высшей степени примечательно: процитировав эти слова Сталина (опубликованные 26 ноября 1936 года в «Правде»), Р. Такер тут же напоминает и о другом: «Эта речь... была произнесена в ноябре 1936 г., когда тысячами гибли большевики...» (там же, с. 296). Далее он не раз возвращается к этому «сопоставлению». Так, сообщая, что в 1937 году в стране был собран «небывалый урожай»* что в деревне установилась «атмосфера умиротворенно-

---

* Наивысший дореволюционный урожай зерновых (1913 года) составил 86 млн. тонн; «колхозный» урожай 1937-го — 97,4 млн. тонн.

сти» и т.п., Р. Такер пишет: «Для верхнего же и среднего слоев городского населения наступила пора страшных страданий. Аресты приняли характер эпидемии» (с. 402, 403). И далее Р. Такер определяет террор 1936—1938 годов как «*величайшее преступление XX в.*» (с. 482).

Выше было показано, что в 1918—1922 годах в России погибло примерно в 30 раз больше людей, чем в 1936—1938-м, а в 1929—1933-м — в 10 раз больше... Так что слово «величайшее» едва ли хоть сколько-нибудь уместно. И дело отнюдь не только в этом. Если бы Р. Такер придерживался «прокоммунистических» взглядов, его формулировка («величайшее преступление»!) была бы вполне понятной. Между тем никаких симпатий к коммунизму и социализму у американского политолога вроде бы не имеется.

Помимо того, он, конечно же, не может не знать, что многие из погибших в 1930-х годах большевиков руководили Коминтерном, ставившим перед собой, в частности, цель разжечь социалистическую революцию в США. И тем не менее Р. Такер неоднократно выражает и самое глубокое сочувствие и самое горькое сожаление по поводу гибели этих людей, между тем как о гибели миллионов в первые революционные годы и во время коллективизации он пишет намного более «спокойно», да и формулировка «величайшее преступление XX века», отнесенная именно к 1937 году, чрезвычайно многозначительна.

Как же это понять? Сам Р. Такер, в сущности, вполне ясно — хотя и не впрямую — отвечает на этот вопрос. Говоря в главе «Обновленная элита» о беспощадной замене «революционного» правящего слоя страны, Такер определяет основную цель этой замены следующим образом. Сталин, утверждает он, «предусматривал возникновение *великого и могучего* советского *русского* государства» (с. 494, курсив мой. — *В. К.*).

Крайне негативное отношение к этой цели выразилось на многих страницах сочинения Р. Такера. Он прямо-таки скорбит по отходящей в прошлое революционной — «денационализированной» — России, — невзирая даже на созданный именно ею Коминтерн, который вел «подрыв-

ную» работу против стран Запада... Большевики в глазах Такера (как, впрочем, и в глазах безусловно преобладающей части западных идеологов) «лучше» — или, по крайней мере, представляют собой меньшее зло, — нежели сторонники «могучего русского государства».

Нельзя не сказать, что формула Р. Такера «великое и могучее русское государство» едва ли соответствует реальному положению дела. Один из наиболее значительных или, пожалуй, даже наиболее значительный нынешний исследователь истории СССР того времени, М.М. Горинов (о его трудах еще будет речь), писал в 1996 году, что совершавшийся во второй половине 1930-х процесс восстановления в стране «нормальной» государственности «практически не коснулся двух фундаментальных пороков государственного устройства, доставшихся в наследство от 20-х годов: отсутствия механизма воспроизводства имперской элиты и национально-территориального федерализма (СССР был федерацией не территорий, как всюду в мире, а наций, при ущемленном положении русских)»[125].

Тем не менее определенная устремленность к восстановлению «великого и могучего советского русского государства», о которой говорит Р. Такер, имела место, что вызывало резкое или даже яростное возражение у людей, проникнутых революционным большевизмом.

Так, например, влиятельная партийно-литературная деятельница А.А. Берзинь (1897—1961), которая, в частности, в 1923—1925 годах активно стремилась «воспитать» в большевистском духе самого Сергея Есенина, гневно говорила в 1938 году: «В свое время в гражданскую войну я была на фронте и воевала не хуже других. Но теперь мне воевать не за что. За существующий режим я воевать не буду... В правительство подбираются люди с русскими фамилиями. Типичный лозунг теперь — «мы русский народ». Все это пахнет черносотенством и Пуришкевичем»[126].

Эти «обличения» Анны Абрамовны были опубликованы только в 1992 году, через два года после того, как Р. Такер закончил свою цитируемую книгу; если бы они были известны раньше, он бы, вполне возможно, с полным сочув-

ствием процитировал бы их. В его книге утверждается, например, что Сталин-де изначально исповедовал «великорусский национализм» и сия его приверженность «сочеталась с антисемитизмом. Это проявилось, например, в его резко отрицательном отношении к женитьбе сына Якова в 1936 году (на самом деле — в 1935-м. — *В. К.*) на еврейке» (с. 446).

«Факт», конечно, не очень «исторический», но поскольку дело идет о правителе страны, стоит остановиться на этом семейном конфликте, дабы понять, «как пишется история» вроде бы солидными авторами типа Такера...

Р. Такер, говоря об «отрицательном отношении» Сталина, сослался на сочинение дочери Сталина, Светланы Иосифовны, которая писала о старшем сыне генсека: «Яша всегда чувствовал себя возле отца каким-то пасынком... Первый брак принес ему трагедию. Отец не желал слышать о браке, не хотел ему помогать и вообще вел себя как самодур. Яша стрелялся у нас в кухне... Пуля прошла навылет, но он долго болел. Отец стал относиться к нему за это еще хуже...» Затем Яков Иосифович «женился на очень хорошенькой женщине, оставленной ее мужем. Юля была еврейкой, и это опять вызвало недовольство отца»[127].

Из рассказа Светланы Иосифовны ясно, что «недовольство» Сталина *первым* браком Якова Иосифовича явно было более резким, нежели вторым (ведь дело дошло до попытки самоубийства!). Но первая жена Якова Иосифовича была дочерью православного *священника*, а не, скажем, раввина. Брак этот, после смерти (младенческой) ребенка, распался. Вскоре Яков Иосифович женился еще раз, но и второй брак, несмотря на родившегося (и живущего по сей день) сына, Евгения Яковлевича Джугашвили, также оказался кратковременным.

Третья женитьба Якова Иосифовича явно не могла порадовать какого-либо отца-большевика, — будь он даже самым беззаветным юдофилом. Юлия-Юдифь выросла в семье одесского купца второй гильдии Исаака Мельцера, который после революции намеревался эмигрировать во Францию, приготовив для этой цели башмаки, в подметках которых были спрятаны ценные бумаги. Однако его аре-

стовала ЧК... Не желая вести после исчезновения богатого отца скудную жизнь, Юлия-Юдифь вышла замуж за приятеля своего отца — владельца обувной фабрики (на дворе еще был нэп). Однако вскоре она бежала от мужа и стала танцовщицей в бродячей труппе. На сцене ее заметил сотрудник ОГПУ О.П. Бесараб и уговорил выйти за него. Бесараб служил при С.Ф. Реденсе, состоявшем в браке с родной сестрой жены Сталина; благодаря этому Юлия Исааковна познакомилась с Яковом Иосифовичем и в конце концов бежала от своего нового супруга (а не была «оставлена» им) к сыну Сталина — который, кстати сказать, был моложе ее.

Обо всем этом подробно повествуется в мемуарном сочинении дочери Якова Иосифовича и Юлии Исааковны — кандидата филологических наук Галины Яковлевны Джугашвили. Вполне понятно, что Сталин не мог быть в восторге от новой жены сына, к какой бы национальности она ни принадлежала. Но из вышеизложенного явствует, что Юлия Исааковна обладала незаурядным обаянием. И о состоявшейся в конце концов встрече своей матери с вождем дочь Юлии Исааковны рассказала следующее: «Она не сомневалась, что «старику» — понравится... Ма оказалась права. Все прошло отлично. «Старик» без конца шутил, кормил Ма с вилки и первый тост поднял в ее честь. Вскоре «молодые» получили уютную двухкомнатную квартирку недалеко от Садового кольца... Когда же наметилось мое появление, переехали снова, и на сей раз уже в огромную четырехкомнатную квартиру на улице Грановского»[128] (в «правительственном» доме).

Кстати сказать, Светлана Иосифовна, противореча своему же собственному утверждению о том, что бракосочетание Якова Иосифовича с Юлией Мельцер «вызвало недовольство отца», сообщает в той же своей книге, что «Яша» жил с новой женой и на «спецдаче» в подмосковном Зубалове, где регулярно бывал Сталин (цит. соч., с. 140).

Впрочем, о рассуждениях Светланы Иосифовны об «антисемитизме» Сталина речь пойдет далее, в главе, посвященной периоду конца 1940-х — начала 1950-х годов. Здесь достаточно будет сказать, что она, вероятнее всего,

домыслила причину «недовольства» Сталина браком Якова Иосифовича, как говорится, задним числом, под воздействием внушаемых ее знакомыми конца 1950—1960-х годов представлений о сталинском «антисемитизме». Ибо в свое время, 4 декабря 1935 года, тесно общавшаяся тогда со Сталиным М.А. Сванидзе записала в своем дневнике: «И(осиф)... уже знает о женитьбе Яши (на Ю.И. Мельцер. — *В. К.*) и относится лояльно-иронически»[129] (а не враждебно). Притом надо знать, что М.А. Сванидзе — жена родного брата первой жены Сталина (матери Якова Иосифовича) — еврейка (урожденная Корона).

Обо всем этом следовало сказать для того, чтобы стало ясно, как «пишет историю» Такер (и множество других авторов). «Недовольство», или, вернее, попросту «ирония» Сталина в связи с третьей (за всего несколько лет!) женитьбой его не очень, скажем так, уравновешенного сына на дочери арестованного ЧК купца, которая побывала скитающейся по стране танцовщицей и дважды «убегала» от законных мужей, преподносится как имеющий зловещее и «всеобщее» значение «антисемитизм», который-де выразился и в репрессиях 1937—1938 годов — «величайшем преступлении века».

Р. Такер в таком случае должен был объяснить, почему в то время стало возможным следующее.

На рубеже 1930—1940-х годов, как убедительно показано в изданном в 1996 году исследовании О. В. Хлевнюка «Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы», «явно обнаружилась тенденция перемещения власти из Политбюро в Совнарком». Ко времени Отечественной войны Политбюро «как регулярно действующий орган политического руководства... фактически было ликвидировано, превратившись в лучшем случае в *совещательную* инстанцию» (с. 226. Выделено мною. — *В. К.*).

Это было очень многозначительным изменением, о котором еще пойдет речь. Но в связи с домыслами об «антисемитизме», якобы присущем в 1930-х годах Сталину и политике страны вообще (а об этом говорится отнюдь не только в сочинении Такера!), необходимо знать, что в

1938—1940 годах целый ряд евреев назначается на высшие посты в превращавшемся в средоточие власти Совнаркоме. Р.С. Землячка, Л.М. Каганович и Л.З. Мехлис стали в это время заместителями председателя Совнаркома (председателем был Молотов, а с 6 мая 1941-го — сам Сталин), пост наркома вооружения занял Б.Л. Ванников, наркома строительства — С.З. Гинзбург, наркома лесной промышленности — Н.М. Анцелович и т.д.

В свете этих фактов прямо-таки смехотворно выглядит «довод» в пользу «антисемитизма» Сталина, основывающийся на его «недовольстве» женитьбой сына на еврейке (к тому же, как было показано, предшествующая судьба Ю.И. Мельцер давала основания для «недовольства» независимо от ее национальности). Одним словом, «так пишется история»...

* * *

Нетрудно предвидеть, что опровержение «антисемитизма» Сталина не понравится многим людям — притом по совершенно разным причинам, ибо для одних домысел о враждебности вождя по отношению к евреям — *главнейший* довод в пользу проклятий в его адрес, а для других, напротив, — один из мотивов его почитания.

Но все это представляет собой психологически-идеологические «комплексы», не имеющие отношения к действительному ходу истории в 1930-х годах и, естественно, к реальному пониманию этой истории.

Да, Сталин с середины 1930-х во многом стремился опереться на те «русские» начала, которые ранее или игнорировались, или подвергались нападкам и прямым репрессиям, ибо определяющим началом был интернационализм, нацеленный на мировую революцию.

Как уже говорилось, в целом ряде нынешних рассуждений о Сталине явно неправильно толкуется его отповедь Демьяну Бедному в письме от 12 декабря 1930 года, ибо речь шла там только и исключительно о русской *революционности*, которую «недооценил» этот большевистский

стихослагатель. Исходный пункт сталинской отповеди таков: «Весь мир признает теперь, что центр революционного движения переместился из Западной Европы в Россию. Революционеры всех стран с надеждой смотрят на СССР... признавая в нем единственное свое отечество» (т. 13, с. 24). Очевидно, что слово «отечество» употреблено здесь в точно таком же смысле, как и в цитированной выше статье «Патриотизм» из тома МСЭ 1931 года, — «отечество» — это понятие не национально-территориальное, а социально-классовое. «Революционные рабочие всех стран единодушно рукоплещут... *русскому* (выделено Сталиным. — *В. К.*) рабочему классу... как признанному своему вождю...» (там же), — а непонятливый Демьян не делает этого! Демьян усматривает в русской истории, писал далее Сталин, только «мерзость и запустение», которые, конкретизирует генсек, являют собой «Домострой» (в действительности — ценнейшее творение культуры XVI века) и «сочинения Карамзина» (там же, с. 25).

И только с середины 1930-х годов слово «отечество» начинает обретать в официальной идеологии свой истинный смысл. Вместе с тем самое широкое утверждение патриотического сознания свершилось тогда чрезвычайно, исключительно быстро, и это означало, что оно жило в душах множества людей и только не имело возможности открыто выразиться. Считаю уместным сказать, что я сам — хотя в то время по возрасту находился между детством и отрочеством — хорошо помню, как легко, прямо-таки мгновенно совершался переход к патриотическому русскому сознанию, — и вот уже в 1938 году завораживающе звучал над страной призыв из кинофильма «Александр Невский» с мелодией возвратившегося из эмиграции Сергея Прокофьева:

Вставайте, люди русские...

Еще совсем недавно о благоверном князе Александре Невском или молчали, или изрекали нечто поносящее его.

Сегодня можно услышать или прочитать, что русский патриотизм в те годы «насадил» Сталин. В действительно-

сти он только «санкционировал» то, что жило и нарастало в душах миллионов русских людей.

Разумеется, имелось немалое количество непримиримых противников воскрешения патриотизма — достаточно напомнить цитированные выше слова А.А. Берзинь. Тем не менее патриотический пафос овладевал тогда в определенной мере и такими людьми, которые еще совсем недавно едва ли даже могли предположить, что это с ними произойдет...

Правда, подчас «патриотическое возрождение» понималось этими людьми как некая временная «уступка» не могущему пока быть до конца преодоленным прошлому, как своего рода «недозрелость».

Это ясно выразилось в посвященных теме патриотизма строфах (из сочинявшегося в 1939—1941 годах романа в стихах «Первая треть») воспитанника ИФЛИ Павла Когана. Строфы эти приобрели впоследствии широкую известность, но в течение длительного времени публиковались с сокращением, обозначенным точками. Коган размышлял о том, как будут воспринимать его современников люди будущего:

Они нас выдумают мудрых,
Мы будем строги и прямы,
Они прикрасят и припудрят,
И все-таки пробьемся мы!

И пусть я покажусь им узким
И их всесветность оскорблю,
Я патриот. Я воздух русский,
Я землю русскую люблю...[130]

На месте точек — строфа, которую редакторы восприняли как крамольную или хотя бы вносящую слишком острое противоречие в освещение темы (я выделяю курсивом ключевые слова):

Но людям *родины единой*,
Едва ли им дано понять,
Какая иногда *рутина*
Вела нас жить и умирать[131].

Поскольку слово «рутина» ныне не очень употребительно, стоит привести определение его значения из словаря революционной эпохи: «Рутина — *фр.* — Привычка делать что-нибудь тем же порядком, как делалось раньше; следование по избитой дорожке; косность, шаблонность; образ действий, основанный на механической привычке, без критического отношения»[132].

Впрочем, даже заявив далее, —

Я б сдох, как пес, от ностальгии
В любом кокосовом раю, —

Павел Коган в завершающей строфе, которая также долго не публиковалась, как бы дал обет реально, практически «пробиваться» к «родине единой»:

Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.

То есть патриотизм — это только временная — пусть пока неизбежная — «рутина», а впереди — завоевание мира, превращение его в «единую родину»...

Кто-либо может сказать: а стоит ли уделять внимание этим — в общем-то «немудреным» — стихам? Но, если вдуматься, в них точно запечатлелась имеющая существеннейшее значение «раздвоенность» (патриотизм — интернационализм), которая во многом определяла развитие общественного сознания в стране и в 1930-х годах, и позднее, — собственно говоря, вплоть до наших дней (в связи с этим отмечу, что в моем сочинении — и на предшествующих, и на последующих его страницах — достаточно много «экскурсов» в литературу, и, как я убежден, не бесплодных, ибо литература есть своего рода «плод» истории, в котором так или иначе концентрируется и кристаллизуется содержание данного исторического периода).

Сотоварищ Павла Когана, ставший по-настоящему значительным поэтом, Борис Слуцкий, написал впоследствии стихи о третьем их сотоварище — погибшем 19 января

1943 года под Сталинградом Михаиле Кульчицком. Стихи начинаются патриотическим мотивом, выразившимся уже в том, что речь идет не об СССР, а о России:

Одни верны России потому-то,
Другие же верны ей оттого-то,
А он не думал — как и почему...
Она была отечеством ему.

Но завершается это стихотворение явно совсем иной нотой (та же раздвоенность!), и, как и в случае со стихами Когана, последняя строфа долго не публиковалась — слишком резким, даже, в сущности, жестоким было «противоречие»:

Я не жалею, что его убили.
Жалею, что его убили рано.
Не в Третьей мировой, а во Второй.
Рожденный пасть на скалы океана,
Он занесен континентальной пылью
И хмуро спит в своей глуши степной.

Еще десятилетие назад Станислав Куняев писал об этих строках Бориса Слуцкого: «Стоит поразмышлять, почему поэту жаль, что его герой пал во Второй мировой войне, в период того овеянного славой времени, которое мы называем Великой Отечественной. Да, видно, потому, что герой, выросший и воспитанный в 20—30-е годы с их лозунгами Всемирной Революции... готовился к большему: к последнему и решительному бою, который назван поэтом «Третьей мировой»... Потому с такой разочарованностью звучит противопоставление мечты и действительности — «рожденный пасть», а в итоге всего лишь «хмуро», то есть почти недовольный судьбой, «спит», да в какой-то провинциальной «глуши степной», засыпанный вроде бы и родной землей, но поэт называет ее всего лишь «континентальной пылью» (здесь, надо думать, сопоставление глобального «океанического» пространства — в стихах упомянуты «скалы океана» — и ограниченного «внутриконтинентального». — *В. К.*)... Да, не удалась жизнь! — только так можно прочитать это стихотворение...»[133]

Тем не менее следует оценить ту твердую поэтическую волю, которая подвигла Бориса Слуцкого на столь жестокий вердикт о судьбе лучшего друга:

Я не жалею, что его убили.
Жалею, что его убили рано, —

то есть, если бы он погиб на «Третьей», вообще не следовало бы жалеть, слишком велика цель, ради которой он бы тогда погиб...

Нельзя не сказать, что Слуцкий позднее, уже долгие годы спустя после создания цитированного стихотворения, пришел к выводу об иллюзорности впитанной им в юности веры и писал:

Мировая мечта, что кружила нам головы...
Мировая мечта, мировая тщета,
высота ее взлета, затем нищета...

Правда, для множества других людей «мировая мечта» не исчезла, а трансформировалась в нечто с внешней точки зрения совсем непохожее («общечеловеческие ценности»), но все-таки внутренне связанное с ней хотя бы убеждением, что патриотизм — только «рутина». Однако это уже тема 1960-х и особенно дальнейших годов.

* * *

С 1991 года всецело господствовало представление о второй половине 1930-х годов как о самом «негативном» периоде в истории послереволюционной России; даже перечисляя какие-либо «достижения» этих лет, их толковали как своего рода чисто пропагандистские акции, «организованные» с целью «заслонить» от народа чудовищную реальность.

Но в наши дни стали наконец появляться исследования, которые, отнюдь не закрывая глаза на насилия и кровавый террор, вместе с тем выявляют «позитивный» смысл этого времени. Весьма основательно делает это историк «новой волны», никак не связанный с коммунистическим

догматизмом, — М.М. Горинов. Особенное удовлетворение вызывает его работа «Черты новой общественной системы», вошедшая в качестве одной из глав в изданное в 1996 году учебное пособие для студентов «История России. XX век» (с. 279—395); эта многотиражная (по крайней мере, с нынешней точки зрения) публикация способна просветить молодые умы:

«Если попытаться определить общую доминанту, направление советского общества в 30-е годы (стоило бы уточнить: во вторую половину 30-х. — *В. К.*), то, думается, вряд ли следует их рассматривать в парадигме «провала» в «черную дыру» мировой и русской истории, — пишет в заключение своей работы М.М. Горинов, учитывая господствующую в нынешней публицистике и даже историографии «трактовку» того времени. — На наш взгляд, в этот период происходит болезненная, мучительная трансформация «старого большевизма» в нечто иное... В этот период в экономике на смену эгалитаристским утопиям рубежа 20—30-х гг. идет культ инженера, передовика, профессионализма; более реалистичным становится планирование... В области национально-государственного строительства реабилитируется сама идея государственности...»

Охарактеризовав признаки этой «трансформации» в целом ряде сфер бытия страны, М.М. Горинов подводит итог: «Таким образом, по всем линиям происходит *естественный здоровый* (выделено мною. — *В. К.*) процесс реставрации, восстановления, возрождения тканей русского (российского) имперского социума. Технологическая модернизация все больше осуществляется на основе не *разрушения* (выделено мною. — *В. К.*), а сохранения и развития базовых структур традиционного общества». Правда, «этот процесс в 30-е годы был далеко не завершен» (с. 393, 394), — о чем еще будет речь.

«Реставрация» — разумеется, весьма относительная — России после катаклизмов конца 1910-х — начала 1920-х и конца 1920-х — начала 1930-х годов была результатом именно «естественного» движения истории, которое можно упрощенно истолковать по аналогии с движением маят-

ника: революция — нэп; коллективизация — «реставрационные» процессы второй половины 1930-х годов.

Широко распространенное объяснение этих «поворотов» личной волей Сталина (да еще и с дополнительным толкованием внутренней нацеленности этих поворотов на достижение генсеком безраздельной власти) — плод крайне убогого «мышления», которое являет собой попросту вывернутое наизнанку культовое превознесение Сталина. Притом прежний культ все-таки «лучше» этого «антикульта», ибо первый и не претендовал на логичность и объективность, как и любая мифология...

Вместе с тем вполне понятно и по-своему «оправдано» присущее в 1930-х годах людям связывание всего происходившего с именем Сталина, ибо порожденные объективно-историческим ходом вещей «повороты» (тот же поворот к патриотизму) так или иначе «санкционировались» генсеком и воспринимались под знаком его имени. Необходимо только сознавать, что связывание всего с личной волей Сталина гораздо более уместно (а также простительно) в устах современников, чем в написанных ныне, спустя 50—70 лет, сочинениях.

Да, с конца 1920-х годов многие люди воспринимали движение истории «под знаком Сталина», и есть существенный смысл в анализе изменений в «оценке» генсека, совершившихся за этот период в сознании, например, писателей и поэтов.

Сейчас, скажем, широко известно, что Осип Мандельштам в ноябре 1933 года написал предельно резкие стихи о Сталине, а всего через три с небольшим года, 18 января 1937-го, начал работу над стихотворением, являющим собой восторженную «оду» Сталину...

Об этом — поразительном в глазах многих нынешних авторов — изменении в сознании поэта есть уже целая литература, но почти вся она крайне поверхностна. Так, почти не учитывается, что это изменение было *типичным* для *наиболее значительных* писателей 1930-х годов — писателей, в чьем творчестве воплощалось служение России, а не прислуживание — подчас прямо-таки лакейское — гос-

подствующей в данный момент политической тенденции. Слово «лакейское» здесь вполне уместно; М.М. Бахтин еще в 1920-х годах говорил о «лакействе» как об определяющем качестве сочинений уже знаменитого тогда Ильи Эренбурга[134].

«Лакей», помимо прочего, всегда готов превзойти своего «хозяина» в агрессивности по отношению к врагам. И. Эренбург писал 24 июля 1942 года: «Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово «немец» для нас самое страшное проклятье. Отныне слово «немец» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать...» и т.д. И даже находящиеся вдали от фронта немки — утверждает Илья Григорьевич — не женщины: «Можно ли назвать женщинами этих мерзких самок?»[135] Между тем ранее, 23 февраля 1942 года, Сталин в своем общеизвестном приказе отверг мнение, «что советские люди ненавидят немцев именно как немцев, что Красная Армия уничтожает немецких солдат именно как немцев, из-за ненависти ко всему немецкому... Это, конечно... неумная клевета...»[136] и т.д.

Кто-либо, возможно, скажет, что Сталин лицемерил, ибо цитированные статьи Эренбурга все же публиковались. Однако после того, как наши войска заняли значительную часть Германии и убеждение, что «немцы — не люди», могло привести, а подчас и приводило к самым прискорбным последствиям, поток регулярных статей Эренбурга прекратился. Между 11 апреля и 10 мая 1945 года они не публиковались, а 18 апреля в «Правде» появилась директива начальника Агитпропа ЦК Г.Ф. Александрова под деликатным названием «Товарищ Эренбург упрощает». Позднее Илья Григорьевич с негодованием писал в своих мемуарах о пережитых им тогда «многих трудных часах»[137], но, право же, все происшедшее было совершенно разумным...

Целесообразно сказать и об «экстремизме» другой знаменитости — Корнея Чуковского. Читая его изданный в 1994 году «Дневник. 1930—1969», многие его поклонники были шокированы запечатленным на его страницах безудержным воспеванием Сталина, которое прекратилось

только после «партийных» обличений генсека. Но и удивление, и недовольство подобными записями в дневнике Чуковского, по сути дела, нелепо. Оно обусловлено внедренным за последние десятилетия в головы многих и многих людей ложным представлением, согласно которому все их «любимые» писатели 1920—1930-х годов якобы были настроены антисталински и даже антисоветски и если и заявляли публично нечто иное, то только из опасения репрессий и т.п.

Из того же дневника Чуковского ясно, что такие будто бы оппозиционные вождю (и основам СССР вообще) люди, как Борис Пастернак и Юрий Тынянов, полностью разделяли его преклонение перед Сталиным. Нетрудно показать, что то же самое было присуще Бабелю, Зощенко, Вс. Иванову, Маршаку, Олеше, Паустовскому, Шкловскому и другим знаменитым делегатам писательского съезда 1934 года.

Словом, восхищение Корнея Чуковского Сталиным никак не выделяет его из рядов его коллег. И действительно удивиться можно другому — тому, что этот прославленный «друг детей» сумел далеко «превзойти» вождя в своей «революционной» агрессивности.

В мае 1943 года он отправил следующее (недавно впервые опубликованное) послание:

«Глубоко уважаемый Иосиф Виссарионович!

После долгих колебаний я наконец-то решил написать Вам это письмо. Его тема — советские дети».

Стоило бы привести сие письмо целиком, но оно довольно пространное, и потому ограничусь отдельными цитатами из него. Отметив, что большинство советских детей его удовлетворяют («уже одно движение тимуровцев... является великим триумфом всей нашей воспитательной системы»), Корней Иванович сообщает вождю, что вместе с тем есть и «обширная группа детей, моральное разложение которых внушает мне большую тревогу... Около месяца назад в Машковом переулке у меня на глазах был задержан карманный вор», который «до сих пор как ни в чем

не бывало учится в 613-й школе... во втором классе... Фамилия этого школьника Шагай... РайОНО возражает против его исключения... мне известно большое количество школ, где имеются социально-опасные дети, которых необходимо оттуда изъять... Вот, например, 135-я школа Советского района... в классе 3 «В» есть четверка — Валя Царицын, Юра Хромов, Миша Шаховцев, Апрелов, — представляющая резкий контраст со всем остальным коллективом... Сережа Королев, ученик 1-го класса «В», занимался карманными кражами в кинотеатре «Новости дня»... я видел 10-летних мальчишек, которые бросали пригоршни пыли в глаза обезьянкам (в зоопарке. — *В. К.*)... Мне рассказывали достоверные люди о школьниках, которые во время детского спектакля, воспользовавшись темнотою зрительного зала, стали стрелять из рогаток в актеров...

Для их перевоспитания, — выдвигает свою «программу» Чуковский, — необходимо раньше всего основать *возможно больше* (выделено мною. — *В. К.*) трудколоний с суровым военным режимом... Основное занятие колоний — земледельческий труд. Во главе каждой колонии нужно поставить военного. Для управления трудколониями должно быть создано особое ведомство... При наличии этих колоний можно произвести тщательную *чистку* (выделено мною. — *В. К.*) каждой школы: изъять оттуда всех социально-опасных детей...

Прежде чем я позволил себе обратиться к Вам с этим письмом, — заключает «друг детей», — я обращался в разные инстанции, но решительно ничего не добился... Я не сомневаюсь, что Вы, при всех Ваших титанически-огромных трудах, незамедлительно примете мудрые меры...

С глубоким почитанием писатель *К. Чуковский*»[138].

Во многих нынешних сочинениях о сталинских временах с предельным негодованием говорится о том, что имел место указ, допускавший изоляцию «социально-опасных» детей начиная с 12-летнего возраста. Но «друг детей» Чуковский не мог примириться с тем, что на свободе остают-

ся «социально-опасные» первоклассники — то есть 7—8-летние!..

Цитируемое послание лишний раз свидетельствует, что разграничение людей 1930—1940-х годов на «сталинских опричников» и «гуманных интеллигентов» не столь легко провести. Ведь Сталин не оправдал выраженных в письме надежд Чуковского, не предпринял предложенных «мер» по созданию детского ГУЛАГа...

Ясно, что для сочинения подобного письма необходимо было вытравить в себе духовные основы русской литературы. И Чуковского, и других авторов этого круга нельзя считать русскими писателями; речь может идти о «революционных», «интернациональных», в конце концов, «нигилистических», но только не о писателях, порожденных тысячелетней Россией.

* * *

А теперь обратимся к тем писателям, которые продолжали в 1930-х годах идти по пути русской литературы, — несмотря на все препятствия. Первостепенное значение для исследования этой стороны дела имеют дневники М.М. Пришвина, в которых богатейшая «фактография», зарисовки конкретных людей и событий органически сочетаются с глубокими — подчас поистине провидческими — размышлениями (к сожалению, пришвинские дневники изданы пока далеко не полностью, да и уже опубликованное только начинает «осваиваться»).

Выше цитировалась запись, сделанная 5 июня 1930 года в дневнике К. Чуковского: «Вечером был у Тынянова. Говорил ему свои мысли о колхозах. Он говорит: я думаю то же... Сталин, как автор колхозов, величайший из гениев, перестраивавших мир...»

Приведу ряд записей М.М. Пришвина, сделанных в период с 18 января по 4 июля 1930 года; вчитываясь в них, не следует забывать, что тетради с этими записями чаще всего открыто лежали на столе писателя — то ли в силу его презрения к опасности, то ли по странному простодушию... Вот фрагменты дневника этих месяцев, расположенные мною по «тематическому» принципу:

1) «Вернулась во всей красе пора военного коммунизма... бессмысленное, жестокое, злодейское разрушение пришло снова... Неужели опять доведут до людоедства? (В 1933-м «довели». — *В. К.*) ...начинается... борьба живых Иванов за себя с этой государственной властью. В наше время это доведено до последнего цинизма. Пока еще говорят «фабрика зерна», скоро будут говорить «фабрика человека» (Фабчел)... Коровы очень дешевы... Вообще это мясо, которое теперь едят, — это мясо, так сказать, деградационное, это поедание основного капитала страны... К вечеру у Карасевых (соседей) произошел страшный разгром. Человек только что выстроил дом, и вдруг все имущество описывается, дом отбирается, а сам всей семьей пожалуйте в какую-то другую губернию. Это его как бывшего торговца...

2) «А.Н. Тихонов (литератор, ближайший сотрудник Горького. — *В. К.*) все неразумное в политике презрительно называет «головотяпством». Это слово употребляют вообще и все высшие коммунисты, когда им дают жизненные примеры их неправильной, жестокой политики. Помню, еще Каменев на мое донесение о повседневных преступлениях ответил спокойно, что у них в правительстве все разумно и гуманно. «Кто же виноват?» — спросил я. «Значит, народ такой», — ответил Каменев* Теперь то же самое, все ужасающие преступления этой зимы (1929—1930 гг. — *В. К.*) относят не к руководителям политики, а к «головотяпам». А такие люди, как Тихонов... Горький, еще отвлеченнее, чем правительство, их руки чисты не только от крови, но даже от большевистских портфелей... Их вера, опорный пункт — разум и наука. Эти... и не подозревают, что именно они, загородившие свое сердце стенами

---

* 17 декабря 1922 года (Каменев был тогда зам. председателя Совнаркома) Пришвин записал: «Был в Москве у Каменева, говорил ему о «свинстве», а он... вывел так, что они-то (властители) не хотят свинства и вовсе они не свиньи, а материал свинский (русский народ), что с этим народом ничего иного не поделаешь» (*Пришвин М.М.* Дневники. 1920—1922. М., 1995, с. 116).

марксистского «разума» и научной классовой борьбы, являются истинными виновниками «головотяпства»... Классовый подход к умирающим (в больнице выбрасывают трех больных, разъясненных лишенцами). Каждый день нарастает народный стон. Ехал со мной юрист (вероятно, из ГПУ)... очень натасканный, но неумный и малообразованный еврей. Характеризовал наш строй как беспримерный образец господства большинства. И вскоре затем раскрылся: «Почему бы не пожертвовать 5 миллионов для благополучия будущих ста?..»

3) «Сколько лучших сил было истрачено за 12 лет борьбы по охране исторических памятников, и вдруг одолел враг, и все полетело: по всей стране идет теперь уничтожение культурных ценностей, памятников и живых организованных личностей... Самых хороших людей недосчитываешься: честнейший человек в уезде, всеми уважаемый... А. Н. Ремизов сидит в тюрьме. Академик Платонов, которого я слушал когда-то... И какая мразь идет на смену... Встретил искусствоведа из Третьяковки (Свирина) и сказал ему, что для нашего искусства наступает пещерное время и нам самим теперь загодя надо подготовить пещерку. Или взять прямо решиться сгореть в срубе по примеру наших предков... Свирин сказал на это, что у него из головы не выходит — покончить с собой прыжком в крематорий... Князь (В.С. Трубецкой, младший брат всемирно известного филолога и философа Н. С. Трубецкого. — *В. К.*) сказал: «Иногда мне бывает так жалко родину, что до физической боли доходит».

4) «Читаю Робинзона и чувствую себя в СССР, как Робинзон... Думаю, что очень много людей в СССР живут Робинзонами... только тому приходилось спасаться на необитаемом острове, а нам среди людоедов. Сталину:

Среди ограбленной России
Живу, бессильный властелин...

...Сталин человек действительно стальной. Весь ужас этой зимы, реки крови и слез, он представил на съезде (XVI съезд ВКП(б) в конце июня — начале июля 1930 года. — *В. К.*) как появление некоего таракана, которого

испугался человек в футляре. Таракан был раздавлен. «И ничего — живем!» (Оглушительные, несмолкаемые аплодисменты.) Вот человек, в котором нет даже и горчичного зерна литературно-гуманного влияния: дикий человек Кавказа во всей своей наготе... как полицейский пристав из грузин царского времени»[139] (через три года Осип Мандельштам словно бы продолжит эту запись, — правда, следуя версии, согласно которой Сталин не грузин, а осетин...).

Последняя из цитированных записей сделана 4 июля 1930 года (на рассвете следующего дня — прошу извинить за сугубо личное «примечание» — родился автор этого сочинения). Но через тринадцать дней, 18 июля, Михаил Михайлович записывает: «...Я стараюсь разглядеть путь коммунизма и, где только возможно, указать на творчество, потому что если даже коммунизм есть организация зла, то есть же где-то, наверно, в этом зле проток и к добру: непременно же в процессе творчества зло переходит в добро» (цит. изд., с. 165).

И последующие годы писатель напряженно и мучительно вглядывается в движение жизни, надеясь на «проток», выводящий из тупика. И через пять с половиной лет, 27 января 1936 года, в его дневнике появляется следующая запись:

«Историческая цепь. Амнистия исторической личности (постановление о преподавании истории)* — явление того же порядка, что и стахановское движение и вся «жизнь стала веселее»... таким образом, общество вступает теперь на тот самый путь, который мне лично открылся как выход из тупика». Пришвин со всей ясностью видит и «другую сторону» и записывает немного позднее, 15 февраля: «Слова «родина», «Великороссия», мелочи быта вроде елочки и т.п., принимаемые обывателем «весело», имеют не меньшее рабочее значение, чем на войне пушки и про-

---

* В этот день в «Правде» были опубликованы «замечания Сталина, Жданова и Кирова» об учебниках истории и соответствующее постановление.

тивогазы... Итак, по всей вероятности, жизнь будет делаться все веселей и веселей вплоть до войны...»[140]

«Жить стало веселее», — слова Сталина из речи на Первом всесоюзном совещании стахановцев, произнесенной двумя месяцами ранее, 17 ноября 1935 года. Над этой «формулировкой» ныне принято издеваться. Но ведь Пришвин вовсе не обольщается: он говорит только о вероятном «выходе из тупика» — пусть даже впереди роковая война, и все делается не столько для людей, сколько для победы в этой войне... Главное для писателя — то, что наконец ставится цель созидания, а не разрушения России.

И вот уже, возможно, подзабыв свою приведенную выше запись от 4 июля 1930 года о «полицейском приставе из грузин», Михаил Михайлович 26 июня 1936 года записывает:

«На Кавказе я был ровно 40 лет назад... Помню каких-то грузинских детей, которые меня учили танцевать лезгинку. Странно теперь думать, что среди этих детей рос и мог учить меня лезгинке Сталин. Помню несколько молодых людей из грузин, вовлеченных в наш кружок из семинарии...» (с. 10, 11).

Невольно вспоминается, что несколько раньше, 7 февраля 1936 года, другой значительнейший русский писатель этого времени, Михаил Булгаков, принял решение написать пьесу о юности Сталина (завершена в 1939-м)!

Дело, конечно, не только в этой пьесе. Даже ярая «интернационалистка» Мариэтта Чудакова в своем обширном жизнеописании Булгакова вынуждена была признать (правда, сделав это в «примечаниях»), что «Сталин был для него в этот момент (в 1936 году. — *В. К.*) воплощением российской государственности». Пишет она и о том, что именно слово, употребленное Сталиным в известном телефонном разговоре с Пастернаком о Мандельштаме («мастер»), оказало влияние «на выбор именования главного героя романа и последующий выбор заглавия» («Мастер и Маргарита»). Наконец, здесь же сказано (правда, уклончиво, не впрямую), что «прототипом» образа Воланда (в частности, в его отношениях с Мастером) был не кто

иной, как Сталин[141]. Воланд в романе карает многообразное зло, но это отнюдь не значит, что сам он — воплощение добра. Ибо добро вообще не может карать — на то оно и добро! В Воланде — сатанинская стихия, но вспомним Тютчева:

Сын Революции, ты с матерью ужасной
Отважно в бой вступил...

А Революция, конечно же, явление сатанинское, как говорится, по определению...

Но пойдем далее. В январе—феврале 1937 года Осип Мандельштам создает свою сталинскую «оду», о которой в последнее время высказалось множество авторов, стремясь как-то «оправдать» поэта. Выше подробно говорилось о предшествующей судьбе Мандельштама, и теперь следует завершить этот разговор.

Тот факт, что поэт, написавший в 1933 году антисталинский памфлет, в начале 1937 года сочинил прямо противоположное по духу и смыслу стихотворение, интерпретируется, в общем, трояко. «Ода» рассматривается в качестве: 1) попытки (как известно, тщетной) спастись от новых репрессий, 2) результата прискорбнейшего «самообольщения» поэта и 3) псевдопанегирика, в действительности якобы иронического.

Но тщательно работающий филолог М.Л. Гаспаров в обстоятельном исследовании «О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года» (1996) со всей основательностью доказал, что, прослеживая «движение» поэта «от «Стансов» 1935 г. до «Стансов» 1937 г. (где, как и в «оде», воспет Сталин), нельзя не прийти к выводу, что «ни приспособленчества, ни насилия над собой в этом движении нет»[142]. И далее говорится о теснейшей связи «оды» Сталину «со всеми без исключения стихами, написанными во второй половине января и феврале 1937 года (а через них — с предшествующими и последующими циклами, и так со всем творчеством Мандельштама)» (там же, с. 111—112).

Словом, «приятие» Сталина органически выросло из творческого развития поэта. В апреле 1935 года он писал в «Стансах»:

...как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу...

Не столь давно, в ноябре 1933 года, поэт говорил о коллективизации как о вселенской катастрофе, а тут очевидно определенное «примирение» с «колхозной» Россией...

Необходимо учитывать, что Осип Мандельштам с июня 1934 года жил (в качестве ссыльного за памфлет 1933 года) в Воронеже, окруженном не раз возникающими в стихах поэта черноземными просторами, и, при его чуткости, конечно же, не мог не знать совершающихся на селе изменений.

В уже упомянутой работе М.М. Горинова об истории 1930-х годов показано, что принятый в начале 1935 года новый «Колхозный устав» решительно изменил положение в деревне, — в частности, «колхозники получили известную юридическую гарантию от государства... на ведение личного подсобного хозяйства... почти 2/3 колхозных семей страны имели в личном подсобном хозяйстве коров» и т.д. (цит. изд., с. 328, 329).

В связи с этим следует сказать об одном не вполне точном суждении М.Л. Гаспарова, определяющем «причину» сдвига в сознании поэта. Он пишет, что в приведенных выше строках из «Стансов» 1935 года воплотилась «попытка «войти в мир», «как в колхоз идет единоличник...». А если «мир», «люди»... едины в преклонении перед Сталиным, — то слиться с ними и в этом» (цит. изд., с. 88).

Суждение исследователя можно, увы, понять в том смысле, что поэт изменил свое отношение к Сталину не благодаря тем изменениям в бытии страны, которые он видел и осознавал, а, так сказать, бездумно присоединяясь к бездумному всеобщему культу. Но ведь Осип Мандельштам в 1933-м безоговорочно выразил свое отношение к трагедии коллективизации и, соответственно, вождю. А с середины 1934 года он на воронежской земле наблюдает существенные перемены в жизни деревни. В начале июля 1935-го поэт сообщает в письме к отцу: «...вместе с группой делегатов и редактором областной

газеты я ездил за 12 часов в совхоз на открытие деревенского театра. Предстоит еще поездка в большой колхоз»[143]. Об этой второй — десятидневной — поездке рассказывал в письме от 31 июля 1935 года близкий тогда поэту С.Б. Рудаков:

«Осип весел. Там было так... Осип пленил партийное руководство и имел лошадей и автомобиль и разъезжал по округе верст за 60—100... знакомиться с делом... А фактически это может быть материал для новых «Черноземов» (имеется в виду стихотворение с этим названием, написанное в апреле 1935-го. — *В. К.*). Говорит: «Это комбинация колхозов и совхоза, единый район (Воробьевский) — целый Техас... Люди слабые, а дело делают большое — настоящее искусство, как мое со стихами, там все так работают». О яслях рассказывает, о колхозниках... Факт тот, что он... видел колхоз и его воспринял... Как ребенок мечтает поехать еще туда»[144].

Кто-либо, по всей вероятности, скажет, что Осип Мандельштам крайне «идеализировал» увиденную им жизнь. Однако в сравнении с началом 1930-х годов жизнь деревни, без сомнения, изменилась в «лучшую сторону»: созидание шло в ней на смену разрушению. И, конечно же, поворот в отношении поэта к Сталину (пусть опять-таки «неадекватный», с крайней «идеализацией») был порожден не самодовлеющим стремлением «слиться» (по слову М.Л. Гаспарова) с его многочисленными воспевателями (ведь их было немало и в 1933 году, — в том числе близко знакомые поэту Пастернак, Тынянов, Чуковский, Эренбург и т.д., — но Мандельштам тогда противостоял им), а поворотом в самом бытии страны — поворотом, который Осип Эмильевич, как ясно из только что приведенной информации, лично и горячо воспринимал.

Впрочем, М.Л. Гаспаров в другом месте своей книги дает совершенно верное определение исходного смысла мандельштамовской «оды» Сталину — в сопоставлении со смыслом памфлета 1933 года:

«В середине «Оды»... соприкасаются... прошлое и будущее — в словах «Он (Сталин. — *В. К.*) свесился с трибуны, как с горы. В ряды голов. Должник сильнее иска». Пло-

щадь, форум с трибуной... это не только площадь демонстраций, но и площадь суда. Иск Сталину предъявляет прошлое за все то злое, что было в Революции и после нее (разумеется, включая коллективизацию. — *В. К.*); Сталин пересиливает это светлым настоящим и будущим... Решение на этом суде выносит народ... В памятной эпиграмме против Сталина поэт выступал обвинителем от прошлого — по народному приговору он не прав...» (цит. соч., с. 94), — надо думать, «не прав» именно теперь, в 1937-м, когда безмерно трагическое время коллективизации — это уже «прошлое».

* * *

Пришвин, Булгаков, Мандельштам... Это настолько высокие и весомые личности (и вместе с тем глубоко своеобразные), что их сознание и поведение в 1930-х годах уместно рассматривать как часть, как компонент самой *истории* страны. И изменение их восприятия Сталина или, вернее, экономико-политического курса, осуществлявшегося под знаком этого имени, являло собой отнюдь не какое-либо «приспособленчество», а изменение основы, стержня общественного сознания России, которое не могло не «одобрять» переход — или хотя бы установку на переход — от разрушения к созиданию.

Естественно, встает вопрос о том, как понимать тогда жестокий конец Осипа Мандельштама, который был 2 мая 1938 года вновь арестован (срок его ссылки за стихи о Сталине окончился за год до того, 16 мая 1937 года), приговорен к пяти годам лагеря и вскоре умер там (27 декабря 1938 года)...

Как уже говорилось, Мандельштама нельзя причислить к тому слою и типу людей, против которых был целенаправлен террор 1937 года, о чем, между прочим, писала и его вдова. Весьма показательно, что отдавший приказ об аресте поэта в 1934 году Агранов был арестован 20 июля 1937 года (то есть намного раньше вторичного ареста Осипа Эмильевича) и расстрелян 1 августа 1938 года (за

месяц до того, как поэта отправили в лагерь). А допрашивавший Мандельштама в 1934 году Шиваров был арестован на полгода раньше него, в декабре 1937-го, отправлен в лагерь и там в июне 1938-го (опять-таки раньше гибели поэта) покончил с собой[145].

Эти факты сами по себе побуждают задуматься о сути происходившего. Главнейшим словом в терроре 1937-го было слово «троцкизм»; даже судебный процесс над Бухариным и присовокупленными к нему лицами назывался процессом над «Антисоветским правотроцкистским блоком», — что несло в себе привкус абсурда, ибо Бухарин, находясь у власти, выступал как антипод Троцкого...

И в «Обвинительном заключении» по «делу» О.Э. Мандельштама от 20 июля 1938 года утверждалось, что он-де «разделял троцкистские взгляды»[146]. А в постановлении «Особого совещания» («ОСО») НКВД от 2 августа сказано, что О.Э. Мандельштам осужден «за к.-р. деятельность». Уже шла речь о том, что «контрреволюционный» по своей внутренней сути переворот преподносился как борьба с «к.-р.»; стоит сообщить, что подписавший постановление «ответственный секретарь ОСО тов. И. Шапиро» был арестован всего через три с небольшим месяца, 13 ноября 1938 года (когда поэт еще был жив) и позднее расстрелян[147].

Разумеется, Осип Эмильевич не имел отношения ни к троцкизму — вдова поэта вспоминала, как он, находясь в столовой и узнав, что туда идет Троцкий, убежал, бросив столь ценимый тогда обед[148], — ни к тому, что, согласно верному определению Георгия Федотова, *подразумевалось* под «троцкизмом». Большинство репрессированных в 1937-м, разумеется, отнюдь не принадлежали к троцкистам как таковым, но так или иначе были причастны к тому, что Федотов определил словами «революционный», «классовый», «интернациональный».

Однако едва ли есть основания связывать с этим слоем людей Осипа Мандельштама и тем более о. Павла Флоренского, который был 25 ноября 1937 года приговорен «тройкой» Ленинградского УНКВД во главе с комиссаром

ГБ 1-го ранга Заковским (Штубисом) к расстрелу «за к.-р. троцкистскую деятельность» и расстрелян 8 декабря 1937-го[149] (самого Заковского арестовали через четыре месяца, 29 апреля 1938 года, и расстреляли 29 августа).

В высшей степени показательна в этом отношении и история гибели Николая Клюева. Томское УНКВД также собиралось обвинить его в троцкизме (абсурдном — «правом»), но 25 марта 1937 года на совещании руководящих сотрудников ГБ Западно-Сибирского края выступал прибывший из Москвы начальник контрразведывательного отдела ГУГБ НКВД, комиссар ГБ 2-го ранга Миронов, который дал следующее указание: «Клюева надо тащить по линии монархическо-фашистского типа, а не на правых троцкистов»[150].

Правда, и предложенное обвинение было неуместным, ибо Николай Алексеевич в свое время подвергался тюремному заключению как раз за борьбу против *монархии*, но обвинение в троцкизме являлось просто нелепым.

Томские чекисты последовали указанию Миронова, и Клюев был расстрелян как «монархист» в конце октября 1937 года; к тому времени Миронов уже давно (14 июня) был арестован, — расстрелян он был позже, в 1938-м.

Приведенные факты важны для понимания ситуации того времени, но, прежде чем подводить итоги, вернемся к Осипу Мандельштаму, о судьбе которого, кстати сказать, так беспокоился в своей сибирской ссылке Николай Клюев (см. выше).

Считается, что главным или даже единственным виновником второго ареста Осипа Эмильевича (2 мая 1938 года) был бывший секретарь РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), а с 1936 года «ответственный секретарь» Союза писателей СССР В. Ставский (В.П. Кирпичников, 1900—1943; погиб на фронте). 16 марта 1938 года он направил на имя наркомвнудела Ежова письмо с «просьбой»: «помочь решить... вопрос об О. Мандельштаме»[151].

Но, если разобраться, Ставский сочинил это послание не потому, что чуть ли не жаждал ареста поэта, но из эле-

ментарной осторожности или, если выразиться резче, трусости. К тому времени многие его бывшие сподвижники по РАПП были арестованы; они вообще составляли *самую большую* количественно группу среди репрессированных тогда литераторов, поскольку принадлежали к наиболее «революционным» из них (Л. Авербах, И. Беспалов, И. Вардин, А. Веселый, А. Горелов, В. Кириллов, В. Киршон, Б. Корнилов, Г. Лелевич, М. Майзель, Д. Мазнин, И. Макарьев, А. Селивановский, А. Тарасов-Родионов и еще многие). Не так давно были опубликованы «доносы» на Ставского самому Сталину (!), принадлежащие зав. отделом печати и издательств ЦК Никитину и секретарю ЦК и члену Политбюро Андрееву и написанные как раз в феврале—марте 1938 года...[152]

И поскольку «ответственность» за положение в литературе лежала на Ставском как на ответсеке ССП, он, не без оснований опасаясь, что его обвинят по меньшей мере в отсутствии «бдительности», решил отправить указанное письмо. Характерно, что в письме главный упор был сделан не на самом Осипе Мандельштаме, а на сложившейся вокруг него «ситуации».

Разумеется, Ставский написал о поэте как об «авторе похабных, клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа» (то есть стихов о Сталине 1933 года). Но он приложил к своему посланию отзыв широко тогда известного и влиятельного писателя Петра Павленко о новых стихах поэта, в котором было недвусмысленно сказано: «Есть хорошие строки в «Стихах о Сталине» (1937 года. — *В. К.*), стихотворении, проникнутом большим чувством...» О новых стихотворениях в целом Павленко написал: «Советские ли это стихи? Да, конечно...» Правда, рецензент сделал оговорку, что «только в стихах о Сталине это чувствуется без обиняков, в остальных же стихах — о советском догадываемся» (Нерлер, цит. соч., с. 14, 15), — но тем не менее констатировал, что Осип Мандельштам с 1933 года идеологически «исправился».

И Ставский в своем послании, основываясь, конечно, и на павленковской «экспертизе» теперешней идеологической «линии» Осипа Эмильевича («Советские ли это стихи?

Да, конечно»), писал: «Вопрос не только и не столько в нем (поэте. — *В. К.*)... Вопрос об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей», которые, как сказано в письме выше, «его поддерживают, собирают для него деньги, делают из него «страдальца»...» То есть речь шла, в сущности, не о «прегрешениях» самого поэта, а о «непорядках» в определенной «части писательской среды» (по выражению Ставского).

Могут возразить, что зловещий смысл имела следующая формулировка Ставского, основанная на отзывах Павленко и других «товарищей»: «...особой ценности они (новые стихотворения поэта. — *В. К.*) не представляют», — формулировка, которая как бы лишала Осипа Эмильевича «охранной грамоты». Но, во-первых, подобная грамота тогда не являлась спасением: «особая ценность» прозы Исаака Бабеля или стихов Павла Васильева имела почти всеобщее признание, но это не помешало их уничтожению. А во-вторых, ценность поэзии Мандельштама осознавалась — за исключением весьма узкого круга «ценителей» — медленно; даже Борис Пастернак в 1930-х годах говорил Ахматовой, что «терпеть не может» его стихи[153] и впоследствии, в 1950-х годах, честно «покаялся», что долго «недооценивал» поэта...

Ставский сочинил свое письмо, как уже сказано, 16 марта 1938 года; спустя почти полтора месяца, 27 апреля, была составлена «Справка» по этому делу в НКВД. В ней, в общем, излагалось содержание письма Ставского, но была добавлена, в сущности, противоречащая смыслу письма фраза, обосновывавшая арест: «По имеющимся сведениям, Мандельштам до настоящего времени сохранил свои антисоветские взгляды». Автор «Справки», капитан ГБ — то есть, по общевойсковой мерке, полковник — Юревич, был в следующем году арестован и затем расстрелян; распорядившегося об аресте Мандельштама замнаркома Фриновского отстранили от его поста 8 сентября — именно тогда, когда поэт был отправлен в лагерь (это произошло между 7 и 9 сентября), а 6 апреля 1939 года Фриновский был арестован и позже расстрелян. Та же судьба постигла и утвердившего 20 июля «Обвинитель-

ное заключение» майора ГБ (то есть ранг комбрига) Глебова (Зиновия Юфу). «Уцелел» тогда — чтобы оказаться арестованным в иную эпоху, в 1951 году, — только один из вершителей судьбы поэта, ст. лейтенант ГБ (то есть майор) Райхман (с 1945-го — генерал-лейтенант).

В литературе — в частности, в уже не раз цитированной книге Павла Нерлера (см. с. 7, 18, 55) — высказано основательное предположение, согласно которому истинной причиной второго ареста поэта было не письмо Ставского и изложенные в нем «факты», а обнаруженные в мандельштамовском «деле» 1934 года (которое, без сомнения, «изучалось» в 1938-м) сочувственные послания Бухарина, изъятые (это точно известно) при первом аресте Осипа Эмильевича в ночь с 13 на 14 мая 1934 года. Когда Бухарин писал эти послания, он еще состоял в ЦК, но незадолго до второго ареста поэта, 13 марта 1938 года, был осужден в качестве руководителя «Антисоветского правотроцкистского центра» и 15 марта расстрелян. И поскольку дело шло о тесной связи Осипа Мандельштама с одним из наиглавнейших «контрреволюционеров» («главнее» его был, пожалуй, один только Троцкий), поэта, так сказать, не сочли возможным оставить на свободе, — хотя в деле реальная «причина» этого решения не отразилась (что вообще было типично для того времени).

Обо всем этом важно было сказать для уяснения общего положения вещей в 1937—1938 годах. Есть основания утверждать, что второй арест и «осуждение» Осипа Мандельштама не являли собой «закономерность»; поэт не принадлежал к людям, против которых было направлено острие тогдашнего террора. Одно из подтверждений этому — судьба наиболее близкого ему поэта — Анны Ахматовой, чье собрание стихотворений вскоре после ареста Мандельштама начало готовиться к публикации в главном издательстве страны; это была наиболее солидная книга Ахматовой, и после выхода ее в свет весной 1940 года сам Фадеев — член ЦК ВКП(б)! — выдвигал ее на соискание Сталинской премии (правда, присудили премии «по поэзии» ровеснику Ахматовой Асееву и молодому

Твардовскому); позднейшие злоключения Анны Андреевны — это уже иной вопрос.

Так же не было, надо думать, «закономерным» и вторичное дело (осенью 1937-го) П.А. Флоренского, который, подобно Мандельштаму, «закономерно» был осужден ранее, в 1933 году. Показательно, что пережившие арест на рубеже 1920—1930-х годов М.М. Бахтин и А.Ф. Лосев (кстати, непосредственный ученик Флоренского) в 1937-м не подверглись новым репрессиям, — как и целый ряд репрессированных в начале 1930-х годов историков и филологов, многие из которых в конце 1930-х — 1940-х годах, напротив, получили высокие звания и награды.

Не исключено, что в гибели П.А. Флоренского определяющую роль сыграла чья-то личная враждебная православному мыслителю воля. В судьбе Н.А. Клюева такая воля более или менее обнаруживается: в «указании» комиссара ГБ 2-го ранга (то есть, по-нынешнему, генерал-полковника) Миронова «тащить» Николая Клюева «не на правых троцкистов», а «по линии монархическо-фашистского типа» уместно увидеть стремление погубить лично враждебного чекисту поэта наиболее «надежным» способом. При этом следует вспомнить, что «указание» было дано 25 марта 1937 года, Клюева арестовали 5 июня, а самого Миронова — 14 июня. Но некоторые ближайшие его коллеги по НКВД были арестованы еще до 25 марта (комиссар ГБ 2-го ранга Молчанов — 3 февраля, майор ГБ — то есть комбриг — Лурье — 22 марта), и нельзя исключить, что Миронов уже осознавал близящийся конец своей «деятельности» и стремился «на прощанье» нанести удар недругу — пусть даже это стремление и не было всецело сознательным...

Вообще внедренная в умы версия (в сущности, просто нелепая), согласно которой террор 1937-го, обрушившийся на многие сотни тысяч людей, был результатом воли одного стоявшего во главе человека, мешает или даже вообще лишает возможности понять происходившее. В стране действовали и разнонаправленные устремления, и, конечно же, бессмысленная, бессистемная лавина террора,

уже неуправляемая «цепная реакция» репрессий. И, без сомнения, погибли многие люди, не имевшие отношения к тому «слою», который стал тогда объектом террора, или даже, в сущности, противостоявшие этому «революционному» слою. Генерал от идеологии Волкогонов назвал свое объемистое «сталиноведческое» сочинение (в последнее время был опубликован целый ряд отзывов, показывающих его крайнюю поверхностность и прямую ложь) «Триумф и трагедия», так «объясняя» сие название: **«Триумф вождя оборачивался страшной трагедией народа»**[154] (эти слова выделены Волкогоновым жирным шрифтом как основополагающие).

Но «народ» — это все же не люди власти, а в 1937-м «мишенью» были те, кто располагал какой-то долей политической или хотя бы идеологической власти — прежде всего члены ВКП(б).

Рассмотрим теперь совершившиеся с 1934-го по 1939 год изменения в численности членов ВКП(б). В январе 1934 года в ней состояло 1 млн. 874 тыс. 488 членов и 935 тыс. 298 кандидатов в члены[155], которые к 1939 году должны были бы стать полноправными членами, — и численность таковых составила бы около 2,8 млн. человек. Так, в июне 1930-го имелось 1 млн. 260 тыс. 874 члена ВКП(б) и 711 тыс. 609 кандидатов, то есть в целом 1 млн. 972 тыс. человек — почти столько же, сколько в январе 1934-го стало полноправных членов (как уже сказано — 1 млн. 874 тыс. 488).

Однако к марту 1939 года членов ВКП(б) имелось не около 2,8 млн., а всего лишь 1 млн. 588 тыс. 852 человека — то есть на 1 млн. 220 тыс. 932 человека меньше, чем насчитывалось совместно членов и кандидатов в члены в январе 1934-го! И эта цифра, фиксирующая «убыль» в составе ВКП(б), близка к приведенной выше цифре, зафиксировавшей количество репрессированных («политических») в 1937—1938 годах (1 млн. 344 тыс. 923 человека).

Вполне понятно, что дело идет не о точных подсчетах. Так, определенная часть «убыли» в составе ВКП(б) с 1934-го по 1939 год была неизбежна в силу естественной смертности. С другой стороны, «убыль» в целом за это время была,

вероятно, больше, чем следует из произведенного сопоставления цифр, ибо в ВКП(б) могли быть приняты с 1934-го по 1939 год не только те, кто к началу этого периода состоял в кандидатах. Но так или иначе сама близость двух количественных показателей — число репрессированных и число убывших с 1934-го по 1939 год из ВКП(б) — не может не учитываться при решении вопроса об «объекте» террора 1937—1938 годов. И исходя из этого уместно говорить о тогдашней «трагедии *партии*», но не о «трагедии народа».

Лев Разгон в своем не раз упомянутом сочинении рассказал, в частности, что, оказавшись в середине 1938 года в переполненной тюрьме, он встретил там всего только одного русского патриота — М.С. Рощаковского, и ему, как он утверждает, даже «стало жалко» этого человека — как «совершенно одинокого»: «Я здесь со *своими*, а он с кем?» («Плен в своем Отечестве», с. 155).

Конечно, в разгуле тогдашнего террора было репрессировано и множество «чужих» Разгону людей (о некоторых из них шла речь выше). Но суть 1937-го это не отменяет.

* * *

В заключение имеет смысл перевести разговор в иную плоскость — обратиться к проблеме *экономического* развития во второй половине 1930-х годов. Вообще-то, эта проблема еще не так давно была на первом плане в работах историков (хотя «сведение» истории к развитию экономики — едва ли плодотворное занятие), и читателям, интересующимся этой стороной дела, нетрудно обрести соответствующую информацию. И все же целесообразно охарактеризовать здесь общее состояние экономики после «1937-го», ибо оно, это состояние, по-своему подтверждает, что страшное время было все же трагедией определенного социально-политического слоя, а не народа — то есть бытия страны в целом.

Сведения, которые излагаются далее, основаны главным образом на уже цитированном выше объективном ис-

следовании М.М. Горинова и на книге (кстати, заостренно «критической», что ясно уже из ее заглавия, но содержательной и сохраняющей объективность взгляда) Л.А. Гордона и Э.В. Клопова[156] — книге, на которую, между прочим, опирался и М.М. Горинов.

В ходе совершавшегося с 1934 года «поворота», о котором подробно говорилось выше, основные показатели промышленного производства увеличились к 1940 году более чем в *два раза* — что являло собой, в сущности, беспрецедентный экономический рост. Многие ныне ставят вопрос о непомерной *«цене»* этого роста, которая как бы сводит его на нет, но, как мы видели, непосредственно в те годы не было — вопреки не основанному на реальных фактах «мнению» — действительно массовой гибели людей (в отличие от 1929—1933-го), — смертность была даже *ниже*, чем в «нэповские» 1923—1928 годы. Другое дело — *коллективизация*; но о ней подробно говорилось выше.

За вторую половину 1930-х добыча угля выросла почти на 120%, выплавка стали — на 165%, производство электроэнергии — даже на 200%, цемента — на 115% и т.д. Не столь резко увеличилась добыча нефти — на 53%, поскольку тогда были освоены, по существу, только ее бакинское и грозненское месторождения, однако в целом прирост количества *энергоносителей* (пользуясь популярным ныне термином) был очень внушительным. Достаточно сказать, что если в дореволюционное время Россия располагала в 5(!) раз меньшим количеством энергоносителей, чем Великобритания, и в 2,6 раза меньшим, нежели Германия, то в 1940-м СССР в этом отношении «обогнал» и первую (хоть и не намного — на 5%), и вторую (на 33%) и уступал только США. Примерно так же обстояло дело и с выплавкой стали.

В связи с этим естественно возникает вопрос об «отсталости» дореволюционной России. Тезис о крайней промышленной отсталости России был одним из основных аргументов в пользу Революции, которая обеспечит, мол, «свободу» для мощного экономического развития.

При трезвом подходе к делу становится ясно, что го-

товность к сокрушению русского государства и общественного строя из-за этого самого «отставания» представляет собой одно из проявлений столь характерного для России «*экстремизма*». Ибо по объему промышленного производства дореволюционная Россия уступала всего лишь *трем* странам мира — США, Великобритании и Германии, в которых действовала мощная энергия «протестантского духа капитализма». Еще одна тогдашняя «соперница» России — *католическая* Франция — если и «обгоняла» ее по объему промышленного производства, то весьма незначительно. И нельзя не признать, что резкое недовольство и даже негодование многих русских людей такой «отсталостью» (их страна делит с Францией 4-е место в мире, а не, скажем, 1-е с США!) — являло собой именно экстремизм.

Впрочем, в этом плане наша страна явно «неизлечима». Ибо спустя семь десятилетий после Революции, в 1980-х годах, массой людей вновь овладел подобного рода экстремизм, — хотя теперь дело шло об отставании не столько экономики вообще, сколько *уровня жизни*. Разумеется, в так называемых высокоразвитых странах этот уровень намного или даже гораздо выше, чем в России, но обычно как-то забывается, что в этих странах живет всего лишь примерно 15% населения Земли, а остальное население планеты, то есть (без бывшего СССР) 80% (!), живет хуже или даже гораздо хуже, чем жило к 1985 году население СССР.

Экстремистское (о том, почему его следует определить именно так, еще пойдет речь) «требование» наиболее высокого уровня жизни, выпавшего на долю всего лишь одной седьмой части населения Земли, подкрепляли крикливые идеологи, основывающиеся, в сущности, на *марксистском* — к тому же упрощенном, вульгаризованном — положении о решающей роли «производственных отношений»: перейдем, мол, к рыночной экономике — как у*

---

* Эти идеологи, хотя они ныне проклинают марксизм, ничего другого всерьез не изучали...

«них» — и только благодаря этому вырастет уровень жизни (ранее то же самое утверждали — иногда те же самые, но затем «перестроившиеся» — идеологи о социалистической экономике).

При этом с присущей всякому экстремизму догматической узостью подобные идеологи и их сторонники не задумывались хотя бы над следующими двумя «обстоятельствами». Во-первых, более или менее конкретное знание истории убеждает, что, скажем, в основных странах Западной Европы уровень жизни был заведомо выше, чем в России, и 300, и 500, и 1000 лет назад, а вовсе не только в условиях современной «рыночной экономики». А во-вторых, эта самая экономика имеет место ныне в преобладающем большинстве стран мира, однако в 1980-х годах, согласно результатам произведенного экспертами ООН исследования (цитирую), «ежегодно от голода или связанных с ним причин в мире умирают около 20 млн. (! — *В. К.*) человек», а «не менее 435 млн. человек на земном шаре страдают от разных стадий и форм голода» (цит. по кн.: *Ковалев Е.В.* Развивающиеся страны: новые тенденции в развитии аграрной сферы. М., 1991, с. 22).

И, между прочим, к 1995 году один из главнейших «рыночников», Гайдар, оказавшись не у дел, «сумел» наконец «заметить», что, как он — неожиданно для своих поклонников — заявил, «*большинство* стран с рыночной, капиталистической экономикой пребывают в жалком состоянии, застойной бедности. Они *куда беднее, чем Россия...*» (*Гайдар Егор*. Государство и эволюция. М., 1995, с. 9; выделено мною; имеется в виду, кстати сказать, Россия 1995-го, а не, допустим, 1985 года. — *В. К.*).

Но ведь, если дело обстоит таким образом, абсолютно ясно, что «рыночная экономика», которая, без сомнения, существенно *изменяет* строй жизни в стране, в то же время вовсе не обеспечивает высокий *уровень* жизни. Основываясь не на упрощенной марксистской догматике, а на всей полноте человеческой мысли об основах материального бытия, не так уж трудно понять, что высота уровня жизни определяется сложнейшим *взаимодействием многообразных* условий и причин — от географического (и,

шире, геополитического) положения страны до выработанного веками характера ее народа (включая господствующую в стране религию).

Это можно бы доказать с помощью многих и различных аргументов; ограничусь одной стороной дела — *климатическими* условиями. Лет десять назад, знакомясь с содержательным статистическим справочником «СССР и зарубежные страны. 1988», я был удивлен одним «несоответствием»: в СССР производилось почти в 2 раза *больше* цемента, чем в США, но почти в 8 раз (!) *меньше* картона и фанеры. Зачем им столько? — долго недоумевал я. Но в 1995 году в Москве была издана книга «Россия и опыт Запада», принадлежащая эмигранту во втором поколении Б.С. Пушкареву, который стал в США видным специалистом в области градостроительства. В книге упоминалось о резком превосходстве США над Россией по количеству жилой площади на душу населения: 49 м^2 против российских 15 м^2, то есть в 3 с лишним раза больше! Однако Пушкарев как специалист в этой сфере тут же сообщил о принципиальной (цитирую) «дешевизне господствующей в США легкой, не огнестойкой (и, конечно, не морозостойкой! — *В. К.*) конструкции односемейных жилых домов из деревянных планок, фанеры и картона, в которых живет три четверти (! — *В. К.*) населения»[157].

Если помнить, что *северная* граница США находится на широте Волгограда-Сталинграда, от которого уже не столь далеко до *южной* границы России, господство картонно-фанерных жилищ в США вполне понятно. А вместе с тем понятно, что для преодоления более чем трехкратного «отставания» России от США по количеству жилой площади на душу населения действительно надежным способом является изменение российского климата... В свои молодые годы я подолгу жил под Москвой именно в картонно-фанерном домике, оборудованном, между прочим, хорошей печкой, и знаю, что уже с ноября эта жизнь становится трудно переносимой...

Дело, конечно, вовсе не только в жилищной проблеме. Американский историк Ричард Пайпс, который, между прочим, родился и вырос в соседней с Россией Польше,

констатировал в 1981 году: «Важнейшим следствием местоположения России является чрезвычайная краткость периода, пригодного для сева и уборки урожая» — всего в разных климатических зонах — от четырех до шести месяцев. «В Западной Европе, для сравнения, — продолжал Пайпс, — этот период длится восемь-девять месяцев. Иными словами, у западноевропейского крестьянина на 50—100% больше времени на полевые работы». По-своему не менее существенно и другое отличие: «... особенность осадков в России состоит в том, что дожди обыкновенно льют сильнее всего во второй половине лета», из-за чего часто бывает засуха «весной и ранним летом, за которой следуют катастрофические ливни в уборочную. В Западной Европе дожди на протяжении всего года распределяются куда более равномерно». Следствие всего этого — предельно «низкая урожайность в России»[158].

Не исключено, что кто-либо напомнит о сельскохозяйственных успехах Канады и стран Скандинавии, которые расположены в тех же географических широтах, что и Россия. Но такое возражение предвидел сам Пайпс: «Подавляющее большинство канадского населения всегда жило в самых южных районах страны, по Великим Озерам и реке Св. Лаврентия, то есть на 45-й параллели, что в России соответствует широте Крыма... К северу от 52-й параллели в Канаде (соответствует широте Курска и Воронежа. — *В. К.*) мало населения и почти нет сельского хозяйства» (там же, с. 17).

Что же касается Скандинавских стран, не следует забывать (об этом не забыл в своей книге и Пайпс) о близости к ним мощного теплого морского течения Гольфстрим и вообще об их близости к океану: «океанический» климат гораздо «благоприятнее» для сельского хозяйства, чем континентальный, и зима в южной части Скандинавии короче и теплее, нежели в расположенной в 1800 км южнее нее кубанской степи!

Сейчас многие норовят поиздеваться над известной формулой — так сказать, тоталитарно-большевистской — «борьба за урожай». Но почти полтора века назад замеча-

тельный поэт Петр Вяземский (кстати, объездивший всю Европу) так обращался к соотечественникам:

...За трапезой земной печально место ваше!
Вас горько обошли пирующею чашей.
На жертвы, на *борьбу* судьбы вас обрекли:
В пустыне снеговой вы — схимники Земли.
Бог помощь! Свят ваш труд, на вечный *бой* похожий...

И возмущаться тем, что Россия по уровню жизни отстает (как отставала *всегда*) от так называемых высокоразвитых стран — это не более чем экстремистская претензия. Между прочим, само слово «высокоразвитые» — дезориентирующее, ибо в основе «развитости» — *изначальное* «превосходство» этих стран, без которого они и не могли бы так «развиться».

Нельзя не сказать еще, что Ричард Пайпс — в отличие от многих «туземных» авторов (которые, казалось бы, должны были знать ситуацию лучше, чем иностранец) — совершенно справедливо утверждает, что «российская география не благоприятствует *единоличному* земледелию... климат располагает к *коллективному* ведению хозяйства» (там же, с. 30. — Выделено мною. — *В. К.*), и далее этот американский историк прослеживает господствующую роль *общинности* во всей сельскохозяйственной истории России. Между тем в 1990-х годах многие «туземные» авторы начали безапелляционно уверять, что отставание нашего сельского хозяйства будет немедля преодолено, ежели колхозников сменят «фермеры»...

Любопытно, что во время распространения упомянутого «недовольства» низким в сравнении с Западом уровнем жизни широкое хождение получила ироническая «формулировка»: мы хотим работать так, как мы работаем, а жить так, как живут «они»... Этот «самокритический» юмор, имевший в виду, что в СССР достаточно много людей работало без особого напряжения, уместно осмыслить и по-иному. Ведь, скажем, в сельском хозяйстве на российской территории с ее описанными выше «условиями» и *невозможно*

работать столь же плодотворно, как в США, Франции или Австралии...

Но вернемся во вторую половину 1930-х годов. Выше было сказано о тогдашнем впечатляющем сдвиге в сфере промышленности. В сельском хозяйстве дело обстояло гораздо скромнее, — уже в силу изложенных только что причин (промышленность зависит от местоположения страны в значительно меньшей степени, чем сельское хозяйство). И в последнее время постоянно высказывается мнение, что сельское хозяйство в тот период было менее эффективным, чем в нэповское время, ибо население росло быстрее, чем урожаи зерновых. Так, по подсчетам Л.А. Гордона и Э.В. Клопова, на душу населения в 1928 году приходилось 470 кг зерна (на год), а в 1938-м — 430 кг. Однако эти стремящиеся к объективности авторы тут же сообщают, что в первом случае перед нами результат труда «50—55 млн. крестьян-единоличников», а во втором — всего «30—35 млн. колхозников и рабочих совхозов» (цит. соч., с.80), — то есть на 40% меньше.

Это означает, что производительность труда выросла весьма значительно: на одного работающего в 1928 году пришлось 1,4 тонны зерна, а в 1938-м — 2,4 тонны. Разумеется, это было немного в сравнении со странами с более «благополучным» сельским хозяйством. Но и говорить об «упадке» сельского хозяйства в это время (как многие сейчас делают) нет оснований, ибо один работающий производил в 1938 году на 70% больше зерна, чем в 1928-м.

И последнее. Выше отмечалось, что в глазах идеологов начала века Революция мыслилась как преобразование, долженствующее создать «свободу» промышленной деятельности, которая, в свою очередь, преодолеет прискорбнейшее отставание России от «передовых» стран.

По-своему знаменательно, что после Революции в промышленности действительно произошел беспримерный сдвиг, о чем в книге Л.А. Гордона и Э.В. Клопова сказано так: «К началу 40-х годов по абсолютному объему только в США производилось существенно больше промышленной продукции, чем в СССР» (с. 62). Притом, как отметил М.М. Горинов, «рост тяжелой промышленности

осуществлялся невиданными доселе темпами. Так, за 6 лет СССР сумел поднять выплавку чугуна с 4,3 до 12,5 млн. тонн. Америке понадобилось для этого 18 лет»[159].

Что ж, выходит, сбылись те надежды на Революцию, которые питали люди начала века, возмущавшиеся промышленной отсталостью «самодержавной» России... Правда, не нужно доказывать, что Революция — в противоположность упомянутым надеждам — достигла искомой цели на пути не экономической *свободы*, но невиданного ранее *диктата* власти в сфере экономики (и, конечно, в других сферах).

Сегодня есть немало охотников доказывать или, точнее, уверять (ибо убедительных аргументов не имеется), что если бы Революция «подарила» России не диктатуру, а экономическую свободу, достижения ее промышленности были бы еще более грандиозны, а к тому же и сельское хозяйство пышно расцвело бы — несмотря на неблагоприятные российские условия.

Подобные «альтернативные» проекты сами по себе могут представлять определенный интерес; но они, строго говоря, ровно ничего не дают истинному пониманию истории и даже (о чем уже шла речь) вредят этому пониманию, ибо при постановке вопроса в плане «если бы... то...» мыслимая *возможность* затемняет, заслоняет реальную *историческую действительность*.

И необходимо осознать, что для «альтернативного» мышления типично противопоставление конструируемого им «проекта» предполагаемому «проекту» того или иного «руководителя», «вождя» (будь то Ленин, Сталин, Хрущев и т.д.); это вполне естественно, ибо каждый такой проект являет собой *субъективное* мнение, которое поэтому предлагается, в сущности, взамен *реализованного*, но так же будто бы *субъективного* — ленинского или сталинского — проекта, — а не объективного хода истории.

В этом сочинении я стремился показать, что движение истории определяется не замыслами и волеизъявлениями каких-либо лиц (пусть и обладавших громадной властью), а сложнейшим и противоречивым взаимодействием раз-

личных общественных сил, и «вожди» в конечном счете только «реагируют» — притом обычно с определенным запозданием (как было, например, при введении нэпа или при повороте середины 1930-х годов к «патриотизму») на объективно сложившуюся в стране — и мире в целом — ситуацию.

Наконец, в самом ходе истории есть, как представляется, *смысл*, который, правда, трудно выявить, но который значительней всех наших мыслей об истории. Никто до 1941 года не мог ясно предвидеть, что страна будет вынуждена вести колоссальную — *геополитическую* — войну за само свое бытие на планете с мощнейшей военной машиной, вобравшей в себя энергию *почти всей Европы*. Но вполне уместно сказать, что *сама история* страны (во всей ее полноте) это как бы «*предвидела*», — иначе и не было бы Великой Победы!

Примечания

К ГЛАВЕ 1 «ЧТО ЖЕ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗОШЛО В 1917 ГОДУ?»

1) Войсковые комитеты действующей армии. Март 1917 г. — март 1918 г. М., 1981, с. 18.
2) *Верховский А.И.* На трудном перевале. М., 1959, с. 207.
3) Цит. по кн.: *Старцев В.И.* Внутренняя политика Временного правительства первого состава. Л. 1980, с. 69.
4) *Деникин А.И.* Очерки русской смуты. «Вопросы истории», 1990, № 8, с. 78.
5) *Суханов Н.Н.* Записки о революции. М., 1990, т. 1, с. 53.
6) *Блок Александр.* Собрание сочинений в восьми томах. М.—Л., 1963, т. 8, с. 498.
7) *Блок Александр.* Записные книжки 1901—1920. М. 1965, с. 379, 380.
8) См.: *Бонч-Бруевич Вл.* Из воспоминаний о П.А. Кропоткине. Журн. «Звезда», 1930, с. 182—183 (перепечатано в кн.: «За кулисами видимой власти. М., 1984, с. 94—96); *Яковлев Н.* 1 августа 1914. М., 1974; *Старцев В.И.* Революция и власть. М., 1978; он же. Внутренняя политика Временного правительства первого состава. Л., 1980; За кулисами видимой власти. М., 1984; *Старцев В.И.* Российские масоны XX века. «Вопросы истории», 1989, № 6; Русское политическое масонство. 1906—1918 гг. (Документы из архива Гуверовского института войны, революции и мира.) «История СССР», 1989, № 6 и 1990, № 1; *Замойский Лоллий.* За фасадом масонского храма. Взгляд на проблему. М., 1990; *Старцев Виталий.* Что могут масоны. Газ. «Экономика сегодня и завтра». М., 1992, № 1; 1993, № 1. Определенные итоги изучения масонства подведены в издании: Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. М., 1993; здесь освещена масонская принадлежность многих главных «героев Февраля». Основная эмигрантская и иностранная ли-

тература о российском масонстве XX века указана в статье В.И. Старцева в журн. «Вопросы истории», 1989, № 6 (см. сноски к с. 34—38).

9) *Николаевский Б.И.* Русские масоны и революция. М., 1990, с. 94, 96.
10) Так, виднейшие русские историки В.О. Ключевский и, вслед за ним, С.Ф. Платонов убедительно объяснили явление пугачевщины указами Петра III и Екатерины II о «вольности дворянской», которые расшатали наиболее широкую опору власти и, с другой стороны, породили «законное» стремление к вольности в крестьянстве.
11) В ноябре 1824 года Пушкин писал своему брату Льву из Михайловского: ...пришли мне... Жизнь Емельки Пугачева» (Пушкин, Письма. М.—Л., 1926, т. 1, с. 96); имелась в виду единственная тогда книга о Пугачеве (переведенная с немецкого), которую, впрочем, Пушкин позднее назвал «глупым романом».
12) «Вопросы истории», 1990, № 9, с. 103—104.
13) *Брусилов А.А.* Мои воспоминания. М., 1983, с. 233.
14) Цит. по журн. «Согласие», 1993, № 2, с. 213—214.
15) *Розанов В.В.* О себе и жизни своей. М., 1990, с. 421—422.
16) *Бунин И.А.* Собрание сочинений. Берлин, 1935, т. X, с. 165.
17) *Блок Александр.* Собрание сочинений, т. 7, с. 330.
18) *Блок Александр.* Записные книжки..., с. 394.
19) *Троцкий Л.* Литература и революция. М., 1991, с. 102.
20) *Станкевич В.Б.* Революция. В кн.: Страна гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 года. М., 1991, с. 239.
21) *Бернштам Михаил.* Стороны в Гражданской войне 1917—1922 гг. М., 1992, с. 21.
22) *Бернштам Михаил.* М., цит. соч., с. 41; *Спирин Л.М.* Классы и партии в Гражданской войне в России (1917—1920 гг.). М., 1968, с. 180.
23) *Иллерицкая Е.В.* Аграрный вопрос: провал аграрных программ и политики непролетарских партий в России. М., 1981, с. 119.
24) Минувшее. Исторический альманах. I. М., 1990, с. 309.
25) *Карсавин Л.П.* Философия истории. СПб., 1993, с. 307, 308, 309.

26) Звенья. Исторический альманах. Вып.2. М. — СПб., 1992, с. 354.
27) Цит. по кн.: Последние дни Романовых. Документы, материалы следствия, дневники, версии. Свердловск, 1991, с. 90.
28) Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев, документы. Л., 1927, с. 163.
29) Дневники императора Николая II. М., 1991, с. 625.
30) *Берберова Н.* Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. Нью-Йорк, 1986, с. 36—39, 58—60.
31) «История СССР», 1990, № 1, с. 153.
32) *Николаевский Б.И.* Русские масоны и революция. М., 1990, с. 92.
33) Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. М., 1991, с. 213.
Необходимо отметить, что и самого великого князя Александра Михайловича Н.Н. Берберова причислила к масонству; в действительности же он участвовал в своего рода придворной игре — «Ложе филалетов», в которую, как сообщала сама Н.Н. Берберова, «принимали всех, кто хотел» (с. 23). Никакого отношения к политике эта «ложа» не имела и не могла иметь.
34) Александр Иванович Гучков рассказывает... Воспоминания Председателя Государственной Думы и военного министра Временного правительства. М., 1993, с. 9.
35) «Военно-исторический журнал», 1967, № 5, с. 113.
36) Командующий Балтийским флотом адмирал А.И. Непенин считал себя продолжателем дела декабристов и готовился к перевороту; по известной логике «за что боролись...» он был уже 4 марта 1917 года убит взбунтовавшимися матросами...
37) *Старцев В.И.* Русская буржуазия и самодержавие в 1905—1917 гг. Л., 1977, с. 248.
38) *Верховский А.И.* На трудном перевале. М., 1959, с. 118, 169, 233—234.
39) Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. М., 1933, с. 166.
40) Белая Россия. Альбом № 1. Нью-Йорк, 1937. Репринт — СПб., 1991, с. 123, 11, 17, 60.

41) *Назаров М.* Миссия русской эмиграции. Ставрополь, 1992, с. 40.
42) «Вопросы истории», 1993, № 10, с. 113—114.
43) *Лехович Д.* Белые против красных. Судьба генерала Антона Деникина. М., 1992, с. 22.
44) Цит. по кн.: *Иоффе Г.З.* Колчаковская авантюра и ее крах. М., 1983, с. 16.
45) См.: *Дроков С.В.* Александр Васильевич Колчак. «Вопросы истории», 1991, № 1, с. 61.
46) *Гуль Р.* Ледяной поход. *Деникин А.И.* Поход и смерть генерала Корнилова. *Будберг А.*, барон. Дневник. М., 1990, с. 252.
47) Цит. по кн.: *Думова Н.Г* Кадетская контрреволюция и ее разгром (октябрь 1917—1920 гг.). М., 1982, с. 337.
48) Гриф секретности снят. Потери вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. Статистическое исследование. М., 1993, с. 54.
49) Поскольку в 1918—1922 годах не велась статистика новорожденных, невозможно достоверно выяснить количество умерших детей.
50) *Кожинов Вадим.* Жертвы насилия. Истинные наши потери с 1917 по 1941 год. «Москва», 1994, № 6, с. 126—129.
51) Малая советская энциклопедия. М., 1929, т. 1, с. 703.
52) *Шульгин В.В.* Что нам в них не нравится... Об антисемитизме в России. СПб., 1992, с. 123.
53) *Кавтарадзе А.Г* Военные специалисты на службе Республики Советов. 1917—1920 гг. М., 1988, с. 196.
54) Источник. Документы русской истории. Приложение к российскому историко-публицистическому журналу «Родина». М., 1993, № 2, с. 27.
55) Цит. изд., 1993, № 3, с. 13.
56) См.: *Кавтарадзе А.Г.*, цит. соч., с. 174.
57) Великий князь Александр Михайлович, цит. соч., с. 256—257.
58) Как пишет, основываясь на многолетнем исследовании проблемы, В.И. Старцев, в масонство — разумеется, еще до 1917 года — входили только «двое большевиков — вероятно, в качестве наблюдателей. Это были С.П. Середа из Рязани и И.И. Скворцов-Степанов из Москвы» («Эконо-

мика сегодня и завтра», 1993, № 1, с. 28). После же Октября никаких реальных контактов большевиков и масонов не обнаруживается.

59) *Слащов-Крымский Я.А.* Белый Крым 1920 г. Мемуары и документы (с предисловием А.Г Кавтарадзе). М., 1990, с. 146, 147.

60) *Деникин А.И.* Поход на Москву..., с. 48.

61) Цит. по кн.: История советской литературы. Новый взгляд. Ч. 2. М., 1990, с. 28.

62) *Лакер Уолтер.* Черная сотня. Происхождение русского фашизма. М., 1994, с. 64.

63) См. библиографию в журн. «Вопросы истории», 1989, № 6, с. 35—38.

64) *Аврех А.Я.* Масонство и революция. М., 1990, с. 18.

К ГЛАВЕ 2 «ВОЖДИ И ИСТОРИЯ»

1) См., например: *Антонов-Овсеенко Антон.* Сталин без маски. М., 1990; *Волкогонов Дмитрий.* Триумф и трагедия. Политический портрет И.В. Сталина. В двух книгах. М., 1989; *Радзинский Эдвард.* Сталин. М., 1997.

2) См. об этом, например: *Валентинов Н.В.* Построение социализма в одной стране. — В его кн.: Наследники Ленина. М., 1991, с. 55—81.

3) *Сталин И.В.* Сочинения. М., 1949, т. 10, с. 225.

4) *Сталин И.В.* Соч., т. 11, с. 14; и *Бухарин Н.И.* Путь к социализму. Избранные произведения. Новосибирск, 1990, с. 264—265.

5) *Бухарин Н.И.*, цит. изд., с. 279.

6) *Сталин И.В.*, цит. изд., с. 15.

7) *Сталин И.В.*, цит. изд., с. 84.

8) *Леонтьев В.* Экономические эссе. М., 1990, с. 226—227.

9) *Сталин И.В.* Вопросы ленинизма. М., 1953, с. 622.

10) *Сталин И.В.* Соч., т. 11, с. 85.

11) *Бухарин Н.И.*, цит. изд., с. 281.

12) *Сталин И.В.* Соч., т. 11, с. 88, 90, 91.

13) *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Изд. пятое, т. 45. М., 1982, с. 556.

14) См. об этом мою статью в «НС», 1994, № 11—12.
15) Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. М., 1934, с. 388.
16) *Сталин И.В.* Вопросы ленинизма. М., 1953, с. 608.
17) *Лиддел Гарт Б.* Вторая мировая война. М., 1976, с. 22—23.
18) *Черчилль У.* Вторая мировая война. М., 1991, книга первая, с. 126.
19) *Верт А.* Россия в войне 1941—1945. М., 1967, с. 60.
20) *Симонов К.* Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине. М., 1989, с. 129, 130.
21) *Сталин И.В.* Соч., т. 13, с. 149.
22) *Капица П.Л.* Письма о науке. 1930—1980. М., 1989, с. 247—248.
23) Цит. изд., с. 257—258. Этот ответ Сталина резко повысил авторитет П.Л. Капицы, и против него была начата злостная закулисная борьба, руководимая, по всей вероятности, Л.П. Берией, которого он бесстрашно критиковал. Дискредитацией ученого занялись, как он писал, «профессора Герш, Гельперин и Усюкин... обиженные мною... (здесь публикатором письма что-то выброшено. — *В. К.*), так как я не хотел их привлекать к работе. Делал я это потому, что считаю их... беспринципными и вредными людьми» (с. 259). В результате Петр Леонидович был отстранен от руководящей научной деятельности...
24) *Симонов К.*, цит. изд., с. 131.
25) *Самойлов Д.* Памятные записки. М., 1995, с. 344.
26) *Карлейль Т.* Французская революция. История. М., 1991, с. 390—491, 504—505.
27) *Урланис Б.Ц.* Войны и народонаселение Европы. М., 1960, с. 393.
28) Цит. по кн.: *Ревуненков В.Г* Очерки по истории Великой французской революции. М., 1989, с. 364.
29) «Родина. Российский историко-публицистический журнал». 1994, № 5, с. 56, 57.
30) «Известия ЦК КПСС», 1990, № 4, с. 191.
31) *Ленин В.И.* Полн. собр. соч., т. 53, с. 109.
32) *Солоухин В.* При свете дня. М., 1992, с. 79.
33) См., например, в энциклопедии «Великая Октябрьская со-

циалистическая революция» (М., 1987, с. 381) репродукцию подлинного документа — декрета Второго Всероссийского съезда Советов об образовании правительства.

34) *Кожинов В.* Судьба России: вчера, сегодня, завтра. М., 1990, с. 15—20.
35) Страницы истории КПСС. Факты. Проблемы. Уроки. М., 1988, с. 238.
36) *Троцкий Л.* Моя жизнь. Опыт автобиографии. М., 1991, с. 357.
37) *Ковалев В.* Два сталинских наркома. М., 1995, с. 38—49.
38) *Бухарин Н.И.* Избранные произведения. Путь к социализму. Новосибирск, 1990, с. 286, 287.
39) *Гефтер М.* Апология слабого человека. «Российская провинция», 1994, № 5, с. 154.
40) «Военно-исторический журнал», 1989, № 2, с. 71.

К ГЛАВЕ 3
«ВЛАСТЬ И НАРОД ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ»

1) Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М., 1991, с. 176.
2) *Гуль Роман.* Ледяной поход. *Деникин А.И.* Поход и смерть генерала Корнилова. *Будберг А.*, барон. Дневник. М., 1990, с. 229, 261, 306.
3) Цит. по кн.: *Лагунов Константин.* И сильно падает снег... Тюмень, 1994, с. 152.
4) Там же, с. 120—125.
5) Речь идет о костромском писателе (в прошлом — председателе колхоза) В.А. Старостине (1910—1995).
6) Издан впервые в Париже в 1977 году; см.: *Шафаревич И.Р.* Сочинения в трех томах. М., 1994, т. 1, с. 7—337.
7) *Хомяков А.С.* Полн. собр. соч., изд. 3-е. М., 1900, т. 8, с. 168.
8) *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. М., 1911, т. XII, с. 328.
9) *Хомяков А.С.* О старом и новом. Статьи и очерки. М., 1988, с. 166—167.
10) См., напр.: *Дьяков В.А.* Освободительное движение в Рос-

сии 1825—1861 гг. М., 1979, с. 131—140 (раздел «Генезис «русского социализма»).
11) Цит. по изд.: Сергий Радонежский. М., 1991, с. 381.
12) См.: «Вопросы литературы», 1968, № 5, с. 160—182 (перепечатано под названием «Чаадаев и Гоголь» в моей книге: Размышления о русской литературе. М., 1991, с. 161—189) и П.Я. Чаадаев: pro et contra. Личность и творчество Петра Чаадаева в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. СПб., 1998, с. 696—725.
13) *Чаадаев П.Я.* Полн. собр. соч. и избранные письма. М., 1991, т. 1, с. 555, 557, 606.
14) *Леонтьев Константин.* Избранные письма. 1854—1891. СПб., 1993, с. 437.
15) Цит. по кн.: *Семенов Ю.Н.* Социальная философия А. Тойнби. М., 1980, с. 185.
16) *Леонтьев Константин.* Избранное. М. 1993, с. 179—180.
17) *Леонтьев Константин.* Записки отшельника. М., 1992, с. 417—418.
18) Эти (и дальнейшие) сведения о выборах 1917 года, основанные на подсчетах *эсеровского* депутата Учредительного собрания И.В. Святицкого, приводятся по таблицам, опубликованным в кн.: *Спирин Л.М.* Классы и партии в Гражданской войне в России (1917—1920 гг.). М., 1968, с. 62 и 416—425.
19) *Леонтьев Константин.* Записки отшельника. М., 1992, с. 418—419.
20) История XIX века. Под редакцией профессоров Лависса и Рамбо. М., 1938, т. 3, с. 96.
21) *Карр Эдвард.* История Советской России. М., 1990, кн. 12, с. 104.
22) *Ленин В.И.* Полн. собр. соч., т. 34, с. 266.
23) См.: Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. М., 1993, с. 11.
24) Там же, с. 349.
25) Октябрьская революция. Мемуары. М. —Л., 1926, с. 382.
26) *Керенский А.Ф.* Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993, с. 33.

27) *Верховский А.И.* На трудном перевале. М., 1959, с. 420—421.
28) *Троцкий Л.* Моя жизнь. Опыт автобиографии. М., 1991, с. 329.
29) Сто сорок бесед с Молотовым, с. 181.
30) *Солоухин В.* При свете дня. М., 1992, с. 179.
31) *Хлебников Н.М., Евлампиев П.С., Володихин Я. А.* Легендарная Чапаевская. Изд. 2-е. М., 1970, с. 356—361.
32) Смута в Московском государстве. Россия начала XVII столетия в записках современников. М., 1989, с. 378—379.

К ГЛАВЕ 4
«КАКОВА БЫЛА РОЛЬ ЕВРЕЕВ В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ?»

1) *Сегал Д.* «Сумерки свободы»: о некоторых темах русской ежедневной печати 1917—1918 гг. — в кн.: Минувшее. Исторический альманах. 3. М., 1991, с. 131.
2) Там же, с. 141.
3) Там же, с. 137.
4) *Карсавин Л.П.* Россия и евреи. — В кн.: Тайна Израиля. «Еврейский вопрос» в русской религиозной мысли конца XIX — первой половины XX в. СПб., 1993, с. 412—416.
5) См.: *Агурский М.* Горький и еврейские писатели. — В кн.: Минувшее. Исторический альманах. 10. М. —СПб., 1962. с. 181, 183—184.
6) *Сироткин Владлен,* доктор исторических наук, профессор. Так кто же раскручивает «кровавую карусель»?.. — В кн.: Резник Семен. Кровавая карусель. М., 1991, с. 213—214.
7) *Роговин В.* Троцкий об антисемитизме. «Вестник Еврейского университета в Москве», 1993, № 2, с. 95.
8) Воспоминания о Бабеле. М., 1989, с. 207.
9) См.: Из писем М.М. Бахтина. «Москва», 1992, № 11—12, с. 179.
10) Автобиографическая проза М.С. Альтмана. — В кн.: Минувшее. Исторический альманах. 10. М. —СПб., 1992, с. 208, 213. См. также: *Альтман М.С.* Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995.

11) Деятели СССР и революционного движения России. М., 1989, с. 783.
12) «Вопросы истории», 1992, № 2—3, с. 85.
13) *Laquer Walter*. Stalin. The Glasnost Revelations. N.Y., 1990, p. 252.
14) Цит. по кн.: Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. М., 1993, с. 85.
15) *Роговин В.* Троцкий об антисемитизме, с. 92.
16) Там же, с. 94.
17) *Васецкий Н.* Взгляд со стороны. — В кн.: Вождь. Ленин, которого мы не знали. Саратов, 1992, с. 279.
18) Большая Советская Энциклопедия. Третье издание, т. 24, книга 1. М., 1976, с. 18.
19) *Васецкий Н.А.* Троцкий..., с. 160.
20) См.: *Трайнин И.П.* СССР и национальная проблема. М., 1924, с. 26.
21) См.: Октябрьская революция перед судом американских сенаторов. М., 1990, с. 12—13, 14, 15.
22) *Уэллс Герберт*. Россия во мгле. М., 1958, с. 43.
23) *Агурский М.* Идеология национал-большевизма. Paris, 1980, с. 195.
24) *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Издание пятое. М., 1982, т. 45, с. 6.
25) В новейшей литературе имеется и более поздняя датировка введения в Политбюро этих двух членов ЦК (1923 год), но дата, указанная в изданном еще в 1927 году биографическом словаре, представляется более верной.
26) *Зимин А. У* истоков сталинизма. 1918—1923. Paris, 1984, с. 340.
27) *Карабчевский И.* Что глаза мои видели. Берлин, 1921, книга 2, с. 10.
28) См.: *Резник Семен*. Кровавая карусель. М., 1991, с. 126.
29) *Негретов П.И.* В.Г Короленко. Летопись жизни и деятельности. 1917—1921. М., 1990, с. 97.
30) Цит. по кн.: *Васецкий Н.А.* Троцкий..., с. 122.
31) *Михайловский Г.Н.* Записки. Из истории российского внешнеполитического ведомства. 1914—1920. М., 1993, книга 2, с. 176—177.
32) *Роговин В.* Троцкий об антисемитизме..., с. 92.
33) *Троцкий Л.* Моя жизнь, с. 324.

34) Цит. по кн.: *Бухарин Н.И.* Проблемы теории и практики социализма. М., 1989, с. 177,180.
35) Цит. по кн.: *Троцкий Л.Д.* К истории русской революции. М., 1890, с. 234, 235.
36) См.: *Симакова А.* Родословная семьи Ульяновых: из податного сословия. — В кн.: О Ленине — правду. Дайджест прессы. Л., 1991, с. 8—12.; *Шагинян Мариэтта.* Собрание сочинений в девяти томах. М., 1988. т. 5, с. 33—36.
37) Вождь. Ленин, которого мы не знали. Сост. Геннадий Сидоровнин. Саратов, 1992, с. 19.
38) *Ульянова-Елизарова А.И.* О В.И. Ленине и семье Ульяновых. М., 1988, с. 116.
39) *Ленин В.И.* Полн. собр. соч., т. 44, с. 509.
40) Там же, т. 49, с. 377.
41) *Троцкий Л.Д.* Лев Толстой. — Цит. по кн.: Искусство и литература в марксистском освещении. М., 1927, с. 486.
42) *Троцкий Л.Д.* К истории русской революции. М., 1990, с. 354.
43) *Троцкий Л.* Моя жизнь, с. 348.
44) *Агурский М.* Идеология национал-большевизма, с. 197.
45) *Троцкий Л.* Литература и революция. М., 1991, с. 82.
46) *Троцкий Л.* Коммунистический интернационал после Ленина. М., 1994, с. 306.
47) *Троцкий Лев.* Дневники и письма. М., 1994, с. 119, 120. Не исключено возражение, что Троцкий в своих интересах «приписал» эти слова Ленину. Но, во-первых, в собственных текстах Ленина встречаются суждения именно такого рода, хотя и менее резко сформулированные, а во-вторых, я цитирую личные дневниковые записи Троцкого, не предназначенные для публикации (они впервые появились в печати лишь в 1986 году).
48) *Шульгин В.В.* «Что нам в них не нравится...» Об антисемитизме в России. СПб., 1992, с. 35.
49) *Шульгин В.В.* Дни. 1920. М., 1989, с. 517.
50) *Шульгин В.В.* «Что нам в них не нравится...», с. 33.
51) См.: «Наш современник», 1994, № 11—12, с. 234—237.
52) См.: *Лосев Евгений.* Трижды приговоренный. «Москва», 1989, № 2, с. 159, 160.
53) См.: *Медведев Р.А., Стариков С.П.* Жизнь и гибель Филиппа Кузьмича Миронова. М., 1989, с. 222.

54) *Лосев Евгений,* цит. соч., с. 163.
55) *Медведев Р.А., Стариков С.П.*, цит. соч., с. 263.
56) «Вопросы истории», 1993, № 5, с. 138.
57) *Викторов Б.А.* Без грифа «секретно». Записки военного прокурора. М., 1990, с. 79, 83.
58) *Зенькович Н.А.* Тайны кремлевских смертей. М., 1995. с. 273—276, 281.
59) *Викторов Б.А.*, цит. соч., с. 78.
60) Семен Иванович Аралов (1880—1969) мне хорошо известен, так как он, увы, мой дальний родственник, точнее, свойственник: он еще до 1917 года женился на сестре моей бабушки по материнской линии — дочери московского священника Софье Ильиничне Флериной. На рубеже 1920—1930-х годов он оказался, в сущности, не у дел и, хотя избежал репрессий, считался «обиженным». Лишь теперь, через много лет после его смерти, я узнал о его тесных связях с Троцким. В своих мемуарах, рассказывая о политическом руководстве 12-й армией на Украине, он бегло упомянул, как ему приходилось «следить за тем, чтобы националистически-буржуазный украинский шовинизм не проник в армию», а непосредственно о Н.А. Щорсе написал только, что обвинял его в «партизанщине, недисциплинированности, анархизме», с чем Щорс, мол, в конечном счете согласился... (см.: *Аралов С.И.* Ленин вел нас к победе. Воспоминания. М., 1989, с. 139, 152).
61) См.: *Ленин В.И.* Полн. собр. соч., т. 45, с. 600.
62) Историки спорят. Тринадцать бесед. М., 1989, с. 111.
63) *А.А. Якушев* (1876—193...?) — загадочная фигура; судьбу его подробно исследовал Д.А. Жуков в своем обширном послесловии к изданной в 1991 году книге В.В. Шульгина «Три столицы». Этот человек, «завербованный» ОГПУ, по-видимому, вел свою собственную «линию» и в результате еще в начале 1930-х годов был расстрелян...
64) *Шульгин В.В.* Три столицы. М., 1991, с. 291.
65) Дело в том, что несколько русских членов ЦК сразу после прихода большевиков к власти, в ноябре 1917 года, вступили в конфликт с остальными членами ЦК, настаивая на привлечении в состав представителей других партий. В.П. Милютин, В.П. Ногин и А.И. Рыков даже отказались уже 4(17) ноября от своих постов наркомов. И их поэтому в

марте 1918 года не переизбрали в члены ЦК, что привело к «сокращению» его русской части.

66) *Троцкий Л.* Моя жизнь, с. 465, 474.

67) См.: *Васецкий Н.А.* Троцкий..., с. 216.

68) *Троцкий Л.* Сталинская школа фальсификаций. М., 1990, с. 57.

69) *Розанов В.В.* О себе и жизни своей. М., 1990, с. 613, 614.

К ГЛАВЕ 5 «ЗАГАДКА 1937 ГОДА»

1) Цит. по изд.: Реабилитация. Политические процессы 30—50-х годов. М., 1991, с. 19, 23.

2) *Антонов-Овсеенко Антон.* Сталин без маски. М., 1990, с. 284.

3) *Аллилуева Светлана.* Двадцать писем к другу. М., 1990, с. 165.

4) «Россия. XXI», 1994, № 1—2, с. 110.

5) *Сталин И.* Вопросы ленинизма. М., 1953, с. 636.

6) *Пришвин М.М.* Дневник 1935 года. (Архив Дунинского музея).

7) *Полонский Вяч.* На литературные темы. Избранные статьи. М., 1968, с. 102.

1) «Контрреволюция», осуществляемая «по-революционному»...

8) *Троцкий Л.* Преданная революция. М., 1991, вып. 2, с. 4.

9) *Дойчер Исаак.* Троцкий в изгнании. М., 1991, с. 481—486.

10) *Троцкий Л.*, указ. изд., вып. 1, с. 76, 77.

11) Литературное наследство. Том 85. Валерий Брюсов. М., 1976, с. 252, 253.

12) Термидор — название одного из месяцев в так называемом республиканском календаре, заменившем традиционный календарь во время Французской революции конца XVIII века. 8-го термидора было свергнуто (в 1794 году) сугубо революционное правительство Робеспьера и на смену ему пришло более «умеренное».

13) *Федотов Г.П.* Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. СПб., 1992, т. 2, с. 83—84.
14) *Лавровский В.М.*, *Барг М.А.* Английская буржуазная революция. М., 1958, с. 346.
15) *Урланис Б.Ц.* Войны и народонаселение Европы. М., 1960, с. 338, 339.
16) См.: *Брачев В.С.* «Дело» академика С.Ф. Платонова. «Вопросы истории», 1989, № 5, с. 117—129; *Перченок Ф.Ф.* Академия наук на «великом переломе». «Звенья». Исторический альманах. Вып. 1. М., 1991, с. 163—236.
17) *Дойчер Исаак,* указ. соч., с. 410.
18) *Троцкий Лев.* Дневники и письма. М., 1991, с. 91.
19) Он же. Преданная революция, с. 191, 192.
20) Он же. Портреты революционеров. М., 1991, с. 147, 152.
21) Цит. по кн.: *Мельников Д.*, *Черная Л.* Нацистский режим и его фюрер. М., 1991, с. 13.
22) *Сталин И.* Сочинения. М., 1951, т. 13, с. 303.
23) «Совершенно секретно! Только для командования!» Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы. М., 1967, с. 42, 43.
24) *Сталин И.* О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1946, с. 182.
25) Он же. Сочинения, т. 13, с. 25.
26) *Емельянов Ю.В.* Заметки о Бухарине. Революция. История. Личность. М., 1989, с. 291.
27) *Смелянский А.* Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1989, с. 360.
28) Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988, с. 405.
29) Там же.
30) *Троцкий Л.* Сталинская школа фальсификаций. М., 1990, с. 91.
31) *Бухарин Н.И.* Путь к социализму. Новосибирск, 1990, с. 261.
32) *Бухарин Н.И.* Избранные произведения. М., 1988, с. 431.
33) *Сталин И.* Сочинения, т. 12, с. 14, 15.
34) *Агурский М.* Идеология национал-большевизма. Paris, 1980, с. 207, 236.
35) *Орлов Александр.* Тайная история сталинских преступлений. Нью-Йорк — Иерусалим — Париж, 1984, с. 47, 46, 49.

36) *Кривицкий Вальтер.* «Я был агентом Сталина...» М., 1991, с. 287.
37) *Разгон Лев.* Плен в своем Отечестве. М., 1994, с. 89.
38) *Роговин Вадим.* Сталинский неонэп. М., 1994, с. 246.
39) «Звенья». Исторический альманах. Вып. 1. М., 1991, с. 204—205.
40) *Бухарин Н.* Этюды. М., 1932. Ротапринт 1988, с. 242, 288—289.
41) Цит. по кн.: *Фельштинский Ю.Г.* Разговоры с Бухариным. М., 1993, с. 29, 60.
42) «Россия. XXI», 1994, № 1—2, с. 110.
43) Там же.
44) *Толстой Алексей.* О литературе. М., 1956, с. 326.
45) *Агурский М.* Идеология национал-большевизма. Paris, 1980, с. 122.
46) *Федотов Г.П.*, цит. изд., с. 86, 90.
47) «Разбитый компас. Журнал Дмитрия Галковского». М., 1996, январь—февраль, с. 108,109. См. также: *Галковский Д.* Стучкины дети. «Независимая газета», 1993, 19 мая.
48) *Хаски Юджин.* Российская адвокатура и Советское государство. М., 1993, с. 140.
49) *Менжинский В.* Первый чекист. (Из воспоминаний о Ф.Э. Дзержинском). — В кн.: Особое задание. М., 1977, с. 15.
50) См.: О Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. Воспоминания, статьи, очерки современников. М., 1977, с. 96.
51) *Самойлов Д.* Памятные записки. М., 1995, с. 443.

2) Драма «самоуничтожения»

1) Дневник Елены Булгаковой. М., 1990, с. 137, 140.
2) «Новое литературное обозрение», 1993, № 2, с. 84.
3) *Липкин Семен.* Квадрига. М., 1997, с. 522.
4) См. стенограмму в журнале «Вопросы истории» за 1992—1995 гг.
5) «Вопросы истории», 1992, № 4—5, с. 11.
6) Там же, 1994, № 2, с. 21.

7) *Шелестов Дмитрий.* Время Алексея Рыкова. М., 1990, с. 288—289.
8) *Шрейдер Михаил.* НКВД изнутри. Записки чекиста. М., 1995, с. 5.
9) *Бобков Ф.Д.* КГБ и власть. М., 1995, с. 157—158.
10) *Орлова Раиса, Копелев Лев.* Мы жили в Москве. М., 1990, с. 34.
11) *Орлова Раиса.* Воспоминания о непрошедшем времени. М., 1993, с. 89, 109.
12) См., напр.: *Шенталинский Виталий.* Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. М., 1995, с. 20.
13) *Разгон Лев.* Непридуманное. М., 1991, с. 37—39.
14) Они не молчали. М., 1991, с. 238.
15) *Жаботинский Владимир* (Зеев). Избранное. Иерусалим — Санкт-Петербург, 1992, с. 190.
16) *Выдро М.Я.* Население Москвы. М., 1976. Изменения национального состава показаны здесь не в абсолютных цифрах, а в процентах, что затушевывает проблему; но не столь трудно вычислить абсолютные цифры на основе процентных.
17) *Бабель Исаак.* Сочинения. М., 1992, т. 1, с. 424.
18) *Бордюгов Г.А., Козлов В.А.* История и конъюнктура. М., 1992, с. 142.
19) *Альбац Евгения.* Мина замедленного действия. (Политический портрет КГБ). М., 1992, с. 129.
20) Цит. по кн.: *Шенталинский Виталий.* Рабы свободы... с. 319—320.
21) «Правда-5», 1997, № 17 и 18.
22) *Липкин Семен,* цит. соч., с. 589.
23) См.: Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. М., 1934, с. 690—702.
24) Цит. изд., с. 550.
25) Там же, с. 154.
26) *Лежнев И.* Записки современника. М., 1934, с. 260.
27) *Самойлов Давид.* Памятные записки. М., 1995, с. 56—57. Выделено мною. — *В. К.*
28) Цит. изд., с. 167.
29) «Наш современник», 1994, № 2, с. 129—132.
30) *Тынянов Ю.* Литературный факт. М., 1993, с. 283—284.

31) *Мандельштам О.* Собрание сочинений в четырех томах. М., 1997, т. 4, с. 177.
32) «Наш современник», 1994, № 2, с. 132.
33) *Мандельштам Осип.* Сочинения в двух томах. М., 1990, т. 2, с. 155, 156.
34) *Мандельштам Н.Я.* Воспоминания. М., 1989, с. 342, 343.
35) *Чуковский К.* Дневник. 1930—1969. М., 1994, с. 9.
36) *Бабель Исаак*, цит. изд., т. 1, с. 338.
37) *Ахматова Анна.* Сочинения в двух томах. М., 1990, т. 2, с. 159.
38) *Струве Никита.* Осип Мандельштам. London, 1990, с. 36.
39) *Липкин Семен*, цит. соч., с. 334.
40) *Аверинцев С.* Судьба и весть Осипа Мандельштама. — В кн.: Мандельштам Осип. Сочинения в двух томах. М., 1990, т. 2, с. 55.
41) См.: *Куняев Станислав*, *Куняев Сергей.* Растерзанные тени. М., 1995, с. 41.
42) *Мандельштам Н.Я.*, цит. соч., с. 150.
43) Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год. СПб., 1997, с. 62.
44) *Мандельштам Осип*, цит. изд., т. 2, с. 310.
45) Первый Всесоюзный съезд советских писателей..., с. 186.
46) *Мандельштам Надежда.* Вторая книга. М., 1990, с. 390—391.
47) *Пастернак Борис.* Воздушные пути. М., 1982, с. 460.
48) *Мандельштам Н.Я.* Воспоминания..., с. 304.
49) См.: *Медовой Борис.* Михаил и Мария. М., 1991, с. 282—285.
50) См.: *Поварцов Сергей.* Причина смерти — расстрел... М., 1996, с. 177.
51) *Мандельштам Надежда.* Вторая книга..., с. 168.
52) Цит. по кн.: *Пастернак Е.* Борис Пастернак. Материалы для биографии. М., 1989, с. 515.
53) *Мандельштам Надежда*, цит. соч., с. 59.
54) Там же, с. 52.
55) Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома..., с. 58.
56) *Мандельштам Н.Я.* Воспоминания..., с. 286.
57) См.: *Поварцов Сергей*, цит. соч., с. 18.
58) *Медовой Борис*, цит. соч., с. 310; *Волкогонов Дмитрий.* Триумф и трагедия... М., 1989, кн.1, ч. 2, с. 280.

59) *Липкин Семен*, цит. соч., с. 59.
60) Воспоминания о Бабеле. М., 1989, с. 327.
61) *Мандельштам Осип.* Сочинения в двух томах, т. 2, с. 265.
62) «Новый мир», 1988, № 8, с. 187.
63) *Мандельштам Н.Я.* Воспоминания..., с. 249.
64) Литературная энциклопедия. М., 1931, т. 5, с. 320.
65) *Мандельштам Надежда.* Вторая книга..., с. 344.
66) *Куняев Станислав, Куняев Сергей.* Растерзанные тени..., с. 343.
67) *Бухарин Николай.* Революция и культура. М., 1993, с. 108.
68) *Мандельштам Надежда.* Вторая книга..., с. 411.
69) *Мандельштам Н.Я.* Воспоминания..., с. 35.
70) *Мандельштам Надежда.* Вторая книга..., с. 11.
71) *Горький М.* Публицистические статьи. М., 1931, с. 83.
72) Воспоминания о Бабеле... с. 67. Выделено мною. — *В. К.*
73) *Золотоносов М.* «Мастер и Маргарита» как путеводитель по субкультуре русского антисемитизма (СРА). СПб., 1995, с. 10.
74) Неоспоримые свидетельства (Исторические свидетельства, факты, документы Христианства). Сост. Джош Мак-Дауэлл. М., 1990, с. 74.
75) *Ермолинский Сергей.* Из записок разных лет. Михаил Булгаков. Николай Заболоцкий. М., 1990, с. 57.
76) *Ивницкий Н.А.* Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов). М., 1996, с. 103—104.
77) *Липкин Семен.* Квадрига. М., 1997, с. 329.
78) Реабилитация. Политические процессы 30—50-х годов. М., 1991, с. 443, 444. Выделено мною. — *В. К.*
79) *Васецкий Н.А.* Троцкий. Опыт политической биографии. М., 1992, с. 243—244.
80) *Троцкий Лев.* Портреты революционеров. М., 1991, с. 209—210. Выделено мной. — *В. К.*
81) Реабилитация..., с. 362—363.
82) *Ларина (Бухарина) Анна.* Незабываемое. М., 1989, с. 359.
83) *Волкогонов Дмитрий.* Триумф и трагедия. Политический портрет И.В. Сталина. М., 1989, кн. 1, ч. 2, с. 213.
84) *Ларина (Бухарина)*, цит. соч., с. 235, 236, 237.

85) Личное мнение. Сборник... Выпуск третий. М., 1990, с. 423.
86) *Рапопорт Виталий, Алексеев Юрий.* Измена Родине. Очерки по истории Красной Армии. London, 1988, с. 373—374.
87) *Орлов Александр.* Тайная история сталинских преступлений. Нью-Йорк — Иерусалим — Париж, 1983, с. 82.
88) Там же, с. 335.
89) *Царев Олег, Костелло Джон.* Роковые иллюзии. Из архивов КГБ: дело Орлова, сталинского мастера шпионажа. М., 1995, с. 363.
90) *Шейнис Зиновий.* Провокация века. М., 1992, с. 56.
91) *Разгон Лев.* Непридуманное. М., 1991, с. 37, 38.
92) См.: Писатели Москвы. Библиографический справочник. М., 1987, с. 381.
93) *Разгон Лев,* цит. соч., с. 11.
94) *Альбац Евгения.* Мина замедленного действия. (Политический портрет КГБ.) М., 1992, с. 10.
95) *Разгон Лев.* Плен в своем Отечестве. М., 1994, с. 96.
96) *Разгон Лев.* Непридуманное, с. 18—19, 27.
97) *Разгон Лев.* Плен..., с. 94—95.
98) *Кокурин Александр, Петров Никита.* НКВД: Структура, функции, кадры (1934—1938). «Правда-5», 1997, № 17, с. 10.
99) *Соболева Т.А.* Тайнопись в истории России. М., 1994, с. 352.
100) *Разгон Лев.* Плен..., с. 96.
101) *Унбегаун Б.О.* Русские фамилии. М., 1989, с. 265.
102) *Разгон Л.* Плен..., с. 111.
103) Там же, с. 286. Выделено мною. — *В. К.*
104) Там же, с. 282, 283. Выделено мною. — *В. К.*
105) *Пришвин Михаил.* «Жизнь стала веселей...» Из дневника 1936 года. «Октябрь», 1993, № 10, с. 5.
106) *Разгон Л.* Непридуманное..., с. 28—29.
107) *Судоплатов Павел.* Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля. М., 1996, с. 129—130.
108) *Хенкин Кирилл.* Охотник вверх ногами. М., 1991, с. 36.
109) *Гнедин Евгений.* Выход из лабиринта. М., 1994, с. 82.
110) *Троцкий Л.* Сталинская школа фальсификаций. М., 1990, с. 49.
111) *Ваксберг Аркадий.* Нераскрытые тайны. М., 1993, с. 19.

112) *Хрущев Никита Сергеевич.* Воспоминания. Избранные фрагменты. М., 1997, с. 68.
113) *Ваксберг Аркадий,* цит. соч., с. 103.
114) *Судоплатов Павел,* цит. соч., с. 356, 357.
115) *Земсков Виктор.* Политические репрессии в СССР (1917—1990 гг.) — журн. «Россия XXI», 1994, № 1—2, с. 110.
116) См. в кн.: *Троцкий Л.Д.* Преступления Сталина. М., 1994, с. 216—222.
117) *Кац Александр.* Евреи. Христианство. Россия. СПб., 1997, с. 345.
118) См.: *Романюк Сергей.* Москва. Утраты. М., 1992, с. 227.
119) См.: *Громов Евгений.* Сталин. Власть и искусство. М., 1998, с. 245.
120) *Максименков Леонид.* Сумбур вместо музыки. Сталинская культурная революция 1936—1938. М., 1997, с. 298.
121) «Вопросы литературы», 1966, № 1, с. 178.
122) См. об этом: *Кожинов Вадим.* Стихи и поэзия. М., 1980, с. 236—238.
123) *Шагал Марк.* Ангел под крышами. Стихи, проза, статьи, выступления, письма. М., 1989, с. 171—172.
124) *Такер Роберт.* Сталин у власти. История и личность. 1928—1941. М., 1997, с. 296—297.
125) История России. XX век. М., 1996, с. 394.
126) «Наш современник», 1992, № 6, с. 157.
127) *Аллилуева Светлана.* Двадцать писем к другу. М., 1990, с. 149, 150.
128) *Джугашвили Галина.* Дед, отец, Ма и другие. М., 1993, с. 24.
129) Иосиф Сталин в объятиях семьи. Из личного архива. М., 1993, с. 184.
130) *Коган Павел. Кульчицкий Михаил. Майоров Николай. Отрада Николай.* Сквозь время. Стихи поэтов и воспоминания о них. М., 1964, с. 60—61.
131) *Коган Павел.* Гроза. Стихи. М., 1989, с. 162.
132) Полный иллюстрированный словарь иностранных слов. Составил И. Вайсблит. М. —Л., 1926, с. 444.
133) Взгляд. Критика. Полемика. Публикации. М., 1988, с. 269, 270.
134) См.: Лекции М.М. Бахтина по русской литературе. — Диа-

лог. Карнавал. Хронотоп. Журнал научных разысканий о биографии, теоретическом наследии и эпохе М.М. Бахтина, 1993, № 1, с. 103.
135) *Эренбург Илья.* Война. Апрель 1942 г. — март 1943 г. М., 1943, с. 22, 54.
136) *Сталин И.* О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1946, с. 42.
137) Новый мир, 1963, № 3, с. 130.
138) Источник. Документы русской истории, 1997, № 3, с. 136, 137, 138.
139) Октябрь, 1989, № 7, с. 141, 142, 144—147, 150, 151, 154, 160, 161, 164.
140) Октябрь, 1993, № 10, с. 6, 7.
141) *Чудакова М.* Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988, с. 668, 543, 541.
142) *Гаспаров М.Л.* О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. М., 1996, с. 66.
143) *Мандельштам О.* Собрание сочинений в четырех томах. М., 1997, т. 4, с. 160.
144) Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год. Материалы об О.Э. Мандельштаме. СПб., 1997, с. 78, 79.
145) См.: *Нерлер Павел.* «С гурьбой и гуртом...» Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама. М., 1994, с. 79.
146) Там же, с. 21.
147) См.: «Правда-5», 1997, № 18, с. 10.
148) *Мандельштам Н.Я.* Воспоминания. М., 1989, с. 97.
149) П.А. Флоренский: арест и гибель. Уфа, 1997, с. 135—136. См. также: *Флоренский Павел*, священник. Сочинения в четырех томах. М., 1998, т. 4, с. 779.
150) *Пичурин Л.* Последние дни Николая Клюева. Томск, 1995, с. 55; см. также: *Шенталинский Виталий.* Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. М., 1995, с. 273.
151) *Нерлер Павел*, цит. соч., с. 13.
152) См.: «Счастье литературы». Государство и писатели. 1925—1938. Документы. М., 1997, с. 268—273, 276.
153) См.: *Чуковская Лидия.* Записки об Анне Ахматовой. 1938—1941. М., 1997, с. 103.

154) *Волкогонов Дмитрий.* Триумф и трагедия... М., 1989, кн. 1, ч. 2, с. 212.
155) Эти и дальнейшие сведения см.: Советская историческая энциклопедия. М., 1965, т. 7, с. 702.
156) *Гордон Л.А, Клопов Э.В.* Что это было? Размышления о предпосылках и итогах того, что случилось с нами в 30—40-е годы. М., 1989, с. 64.
157) *Пушкарев Б.С.* Россия и опыт Запада. Избранные статьи 1955—1985. М., 1995, с. 184.
158) *Пайпс Ричард.* Россия при старом режиме. М., 1993, с. 17, 15, 18.
159) История России. XX век. М., 1996, с. 332.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 5
Глава 1. Что же в действительности произошло в 1917 году? 8
Глава 2. Вожди и история 78
Глава 3. Власть и народ после Октября 124
Глава 4. Какова была роль евреев в послереволюционной России? 170
Глава 5. Загадка 1937 года 223
1) «Контрреволюция», осуществляемая «по-революционному» 231
2) Драма «самоуничтожения» 273
Примечания 422

Кожинов Вадим Валерианович

ПРАВДА СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ

Ответственный редактор *Л. Елисеева*
Редактор *В. Манягин*
Художественный редактор *А. Сауков*
Художник *В. Ковригина*
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *В. Фирстов*
Корректор *Л. Гусева*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home page: **www.eksmo.ru** E-mail: **info@eksmo.ru**

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: **reception@eksmo-sale.ru**

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82.
В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.
В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8435) 70-40-45/46.
В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е». Тел. (846) 269-66-70.
В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. (343) 378-49-45.
В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9. Тел./факс: (044) 537-35-52.
Во Львове: Торговое Представительство ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Бузкова, д. 2.
Тел./факс (032) 245-00-19.

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (095) 745-89-15, 780-58-34.
Информация по канцтоварам: **www.eksmo-kanc.ru** e-mail: **kanc@eksmo-sale.ru**

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:
В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12 . Тел. 937-85-81.
Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.
В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо» обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.

Подписано в печать 28.10.2005.
Формат 84×108 $^1/_{32}$. Гарнитура «Прагматика». Печать офсетная.
Бумага тип. Усл. печ. л. 23,52. Уч.-изд. л. 23,8.
Тираж 4100 экз. Заказ № 1420.

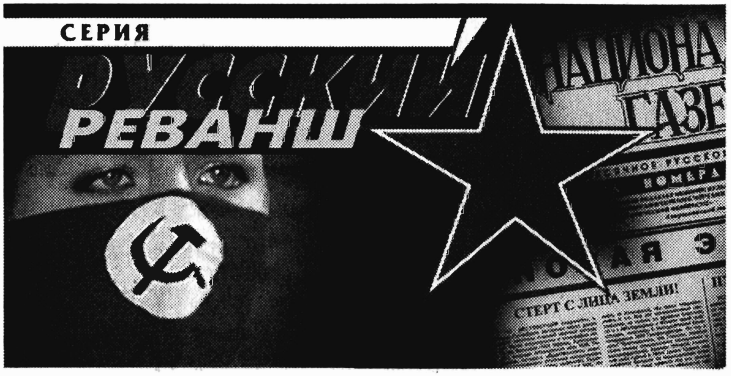
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

ТАКЖЕ В СЕРИИ:

А. Андреев «Соловки: монастырь на островах», «История Иерусалима»

А. Асов «Тайны Велесовой книги»

А. Волков «Русская рать: богатыри, витязи и воеводы»



В серии **«Русский реванш»** известные современные писатели и публицисты, такие, как **Эдуард Лимонов** и **Юрий Мухин**, пытаются осознать и описать в своих работах суть особого пути России.

Они отвечают на самые актуальные вопросы современности: как бороться с неуважением к интересам России со стороны Запада и бывших братьев по единому государству, как противостоять экспансии Востока, как отстоять единство и сплоченность русской нации, ее самобытную культуру.

Также в серии:

Ю. Мухин «За Державу обидно!»

А. Севастьянов «Время быть русским!»

А. Дугин «Философия Войны»

Вадим Кожинов

ПРАВДА СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ

Эту книгу Вадима Кожинова, как и другие его работы, отличают неординарность суждений и неожиданность выводов.

С фактами и цифрами в руках он приступил к исследованию тем, на которые до сих пор наложено демократическое «табу»: о роли евреев в истории Советского Союза, об истинных пружинах сталинских репрессий. При этом одним из главных достоинств его исследований является историческая объективность.

ISBN 5-699-13825-0

9 785699 138258 >

Оклеветанная РУСЬ